90 коп.

Индекс
70327

В ШЕСТОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:

Виктор СОСНОРА. Дом дней. Роман.

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. Роман (продолжение).

Стихи Александра КРЕСТИНСКОГО, Владимира АДМОНИ, Елены ШВАРЦ.

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий КОНГРО. Ошибка великого мечтателя.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Ольга БЕРГГОЛЬЦ. Из дневников (продолжение).

КРИТИКА

Сергей НОСОВ. Вехи абсурда.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания (продолжение).

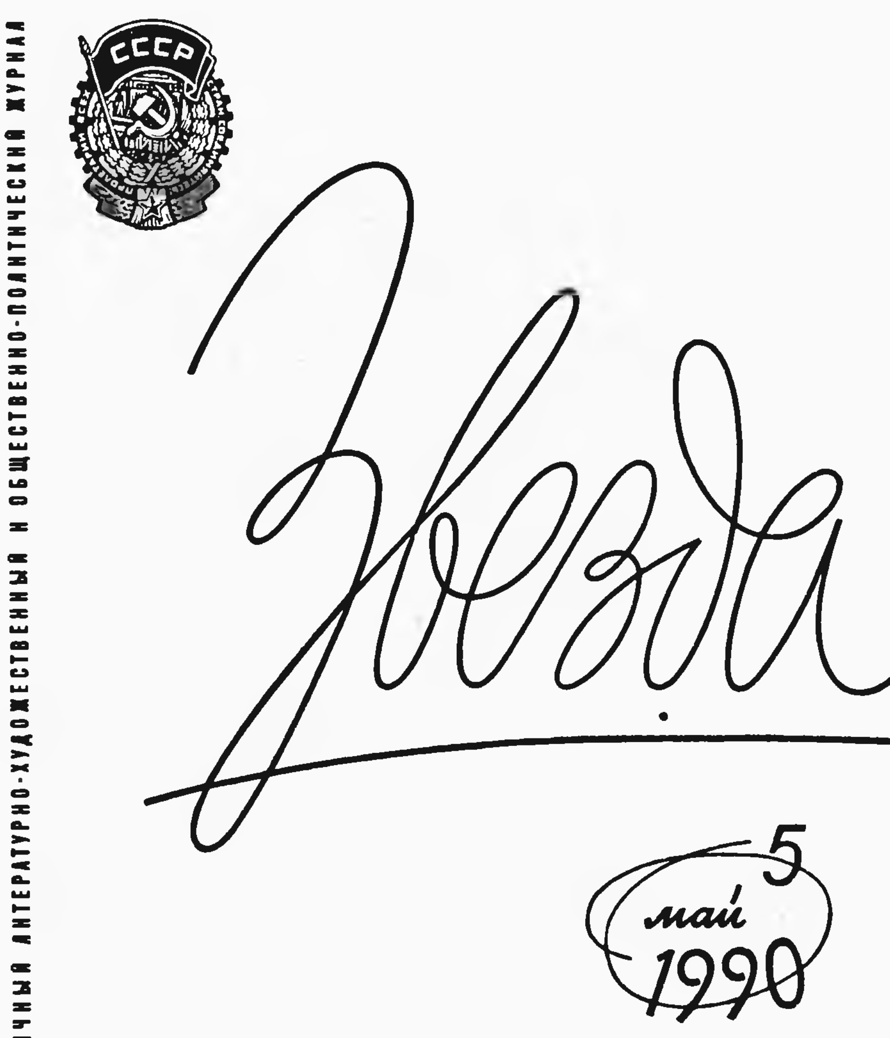


ISSN 0321—1878



5

1990



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20
Телефоны: главный редактор — 272-89-48, первый заместитель главного редактора — 273-52-56, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-20-41
Издательство «Художественная литература»
Сдано в набор 18.01.90. Подписано к печати 12.03.90. М-28115. Формат $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 25,97 уч.-изд. л. Тираж 360 000 экз. Заказ № 250. Цена 90 к.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.





Записки военного топографа

Весной 1943 года я получил задание на топографическую рекогносцировку предгорий Кавказа, уже освобожденных от немцев. С командой солдат и снаряжением выехал я из Тбилиси к месту работы на Чеченской равнине — на свою трапецию, как говорят топографы.

Жизнь странно складывается: с детства мечтал и готовился к работе на Крайнем Севере, а оказался на крайнем юге; никогда не думал быть военным, а стал. Все перемешала война, война распорядилась по-своему.

Колеса вагона отстукивали дорожное время. За окном тянулась и тянулась бесконечная рыжая Ширванская степь, освистанная всеми ветрами. Даже сквозь стенки вагона слышен был этот разгульный ветер: вагон мягко покачивался на рельсах, как на волнах.

Хорошо дремалось под ровный перестук колес и баюкающее колыхание вагона. Позади вся предвыездная спешка и суета. И вот — в кои-то веки! — недолгие часы тишины и покоя.

А впереди?

А впереди незнакомое место работы. И незнакомое небо над головой. Где бы ты ни был и чем бы ни занимался — над тобой всегда небо. Небо твоего времени. И нам только кажется, что мы от него не зависим,— все наши замыслы и поступки вершатся с оглядкою на него.

Эшелон наш стучит вдогонку за наступающим фронтом. Фронт зимой еще сдвинулся от Кавказа к северу, оставив за собой искаженный лик земли. Война, как стихийные бедствия, все меняет до неузнаваемости: эти-то трагические изменения и нужно мне нанести теперь на старую карту. Это и называется — рекогносцировка.

Самый расхожий сейчас рекогносцировочный знак — «развалины». Прямоугольнички и квадраты из точек. Где раньше были жилые дома, кварталы, поселки, остались одни развалины-многоточия. К этому привыкаешь не сразу, как не сразу привыкли мы к слову «потери». Но то и другое стало теперь обычным: и развалины, и потери. Два года войны: собирались шапками закидать, а пришлось — трупами.

Плывет за окном холодная степь, колеса стучат то ровно и сонно, то вдруг начинают частить и сбиваться с ритма в путанице подъездных путей. И ты тогда настораживаешься, вслушиваешься — и становится почему-то тревожно: что ждет тебя за высокой стеной хребта, какое откроется тебе небо?

Сгружались в Грозном под выкрики команд, лязг буферов, гудки и ржание коней. В Грозном еще горели, жирно чадя, серебристые баки с нефтью, но прохожие уже спокойно шли мимо, не обращая на них внимания. Они тут ко многому пригляделись. К раненым, например, которые в нижнем белье, подобно белым привидениям, отрешенно бродили по улицам и базарам. К военным, звенящим шпорами и медалями. Но вот люди, несущие под мышкой буханку хлеба, были в диковину, и их провожали глазами.

Город оживал после жестоких бомбежек, жизнь налаживалась, все занимались каким-то делом. По вечерам даже толпились и прохаживались по улицам.

Наши дела в городе начались с ознакомительного семинара. Местные власти, гражданские и военные, просвещали нас, обрисовывая обстановку. У каждого места работы всегда свои особенности, и полезно их знать заранее. Тем более, что к всегдашним особенностям погоды, рельефа и географии прибавлялись тут особенности совсем иного рода...

Рухнул план немецкого наступления — «Эдельвейс». Не удалось захватить кавказскую нефть, не удалось перевалить Кавказский хребет, войти в Иран, на Ближний Восток, а потом и в Индию. Не удалось втянуть в войну Турцию и Японию. Не удалось, хотя танки вермахта вышли уже к Тереку и Малгобеку. А на перевалах Кавказского хребта сидели «горные дьяволы» и «снежные барсы» из альпийской дивизии «Эдельвейс». На самой высокой горе Кавказа и всей Европы — Эльбрусе — на самой вершине! — торчали гитлеровские штандарты.

Волна нашествия покатилась назад.

В неразберихе и спешке общего отступления немало «барсов» и «дьяволов» попало в плен, замерзло в горных снегах, но и немало укрылось в глухих горах, соединившись с «повстанцами», дезертирами и диверсантами, заброшенными туда еще при наступлении на Кавказ.

Неспокойно было в горах.

Война резко обострила все то, на что раньше принято было закрывать глаза: не видим, молчим — значит, его и нет. Но царапины и болячки, как известно, когда их не лечат, неизбежно превращаются в язвы. Участились угоны скота, грабежи магазинов, возродилась даже кровная месть. Многое возродилось и обострилось — и вылезло на божий свет.

Так осторожно просвещали нас, боясь, как всегда, сказать правду. А незнание обстановки, местных обычаев, языка могло не только усложнить, но и сорвать работу. Топографам ли не знать, что с местными обычаями шутки плохи — даже с самыми чепуховыми! Попробуй на Тринидаде дружески потрепать собеседника по волосам — и наживешь врага. А в Иране, соглашаясь с собеседником, киваешь ему утвердительно, а он понимает это как несогласие и отказ! И тут, конечно, есть свои подводные камни и надо уметь их обходить. Хотя главные сложности были совсем в другом: но об этом «другом» лекторы почему-то говорили вскользь и уклончиво. Лектор охотно перечислял положения из «адата» — так сказать, бытового местного этикета: многое в нем нам очень правилось. Перед аксакалом молодые обязаны встать. У стариков отработан даже особый снисходительный жест, которым они благосклонно разрешают всем снова сесть. Гостем считается всякий, кто вошел в твой дом: ему без расспросов положены кров и защита. Члена из своего рода — тайпа — никогда не бросят в беде. Попутчик в долгой дороге становится кунаком. Верховой не проскачет мимо, обдавая тебя облаком пыли, а загодя придержит коня и первый поздоровается. Вошедший, если уж здоровается за руку, то со всеми. А не как бывает у нас: кому ладонь, кому палец, а кому кивок.

Но главное мы все же уловили. В горах скрывались банды дезертиров, диверсантов, заблудившихся «барсов» и «дьяволов». И вооружены они были нешуточно. И появлялись всегда неожиданно.

Для нас, полевиков, это означало работу с автоматом в руках, хотя руки топографа и без того заняты сверх всякой меры. Придется на каждой рабочей точке особого наблюдателя ставить, а реечников и без этого не хватает. И на ночь выставлять часового, и с точки на точку чуть ли не с боевым охранением переходить. А где взять солдат? Да и солдат наш топографический ловок с рейкой, а не с автоматом.

Забот добавлялось. Теперь, глядя в родимый кипрегель, придется озабочиваться не только отсчетами углов и дальномера, а и тем, не сидит ли где в кустах одичавший «барс» или «дьявол» из «Эдельвейса» со своим заржавленным «шмайсером».

Так понемногу определилось небо, которое было над этой землей. Расходясь с семинара, мы исподтишка поглядывали друг на друга: удастся ли снова встретиться осенью? Хотя в 20 лет все легко и просто, все только лишь приключение.

Работа началась с долины Алхан-Чурт — Долины Смерти. Мрачное свое название долина получила за множество древних курганов, разбросанных в ней. Несмотря на устрашающее название, более мирной, широкой и светлой долины я на Кавказе еще не встречал. Два пологих хребта-увала — Терский и Сунженский — отгородили ее с юга и севера. Все в долине заглажено, все округло, все поросло густой травой — ни лесов, ни скал.

Простор, весеннее солнце и теплый ветер! Даже могильные курганы помогали в работе: я сейчас же расставил на них свои вехи. И топографическое сердце мое возрадовалось такой идеальной сети — как на учебном полигоне!

Немцам не удалось прорваться по этой широкой долине от Малгобека к Грозному. А какая ровная дорога была для танков! Прорвись они — и к старым курганам добавились бы новые. Пострашнее курганы насыпала бы тут нынешняя война!..

Сейчас о недавних боях напоминали всего лишь заброшенные окопы и разбитые дзоты. Да гнездо степного орла на пологом кургане, выстланное немецкими листовками с изображением черного распластанного орла.

— Сирота ох, а зв сиротой бог! — елейно причитал над гнездом самый мой старый солдат Черников, долго маявшийся без бумаги для курева.— Спасибочко фрицам, теперь мне на месяц хватит!

В полуденную жару долина плыла. Извивались на курганах вехи, да и сами курганы то вытягивались шпилем, то расплющивались в лепешку. Пастух ингуш верхом на коне плыл по жаркой текучей зыби — словно вброд через реку перебирался. Волокнистое марево размыло горизонт, в белом небе медленно плавал гриф, похожий снизу на махровое черное полотенце.

В окопах, на страх моим реечникам, лежали и грелись длинные полозы-желтобрюхи. Я прыгал в окоп, хватал в каждую руку по полозу и, крутя ими над головой, гонялся за своими солдатами. Так я приучал их не бояться окопных змей, но даже бывалые фронтовики с воплями кидались врассыпную.

— Товарищ лейтенант! — вопил на бегу рыжеусый Черников.— Побойтесь бога, я же вам в деды гожусь, а вы меня як зайца гоняете!

— Черников, Черников! — стыдил я его.— Мне же нужно каждый окоп нанести на план, а ты их стороной обходишь из-за каких-то паршивых змей! А еще казак...

— Шоб воны уси передохли,— ворчал Черников, переводя дыхание.— Послали б меня лучше к домику во садочку...

Тут все начинали толкаться и перемигиваться: знали его повадку вставать с рейкой у окошка и тихонько стучать о раму. Хозяйка выглядывала и млела: под окном старичок-солдатик, запыхавшийся и пропыленный. Может, и ее кормилец сейчас вот так же где-то шастает, неухоженный и голодный. И протягивала Черникову что-нибудь в тряпице.

Я по молодости и глупости стыдил его, обзывал крохобором и мародером.

— Тебе что — пайка не хватает? — орал я.

— Не хватает... — покорно соглашался Черников.

И по обвислым усам его было видно, что не хватает. Да я и без усов его знал, что не хватает. Никому не хватает. Да и не клянчит он очень-то, а только так, маленечко намекает.

— Пошлите на передовую,— ворчал Черников.— Хоть и убьет, так сытым. Я свое пожил.

Ему бы внучат на коленках качать, а он с рейкой на побегушках с утра до ночи — трусцой от инфаркта. Это нынешним старичкам полезно трусцой животы сгонять. Старичкам образца 1943 года ожирение не грозило...

Жив ли ты еще, старина Черников? Прости тогда мне тех дурацких змей. Я ведь и вправду чуть не во внуки тебе годился, чего с меня было взять?

А может, ты сейчас правнукам о них рассказываешь? Что еще вспоминать топографическому солдату: всю войну с рейкой бегал туда-сюда. Ну а ввернешь про змей — у них и волосенки дыбом! Как, бывало, у тебя усы...

А вот про службу твою в похоронной команде лучше и сейчас не рассказывай. Ты и тогда о ней рассказывать не любил. Но во сне она тебе часто мерещилась, и ты даже вертелся и вскрикивал. А когда солдаты будили, глядел одичало и всех руками отталкивал.

— Сколько я их, мертвяков, за обмотки в ямы перетаскал,— начинал ты иногда.— Раз даже спал с ними в яме.

Окопа со змеями ты боялся, а вот обвалившихся дзотов, залитых черной водой, из которой торчали коленки и растопыренные пятерни убитых, не пугался. Твердо рядом с рейкой стоял. Только иногда глаз косил.

Мне-то в трубу все было видно.

По вечерам остывали на завалинке. Вдоль потемневших уже склонов долины, подобно светлякам, стелились пунктиры светящихся пуль: это дурачились пастухи, паля в белый свет из трофейных винтовок. Иногда эти светлячки мелькали рядом и запутывались на излете в траве.

За черными увалами гор вздрагивали зарницы, словно там огонь высекали. Мы молча ужинали, позвякивая алюминиевыми мисками, ложками, кружками. А потом долго еще сумерничали — отдыхали. И уже не по-служебному, не по-рабочему, а просто по-человечески приглядывались друг к другу. Все мы были из разных мест, и вместе свела нас только война.

Старшим по званию — и самым младшим по возрасту! — в команде был я: начальник команды, офицер, топограф второго разряда. Солдат тогда к нам присылали чаще пожилых или бывших раненых: все самое молодое и крепкое было на передовой. Там они, здоровые и молодые, калечили и убивали, и там убивали и калечили их. Вот уже два года — день и ночь.

Еще до отъезда сюда, на первом же сборе своей команды, я, остро чувствуя свою возрастную несолидность, схватился за спасательный круг Дисциплинарного устава.

— Вы можете быть старше, умнее и сильнее меня,— начал я,— но вы должны меня слушаться! Потому что у меня — прав́а. Зарубите себе на носу: если подъем — то подъем, если отбой — то отбой. Направо — налево, встать — ложись, бегом — шагом. Все по команде: обед, завтрак, ужин. И чтоб никакой самодеятельности!

— Вот это жизнь! — ахнул Черников, пряча за спину самокрутку из немецкой листовки.— Никаких тебе забот, скажут даже, когда оправиться!

Все засмеялись и облегченно вздохнули. Вздохнул и я. И больше не рвался к власти так беспардонно.

Вечер — пора отдыха и расслабленности. Черников скручивает цигарку и достает из-

за пазухи свое излюбленное кресало. У каждого тогда был свой способ добычи огня — как в седой древности. Вот как сейчас у каждого свой способ заварки кофе. Черниковское кресало искрило сильнее точильного колеса! Огонек-то у него был надежный — табачку вот только всегда не хватало. И ни одна дура-баба не догадывалась угостить. Из-за этого Черников был о них невысокого мнения. Он добавлял в табак сечку из кукурузных листьев и всякую другую дрянь, отчего цигарка его искрила бенгальским огнем, опаляя не только усы и губы, но ресницы и брови. И пахло от него всегда пленым котом.

Прохлада умиротворяла. Искря цигаркой, Черников, как и положено казаку пожилому и обстоятельному, пускался в нетороплиные рассудительные разговоры.

— Пора бы землю зерном засевать,— озабоченно изрекал он. И надолго замолкал, давая нам время проникнуться всей мудростью его слов. Не дождавшись бурной поддержки и одобрения, укоризненно добавлял:

— А засевают ее мертвяками...

Но про мертвяков и вовсе никто не желал слушать, и Черников умолкал, презрительно пыхтя и искря цигаркой, как паровоз на крутом подъеме.

— Сóрок не забудь! — напоминал ему кто-нибудь.— Распыхтелся...

Сорок, двадцать, десять — цигарочные проценты. Счастливчик, обладатель табачка или махорки, если он не хотел прослыть куркулем, обязан был дать другим докурить цигарку: кому сорок, а кому десять. Это была «трубка мира» времен войны. Поглотав кукурузного дыма, очередник передавал цигарку соседу. Последний, плюясь и чертыхаясь, сосал уже вообще неизвестно что, опаляя пальцы и губы.

...Еще два долгих года будут засевать землю мертвыми. Два года по мирскому календарю, четыре по воинскому, где, как известно, год шел за два. А если по человеческим жизням — то и века.

Темнота наползала со всех сторон. В небе светили звезды, по черным склонам все чертили зеленые огненные пунктиры — огоньки трассирующих пуль. И говорить ни о чем не хотелось.

Долину война изменила мало. Открытые склоны, ясная погода и съемка с курганов облегчали работу, и дело катилось к концу. Пора было готовиться к переезду к местам основной работы, на просторы Чеченской равнины, под Главный Кавказский хребет.

Топографы легко снимаются с обжитого места, пускаясь в дали неизведанные. Дух бродяжничества у них в крови: все мое — при мне. Топографу собраться — что подпоясаться. «Нынче здесь — завтра там».

Команду с инструментом и грузом я отправил на машине в обход Сунженского хребта, через Грозный, а сам налегке верхом двинул прямиком через хребет по случайной тропе, помня, что в горах любая тропа выведет к перевалу. А с перевала обязательно спустит в долину и приведет к жилью.

Конь, настроясь на дальний путь, деловито и ровно стучал копытами, то пофыркивая на темный куст, то вздрагивая от скатившегося сверху камня. Скоро я въехал в облако, разлегшееся поперек тропы: сразу стало темно и сыро, тропа засочилась, копыта коня поползли по раскисшей глине, на ресницах повисли капли, а конь и бурка поседели и засеребрились.

Но тут я из облака выехал — как вынырнул из-подо льда! — и снова все вокруг осветилось и засияло.

Простор и ветер!

И синее небо над головой, и дымка предгорий глубоко под ногами. И видно с гребня на все четыре стороны!

Позади покинутая долина Алхан-Чурт: по пологим склонам ее ползут тени облаков. Впереди, и тоже в затуманенной глубине, необъятная равнина — Чеченская. Место моей новой работы.

Пятнышки садов и рощ, россыпь станиц и аулов, царапины дорог и рек, прожилки оврагов. А за всем этим, огораживая равнину стеной, вздымается в дымке Кавказский хребет, похожий на гигантский хвост гребенчатого тритона. Снеговые вершины его растянулись в белую узенькую цепочку, похожую на длинную гряду летучих облаков.

«Немая степь синеет, и венцом
Серебряный Кавказ ее объемлет».

Над этой узкой белой грядой выделяется пирамида Казбека и двуглавый Эльбрус — Шат-гора.

«И Шат подъемлется за ними
С двумя главами снеговыми».

Стихи Лермонтова не вспоминаются, не приходят на память, а ударяют в голову: они прямо перед глазами!

«Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный».

Вот так бывает, когда ты вдруг наяву увидишь то, что когда-то видел уже во сне,— суеверный трепет перехватит дыхание!

Знакомо, все знакомо, хоть и вижу в первый раз.

Давно бы пора спускаться, а я все медлю и всматриваюсь в равнину и горы. Внизу река Сунжа в опушке тополей и ив. Справа в дымке еле-еле просматривается Терек: уже не дарьяльский, не буйный, а расплеснувшийся, разбежавшийся по галечным отмелям. Слева, и тоже в дымке, река Аргун: она скорее угадывается, чем видится. А между Тереком и Аргуном, между хребтом Кавказским и Сунженским, на гребне которого я стою, распласталась равнина, которую мне предстояло снимать. Так 16 июня 1943 года, стоя на гребне Сунженского хребта, прикрываясь от ветра буркой, я сверял старую карту с натурой, лежащей перед моими глазами. И странное волнение все больше охватывало меня.

Век назад — и тоже 16 июня! — в эти места приехал ссыльный Лермонтов. Он бывал в этих вот станицах и в этих аулах, что сейчас темнеют внизу. А река Асса и река Аргун угодили в его стихи: теперь они угодят и на мой планшет. И неутомимый Черников еще побегает по их берегам с рейкой.

А река Валерик! Помните?

«И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко».

Во-он она, та река — река смерти.

Видны в бинокль и Гихи. И Шали. Правда, это уже другая ассоциация: у Шали офицер Лев Толстой участвовал в рубке леса, и там на нашу сторону перешел его неугомонный Хаджи-Мурат.

Станицы Нестеровка и Слепцовская — по имени полковника Нестерова и генерала Слепцова, убитых немирными чеченцами. И их мне нужно нанести на планшет.

Трапеция-то моя складывается не простая, а лермонтовская!

Прошлое накатывалось волной, и были в нем цвет, и запах, и вкус. Прошлое оживало.

Только сейчас я ощутил всю пронзительность лермонтовских стихов: то, что когда-то мне в них представлялось лишь поэтической вольностью, даже излишней красивостью, неоправданно вознесенным над грешной землей, теперь виделось чуть ли не зарисовкой с натуры.

«В пространстве голубых долин...»

Меня знобило от этого голубого пространства! Сколько раз в ночных разъездах оказывался я в совершенно подобном. И дух захватывало от гипноза лунной ночи и космической горной тишины. Не рысь, не галоп, а некое парение в невесомости. И «сквозь туман кремнистый путь блестит»...

Стоило подняться на любой кавказский перевал, как перед глазами всплывали хребты и ...лермонтовские стихи.

«Пред ним с оттенкой голубою,
Полувоздушною стеною
Нагие тянутся хребты».

А поздним вечером спускаешься с гребня в черную глубину, не видя не только тропы, а и лошадиных ушей, и вдруг заморгает огонек между землей и небом.

«Вдруг видит он, в дали пустой
Трепещет огонек...»

И ждет там тебя, топографа, мягкий спальник и горячий чай.

Теперь лермонтовская трапеция ждала меня. Век назад по ней со своим летучим отрядом носился Лермонтов, задорно размахивая сабелькой и сочиняя стихи. Последние в своей жизни...

К вечеру я спустился с хребта и въехал в станицу Слепцовскую. Станица тонула в садах: как мухоморы, выглядывали из зелени белые мазанки с красными черепичными крышами. Каждый двор был похож на огромный зеленый букет, вставленный в плетеную корзину. Из глубины садов слышались непонятные гнусавые выкрики: оказалось — павлины! Вот один топчется на плетне: подсвеченный вечерним солнцем, с грудью из синей фольги, с хвостом из зеленой шелковой бахромы. В другой раз я бы остановился, но сейчас, натянув козырек на самый лоб, настороженно вожу глазами по сторонам: я помню настойчивые предупреждения избегать густых садов и плетней.

И напрасно! Как скоро мы убедились, в станицах давно уже было тихо, да и в аулах все эти «адаты» и «шариаты» ничем нам не грозили. На местах — как всегда! — все оказалось куда как проще: общение живых людей редко укладывается в инструкции.

Нас называли по-разному. То «мохк буста-стег» — что-то вроде «человек, измеряющий землю», землемер, а чаще попросту «инджинерами» — за черные погоны инженерных войск. И относились доброжелательно.

Перебираюсь с командой из станицы в станицу, живем в уютных и чистых казачьих домиках. В станицах тишина и покой, и невозможно уже представить себе, что совсем недавно на Тереке бухали пушки и скрежетали по гальке танки, а на вершине Эльбруса полоскались фашистские флаги.

Наконец-то Черников мой насытился! Вижу в кипрегель, как весело он трусит с рейкой по садам и огородам, ловко подхватывая что-то на ходу, и что-то непрестанно жует. К вечеру он валится на сеновал и охает:

— Душа больше не принимает!

— При чем тут душа! — вскидывается наш «сын полка» Петя. Его недавно прислали к нам, и он еще не притерпелся к Черникову.

— При чем тут душа: брюхо не принимает! Вам бы, Черников, только есть и спать.

— А зачем я родине невыспавшийся и голодный? — блаженно мурлычет Черников.— Нет, Петя, что там ни говори, а в армии благодать! Одежка, обувка, обед, завтрак, ужин. Не то что у нас в колхозе. А ты, воин, только «право» и «лево» не путай. И оправляйся, когда напомнят...

По вечерам солдаты засиживались на завалинке, мирно переругиваясь и дымя крошкой из сухих листьев. Поглядывая на далекие зубчатые хребты, по которым с равнины уходил в небо день. Вот освещены на склонах леса, вот луга, а вот уже и вершины скал. В небе над ними повисает растянутая гряда розовеющих горных снегов. И вот уже только один Казбек, багровея, парит еще в загустевшем небе.

— Очнитесь, Черников! — зовет Петя.— Вышли бы посмотреть!

— А чего я не видел там,— отдувается Черников,— снег да лед...

— Ни садов, ни огородов! — посмеивается сержант Горкавченко.— Ни пощипать, ни посшибать!

Жизнь наша со стороны спокойная и размеренная. Ну а что кому навевают время и небо — это у каждого про себя. И не выставляется напоказ, и даже заслоняется от других. И догадываешься об этом только по нетерпению, с каким все ждут писем из дома, да по их беспокойным снам.

А фронт медленно — страшно медленно! — отползает и отползает на север.

Случались и происшествия.

Черников объелся-таки неспелыми абрикосами и чуть не умер от заворота кишок. А солдат Давид Татришвили пострадал от сотрясения мозгов.

Татришвили молод, здоров, красив, но с «поворотом», как говорит Горкавченко. Из-за этого «поворота» его и перевели к нам с передовой. Инструмент носить может, с рейкой бегает, из карабина стреляет и даже иногда попадает в мишень: что еще топографам надо? На фронте его не убили, так тут чуть казачки не доконали! Бежал мой Давид вдоль по Сунже с рейкой наперевес, а девки в реке купались. Еще и песню ему кричат:

«Лейтенанты, лейтенанты,
Их по карточкам дают!»

Обмер Давид и дальше уже побежал как во сне, не сводя глаз с купальщиц. Да с ходу-лету головой своей слабой — о мостовую балку! И упал.

Казачки чуть со смеху не утонули, а потом спохватились — кавалер-то врастяжку лежит и не шевелится! Выскочили, подхватили за руки-ноги и принесли ко мне воина с сотрясением мозга. Такое вот было ему у нас боевое крещение...

Все образуется!

Давиду мозги вправил доктор, а Черников сам вылечился испытанным способом деда Щукаря — в подсолнухах.

Еще под станицей Ассиновской угодили мы в метеорологическую переделку. С середины дня дальние лесные хребты вдруг начали менять краски и очертания: то мрачно синели и хмурились, то снова светились и прояснялись. Потом поволоклась по ним драная завеса дождя — и сразу похолодало и потемнело.

И ударило!

Все смешалось, заскулило и закипело: полегли травы, полыхнув светлой изнанкой, вытянулись и заколотились кусты. Зонт наш топографический вывернуло, треногу опрокинуло, а нас растолкало по сторонам.

Ливень бил не сверху, а сбоку, струи хлестали не вдоль, а поперек — как из брандспойта. Все заволокла водяная пыль: свистело, выло и ухало. И в кутерьме этой, словно кавказские танцовщицы, плыли, изгибаясь, водяные воронки, закручиваясь в жгуты.

Лавой ползла по дороге рыжая глина, канавы кипели, лужи пенились: и не укрыться было ни под бурками, ни под плащ-палатками. Рады были уж и тому, что спасли планшет, что не утонула наша месячная работа.

Что творилось вокруг!

Мешанина из грязи, камней и клочков травы. Обломанные и вывороченные деревья,

телеграфные столбы, обессиленно повисшие на проводах. Но если на земле был хаос и разорение, то в небе уже появились просветы, до голубизны отмытое небо, сияющие вершины хребтов — во всей своей мощи и красоте. И веяло от них таким покоем, такой незыблемостью и постоянством, что было на чем успокоиться и на что опереться душой. Покой и вечность взирали на нас с высоты.

Вот так и шла работа: то плавно и ровно, а то вдруг по ухабам и рытвинам. Как и всегда.

По вечерам, отдыхая, мы любили смотреть на горы. Чаще и дольше других смотрел на горы наш замкнутый и молчаливый «сын полка» Петя. Похоже, горы вылечивали его. А новое маленькое приключение нам скоро кое-что в нем открыло.

Мы продирались к очередному кургану сквозь заросли высоченной густой травы. Разгребали ее руками, пыхтя от духоты и жары, выкашливая сухую травяную пыль. И не на что было опереться, за что-нибудь ухватиться, чтобы высунуться из зарослей хоть на миг и глотнуть свежего ветра.

А тут еще что-то зашуршало, замельтешило, зашелестело: тьма темных бабочек вдруг поднялась над нами и заслонила небо! Завился над головою живой крылатый смерч.

А Петя заулыбался!

Когда мы выбрались на курган, проклиная траву и бабочек, он доверительно сообщил нам, что когда-то — давным-давно, еще в школе! — за коллекцию бабочек почетную грамоту получил.

«Давным-давно»,— прикинул я. Это два-три года назад. Но для него — да и для нас! — уже совсем в другой и невыразимо далекой жизни...

Все удивленно на Петю обернулись: великий немой заговорил!

К нам он попал из фронтовой части. И все молчал. И вот узнаем, что он с семьей эвакуировался на восток, а эшелон в пути разбомбили. Бомбили мастера своего дела, уже набившие руку на эшелонах. Первая же бомба разворотила рельсы перед паровозом — и вагоны полезли друг на друга. А потом опрокинулись и закувыркались под насыпь, давя и разбрасывая людей. Уцелевшие бестолково бегали по степи: их сноровисто добивали из пулеметов. Сверху, наверное, смешно было видеть, как нелепо внизу метались людишки, похожие на муравьев, как падали и ползали, натыкаясь друг на друга.

Техника облегчает убийство: попробуй-ка убить ножом всех этих мужчин и женщин. А издали, не видя лиц, не слыша голосов, очень просто, почти как в тире. Научно-технический прогресс облегчает жизнь убийц. Всего только-то кнопку нажать — и всем кранты...

И ты превыше всех, потому что лучше всех умеешь убивать, убивать больше всех и убивать без разбора.

Петя запомнил быстрые фонтанчики пыли вокруг себя и черные развесистые деревья по сторонам, вдруг вырастающие из-под земли. А над ними парили распластанные человеческие фигурки, похожие сразу на птиц и на кресты.

...У мамы из горла торчал треугольник стекла и изо рта фонтанчиками выплескивалась кровь. Она смотрела на Петю, а Петя вдруг перестал видеть.

Очнулся он в больнице какого-то попутного городка. Теперь он видел, но не мог говорить. У него спрашивали фамилию, адрес, он все слышал и понимал, а отвечать не мог. Да и не хотел. Ничего еще не зная о жизни, он уже многое узнал о смерти. Рухнул привычный мир, все закачалось и стало зыбким. И не на что было опереться, чтобы устоять. Из больницы он убежал и долго колесил по городам и весям в товарных вагонах, на попутных машинах: дичал, голодал и мерз. И столкнулся нос к носу с таким, чего и представить себе не мог — ведь в школе его приучили только к положительному герою. Перед злом он оказался беспомощным и растерянным. И не видел тех опор добра, на которых все-таки держался этот потрясенный войною мир. Все превратилось в хаос, крутился бессмысленный водоворот.

Случайно прибился он к тыловой части, разжалобил повара и прижился на кухне. А когда часть ушла на фронт, его направили к нам. У меня он работает «записатором» — записывает в журнал расстояния и углы. Солдаты зовут его «сын полка». В команде он теперь самый младший — и все его учат уму-разуму. Давид учит пышным грузинским тостам. «Живи столько лет, пока не высохнет Черное море, пока не посею на дне его виноград, потом сделаю из него вино и снова выпью за твое здоровье!»

Горкавченко, подмигивая, рассказывает, поглядывая на Петю, как он первый раз в жизни был в кустах с девкой. «Только не я ее туда затащил, а она меня на фронте: раненого, на перевязку!» Все смеются, а Петя багрово краснеет и отворачивается. Черников молча сует ему из-под полы что-нибудь из своих съедобных трофеев — подкармливает. Происходит то, что на уроках физики в школе называли тепловым обменом: тепло от предмета нагретого переходит к предмету холодному. Так наш «сын полка» помаленьку оттаивает, хотя еще подолгу, молча и в одиночку смотрит на далекие горы.

А вот сегодня даже заговорил.

Но волноваться ему нельзя — контузия. Он падает на пол и начинает выгибаться и колотиться. И жутко кричит: «Убивают! Убивают!»

Солдаты хватают его за руки и ноги, прижимают коленками к полу, подсовывают под

голову телогрейку. Но все равно после каждого приступа он весь избитый и оглушенный. Ефрейтор Нозадзе отпаивает его жидким чаем, отчаянно сокрушаясь, что нет вина:

— Хванчара, хванчара — самый лючший!

Немой заговорил. Я работаю на кургане, а Петя, взбудораженный бабочками, рассказывает солдатам, как он добирался в нашу часть. Эшелов их полз медленно, с долгими остановками, под обстрелами и бомбежками.

— А меня сняли с поезда за воровство! — вдруг слышу я.

Все к нему поворачиваются.

— Хоть я и не воровал! Верите?

Все молчат. Петя начинает торопливо рассказывать, как в пути поломался вагон, как он перебрался в плацкартный, укрывшись на третьей полке за большим чемоданом. Чемодан оказался какого-то чиновного интенданта, он заподозрил Петю и сдал на первой же станции коменданту. Замотанный комендант сразу же стал орать:

— Промышляешь, сука! У людей беда, а ты, гнида, пользуешься!

В руках у Пети был большой рупор, мегафон.

— Труба-то еще тебе зачем? — орал комендант.— Трубу-то зачем увел, горнист подвагонный?

— И верно, на хрена тебе та труба? — справляется у него Черников. Петя трубу эту привез и к нам — всем на удивление.

Петя продолжает про коменданта. Так и так, мол, трубу я не спер, а нашел, и чемодан интендантский не думал брать — мне его и с места-то не сдвинуть, а в трубу я при бомбежках орал: ложись, ложись!

— А то мечутся в рост по-дурному, а он их рядами кладет, рядами!

— И слушались? — опешил комендант.

— Которые слушались, те живые...

— Врешь, наверное, хмырь, напридумывал все? Ну да хрен с тобой, дуй, куда направили. У меня поезда на подходе. Да смотри мне, без дураков!

— Вот я к вам и придул,— поднял Петя глаза.

— Ты трубу ту в музей отдай,— советует Черников.

— А Черников там потом звонарем устроится, про свои геройские подвиги станет врать! — не упускает случай Горкавченко.

— Так верите мне или нет? — спрашивает тихо Петя.— Не воровал я никаких чемоданов!

И голова у него начинает дергаться.

— Верим, кацо, верим! — спохватывается Нозадзе.— Как не верить? Смотри, какой молодец, какой джигит!

— Не вру я, не вру! — теперь уже и руки у Пети дергаются.— Не нужны мне ничьи чемоданы, а в трубу я орал, до посиненья орал!

— А кто не верит? — поворачивается Горкавченко.— Ты только не дергайся, не заводись!..

С той поры «сына полка» Петю стали звать Мегафоном. Он не обижается. И молодец.

Сколько в команде солдат — столько и разных историй. Все мы истории, если приглядеться со стороны. Но никто к нам тогда не приглядывался: ни со стороны, ни в упор. Не до того было.

Пришло время перебираться с мест бывшей Кавказской линии в места, где шла когда-то рубка леса. Ближе к горам, из станиц в аулы. Все рады предстоящей перемене, даже новички уже успели проникнуться вольным топографическим духом. Один Черников с тоской обводит прощальным взглядом любезные его сердцу бахчи и садочки.

— Не рыдай, друг мой Черников! — посмеивается Горкавченко.— Не все тебе у казачек за пазухой жить! Ты лучше про подсолнухи вспомни.

И со значением напевает: «Во саду ли, в огороде...»

— Захеканный ты чувал! — взвивается Черников.— Цыган ты кубанский!

— А отчего солдат гладок — помнишь? — не унимается Горкавченко.— Поел да и на бок!

Все весело возбуждены и озабочены сборами. Что выбросить, что оставить, что понадобится в дороге. На месте всегда обрастаешь лишним, и каждый переезд как очищение: иначе кочевнику не прожить.

Разговоры на всех языках. А вернее, на одном, чудовищно перемешанном. Какой-то кавказский винегрет, аджабсандали — вроде африканского суахили. Так потихонечку превращались мы в тех лермонтовских «кавказцев», которые, как известно, есть «существа полурусские, полуазиатские»,— их и поймешь-то не сразу. Долго еще и после войны у меня выскакивали словечки, от которых у собеседников округлялись глаза.

И вот перебрались в чеченский аул Бердыкель — на берегу горной реки Аргун. На земли бывшей Малой Чечни.

Сюда уже постоянно спускались с гор бродячие шайки. Больше всего скрывалось их в Шатойском и Веденском районах — самых глухих и труднодоступных. В предгорье для охраны аулов созданы ополчения с громким названием «истребительные батальоны».

Батальоны эти, числом до взвода, несли охранную службу, как могли и умели. Мы, понятно, охраняли себя сами. Бандиты, по слухам, пока «инджинеров» в черных погонах не трогали — не любили они малиновые погоны. Оружие у них было не хуже нашего, а харчей у нас не было. Ради чего было им рисковать? До нас доходили пока что только романтические рассказы. Где-то одного абрека загнали в башню, а он, дурак, взял да и вылез на крышу — стоит у всех на виду, завернувшись в бурку. Ну сбили его с крыши, как ту ворону: полетел он, раскинув бурку, вниз. Подошли не спеша и видят: валяется бурка простреленная, а абрека нет! Дураками-то стрелявшие оказались: это он пустую бурку на крышу выставил, а сам с другой стороны башни спрыгнул и убежал.

Может, я и поверил бы в хитрость доблестного джигита, если бы раньше уже раз сто о таком не слышал. Да уж не у Лермонтова ли я еще читал? И очень все красиво: на войне не бывает так...

Начальство увещевало нас ни во что не вмешиваться: бандиты, мол, не ваше дело, а ваша забота — пуще глаза беречь планшет. Очень хороший совет, пока в тебя не стреляют...

Живем в доме юртсовета напротив мечети. Сержант отгородил мне палаткой угол у окна, поставил стол для черчения, положил на железную койку спальник. Солдаты спальники раскидали вдоль стен — коек больше не было. Развесили на гвоздях карабины и автоматы, свалили в угол весь инструмент. Приспособили чеченскую печку для варки родимой перловки с приправой из «второго фронта» — американской свиной тушенки. И стало уютно, как дома: — у кого он, конечно, еще уцелел.

Зашел Омар — председатель. Постоял в дверях, привыкая к запахам казармы: пота, кожи, ружейного масла и самосада. Невысокий, сухой и широкоплечий чеченец. Сразу же разобрался в нашей воинской иерархии и повел себя соответственно: с кем почтительно, с кем по-свойски. У чиновников безошибочное чутье: кто есть кто? Сразу угадывают и занимают нужную позицию.

Чеченцы любят оружие. Даже старцы их не расстаются с кинжалами, подвешивая их к тощему животу. И красиво кладут руку на рукоятку. Омар, покачивая головой и поцокивая, ласково, как котенка, поглаживал мой автомат на стене. Особенно ему нравилось, что у автомата не диск, а рожок с патронами: такой удобней держать при стрельбе.

Я снял автомат с гвоздя и дал подержать ему. Он покачал его на вытянутой руке, прижал локтем к боку, забросил за спину.

— Якши! — хвалил. И снова качал головой и поцокивал языком.

Тут ввалился мой Давид, волоча карабин за ремень, как козу за веревку. Омар скривился так, словно раскусил зеленую алычу, а Горкавченко побагровел, вскочил, вырвал у Давида карабин, рявкнул привычное — «турок, а не казак!». И завертел карабином, как фокусник палочкой.

Карабин у него порхал: прикладом вверх, прикладом вниз, к плечу, к боку, под локоть. Дулом вправо, дулом влево, дулом назад.

— Видел? — ощерился он на Давида.— Убью!

— Джигит! — заулыбался ему Омар.— Джигит!

— Еще дед мне говорил,— прищурился на Омара Горкавченко,— как станичники наши, бывало, с вашими абреками хлестались. Те только выкатятся из аула, а казаки их из засидки — рраз!

— И мой дед рассказывал,— все улыбался Омар,— станичники ваши бузы набузуются, а наши джигиты стреножат их сонных, а коней и угонят!

И оба рассмеялись и уважительно похлопали друг друга по плечу.

Я дивился чистому выговору Омара: многие чеченцы говорят по-русски почти без акцента, что другим кавказцам не удается. Но совсем удивился, когда Омар сказал, что слова «чурек», «кунак» и даже «джигит» они считают исконно... русскими! Что пришли они к ним от казаков. А мы-то щеголяли этими словечками, прикидываясь кавказцами!

— А ставни на ночь закрой! — посоветовал, уходя, Омар.— Не торчи в освещенном окне, не вводи в соблазн.

Так и сказал: «Не вводи в соблазн». И подмигнул.

Первая аульская ночь.

Солдаты спят, ворочаясь по углам. На столе моем «летучая мышь» с закопченным стеклом. За ставнями жарко, сижу в трусах. Составляю план работы на завтра. Места тут открытые, для съемки нетрудные. Вот только очень уж часто придется переходить через Аргун вброд. Даже сквозь ставни слышны его приглушенное рокотание и всплески на перекатах.

«Шумит Аргуна мутною волной»...

Откидываюсь на спинку стула. Век назад мимо вот этой мечети, что напротив моего окна, проходил полк галафеевской «экспедиции», в котором, возможно, был и Лермонтов. Мне слышится приглушенный топот коней, звонкое ржание, звон веселых шпор, рокот густых голосов, выкрики хриплых команд. Я вижу ряды гусар в нарядно расшитых куртках, похожих на аккордеоны. Они гарцуют, крутят ус, их распирает удаль и молодость.

«Попереди офицер молодой
Ведет сотню казаков за собой.
За мной, братцы, не робей, не робей,
На завалы поспешай поскорей!»

Прошлое не рассеивается бесследно. Оно в словах, в памяти, в воздухе. И перекликается с нами.

Стихают голоса и топот коней, и пыль, оседая, заметает следы...

...За окном вдруг зачастили суматошные выстрелы, но быстро стихли. Может, это аульские сторожа палят для острастки?

Никто от выстрелов не проснулся. Памятуя настойчивое наставление понапрасну ни во что не ввязываться, задуваю фонарь и ложусь. Утро вечера мудренее. Да если в эту войну от каждого выстрела вскакивать, так не успеешь и штаны надевать...

За ставнями в живой тишине слышны теперь одни заливистые сверчки. Сверчат тягуче и сонно, убаюкивая наш неспокойный подлунный мир. Вот так же сверчали они тут и сто лет назад...

Никто не хочет войны. А войны происходят с регулярностью расписания поездов. И чем цивилизованней становится мир, тем дичей и оголтелее войны. И тем беззащитнее человек.

...Далеко у Грозного нервно задолбили зенитки. Немцы еще на что-то надеются, пытаются еще бомбить, хотя надеяться им уже больше не на что. Для всех уже ясно, что это начало конца. Но еще два долгих года на фронтах будут калечить и убивать. Такое уж свойство у войн: кончают их не тогда, когда всем ясно, а когда воевать уже невозможно.

10 августа 1943 года я приступил к рекогносцировке Чеченской равнины. За аулом, у реки Аргун, темной пирамидой вознеслась одинокая гора Джем. Пирамида вся в курчавом барашке кустов и деревьев. На вершину ведет узенькая извилистая тропинка, похожая на длинную картофельную кожуру. На ней всегда жарко и пáрно: заросли перепутались словно войлок, и человечья тропинка больше похожа на звериный лаз. Когда по ней поднимаешься, пот не выступает, не капает, а непрерывно течет. То и дело отираемся мягкими байковыми лопушками, растущими на обочине. А на спине и плечах проступают заскорузлые пятна соли.

— Второй фронт выходит боком! — сообщает Горкавченко, выжимая бока гимнастерки.

Все мы ждем второго фронта: обещанного, как известно, три года ждут, так что уже осталось немного.

Вот она наконец, вершина! Простор на все четыре стороны, и свежий ветер со всех четырех сторон. Весь мой участок перед глазами. Такие вершины топографам только во сне снятся!

Серые извивы реки Аргун внизу, сужаясь, уходят в далекое дымчатое предгорье и теряются в черной гряде гор. Эти горы и называются Черногорье. Над Черногорьем вздымаются хребты зеленые, над ними — синие, а за ними — белые, снеговые; они вознеслись прямо в небо и перепутались с облаками.

Плоская равнина испятнана мозаикой разноцветных полей, расчерчена канавами и дорогами, вся в прожилках промоин и бáлок, в россыпях темных курганов. Готовая карта перед глазами — только на планшет перенести! Ну и начнем, помолясь, тем более что вершина-то эта священная.

Мегафон еле успевает записывать. Черников, благо тут с рейкой не надо бегать, ощипывает какие-то ягоды на кустах. Горкавченко с автоматом угнездился у выхода тропы из кустов: на всякий случай.

— А ягоды-то, небось, волчьи! — подначивает он Черникова.— Опять почикиляешь в подсолнухи!

Все остальные распластались в тени священного дерева, украшенного разноцветными тряпочками. Разделись донага, разбросав по кустам свои пропотелые «натрубахи» и «наткальсоны». Такие вершины и для солдат — мечта.

Лермонтов писал с Кавказа: «По совести сказать, я бы охотно остался здесь». «Одетый по-черкесски, с ружьем за плечом, засыпая под крик шакала, ел чурек, пил кахетинское».

Радости прямо топографические! Все это знакомо нам и теперь, сто лет спустя. Никто чаще топографа не спит в чистом поле, кинув спальник у первого же приглянувшегося куста. А еще чаще, подстелив под себя левый бок и накрывшись правым. Не успев даже погрызть чурека, не говоря уже о кахетинском. И остаться здесь сейчас навсегда тоже вполне возможно, даже если и не захочешь...

Я так преуспел с работой на этой священной горе, что, уходя, в благодарность привязал на священное дерево тряпочку — штрипку от «наткальсон». И даже желание загадал.

С горы мы скатывались напрямик, без тропы, весело проламываясь сквозь кусты, пугая стариков-чеченцев, караулящих кукурузу. Они сидели в своих вороньих гнездах, сложенных на деревьях или на высоких жердях посредине поли. И свистели как соловьи-разбойники.

— За мной, братцы, не робей, не робей! — покрикиввл Черников, ухитряясь на бегу срывать початки кукурузы и подхватывать с земли арбузы на ничейных бахчах.

Опознав «инджинеров», старики-караульщики сами звали нас и угощали дынями и чуреками. А Черникова узнавали даже аульские чеченята: он выстругивал им из дощечек пропеллеры, и ребятишки, завывая, носились с ними по улицам. Сейчас старики угостили его арбузом, загодя остуженным в ледяном роднике. Вот это был арбуз!

Так хорошо закончился этот день. Старец Джем, похороненный на вершине горы, явно благоволил нам.

Вечером в ауле какой-то праздник. В темном саду, увешанном фонарями, собрались селяне. Стар и мал образовали круг, оставив внутри площадку для танца. Весело переговаривались, вскрикивали, смеялись. Вот вступили и музыканты: женщина с гармошкой и мужчина с бубном. Заиграли лезгинку: сперва неуверенно, скованно, но, поддаваясь общему возбуждению и вниманию, все свободней, быстрей и ядреней. И вот уже все бьют в ладоши и первая пара вылывает в круг.

Не сравнить самостийный танец с поставленным!

Может, и не все в нем так складно и ладно, но зато от полной души. Это уже не набор приятных фигур, расставленных в продуманной очередности. Это всплески души, выраженные движениями, это спор, разговор между партнерами на глазах зрителей. В каждом движении, повороте головы, взгляде свой скрытый смысл и свой резон. Танец высказывает сокровенное и то, что неподвластно словам. В нем весь танцор: его любовь и ненависть, отчаяние и надежда. Такой танец неповторим, он всегда иной. И он всегда тутошний и свой. Зрители понимают его и не просто прихлопывают в ладоши, а что-то этим поддерживают, что-то осуждают, кого-то воодушевляют, с кем-то не соглашаются.

Все участвуют в танце: он разматывается перед зрителями, как клубок людских отношений, их симпатий и антипатий, их представлений о красоте.

Лезгинка захватывала все сильнее.

— Уме-еют! — дышал мне в ухо Горкавченко. И даже ноги у него дергались, как у стариков перед грозой.

Горцы в свое время потрясли воображение казаков. И казаки переняли от них бурки, черкески, башлыки, кинжалы. И этот вот горячий танец — лезгинку.

Танцоры были похожи на рой черных и белых бабочек, бьющихся у фонаря. За черным садом то и дело вспыхивали зарницы, и тени людей и ветвей дергались на земле. Женщины плыли белыми привидениями, волоча по траве подолы; черные мужчины, не отставая, ловко переступали на тонких ногах, загораживая им дорогу. Женщины, изгибаясь, ускользали снова и снова, а мужчины, расставив руки, вдруг вскидывались на цыпочки и начинали так быстро сучить ногами, что словно их было не две, а сразу дюжина. И всем все было понятно без всякого толмача.

Всплески зарниц, ритмические хлопки в ладоши, подбадривающие ружейные выстрелы, бубен, зажигательный ритм лезгинки — все это подхватывало и увлекало зрителей и танцоров, закручивая в единый вихрь.

Когда вдруг смолкла музыка и хлопки, все словно бы вдруг очнулись от наваждения. И весело, но чуть сконфуженно, словно в чем-то слишком уж открылись, быстро посматривая друг на друга, начали расходиться. Словно в самом тайном проговорились, хотя в танце не было сказано и словечка.

Пошли и мы — от чужого праздника в свои будни. Размышляя на ходу о том, как много можно сказать молча, сказать для всех понятно и ни единым движением не солгать.

На подходе к дому встретили ту самую чеченочку, ту самую трясогузку, что по многу раз на дню мелькала мимо наших окон.

Тоненькая, большеглазая, с высоким кувшином на узком плече, она независимо проплыла мимо — сосредоточенная и скромно-надменная.

— Даже ноги подкашиваются! — удиаленно сознался Горкавченко.

— Лебедь ты моя черная... — ахнул я.

Были мы в тех годах, когда чуть не от каждой встречной девицы ноги начинали подкашиваться. Но эта и в самом деле была совсем особенная: из тех, на которых все оборачиваются и оглушенно — и долго! — смотрят вслед. Есть, есть такие, излучающие сногсшибательные флюиды, непонятную силу, токи. Такая знак подаст — и пойдешь за ней, как коза на веревке, готовый на подвиг и преступление. Сила, рожденная слабостью.

«Трясогузка» прошла сквозь нас — легкая, неприступная, невероятная! Мы молча расступились, и стояли истуканами, и улыбались. А потом брели к дому, словно лунатики.

У самого дома Горкавченко вдруг очнулся и всплеснул руками.

— Товарищ лейтенант! — обалдело воскликнул он.— А ведь дорога-то к роднику короче есть!

— При чем тут твоя дорога! — отмахнулся я. И сразу же все и понял: чеченочка-то, выходит, нарочно крюк делает, когда за водой идет! Чтобы только мимо нашего дома пройти!

— Она же нам, дуракам, себя показывает! — орал Горкавченко. И в глазах его свет и тьма.

Утром красавица, как всегда, шла к роднику с кувшином мимо наших окон и снова глазом не повела. Но никто теперь по-дурному в окно не высунулся и глупостей не кричал, как иногда случалось. Даже Давид, любитель всех «дэвучек» подряд,— и тот молчал. И его обуздала красота.

Сколько сейчас на нашей земле вот таких, сотворенных природой для счастья и любви, но ни сами они их не узнают, ни других ими не наградят. Время быстротечно и неумолимо: минет положенная пора, и зачем тогда было все?

— Может, мне умыкнуть ее?

— А что! — загорелся сразу Горквввченко.— Проще репы! Сговвриваетесь с ней заранее у родника, а я, как в аул пригонят коров и займутся ими, привожу коней, вы с нею — ать-два! — и ходу. Ну постреляют вдогонку для вида, покричат в белый свет — красотища! Уж я-то знаю — все так и будет.

— Во, сказился, бугай! — накинулся Черников.— Ать-два! Ать-два — и лейтенанта в штрафбат! А она хоть и девица, а уже вдова. Охолонь, паря, трошки!

И озабоченно добавил: «Ну, а гостей, кунаков чем угощать потом? Поросячьей тушенкой? Дак они ж мусульмане: за девку, может, и не убьют, а уж за свинью точно на шматки посекут».

Нет, не обогатил я свою биографию похищением — а хотел! Еще как хотел...

— Но что потом? — думал я.— Что мне делать потом?

— Я бы ее тебе и так сосватал,— посмеивается Омар.— Да куда ты с ней? Некуда...

Для нашего рая нет даже и шалаша. Ни кола ни двора.

Одна гимнастерка и шаровары. Ну еще «натрубаха» и «наткальсоны». Да и те казенные...

Все было безнадежно. И не помог нам даже святой Джем со святой горы, хоть я и привязал к священному дереву цветную штрипку. Не ко времени было все, и не те знаки были на небе.

...А она все ходила и ходила мимо наших окон, изо всех сил стараясь на них не смотреть. С высоким тонким кувшином на узком плече. По дороге, которая вдвое длинней.

А я отводил глаза, потому что безнадежна для меня была даже сама надежда.

По утрам равнину заволакивает туман. Мои значки на курганах торчат из него, как вехи бакенщиков из воды. Зато стена Большого Кавказа плывет над туманом во всей своей мощи и красоте. Выше полосы облаков сияют розовеющие снега, а над ними — «гранью алмаза»! — оледенелый Казбек.

Больше всего мороки с Аргуном. То ливень в горах, то ледники на солнце подтают — и внизу сразу паводок. И все островки и мели тонут под валом шипучей воды. А схлынет вал — островки и мели снова выступают, но уже совсем другие, преображенные, на прежние не похожие — так их течение перелопатит. И надо все заново наносить на план.

И еще трава, в которой и на коне с головою тонешь! Сухая трухв забивает глаза и рот, крючки и колючки горстями летят за шиворот. Клянешь ее на всех кавказских наречиях, благо их на Кавказе больше двухсот.

Кончен и этот день.

Солдаты сноровисто, как всегда в конце работы, собрались и покатили — поберегись! — к дому. Я шел с остановками позади, дешифруя аэроснимки, то есть обозначая на них ясными топографическими знаками то, что на снимке было неврвзумительно и неясно.

Позади, из-за потемневшей Джем-горы, выползала огромная грозовая туча цвета застарелого синяка. И в ней — как искры из глаз — уже моргали молнии.

Как я ни торопился, а от тучи не убежал. При входе в аул вихрь ударил тяжелой подушкой в спину, пыль закрутилась у ног, песок, завиваясь, потек поземкой по узким улочкам Бердыкеля, закручивая смерчи в углах. Согнувшись и зажмурив глаза, и вскочил в первую же попавшуюся калитку — и услышал песню!

В затишке за высоким дувалом сидели рядком на корточках старики-чеченцы и негромко пели. Черные, горбоносые, в косматых папахах, надвинутых на глаза, похожие сразу и на пророков, и на разбойников. Да и песня их звучала то как молитва, смиренная, то как разбойничья, удалая.

Нечасто увидишь поющих чеченцев. На наш слух и не очень-то ладятся у них песни. Говорят, Шамиль их отучил хором петь. Но сейчас песня звучала на удивление слаженно и вдохновенно. Уж не гроза ли так возбудила их?

Рокочущие голоса певцов, вплетаясь в завывание и взвизги ветра, дополняли неповоротливое, но тревожное громыхание грома. «Валлай, иллалай!» — слышалось не то как припев, не то как призыв. И что-то грозное было в этом слиянии стихии и песни.

Все во мне напряглось, и волнение сдавило горло. Мелодия, подобно танцу, выражала то, что не под силу никаким словам. Странная сила была в этих в общем-то простых и хрипловатых звуках. Сила, от которой холодели щеки и мурашки щекотали тело. Я привалился к каменной кладке, молчал и слушал.

Наверное, это была очень старая песня. И, как во всякой старинной песне, в ней было то общее, что волнует и объединяет людей, выражая их характер и душу.

— Вот оно — настоящее! — думал я.— Настоящее...

От пения стариков все дрожало внутри. По непонятной мне песне я многое понял в чеченцах. Да и в себе самом...

Гроза получилась сухой: постреляла, потрещала и уползла назад, в горы. Бывают такие грозы: накаленная атмосфера разряжается вдруг без бури и ливня. И все сразу чувствуют облегчение и покой.

Ужинали мы, распахнув ставни и окна настежь, вдыхая озон. А потом сидели у окон до темноты, покуривая и помалкивая. В густых сумерках зашел Омар и напомнил, чтобы закрывали ставни. За аулом видели неизвестных, шли они к горе Джем.

А нам там завтра работать.

— Марша хылды! — сказал, уходя, Омар.

Как я понял, это что-то вроде пожелания безопасности.

Марша хылды...

19 августа по холодку перешли вброд Аргун. Успели проскочить по утреннему мелководью: ночью снега в горах не тают, и реки к утру мелеют. А к полудню Аргун начинает играть — накатывается вал талой воды.

Сразу за береговым обрывчиком начинались бахчи, и Черников по-хозяйски угостил нас арбузом. Святой Джем укоризненно взирал с высоты, мрачная тень его пирамиды протянулась до наших ног.

За бахчами начиналась та самая трава, в которой с головой тонет всадник и реечник вместе с рейкой. И где скрылись вчерашние незнакомцы.

Сперва мы, конечно, медлили, осторожничали, оглядывались, а потом, как всегда, положились на испытанное «авось». А что еще было делать?

Поднялись на первый курган, расставили мензулу, развернули зонт, волглые гимнастерки развесили на бурьяне. Они сейчас же задубели на солнце и стали похожи издали на солдат, сидящих кружком.

И очень хорошо: чужому глазу со стороны будет казаться, что нас вдвое больше.

Ветер обдувает распаренные тела, ветер катит оливковые волны высокой травы. Небо над нами исчерчено вереницами и угольниками летящих с севера журавлей: привет из далекой России...

День кончился спокойно и незаметно. Возвращались с запасом, чтобы засветло проскочить Аргун. Шли, как всегда, гуськом — ход самый экономный. На подходе к реке нас вдруг окликнули по-чеченски. В стороне темнели фигуры людей, одетых во что попало: в гимнастерки, черкески, мундиры немецкие и румынские. Они сняли с плеч винтовки и цепочкой пошли на нас. Вот так охотники выгоняют из кустов зайцев. Холодом от них потянуло.

— Ложись! — буркнул я своим.

Незнакомцы остановились и тоже залегли. Только один из них остался стоять — как и я.

Есть испытанная военная мудрость: бей, а не отбивайся! Не выжидай, а начинай первым — и бойцовская совесть твоя будет чиста. Но ведь это когда враги! А эти кто? Вдруг это охранники из аула?

— Подходи! — кричу стоящему. И сам не спеша иду навстречу.

Сошлись точно посредине, не сводя друг с друга глаз, особо следя за руками. Передо мной стоял молодой чеченец в черкеске с газырями, в косматой папахе, из-под которой он выглядывал, как из-под густого куста. А глаза синие-синие — очень редкий цвет у чеченцев. За плечом винтовка-иранка, на поясе кинжал с белой костяной рукояткой.

— Салам алейкум! — говорю я.

— Здравствуй! — отвечает он чисто по-русски. И улыбается. А зубы белые-белые.

Джигит не джигит, но по всему парень ушлый. И кинжал на поясе сдвинут так, что только руку в локте согнуть — и ладонь сама ляжет на рукоятку. Не то что мой родимый семизарядный, образца допотопного года: пока из кобуры выдернешь — плечо вывихнешь.

— Инджинеры? — спрашивает парень, вглядываясь в погоны.

— А вы кто?

— Истребители! — и улыбается.

— И бумага есть?

— Какая бумага, нас тут и так все знают.

Но я видел их впервые. Истребители... Только вот кого они истребляют? Верить или не верить?

Поверю — а они не те, за кого себя выдают. Не поверю,— а они свои: ни за что перестреляем друг друга.

— А что за форма на вас? — выпытываю.

— Такую выдали,— отвечает.— Какая есть.

И так может быть, одевались «истребители» во что придется. И джигит, вижу, мается:

кто мы твкие? Что формв яа нас советская — еще ничего не значит. Может, документы ему показать?

Покажу — а вдруг бандиты! И тогда сам подставлюсь и своих подведу: тут кто первым начнет стрелять, тот и выиграет. Кто тут кто? Ответа ие было.

— Ну так что же — по сторонам?

— По сторонам! — соглашается парень. И все улыбается, сузив синие свои глаза, похожие на оптические прицелы из просветленной оптики.

— Пошли?

— Пошли!

Разворачиваемся друг к другу спиной и рвсходимся: он к своим, я к своим. Ой как хочется обернуться: вдруг он уже в спину целится? Но обернусь, а он подумвет, что я стрелять собрался, и выстрелит первым.

Как по минному полю шагаю, сейчас взрыв и все.

— Кто? — тихо спрашивает из травы Горкавченко.

— Истребители. Вроде бы...

Горкавченко смотрит на старика Черпикова, на побелевшего вдруг Давида, на Мегафона, голова у которого уже начинает дергаться.

— Придется поверить,— говорит.

— Придется,— соглашаюсь я. Приложив ладони ко рту, кричу:

— Э-гей! Встаем и расходимся!

В ответ слышим:

— Только разом, вместе!

Значит, и они нам не верят.

Рвзом так разом. Встали, помедлили, сдерживая дыхание, ожидая подвоха, и разошлись: они в сторону гор, мы — к аулу. Мгновения ожидали окриков, выстрелов, сами готовы были упасть и стрелять в ответ. Но тут же кусты и сумерки нас разделили и скрыли, и все выдохнули облегченно, хотя долго еще внутри все было сжато и вздрагивало.

Предусмотрительность для топографа — вещь полезнвя. Но тут был тот самый случай, который заранее не предусмотришь, не вычислишь. На фронте всегда кричат: «Вперед!» Там враг всегда впереди. А тут? А тут и друг, и враг — со всех сторон. Крикнешь «вперед!», а он сзади.

Случай в нашей службе еще силен. Мой друг вернулся однажды на пирамиду за забытыми папиросами — и его там убило молнией. И сейчас: не размотайся обмотки у Черникова, не задержись мы из-за него на пять минут — и никого бы не встретили, и не пришлось бы решать вопросы жизни и смерти, и ни у кого не болела бы голова.

...На пути в Темир-хан-Шуру Лермонтов, как я читал, из-за ливня задержался в станице Георгиевской. Подбросил со скуки полтинник: вперед, по назначению — или назад, в Пятигорск? Вышло назад — навстречу Мартынову...

К Аргуну вышли уже при звездах. Вслепую, щупая ногами ползучее дно, сцепившись руками, двинулись в глубину. Вода вымывала из-под сапог песок, ноги вязли, упругие струи били в подколенки, а пена шипела и пузырилась у самого пояса. Тянулись через реку косяком, как те перелетные журавли.

Когда наконец зачернел впереди берег — вдруг вместо радости стало не по себе: а что, если караульщики примут нас за абреков? И жахнут по силуэтам, не разобравшись?

— Запевай! — заорал Горкавченко, стараясь перекрыть густой рев воды. И затянул знаменитую «Галю», которую казаки, как известно, сперва «пидманули», а потом «забрали с собою». Эту песню в ауле все уже знали. Так с опознавательной нашей песней мы и выкарабкались на берег, отплевываясь и плеща водой.

Впереди темнел настороженный аул. Давай, ребята, новую — чтоб уж не сомневались! Позадзе запел по-бабьи тоненько:

«Вай, дели, дели, делии,
Чким Лаврентий Берия!»

— Ты что — сказился? — набросился на него Горкавченко.— Хочешь, чтобы и свои?.. Чеченцы эту фамилию не уважали.

И затянул распевно:

«Конь боевой с походным вьюком
Кого-то ждет, кого-то ждет...»

Никто нас не ждал — аул молчал. Побрели мы в непроглядной тьме, выставя руки вперед. Все ставни были закрыты наглухо: ни голоса, ни светлой щелочки. Собаки и те молчат. Спотыкаясь, поднялись по ступенькам, побросали инструмент и оружие по углам, упали на свои спальники — как головой в омут. Бездыханно.

Омар ничего о вчерашних «истребителях» сказать не мог, никто его о них не оповещал. А что мы песни в реке орали — это хорошо. А то его караульщики уже стали прилаживаться...

Гнусное это состояние — неопределенность. Кто тут кто? Какой стороной завтра упадет пятак?..

Утром у мечети собрались старики: белобородые, чернобородые и даже краснобородые, крашенные хной. В нарядных черкесках с блестящими газырями, в курчавых каракулевых папахах, словно отлитых из бронзы и серебра, с устрашающими кинжалами на тощих перетянутых животах. Церемонно раскланивались при встрече, важничали, перебрасывались значительными словами.

Пятница, праздник, день общей молитвы.

— После молитвы буду с ними о займе решать,— говорит Омар.— Без них никак нельзя, авторитеты...

— А я потом на мечеть поднимусь с инструментом,— делюсь с Омаром.— Очень надо.

— Только меня дождись, вместе! — озаботился вдруг Омар.— Мало ли что, вдруг сорвешься.

И со значением смотрит в глаза.

После молитвы старики расходятся еще торжественней и умиротворенней. Молчаливые, неторопливые, важные.

— Как верблюды! — поддевает Горкавченко.

— Чай сейчас с женами сядут пить небось! — завидует Черников.— Козлы старые...

А мне старики нравятся! Есть в них что-то надежное, крепкое, настоящее. Авторитеты — лучше и не назовешь. Верно поступает Омар, что с ними советуется.

Старики медленно расходились, подставляя солнцу свои белые, черные и красные бороды, и жмурились, как коты.

Когда улица опустела и даже собаки попрятались в тень, мы с Омаром вскарабкались по выщербинам стены на самый купол мечети. Под самый штырь с жестяным полумесяцем наверху. И укрепили треногу.

Видно отсюда, как с горы Джем! Внизу прямо поднос с лакомыми топографическими угощениями — выбирай на вкус! Домики, улицы, тупики, перекрестки, сады, огороды. Дороги, поля, канавы. Все на виду: бери и раскладывай на планшете.

Омар смеется.

— Хочешь, анекдот тебе расскажу? Едет верхом ингуш...

— Или чеченец? — уточняю я.

— Э-э, не все ли равно! Едет верхом ингуш, а жена за ним по дороге пешком пылит. Встречный и спрашивает: «Ты куда, кунак, так торопишься?» — «Да вот,— отвечает,— жену больную в больницу везу».— «Так ты коня-то погоняй, погоняй, а то жена-то твоя уже чуть живая!»

И смеется, закатывается.

— Так кто же все-таки ехал: чеченец или ингуш? — пристаю я.

— Гяур, русский ехал! — огрызается Омар.

«Может, и русский»,— думаю я. «Я назову тебя зоренькой, только ты раньше вставай!..»

Так мы на макушке мечети, под жестяным полумесяцем, обсуждаем с Омаром дела мусульманские, христианские и всечеловеческие. Что на ум взбредет и что с языка сорвется.

— Вот ты — начальник! — размышляет вслух Омар.— А работаешь наравне с солдатами, и ешь то, что и они едят, и все на тебе не твое, а казенное. Так на хрена тогда быть начальником?

— Начальник для дела нужен,— доходчиво поясняю я.

— Для дела ишак нужен, а не начальник! — втолковывает Омар.— Начальник авторитет, ему других погонять. Потому все и лезут в начальники. Хорошие начальники не работают. Это мы с тобой не начальники, а ишаки...

— Так нам и надо! — подмигиваю я ему.

Последний отсчет, последняя запись, последний значок на планшете — и съемка окончена. Весь аул теперь у меня в кармане.

Сползаем по ребру разрушенной щербатой стены. Долго внизу отряхиваемся, отплевываемся и протираем глаза.

— Ты-то чего со мной увязался? — спрашиваю Омара.

— Да чтобы ветром тебя не сдуло! — посмеивается Омар.— Сдует, а я отвечай потом...

Кто служил в армии, знает, что значит для солдата потерять винтовку. Хоть и образца 1891 года.

Винтовку потерял, конечно, Давид. И ему грозил суд. И чтобы его от суда спасти — винтовку надо было найти. И вот сегодня, 21 августа, мы ее ищем.

Легко сказать!

На Аргуне дюжины самых разных проток: в какую из них угораздило нашего незадачливого Давида? Раза три мы переходили по его указаниям реку пока он наконец эту протоку вспомнил. Вроде бы...

— Мы, Давид, посидим на солнышке,— еле сдерживаясь, объявил я ему,— а ты, голубь сизый, снимай штаны и ныряй! Чтоб тебя водяной там защекотал...
А вода в реке ледяная — с ледников, а ветер над протоками снежный — со снеговых гор. И плавать Давид не умеет. Но он покорно разделся, и бронзовое южное тело его сейчас же пошло пупырышками и стало по-голубиному сизым. Он топчется и мается у кипящей воды, считая себя уже погибшим.
А речка играет: полуденные талые воды докатились с гор до равнины.
— Утонет ведь, гад,— шепчет мне в ухо Горкавченко.— Дайте я сам, я щас...
— Отставить, Горкавченко, погоди! — нарочно громко кричу.— Умел потерять — пусть сумеет и найти!
Хотя всем сразу видно, что Давид приспособлен только терять. Но он, как Иванушка в сказке, готов сейчас и в кипяток, и в ледяную воду, лишь бы вынырнуть красавцем с винтовкой в руках.
— Ты зря-то не джигитуй! — осаживает его Горкавченко.— А то потом и за тобой еще нырять придется, шкода!
Сидим, смотрим, даем советы.
Давид давно уж не бронзовый и даже не сизый, а цвета выгоревшей плащ-палатки. Он дважды прощупал ногами дно протоки, набросав на берег кучу топляков и коряг.
— Вот бы тебя сейчас твоим «дэвучкам» показать! — орет Горкавченко.— Доходяга!..
— Утянуло! — говорит Нозадзе.— Где найдешь?
— Утянуло! — эхом отзывается из воды Давид.— Где теперь найдешь?
— А трибунал? — напоминает Горкавченко. И показывает кулак.
А дело-то складывается серьезное! Та ли это еще протока? А если и та, то и в самом деле могло утянуть водой. И что тогда делать?
Разводим на отмели из коряг огромный костер. По очереди лазаем в протоку и шарим ногами по дну. Теплым-то животом да в ледяную воду! Но на дне уже не осталось даже коряг. Либо Давид ошибся протокой, либо винтовку унесло.
Тут подваливает с полей веселый Черников с двумя арбузами под одной рукой, вопреки чеченской пословице, что «два арбуза в одной руке не унесешь».
— Заробил седни,— придуривается он.
— Шо воны тут усе шукають? — ломаясь, обращается он ко всем и вальяжно разваливается у костра.— Неуж до се не нашли винтовку? Перекусить бы уже пора...
Кто-то запускает в него сучком, а Горкавченко, злорадствуя, объявляет, что как раз пришла его очередь окунаться в воду. Прояви-ка, мол, свою находчивость не на бахче, а в протоке.
— Этот жлоб хоть из-под земли, хоть из-под воды все достанет!
— И достану! — огрызается Черников.— Дайте-ка мне веревочку...
И дальше все происходит, как в рассказе писателя-лакировщика: безвыходная проблема решается до удивления просто!
Черников не спеша раздевается, делает приседания, разводит руками, потом обвязывается веревочкой и, не переставая похваляться, по-журавлиному заходит в воду.
Ежась, крестясь и поскуливая, он забредает по колено, по пояс, по грудь — и тут привязывает к другому концу веревочки... свою винтовку!
— Тут утопил, грузинский князь? — спрашивает у Давида.
— Тут, батоно, так точно! — стучит зубами Давид.— Шени чириме...
Не успеваем мы с Горкавченко ахнуть, как Черников бросает свою винтовку в струю и окунается сам. Всплеск, бурун — и ни Черникова, ни винтовки!
Вот и еще один штрафник! А то и утопленник...
Но Черников тут же выныривает, отфыркивается моржом и, перебирая веревочку, переступает вниз по течению. Остановился, зажал нос, с уханьем окунулся, вынырнул и... поднял над головой две винтовки!
— Ура! — тоненько выкрикнул Мегафон. А Давид уже зашелся в лезгинке, разбрасывая ногами окатанные голыши. Даже Горкавченко помягчел.
— Ну, сунженцы, ну, алкаши — гляди, до чего доперли!
— Батоно, друг, генацвале! — выкрикивал Давид, хватаясь за Черникова, который прыгал на одной ноге, не попадая в штанину.— Я уже с мамой прощался, я уже помирай!
— Мы еще у тебя на свадьбе гульнем! — обещает Черников.— Чем у вас там на свадьбах-то угощают?
Поскольку до свадебного пира еще далеко, Черников с прибаутками режет трофейным штыком трофейный арбуз и щедро всех угощает. И в который раз разъясняет нам свой хитрый способ.
— Тут главное — помни место! — наставляет он.— Тут, брат, не отговорка,— мол, дюже пьяный был или, там, с похмелья захеканный. Сам тони, а место помни! А потом другую винтовочку на веревочке и подбрось! Ее, голубу, водой куда надо и притянет, рядом положит, родимую. Как любушку на постель.
Все жевали и дружно хвалили его за смекалку. А он все поучал и разъяснял: не каждый день его так хвалили.

Давид смотрел зачарованно, другие спокойно жевали, а Горкавченко уже заводился. И так кидал коряги в костер, что искры вылетали взрывами.
— Кончай дурницы-то свои плести! Охолонь, звонарь, надоело.
Солнце заходило за гору. Холодная тень Джема накрыла нас. С верховьев реки потянуло пронзительным ветром. Винтовку нашли, а рабочий день потеряли.

Пока мы вчера выуживали винтовку, за аулом четверо неизвестных — у одного автомат, у другого ручной пулемет — задержали агронома и бригадира. Посадили обоих на корточки, расспрашивали про «истребителей», про магазин, про нас, «инджинеров». Никому ничего худого не сделали — взяли «интервью» и ушли. В кусты, в которых нам сегодня работать...
Ни кусты, ни высокую траву и кукурузу при работе ни обойдешь, ни на потом не оставишь. На карте все должно быть: поля так поля, кусты так кусты. Все канавы и тропы.
Быстро сигналю флажком с очередного кургана, чтоб реечники не волынили. Мегафон споровисто записывает отсчеты. Горкавченко сидит в сторонке в обнимку со своим автоматом, посматривает по сторонам.
Вот ефрейтор Нозадзе скрылся с рейкой в густых кустах — выйдет ли?..
Вчера за ужином Нозадзе вспоминал про свой дом в Алазанской долине, про заветный погребок Марани, где подавали черное вино, сделанное из черного винограда, а к нему черного сома на закуску.
— Вай, вай, вай! — закатывал он глаза.
А я хвастался нашими белыми груздями под белую водочку. Перловка хоть кого настроит на воспоминания.
— Щас бы борща чугун! — вздыхал по-китовьи Черников.— Да чтобы ложка колом стояла!
...А Нозадзе-то все нет и нет! И Черникова что-то давно не видно. Ну о нем не будем очень-то уж тревожиться. Так и есть — на бахчу свернул! Горкавченко свистит в четыре пальца и показывает ему кулак. Ага, заметался, голубь сизый, про рейку вспомнил! И поставил ее впопыхах вверх ногами...
Уф, наконец-то и Нозадзе из кустов вышел, цел и невредим! Теперь ему в кукурузу надо, а она тут высотой с телеграфный столб. Вот вошел, вот скрылся. Скорей бы уж выходил!..
С утра до вечера густые кусты, высокая трава, непроглядная кукуруза. Вошел, скрылся, вышел. Вошел, скрылся — почему так долго не выходит? Давно бы уже пора. И что делать, если там ударят вдруг выстрелы? Их-то не видно, им-то в этих зарослях надежнее, чем в окопах, а мы для них — как мишени на стрельбище. Но ничего пропустить нельзя, на карте все должно быть. Карта необходима всем — от рядового до главнокомандующего. «Карта — глаза армии». Так нам говорят. Да так оно и есть.
...Давида теперь не видно. Ага, и он показался! Но Нозадзе что-то снова в кустах запропастился!
С утра и до вечера: вошел — вышел. С утра и до вечера: почему не видно, где задержался? С утра до вечера и каждый день...

24 августа. Среди ночи неожиданный грохот в дверь. Стучал Омар. Его охранники привели неизвестного. И он хочет, чтобы при допросе был и я. Для авторитета.
Контора юртсовета набита возбужденными чеченцами: гул голосов, слои дыма, звяк винтовок и ружей. Задержанного при поимке, похоже, немного встряхнули: он сразу же притулился ко мне, ничего хорошего от земляков не ожидая. А я все же лицо официальное и самосуда не допущу.
Говорит, что он из Устар-Гордоя, служит в милиции, что ушел на ночь в аул за продуктами, днем со службы не отпускают. И вот задержали, а за что? Если к утру не вернется — его осудят за самоволку. А у него семья: жена, дети. Прикажите вы этим...
— Жена-а,— презрительно тянет Омар.— Чего же ты от жены на ночь глядя в аул сбежал? И наган прихватил — на кукурузу, что ли, собрался выменивать?
Кричат, что он в аул к чужой жене пробирался, что кукурузу с полей карабчить хотел. А, может, и в горы к абрекам хотел податься.
— А почему не в форме? — спрашиваю его.
— Стыдно в форме-то торговаться...
— А документы?
— Я же тайком ушел, к утру собирался вернуться.
Врет или не врет?
— А что, в милиции у вас тоже с продуктами худо?
— Худо, совсем худо... Не сообщайте на службу: жена, дети!
Общее возбуждение помаленьку спадает. Все уже поняли, а скорее, почувствовали, что

2*

поймали не злоумышленника. Продукты, жена, дети — это всем яснее ясного. И в милиции у них, оказывается, не лучше — а мы-то думали...

— Омар, что будем делать?

— Наган я ему пока не отдам. Позвоню в Устар-Гордой — служит ли он в милиции? Уж больно ушлый.

— Давно бы так! — возрадовался милиционер.— А то «карабчить», «абрек», «чужая жена»! Со своей бы на таком пайке справиться...

Все смеются, подтрунивая над оплошавшим милиционером. А полчаса назад, в горячке, могли бы и пристрелить. Надоели всем ночные визитеры.

То было вчера, а сегодня опять посреди ночи стук. Снова вылезаю из своего нагретого спальника.

Задержали ингуша: высокого, тощего, молчаливого. Он угрюмо стоит в углу, опустив голову, и обиженно хлопает глазами. Кинжал с него сняли, другого оружия не было. Гнал гурт коней, когда остановили — назвался табунщиком. Но какой дурак-табунщик будет сейчас по ночам коней перегонять?

Не дрался, не ругался, не убегал. Он и сейчас не грубит, не хитрит, не изворачивается.

— Угнал? — спрашивают его.

— Угнал,— хмуро отвечает он.

Угнал, чтобы продать и уплатить старый калым. Сосватали жену за большой калым, а расплатиться нечем. Кунаки подучили коней угнать. Опять других послушался — и попался. Всю жизнь, говорит, мне не везет!

«Картина преступления ясна», как писал Зощенко когда-то.

— У ингушей ведь так! — ехидничает Омар.— Что мое — то мое, а что твое — то тоже мое!

Ингуш смотрит на него обалдело: точно так они сами про чечен говорят!

Ингуша несердито запирают в сарай: калым тоже всем понятен не меньше, чем дети и продовольствие...

Утром, когда его уводили в Устар-Гордой, он грустно нас оглядел, подмигнул Омару и странно сказал: «Кукушка, кукушка — сколько мне лет сидеть?»

Все посмеялись и долго смотрели вслед невезучему ингушу и нерасторопному милиционеру.

— Омар, ты так поднимаешь свой авторитет, что я скоро умру от недосыпания.

Вечером показываю Омару луну. Через кипрегель, в тридцатишестикратном увеличении. В окуляре — сияющая тыква: это тебе не ущербный мусульманский серп!

Омар жмурился, прилаживался и сопел. А потом сказал почему-то шепотом:

— Поля, горы — как и у нас...

— Как и у вас,— согласился я.— Только маленечко поспокойней...

Вопрос из-за занавески ко мне. Спрашивает Давид.

— Товарищ лейтенант, а почему немцев Варва́рами называют?

— Гитлер-то бывший ефрейтор, как наш Нозадзе,— разъясняет ему Горкавченко,— а целой страной вызвался управлять, Варвара неграмотная...

Тут надо пояснить. Варвары у нас всплыли так. Был у нас в отряде особист, и на зимних квартирах он, с намерением или просто от нечего делать, собирал солдат и проводил с ними беседы.

Все беседы он начинал одинаково: «Какое вам выпало счастье жить вместе с товарищем Сталиным!» Но тут же строго и вопрошал: «Как же вы дошли до жизни такой?»

Все хмурились виновато, потому что провинности всегда были.

— Пора, пора вам расстаться с пережитками прошлого! — заботливо советовал он.

Солдаты, шуткуя, спрашивали друг у друга: «Как же ты, пережиток, дошел до жизни такой?» — «Особист довел!» — отвечал вопрошаемый. И все смеялись.

Был он малограмотный, в топографии ничего не смыслил, но всем офицерам великодушно обещал «подмогнуть, если что». И растроганно хвастался: кем я был до войны — шпана, а теперь я «охвицер»! Вот он-то впервые и назвал немцев Варварами, поняв на свой лад газетное слово «ва́рвары».

— Не Варва́ры, а ва́рвары,— говорю Давиду.— Ну дикари, что ли.

— Все вы ва́рвары и Варва́ры,— бурчит у печурки Черников.— Без картошки оставили, пережарили, дикари...

А на пороге уже сентябрь. В садах пожелтела айва, крепостью — да и вкусом — похожая на сырое полено. На плетнях висят раздутые рыжие тыквы, словно глиняные горшки, вывешенные на просушку. Пинькают на айве синицы, а в высоком небе курлычат и курлычат пролетные журавли.

И у нас в России скоро начнут желтеть леса...

Вырезка на «рубашке» — обклейке планшета — становится все больше и больше. Верный признак, что работа движется. Ближайшие окрестности уже засняты, и приходится уходить от аула все дальше и дальше. Значит, и возвращаться с работы приходится

поздно. А здешние ночи не для прогулок. И лучше перебраться на новое жилье, поближе к месту работы.

Дни в поле проходят быстро: с точки на точку, с кургана на курган — аллюр три креста. Забываешь даже, что, может быть, сидишь ты уже на мушке какого-нибудь «эдельвейса», приткнувшегося в кустах, и что первый же случайный шаг в его сторону может быть и твоим последним шагом.

Работа увлекает! На твоих глазах происходит фантастическое превращение неоглядного земного простора в компактное его отражение на бумаге. Словно ты воспарил и смотришь на землю из-под облаков.

Как в первые дни творения, возникают под твоими руками леса, горы, реки. Движением пальцев ты воздвигаешь горный хребет, росчерком карандаша прокладываешь дорогу, порождаешь реку. А потом рукотворное это произведение пристрастно сравниваешь с натурой, наводя последний лоск. И радуешься делу своих рук и головы, пока... пока не вспомнишь, что по плану должен ты был натворить вдвое больше!

И начинаешь накручивать план! И не до лоска тебе уже, не до красоты, абы скорей заполнить бумагу. Реечники — бегом, «записатор» — быстрее! Куда это снова все подевались? Горкавченко, где Давид?

Горкавченко молча встает, забрасывает автомат за спину и идет в кусты. Долго не видно его и не слышно, а потом доносится далекий мат и виноватое поскуливание Давида. Оказывается, он в кустах заблудился!

Реечники снуют в кустах, показываясь то там, то тут. Вошел, скрылся, вышел; вошел, скрылся... и не показывается. Эй, Горкавченко, Нозадзе что-то давно не видно. Быстрее, кацо, быстрей!

Весь день — с утра и до вечера. Но и с вечера до утра покоя нет. Ночи в ауле становятся все беспокойней. Прошлой ночью опять была стрельба.

— Абреки,— говорит Омар.— Буйвола угнать хотели.

Буйвола далеко за ночь не угонишь; выходит, логово их где-то поблизости.

На месте происшествия толока от буйволиных копыт и стреляные гильзы: финские и немецкие.

Сегодня только вытянулись на спальниках — за ставнями вдруг пальба! Выскочили вдвоем с Горкавченко, наказав остальным стеречь планшет. И сразу — тьма: куда бежать, что делать?

Справа накатывается дробный топот, слышно задышливое дыхание многих людей — кто они? Омар, ты здесь,— что случилось?

Не успел Омар отозваться, как в темноте прострекотал кузнечиком автомат. Всей кучей сворачиваем на стрекот, толкаясь и спотыкаясь. Но чем дольше бежим, тем все ясней представляется: вот полоснут вдруг из-за угла — то-то куча мала получится!

Чужой автомат время от времени потрескивает в отдалении — как трещотка от воробьев. Он удаляется ровно на столько, на сколько мы к нему приближаемся. Уж не на засаду ли нас наводит? Выманят стрекотанием в чисто поле — и жахнут со всех сторон!

Не один я такой догадливый, группа охранников все редеет. Никто уже не топочет впереди, никто не натыкается сзади. В тьме этой тьмущей очень легко отстать каждому, кто захочет.

И наконец остались втроем: Горкавченко, Омар и я. Чужой автомат, пострекотав напоследок, зловеще смолк.

Тишина, темнота. И мы в темноте, как мухи, утопленные в чернильнице. Вытаскивай нас по одному за крылышко и бросай.

Не то что по сторонам — своего же автомата в руках не видно. Разбойничью ночку выбрали эти разбойники!

Постояли, послушали, потоптались — да и побрели назад. Радуясь, что хоть Омар остался, к дому выведет. На ощупь идем, выставя руки вперед.

— Омар, где же твои джигиты?

— Да там уже, куда и мы идем,— устало отзывается он.

Без Омара мы дома своего бы не нашли, так и бродили бы до рассвета с выставленными руками. Ставни в домах закрыты наглухо: то ли все спят, то ли притихли и затаились. И собаки молчат. Ни звука, ни огонька.

На четыре дня выходили в поле, ночуя где придется. Летом, как известно, каждый кустик ночевать пустит. А сентябрь тут — совсем еще лето. И хоть дождями нас мыло, но солнце сушило, еще и ветром причесывало.

«Я только и делаю что хожу; ни жара, ни дождь меня не останавливают». Это не из моего топографического служебного дневника, это из письма Лермонтова. Знатный бы из него получился топограф!

Старина Черников, как всегда, гостеприимно угощает нас на чужих бахчах дынями и арбузами. «Обеспечиваю ударникам труда доппаек»,— поясняет он. Мегафон, глядя на разворотливого папашу, конфузится и краснеет, но арбузы ест. Мне уже надоело перевоспитывать этого деда, набитого пережитками прошлого. Да баштанщики не очень-то на него и обижаются, еще и сами его угощают.

У Мегафона появились связи: отыскалась тыловая тетка и какая-то его одноклассница. Уединясь, он время от времени перечитывает пачечку писем. И даже — вот мудрец! — вывел особый коэффициент любви. Если, говорит, поделить число писем на число дней, вот и получится этот самый коэффициент. Пока, к его огорчению, коэффициент больше у старой тетки, чем у его одноклассницы. Но он надеется: копит письма и считает дни.

Горкавченко тоже надеется: мать его перед самой войной выехала на Украину к сестре и пропала. Когда приносят письма, он отходит в сторону. Но ждет — вдруг позовут! У Черникова жена умерла, а дети неизвестно где. У одного Нозадзе вроде бы все в порядке: жена часто пишет и даже ни на что не жалуется. А он мытарится, не верит ей.

— Врет она, все — шени патрони... Меня успокаивает!

Ночью слышу — всхлипывает Давид.

— Ты что, Давид?

— Брата у него убили,— говорит Нозадзе.

— Умного убили,— всхлипывает Давид,— а я, дурак, живой...

Мои родители с эвакуированным заводом в далеком Омске. Тоже хорохорятся, хвалят суп из картофельной шелухи. Отец, как все старые кадровые рабочие, трепетно уважает инженеров и людей науки. Пишет о «старичке-профессоре», который научил заводчан сажать картошку не целиком, не расточительно, а ломтиками — глазка́ми. Вот до чего наука-то уже дошла! Жаль, что Лысенко не успел скрестить картошку с помидорами!

В планшетке у меня довоенная фотокарточка: мы, семеро одноклассников, на охоте. Ноябрь 1940 года. «Вся жизнь у вас впереди». И вот в живых из семерых остался только один — я. Пока...

Днем еще отвлекает работа, а по ночам, когда бывает невмоготу, выступает наш затейник Нозадзе — и начинаются хахапьки и смешки. Сегодня он нам завирает, как гостевали у сванов в горах. У сванов, слава Христу и Магомету, сохранился драгоценный обычай: класть в постель к дорогому гостю самую красивую «дэвучку».

— Вай, мэ! — картинно закатывал Нозадзе глаза и тряс курчавой своей головой.

Но чтобы гость совсем-то не забылся, кладут между ними самый большой кинжал!

— Вах, вах, вах! — хватался Нозадзе за голову.— Самая красивая дэвучка и самый большой кинжал!

— Если на кино снять — билет сто рублей будет стоить! — пояснял он слушателям.

— Вот напишу жене! — всхохатывал Горкавченко.— Она покажет тебе кино!

До отбоя все обсуждают рассказ Нозадзе, каждый по-своему решая непростой ребус с «дэвучкой» и кинжалом.

Но настала ночь, и все смолкли. И остались наедине с собой. Один на один со своими бедами и болячками.

За ставнями плющит холодный осенний дождь. Рыдает, словно отдавая Аллаху грешную душу, соседский ишак. Весь мир утонул в слякоти и темноте. И ничем не развеять ночных ползучих дум.

Набрасываю на плечи ватник и сажусь к столу. В кружок уютного света под лампой вдвигаю раскрытую книгу — как на блюдечко с золотой каемочкой. И уношусь в мир иной...

Но шорохи, шепоты, вздохи!

Дергается Мегафон: убивают, убивают, убивают!

Ворочается Нозадзе — снова что-то нет писем из дома.

Я уже намекал ему: напиши, мол, жене, пусть приедет на день-другой, далеко ли от Чечни до Грузии — рукой через хребет подать. Он посмотрел ошалело — как же сам-то не догадался! И в самом деле почти что рядом. Но в армии ты как на другой планете, весь мир остался где-то там, за горизонтом. Засуетился, забегал, но потом подумал — и отказался.

— Не хочу,— говорит,— чтобы она в дороге самый большой чемодан потеряла...

Я уже достаточно знал Кавказ, чтобы понять намек. Изредка зимой к кому-нибудь из местных солдат приезжали родственники. И привозили угощение. Но всегда почему-то самый большой чемодан с самыми дорогими подарками теряли в дороге или его у них крали. Громко причитали и ахали, хотели ведь вкусненьким угостить и солдата, и его товарищей — и вот такое несчастье!

Всем была понятна их наивная выдумка, но все деликатно помалкивали и горячо сочувствовали. Все хорошо знали, как непросто сейчас достать не только деликатесы, а и простого хлеба. Отправляясь, выскребали и выметали все сусеки, перед соседями унижались, выпрашивая чего-нибудь в долг.

— Последнее привезет, да потом еще будет оправдываться! — задыхался Нозадзе.— Знаю я ее...

И вот от жены никаких вестей.

У Горкавченко с фронта медаль «За отвагу». А он ее носить не хочет. Давид прямо извелся от зависти: вот бы ему такую, «дэвучкам» показать! Вернулся бы после войны домой, мечтает он, с медалью. Все в селе оборачиваются, спрашивают, кто это такой с медалью идет? Как, вы его не знаете? Да это же Давид Татришвили, наш сосед, тот самый,— помните? — что черного козла боялся. А теперь ему на фронте медаль за отвагу дали! Бальшим человеком стал! Может, даже буйвола для хозяйства купит. Женить его скорее надо, на самой красивой «дэвучке»...

А вот Горкавченко медаль не носит. Почти в тылу, говорит, сижу, а медаль напоказ вывешу? Смотрите, мол, все, какой я отважный, какой дважды героический герой! А половина страны под немцем...

Нет, не читается что-то — даже в ночной тишине.

Встает со спальника и, оглядываясь, подходит Петя. Тихо шепчет:

— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться.

— Обращайся, Петя, обрадуй хоть ты меня чем-нибудь! Коэффициент, что ли, новый вычислил?

Петя мнется:

— Особист меня к себе вызывал, велел на вас и на солдат доносить. Отпуск обещал за это устроить.

Я молча смотрю на Петю.

— Ну что же, Петя, доноси. Доноси, Петя, доноси!

— Да не буду я доносить, нечего мне доносить!

— Донеси для начала, что я тебе сейчас сказал слово в слово: «Доноси, мол, Петя, доноси».

— Да не велел он никому об этом рассказывать! Грозился.

— Тогда не рассказывай.

Утешил Петя...

Нам еще повезло: особист наш был просто дурак, а не карьерист. Из тех, которые убеждены, что человек когда-нибудь да проговорится, не может не проговориться! Нельзя же все без конца терпеть.

Нашему солдаты — для смеха — иногда такое докладывали, что он, похоже, получал только взыскания. И скоро он вообще куда-то исчез: на фронт, наверное, отправили — подмогнуть в драке с «Варва́рами»...

Нет, не читается, не спрятаться даже в придуманный книжный мир. А как там все чисто и гладко!

Грамотей Петя до чего додумался! Подходит как-то и говорит:

— Цусиму мы проходили в школе, так там за гибель одной эскадры какой шум был по всей стране! Что за правительство, что за командование? А тут...

— Ты думаешь, что говоришь?

— Извините, товарищ лейтенант, не подумал.

— Я-то извиню...

— Спасибо, товарищ лейтенант!

Все ворочаются, вздыхают, шепчутся и сопят. А скоро уже и подъем.

— Разгоаорчики! — грохаю я благополучной книгой о стол.— Спать всем — и чтобы ни звука!

Задуваю лампу и лезу в тесный спальник, надеясь спрятаться в сон.

Прошлой зимой в отряде в «Боевых листках» вошел в моду веселый раздел — «Кому что снится?». Вот бы туда написать, кому и что из нас сейчас снится! Веселенький бы получился номер! Порадовали бы особиста...

5 сентября уже, а небо чистое, а даль стеклянная — и видно до самых далеких гор! Помните у Лермонтова: «Я вижу каждое утро всю цепь снеговых гор и Эльбрус». Это то, что теперь каждое утро вижу и я.

«Для меня горный воздух бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит».

А вот это уже опасно, когда у солдата сердце по-особому бьется и грудь очень уж высоко дышит! Это возрастная дурь туманит им голову.

Возрастные причуды, как известно, бывают не только у стариков — у молодых они даже чаще. И мне то и дело приходится на самых брыкучих набрасывать уздечку Устава. Но они, закусив удила, вскидываются с игогоканьем на дыбы!

Все вызубрили по-чеченски «девушка», «как тебя зовут», «я холостой», «не бойсь». И лепят из этих слов такие фразы, что встречные девицы то шарахаются, то смеются.

Я — увы! — должен зубрить слова совсем другого рода: «как называется это урочище?», «куда ведет дорога?», «где брод на реке?». А то и того скучнее: винтовка — «топ», наган — «танг», кинжал — «шельд», бандит — «абрек». Такой вот у меня прикладной словарик на каждый день...

«Начал учиться по-татарски,— писал Лермонтов,— язык, который здесь необходим, как французский в Европе». Знал поэт, что говорил! Как в воду глядел: и сейчас, сто лет спустя, в Европе татарский не обязателен, а тут без татарского не обойтись.

Возрастная дурь эта понуждает солдат даже чужой язык учить, она, как малярия, бросает их то в жар, то в холод. Вдруг сразу у всех хандра — и ты изволь их ублажать. По Уставу я им отец родной! Даже Черникову, который чуть ли не вдвое старше. С ним-то, кстати, почти никаких хлопот: была бы к столу добавка. А всякие там коэффициенты

любви и мелькание девиц у окон его не волнуют. Он только морщится и отмахивается рукой.

А вот Горкавченко задурил, и теперь ему все не так. С него и начну воспитательную работу. Попробую пронять его, как советует комиссар, могучим печатным словом. Да не кастрированным газетным, а сразу высокохудожественным! Не трогают что-то солдат казенный газетный юмор и канцелярские байки. Они из них только цигарки скручивают. Классикой навалюсь!

Все чинно расселись. Листаю Лермонтова: ну-ка, ну-ка...

«Богатырь ты будешь с виду и казак душой».

Услышав про казака, Горкавченко настораживается. Развивая успех, я, поэтически подвывая, шагаю дальше, но тут же и оступаюсь. Дальше у классика так: «сколько горьких слез украдкой», «стану я тоской томиться» — ничего себе, утешение! Пропустим от греха. Ну а это пойдет, тут совсем безобидно: «Дам тебе я на дорогу образок святой».

Горкавченко вдруг покраснел, глаза у него выпучились, он вскочил и вывалился за дверь!

Когда я вышел вслед, он бешено тряс кол в плетне, словно хотел его выдернуть и кинуться в драку. Потом уткнулся в кол лбом и плечи его задергались.

— Жизнь подколодная! — захлебывался он.— Когда же все это кончится!

Оказалось, мать, провожая в армию, повесила ему на шею образок и наказала его хранить. «Дай слово, что никогда не снимешь, никогда!» И он не снимал, хранил, притал — да так, что даже самый глазастый ротный стукач не донес. А вот этот — как его? — Лермонтов — догадался...

И разом одно к одному: и проводы, и пропавшая мать, и нескончаемая война.

«Ну вот, одного успокоил! — думал я.— Отец родной...»

Но что-то же надо с ними делать! Завтра в поле сами себе на ноги будут наступать. Или, того хуже, начнут сгоряча рапорты строчить, чтобы на фронт отправили.

Ну, рапорты-то я порву, привычно обозову дезертирами и паникерами, как это делает начальство с нами, офицерами. Нам, мол, лучше знать, где вам лучше быть. Для чего, мол, вас всех учили. Но заплетаться-то они все равно будут, а заплетаться никак нельзя — у нас ведь план. И не рассчитан он, этот план, ни на какие там шевеления душ, ни на возрастную дурь.

Бог с ним, с сержантом, рядовых хоть бы взбодрить. Эй, Давид и Позадзе — тут у меня про «дэвучек»!

> «На мягкой пуховой постели,
> В парчу и жемчу́г убрана,
> Ждала она гостя. Шипели
> Пред нею два кубка вина».

Каково, генацвале, а? Вот уж угодил вам, Давид и Позадзе!

Но не успели еще унести «безгласное тело», как Позадзе уже воздел укоряющий перст.

— Нэт, нэт, дорогой лейтенант! Царица Тамар не была потаскухой, это сестра у нее была курва. Напутал тут твой кацо Лермонтов! Не учел.

Почему я должен всех утешать? Я что — Лука-утешитель?

А кто утешит меня? Или и самому снова рапорт на фронт накатать?

Но снова порвут. И обзовут. И призовут.

Не одолеть возрастной дури ни Уставом, ни классикой.

Вечер и тишина. Позадзе, мусоля карандаш, пишет письмо жене. Давид уламывает Горкавченко написать в станицу, где он головой мостовую балку вышиб. Помнят ли там его? Мегафон шевелит губами, уставясь в потолок: новый коэффициент высчитывает, наверное.

Сами себя утешают — наконец-то!

А мне и самому себя не утешить. В последнем письме она написала: «Мне уже 22 — к таким не возвращаются. О прошлом хочется плакать».

О прошлом хочется плакать...

6 сентября: времечко летит, но и планшет заполняется.

Не дороги, курганы и аулы я сейчас на планшет наношу, а саму историю! Сто три года назад тут прошла «экспедиция» генерала Галафеева. В одном из ее отрядов был поручик Лермонтов. Отряд выступил от крепости Грозная, переправился по мосту через Сунжу и направился к деревне Большая Чечень. Ныне это Чечен-Аул, он хорошо виден из моего Бердыкеля: на днях я туда переберусь. По имени этого аула всех местных жителей и стали называть чеченцами: сами себя они называли «начхо».

8 июля 1840 года отряд, в котором был Лермонтов, подошел к Гойтинскому лесу, потом была ночевка у аула Урус-Мартан. 10 июля переход к аулу Гехи. 11 июля бой на реке Валерик. Эти места видны со священной горы Джем, и мне еще предстоит там работать.

12 июля случилась перестрелка у аула Ачхой. Сейчас это аул Ачхой-Мартан: съемкой его я и закончу работу на лермонтовской трапеции.

Мы движемся по следам галафеевской экспедиции, по военной тропе Лермонтова.

— Давид! — кричу я.— Воодушевись, кацо, шевели ногами: по этой дороге сам Лермонтов проезжал!

— Да не сачкую я, товарищ лейтенант! — волынит Давид.— Кирзачи мои мамалыги просят!

Наконец-то обеденный перекур. Ветер истории сдувает с нас современную пыль. Растянуться бы сейчас на траве, лежать и смотреть в небо. И ни о чем, ни о чем не думать.

В небе летят и летят на юг журавлиные косяки. Журавли с далеких моих российских болот...

Как журавли по-чеченски будут? Ага — «гургули»! А конь, что в стороне пасется? — «Гаур». По дороге торопится женщина — «дауда». Вот свернула к роднику, пьет воду — «хи». Мужчина — «стег» — остановился в отдалении и уставился на наш большой топографический зонт. Осторожно приближается.

— Горкавченко, ну-ка возьми на всякий случай винтовку — «топ».

Распознав «инджинеров», чеченец облегченно кричит:

— А я думал — парашютисты! Салам алейкум!

Я тоже кое-что про тебя думал, усмехаюсь я про себя... Так я учу чеченский — с натуры. Вот бы так лежал и смотрел.

— Подъем! — орет Горкавченко.— Кончай ночевать, сачки!

Все обалдело вскакивают — разморило! — и хватают рейки.

— Позадзе — к кустам, Черников — в кукурузу, Давид — на дорогу! — распределяю я.— Веселей, Давид, по этой дороге, может быть, сам Лермонтов гарцевал!

— А кто такой Лермонтов! — оборачивается на бегу Давид.— Нарком?..

Никто не смеется, потому что мало кто в команде знает, кто такой Лермонтов. Но все знают, что такое нарком.

11 сентября я перебрался из Бердыкеля в Чечен-Аул. Сижу на тахте в кунацкой, застеленной циновками и ковриками. Заполняю служебный дневник работ. Есть в топографии такой дневник, который положено заполнять каждый день. Но никто толком но знает — чем? И каждый пишет, что бог ему на душу положит. А чаще, на что нечистый натолкнет.

Простаки все записывали, все по правде вплоть до своих гулянок. Дневники таких правдолюбцев были находкой для начальства: выдержки из них с удовольствием цитировали на всех зимних совещаниях, вызывая «веселое оживление в зале».

Прошлой зимой с большим успехом цитировалась такая выдержка: «У-ух, хороша! Плохо только, что уходить приходится до рассвета, в темноте да спросонок на коров на улице натыкаешься,— как раз в поле гонят».

Один изо дня в день фиксировал: «Туман и мелкий дождик».

И в самом деле всю неделю был туман и дождик, и работать в поле было немыслимо. Но и его цитировали с успехом.

— Ты же, писатель, меня подвел под монастырь! — рычал на него начальник отделения.— Уж если тебе сачкануть приспичило, писал бы, что, мол, занятия с солдатами проводил, кругозор, там, свой расширял или уровень повышал, над книгой, мол, работал и над собой — да что, тебя учить, что ли, надо? А то заладил как удод: туман и дождик, туман и дождик! Тоже мне, метеоролог нашелся.

С тех пор топографа того так «метеорологом» и зовут.

А другого зовут «старушкой». Он такую вот запись учинил: «Живу в станице у одинокой старушки». А в скобках добавил: «Лет двадцати». И три восклицательных знака.

Не везло нашему брату с этими служебными дневниками. Что ни напишем — все не так. Наконец один из начальников, потеряв терпение, решил сам сделать в дневнике подчиненного образцовую запись — для примера.

Но на поверку скоро приехал еще более высокий начальник, прочитал образцовую запись и, не разобравшись, с удовольствием приписал внизу: в старину, мол, гусиным пером записывали вечные мысли, а теперь вечным пером записывают гусиные. Зимой оба подверглись цитированию.

После этого случая дневники вообще перестали писать: лучше уж выговор, чем хаханьки по всему военному округу.

Вот я сижу и маюсь в кунацкой — что в дневник написать? Бумага-то вытерпит, а вытерпит ли начальство?

За окном мрачный осенний день. Тот самый — «туман и дождик». Мутные низкие облака волочатся над ободранными бодыльями кукурузы. Хозяин собаку из дома не выгонит, а топографу надо самому идти.

В кунацкой сухо, тепло, уютно. Стены побелены, пол земляной вымазан и утрамбован. На полках лунами сияют латунные и жестяные подносы и блюда. Вытянув журавлиные шеи, рядами стоят медные и серебряные кувшины, испещренные чернеными завитушками.

На лоскутном настенном ковре перекрещенные кинжалы.

Хизры, хозяин дома, вежлив и осторожен. И растерян. Воздух в ауле пропитан тревожными слухами и домыслами. Куда преклонить голову? Он то надувается, как индюк, то впадает в тихую панику.

По вечерам мы с ним пьем в кунацкой чай и ведем осторожные разговоры. И оба чувствуем себя неудобно.

Так что же все-таки написать в дневник? Надо же как-то обосновать свое сидение дома. «Дождем и туманом» не обойдешься!

А что если так: «Тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистел как соловей-разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока».

Коротко и похоже. Какая уж тут работа, если креста не видно?

И написано было гусиным пером. Пусть теперь Лермонтова цитируют...

16 сентября, закончена съемка у Чечен-Аула. Остался кусок равнины за рекою у Белготоя. Участок небольшой, но густо порос кустами.

В одиночку объезжаю снятый уже участок — для контроля. В инструкции такой операции нет, но знаю по опыту — нужно. Нужно увидеть картину не по частям, а в целом. Как солдат из окопа видит только то, что умещается в прорези его прицела, так и топограф при съемке смотрит не дальше реечника. И теперь надо окинуть единым взглядом.

Гора Джем из темно-зеленой стала уже рыже-бурой. Буйные травы, в которых мы недавно тонули, скошены и сметаны в копны.

Стога и копны стоят как бронзовые памятники некогда пышным травяным лугам.

У копен дремлют сизо-голубые от солнца буйволы, над ними роятся стаи черных скворцов.

Ветер свеж и пахуч, небо высокое, ясное. И хочется, махнув рукой на надоевшие контуры и рельефы, пуститься беспечно вскачь: чтоб земля пестрой лентой потекла под мелькающие копыта коня, чтоб ветер заныл в его гриве. Пусть заработают все миллиарды клеток, из которых, как из кубиков, сложен ты.

Знакомая вокруг земля, избеганная нашими ногами, истыканная нашей треногой и рейками. На ней останутся прошлые дни. А что я возьму взамен? Только память.

Конек топочет бойко, идет как-то по-крабьи, боком, пофыркивая и пританцовывая на ходу. И по летней привычке нещадно хлещет себя хвостом, хотя слепняей кусачих давно уже нет.

Глаза, не прикованные к планшету, с радостью и удивлением переходят с одного на другое, видя все как бы заново, в первый раз. Тут и замечаешь всю красоту земли! И хочется все вобрать в себя, оставить с собой навечно. Не потому ли топографы так упорно заполняют свои рабочие дневники не только положенными прикладными сведениями, но и картинами жизни? Даже себе во вред...

Топографа многое наталкивает на сочинения.

Каждый полевой сезон топограф что-нибудь да теряет: от котелка до коня. Потерять просто, еще проще сломать, а попробуй потом спиши! Начхоза графоманскими отписками не проймешь, ему подавай высокую литературу.

И начинаются муки творчества...

«Надвигалась гроза!» — писал в акте на списание один бывалый кавказец. «Вьючные лошади, скользя и оступаясь, из последних сил поднимались по узкой тропе. Вьюки то терлись об отвесную стену, то нависали над пропастью. Клубясь, наползла черная туча, блеснула молния, ударил гром, лошади вскинулись на дыбы...»

— И сорвались в пропасть? — ахнул я, заглядывая за плечо сочинителя.

Кавказец скосил хитрый глаз, почесал вечным пером за ухом и дописал: «с вьюка сорвалась чугунная сковородка б/у третьей категории и разбилась».

Какой же роман ужасов должен бы он сочинить, если б и в самом деле сорвались лошади!

Начхоз научит писать лучше всякого ЛИТО — литературного объединения. Когда я встречаю писателей из топографов, я знаю, с чего у них начиналось. Сам такой...

Конек топочет по звонкой равнине, выдувая ноздрями горячий пар. Многоярусные хребты на горизонте парят в невесомости. Они словно вырезаны из синей бумаги и наклеены на розовый атлас. Вечерний туман, как слоистый дым, заволакивает низины. И я уже плыву в нем на коне, утонувшем по грудь, как на живой ладье.

Сегодня наш путь к аулу Белготой: к тому самому, где заросли густых кустов, в которых гнусавят фазаны. И куда не раз уже скрывались неопознанные фигуры. Привычно переправились через реку Аргун — в который раз уже! «Шумит Аргуна мутною волной, она коры не знает ледяной». Она и сама ледяная. Отжали на берегу штаны и портянки, вылили из сапог «мутную волну». Досыхали, как всегда — на ходу. На целительном сентябрьском ветерке.

Оставив в отведенной нам комнате лишнюю «хурду-мурду», как тут говорят, мы поспешили назад в кусты, которые только что проходили, надеясь засветло успеть хоть что-то сделать.

Но возни оказалось много: без рейки не обойтись, а ее в кустах не видно. Да и ничего не видно: ни троп, ни лощин, ни промоин, ни самих реечников. Медленным секущим мензульным ходом продвигались мы в самую гущу зарослей. Вечерние тени уже вытягивались из-под кустов, а работе конца не видно. Последние отсчеты по рейке я брал, напрягая глаза до боли. Все — утро вечера мудренее! Завтра с утра докончим.

Сложили зонт, отвинтили планшет от треноги, уложили в ящик кипрегель — споро и быстро. Вечером никого понукать не надо, каждый сам сноровисто навешивает на себя то, что ему положено. Вот только планшет сегодня понесет Нозадзе, а не Горкавченко: его я оставил в ауле.

Голоса и шаги солдат быстро стихли впереди. Я не спеша шел за ними по смутно уже различимой тропинке, стараясь высмотреть и запомнить все полянки в темных расплывчатых кустах, очень нужные мне для завтрашних переходных точек. И тут случилось то, что подробно потом я описал в своем рапорте. Он сохранился: листок в клеточку с ворсом на сгибах. Лиловыми чернилами в нем написано:

«Настоящий рапорт составлен 20 сентября 1943 года в ауле Белготой Шалийского района Чечено-Ингушской АССР. Возвращаясь с командой с полевой работы 19 сентября, я немного отстал и был обстрелян бандитами. Темнота и кусты помешали им взять точный прицел, и пули прошли стороной. Только одна пробила пилотку. В ответ я дал две короткие очереди — в сторону выстрелов. Стрелявшие побежали к реке Аргун, стреляя вслепую в моем направлении. Перебегая, я бил по звуку. Со стороны убегавших послышался вскрик: возможно, что кто-то из них был ранен. Скоро я прекратил преследование, так как голоса и выстрелы прекратились. Команда моя, посчитав меня убитым, постреляла в воздух и побежала в аул за подмогой. Подмога в лице нескольких «истребителей» во главе с Х. Х. быстро прибыла, но поиски результата не дали. Израсходовано при перестрелке 84 патрона автоматных и 12 винтовочных».

И внизу подписи: одна по-русски, две по-чеченски и две по-грузински. И печать. Круглая.

Перечитывая сейчас этот рапорт, я больше всего удивляюсь числу патронов: когда я успел их столько нащелкать! Ведь так все было скоротечно! Но раз уж нащелкал, то надо списывать. И тут пригодились уроки бывалых кавказцев, образ той чугунной сковороды, хотя до их неопровержимого стиля было мне еще далеко. Да и факты не впечатляющие — разве что простреленая пилотка. Но что она для многоопытного начхоза? Сам, скажет, прострелил, чтоб побольше списать, чтоб на диких козлов в горах сэкономить! Пришлось пилотку заштопать и донашивать положенный срок.

Не тронули его и пять подписей на трех языках, и от круглой печати не прослезился.

А было-то, в общем, нешуточно. Когда пальба вслепую стихла, я посидел под кустами в запас, прислушиваясь по-заячьи. Ни солдат, ни бандитов. Ничего, кроме далекого рокота неугомонного Аргуна.

Соваться вперед, не зная, кто где, было глупо. Не по шороху же в темноте стрелять; шуршать и свои умеют.

Осторожничая, я выпятился из кустов на тропу, поднял с тропинки пилотку с дыркой под кантом наверху и пошел к аулу, соображая, где же все-таки моя команда. Самое умное, что они могли сделать, это спасать планшет, бежать в аул за подмогой.

Я шел по тропе с оглядкой, хотя чего оглядываться в кромешной тьме? Уши были куда надежней.

На подходе к аулу вдруг послышался на тропе встречный топот бегущих людей. На всякий случай я соскочил с тропы и встал за дерево. Но тут же в гомоне голосов распознал так знакомое мне причитание Нозадзе: «Вах, вах, вах!» И Черников дышал знакомо — с хрипом и свистом.

Я шагнул им навстречу, и все смолкли: настроились увидеть меня лежачим, а я вот он, стоймя торчу посреди тропы! Тут все загалдели, перебивая друг друга.

Слава аллаху, вокруг свои, все целы, и планшет в надежном месте. Даже закачало от облегчения.

Х. Х. знакомит меня с командиром «истребителей» М. М. Он, оказывается, «известный чеченский писатель». Интересно бы рассмотреть живого писателя, да еще командира «истребителей», но в темноте плохо видно. Жму ему благодарно руку: это второй в моей жизни писатель, с которым меня знакомят. И оба они поддержали меня в нелегкие минуты жизни, хоть и в разное время. Нет, положительно писатели, в общем, совсем неплохой народ!

После суматохи вдруг разом спохватываемся и бежим туда, откуда я только что пришел. Добежали до самого Аргуна, постояли над кипучей водой, побродили по кустам, но никого не услышали и не увидели. Если и был у «тех» раненый, то его унесли с собой.

Ужинали совсем уже поздно и молча. И даже Черников не бурчал привычно и не просил добавки. Один Давид все вертелся и порывался рассказывать, как он «бежаль и стреляль».

— Вай, вай, вай — бежаль и стреляль, бежаль и стреляль!

Разглядывали, передавая, мою простреленную пилотку.

И вдруг совершенная тишина нависла над столом: каждый, наверное, вдруг представил, что мог бы сейчас не чай гонять, а валяться в кустах на берегу Аргуна, уткнувшись носом в землю.

А во мне уже шевелился уставной «отец-командир». Я потряс пилоткой и поучительно произнес:

— Всем намотать на ус!

Надеясь на «эффект воронки» (снаряды редко падают дважды в одно и то же место), а главное, на авось, с утра пораньше мы уже в этих кустах. И шумный участок за утро закончили без хлопот. Без хлопот вернулись в аул, собрали свою «хурду-мурду», шумно распрощались с охранниками Белготоя и даже до полуденного паводка успели к Аргуну, хотя и все равно начерпали мутной его волны. Но, главное, подозрительные кусты были уже за спиной.

Рапорт мой вызвал в штабе не то чтобы тревогу, а нужду как-то откликнуться, отреагировать, проявить «заботу о людях». В аул пожаловал сам генерал!

Для полевиков-топографов явление генерала почти что явление Христа народу! Это только в нынешних фильмах генералы то и дело лобызаются с рядовыми и даже пускают слезу, отправляя их в разведку. Генералы не рассиропливаются по таким пустякам.

Чувствовал себя генерал неловко. Расспрашивать ему было не о чем: в рапорте все было написано. Осмотрелся в кунацкой, пощелкал пальцем по звонкому горлышку бронзового кувшина, понравил кинжалы, крестом висящие на ковре, покосился на мой планшет: вправду ли уцелел? Ткнул Черникова в живот, чтоб подтянул ремень, замарахе Давиду приказал сменить подворотничок. Строго — на всякий случай! — посмотрел на меня. И отбыл. Сладка пыль из-под колес уезжающего начальства!

Но польза для меня от его приезда вышла. Во-первых, начхоз без разговоров списал патроны. А в ауле теперь смотрели на меня почти что с восхищением: это тот лейтенант, к которому настоящий генерал приезжал! С красной полосой на штанах и в каракулевой папахе! Такому лейтенанту не жалко теперь и коня для работы выделить. И даже бричку.

А что еще лейтенанту надо...

После беспокойных белготоевских кустов пришла пора перебираться на самый западный край участка, к аулу Ачхой-Мартан. Путь туда прямиком по лермонтовскому пути: Чечен-Аул, Гойты, Урус-Мартан на реке Мартан, Гехи на реке Гехи, Валерик на реке Валерик. И наконец аул Ачхой-Мартан на реке Фортанга.

Выехали 5 октября. Переезд вышел не скорый и не простой. В пути нужно было составить топографическое описание места: есть в топографии такой вид работы. И пришлось на аулы, дороги, рощи и балки смотреть не попутно и рассеянно, а служебным топографическим глазом. И отмечать не то, что само навязывается, а что нужно для карты. Но все равно помнилось, что этим путем сто лет назад ехал Лермонтов. И многие строчки его стихов прямехонько ложились на местность.

Есть в топографии еще и такое понятие — «привязка к местности». Так вот, иные лермонтовские строчки накрепко с этой местностью связывались. «Казачьи тощие лошадки стоят рядком, повеся нос». Точно такие и сейчас у ручья дремлют, отмахиваясь от мух! Далекий Казбек «шапку на брови надвинул» — накрылся облаком.

При переходе через реку Валерик пытался я угадать прошлое место сражения. Непуточное было! У Лермонтова и в прозе есть о нем: «Нас было всего две тыщи пехоты, а их до шести тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых».

Но ничего уж не опознать: жизненная сила земли не терпит примет смерти. Все кануло и прошло. И «небо ясно»...

Топочут кони, взбивая пыль. А вокруг не просто география, а география лермонтовская.

«Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой».

Вот он, Казбек! Поражает точность лермонтовских стихов. «Чалма» — свиток белых облаков на его вершине, «риза парчевая» — спадающие с плеч горы сияющие фирновые снега. Казбек, Казбек, ты долго будешь еще волновать людское воображение, если, конечно, и на тебе не построят «канатник», как это сделали теперь на твоем кунаке Эльбрусе...

При дальнем переезде охватывает топографа особое чувство — чувство дороги. Едешь и вспоминаешь другие места и другие дороги. Что было, что случится, на чем душа успокоится. Память затейливо переносит тебя из края в край: вдруг ясно всплывет давно

забытое, да так отчетливо, что даже вздрогнешь и поежишься; то прошлое самым странным образом переплетется с настоящим, и вдруг представится, что это уже когда-то с тобою было и вот теперь повторяется. Дороги, повороты, перекрестки, развилки. Глаза твои то и дело на чем-то задерживаются с особым вниманием — и ты догадываешься, что это твое, отражение тебя в этом мире.

Дороги сходятся и расходятся; топот неутомимых копыт, позвякивание уздечки, поскрипывание седла — все сливается в чувство дальней дороги, все наводит на раздумчивый лад.

К Ачхой-Мартану мы вышли в базарный день. Вдоль Фортанги толпились покупатели и продавцы. Ветер нес и завивал пыль и мусор. Гул голосов мешался с рокотанием реки.

Базар по нынешним временам не бедный, но очень странный: больше всего на нем было немецких и румынских мундиров, иные с эмблемами «эдельвейсов». Высокие офицерские сапоги с лаковыми голенищами, горные ботинки с шипами, ремни с пряжками. Уж не все ли это, что осталось от «горных дьяволов» и «снежных барсов»?

Но молчали вещи. И помалкивали продавцы.

Поселились у слияния Фортанги и Ассы в казачьем хуторе Давиденко. Живу в доме одинокого старика-казака с позеленевшей от старости бородой. Ему, говорят, 124: тогда он на сто лет старше меня! Мог быть и в отряде у Лермонтова!

Иногда я сажусь рядом с ним — вдруг да заговорит? И я услышу Прошлое. Но он не хочет и говорить. Он приваливается к стене и подставляет изморщиненное лицо солнцу. Все, что мне важно и интересно, для него уже не имеет никакого значения.

Он в другом измерении и непонятен мне, словно инопланетянин. Он смотрит на неугомонную землю из равнодушных звездных миров.

Ну а у нас заботы земные. Высокие, звездные миры открываются нам лишь тогда, когда мы посреди ночи второпях выскакиваем за дверь...

17 октября перебрались в Ачхой-Мартан, что был сожжен в ту галафеевскую экспедицию. Улочки в ауле кривые, всюду закоулки и тупики.

На равнине вокруг курганы — и тут они выручают меня. Курганы молчат, как и мой старик-хозяин. Прошлое надежно скрыто в них...

На работу выходим рано, когда только трубы отдельных домиков начинают курчавиться дымом. А возвращаемся поздно, уже со стадом. Пастушонок на гривастой лошадке мечется позади стада и лупит палкой буйволов и коров — словно пыль из них выколачивает.

В это коровье время солнце нижним краем уже окунается за хребет, а верхним еще подпирает тучи. И в зазоре между черным гребнем и синей тучей на чистой лазури неба розовым легким клином парит Казбек, похожий на далекий мираж.

Бывает, добираемся до аула и того позже, на попутной скрипучей арбе. Пока арба уныло скрипит, вихляя по грязной дороге, Казбек из розового становится черным, а небо за ним — лимонным. Лежим на груде бугристых кукурузных початков и смотрим, как в небо уходит день. И вот уже в вышине одни только звезды.

Из темноты к арбе время от времени выскакивают верховые чеченцы: мелькают их белые лопушистые шляпы, вороньими крыльями машут бурки. О чем-то резко спрашивают возницу — и с топотом проваливаются в ночь. Это охранники.

Помаргивает в темноте между землей и небом одинокий огонек, доносится далекий брех собак. Огромные колеса арбы скрипят и виляют, словно хромой на деревянной ноге идет. Сквозь ресницы светит Большая Медведица, а вон помаргивает и Полярная. Где-то в той стороне мой отчий дом. Которого больше нет...

Памятен и утренний, «коровий», час. Аул сочится приторным кизячьим дымом, пирамидальные тополя стоят по пояс в тумане.

«Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табун, река журчит одна».

А в небе, как раздуваемый ветром уголь, наливается краснотой Казбек. Погодя он становится золотым — как позолоченный купол собора. Медленно возникают и проявляются по горизонту ярусы синих хребтов: чем дальше и выше — тем невесомей и голубей.

Вот уже и на равнине туман подернулся розовым: зашевелился, закурчавился и потек. Ближний лесной хребет из синего становится бронзовым — от позолоченного осенью леса. И уже кружит над ним орел, разминая замлевшие за ночь крылья.

Едешь верхом и беззаботно посвистываешь: вот оно, счастье бродяги, избитое, как подкова...

30 октября. Трапеция сделана, конец полевым работам! Лето всего прошло, а кажется столько зим и лет...

Топографы с гор съезжаются в Грозный. Большой осенний съезд — в нашей жизни всегда событие. Заново присматриваемся друг к другу, узнавая и не узнавая. Более потрепанные за лето кажутся старше, и к ним заново приходится привыкать.

В Грозном предстоит общая «камералка» — вычерчивание планшетов и калек, проверка журналов. И, конечно же, сводки.

Пчелиный гул голосов переполняет большую общую комнату. Вперемешку столы и стулья, посуда и инструменты, спальники и оружие. И все, конечно, навалом, швырком, вразброс.

— Какая раззява трогала мой планшет? — слышен яростный вопль.

На орущего шикают, толкают в бок, подмигивают и шепчут:

— Тихо ты, слепошарый! Начальник отделения его взял и смотрит...

Ровный гул голосов то и дело взрывается громогласными фразами, как ровное рокотание горной реки — шумными всплесками.

...Это ты у себя на Украине был Изюмченко! А на Кавказе ты Кишмиш. Младший лейтенант Кишмиш!

...Я так за лето почернел, что жена спрашивает: как же я спать-то с тобою буду, тебя же ночью совсем не видно!

...Подбегаю к перевернутой машине, а они глаза то открывают, то закрывают, то откроют, то закроют!

«Хабар, хабар» — новости, новости!

Со всех четырех сторон планшета, с долин и гор. Глаза и руки у всех заняты на планшете, а языки и уши свободные.

...Ну что ты со своим Дунаевским? Тебе что, Утёсов, что ли, на ухо наступил?

...Месяц на Эльбрусе на одной перловке сидел. Спасибо, «эдельвейса» нашел замерзшего, у него шоколад в ранце.

...Ну если уж по лычкам золотым судить, так выше швейцара и человека нет!

...Фрицев-то, фрицев, братья-славяне,— гляньте, куда уже выперли!

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе!»

Это уже не мои товарищи, это Лермонтов говорит за нас. За всех сразу.

Трапецию я наконец-то сдал, команду передал в роту. Все они сейчас там: Нозадзе, Горкавченко, Давид, Черников, Мегафон. Горкавченко сегодня начальником караула, Нозадзе — дневальным по роте. Мегафон на самоподготовке делает вид, что зубрит Устав, а сам сочиняет письмо однокласснице. Давид второй сеанс смотрит в клубе «Большой вальс». А Черников, ясное дело, в поте лица трудится рабочим по кухне.

Через сколько-то лет и моя трапеция устареет, и новый топограф под новым небом нанесет на нее новые изменения.

Желаю ему благоприятного расположении светил.

Зимою 1944 года в Тбилиси, кажется, в феврале, ехали мы в Дом офицеров, что у площади Берии. У Мухранского моста через Куру пришлось задержаться: навстречу шла колонна крытых грузовиков.

— Говорят, курдов вывозят из Тбилиси,— сказал кто-то.— И греков.

— Гоп, мои гречаныки!..— добавил из темноты остряк.

Никто не засмеялся, все молчали, пока мимо рокотали нагруженные машины.

А скоро узнали — слухами земля полнится! — что выселили в Казахстан и Сибирь всех ингушей и чеченцев. Солдаты в малиновых бериевских погонах окружали аулы, подряд всех сажали в машины и везли к железной дороге. А тех, кто скрывался, потом выслеживали в горах. Попадались, говорили, и ребятишки: одичавшие и полуживые.

— Продались Гитлеру! — объяснили тогда нам. По тем временам такое объяснение исключало всякие дополнительные вопросы.

Ленинград, 1975 год.

О Н. СЛАДКОВЕ И ЕГО «ЗАПИСКАХ ВОЕННОГО ТОПОГРАФА»

Многие годы я знаю Николая Ивановича Сладкова — талантливого и трудолюбивого детского писателя. Среди писателей-«природников» он стоял и стоит — давно уже — высоко. Хотя иной раз и случалось мне вступать с ним в спор, написанное Н. Сладковым всегда ложилось в тот главный опыт, которому доверяешь не только сознанием, но и душой.

...Вот один *личный* пример. Голодным мальчишкой военных лет — кстати, в то самое время, когда юный военный топограф лейтенант Сладков составлял свои кавказские «планшеты»,— я разыскивал черепах среди горячих камней у горной речки Нарык на границе Узбекистана и Киргизии. Навсегда запомнилась мутная холодная нарынская вода в брызгах и жутких водоворотах у скал, обжигающий солнечный огонь, а весной — красные бескрайние поля тюльпанов и маков в предгорьях...

Потом все это было пережито словно бы заново, когда я прочитал книги Н. Сладкова о горах, о пустыне.

Он — писатель для детей в том, видимо, смысле, что созданные им книги возвращают ощущения самые первичные, самые изначальные, расшевеливают чувства, которые лежат глубоко под спудом у взрослого, но легки и непосредственны у детей.

С любовью и пониманием Н. Сладков перенес на страницы своих книг нашу мать-природу — лес и море, горы и пустыни. Его глазами мы смотрели, его ушами слушали, через его душу вникали в великое и только теперь — на грани утраты — оцененное богатство, данное нам в пользование и любование,— богатство природы. Не утратить бы нам эту ценность — иначе не выжить!

Завидую Сладкову и всегда считал его счастливым человеком, общавшимся с природой так долго и близко, как только может хотеть человек.

Но и несчастным, потому что мало кто знает, как Сладков, какие опасности, какие напасти обрушились на нее. Выстоит ли?

Мы осуждаем — на уровне пропаганды — отношение к природе как к бесплатному пирогу, которого чем больше ешь, тем больше остается. Но в захламленном подсознании нашем все еще сидит хищный зверь, который хамски потребляет природу и чудовищно ее оскверняет. Тем более, когда за дело берутся могучие и бесконтрольные ведомства...

Мы верим в силу твердых и неподкупных законов, но важно и умение художника пробиваться в хаос подсознания, чтобы влиять на личность.

Н. Сладков это умеет.

Думается, поэтому не кануло бесследно все написанное им — от первой книжки «Серебряный хвост» до «Подводной газеты», «Земли солнечного огня», до «Медового дождя» и многого другого, что меняло и меняет уже более тридцати лет зрение и совесть читающего человека, особенно если писательское слово падает в еще не затвердевшую, еще отзывчивую детскую душу.

...Сегодня в «Записках военного топографа» мы узнаем в чем-то другого писателя — того Сладкова, который, вероятно, еще и не думал о писательской судьбе.

Кавказ! Счастливая для русской литературы, обетованная земля.

О чем же эти «Записки»?

О будничной работе военных топографов — так?

Действительно — сплошной быт, день за днем. Ориентиры, рекогносцировочные знаки... Но все это на земле, только что пережившей бои. Беспокойное время. Бродят остатки гитлеровской дивизии «Эдельвейс», постреливают разношерстные бандгруппы. Встреча с теми и другими смертельно опасна. Но народ кавказский, люди вокруг живут своей жизнью, желая мира и отвергая насилие.

Несколько человек, группа топографов, заброшенная военной судьбой в самую глубинку Чечни и Ингушетии, живут среди людей, чье отношение к «инджинерам» если и не горячо дружелюбное, то уж вполне миролюбивое. И сами топографы чувствуют и ценят своеобразную, непохожую — но глубинно общую и внезапно близкую жизнь горцев. Не нужно только вмешиваться в нее, не нужно ничего навязывать, тем более — силой.

...Но что-то тревожное надвигается в подтексте «Записок» Н. Сладкова.

Ждут наши солдаты открытия второго фронта. А становятся свидетелями (слава Богу, что не участниками!) «третьего фронта», открытого сталинской деспотией против своего народа. Заканчиваются «Записки военного топографа» тяжелой картиной: прошло несколько месяцев — и вереницы крытых грузовиков под охраной вывозят всех подряд чеченцев и ингушей. Грубо, людоедски разорвана тысячелетняя связь народа и природы, совершено самое тяжкое нарушение законов социальной экологии.

Обо всем этом, в сущности, и рассказывает в своих воспоминаниях Н. И. Сладков.

С этого почти полвека назад началось его прозрение, его путь в литературу.

В. Акимов



Константин Ваншенкин

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Мне отец говорил:
— На морозе курить, братец, вредно...
Я, понятно, курил
И при встрече с ним выглядел бледно.

Как-то, помнится, сгреб,
За спиной раздавил папиросу,
Бросил крошки в сугроб,
Улыбнулся, готовый к вопросу.

Правда, дым из ноздрей
Не развеялся в воздухе синем.
Мог бы и поострей
Мой отец разговаривать с сыном.

Но предвидел уже
Путь мой длительный по первопутку,
Краткий сон в блиндаже
И в замерзшей руке самокрутку.

* * *

Опять снимаю книгу с полки
О молодости фронтовой,
Где коллективные осколки,
Шумящие над головой.

Я книгу медленно открою
И прошлое разворошу.
Я лишь не ведаю порою —
Читаю или сам пишу.

У ОБЕЛИСКА

Крик «ура!» или «за мной!» —
И окончен путь земной.
Но опять — сиянье дня.
Построенье. Толкотня.
Пионеры. Военком
С поролоновым венком.
И нечаянный укол:
Процедура? Протокол?..

АЭРОПОРТ

Аэропорта розовая пасть
На подступах видна к аэропорту.
Здесь некуда и яблоку упасть —
Антоновке, анису и апорту.
Но втиснитесь вовнутрь и, черт возьми,
Об этом не подумаете даже:
Во-первых, все заполнено людьми,
А во-вторых, и яблок нет в продаже.

Я помню, порт бывал полупустым,
Тревожащим и отгонявшим дрему.
По смутным чувством, может быть,
шестым,
Я понимал: все будет по-другому,
Поскольку населенье на Земле,
Дай Бог ему и впредь, не поредело.
Наоборот: повсюду, в том числе
И здесь — растет. И росту нет предела.

* * *

Никогда в чащобах этих
Зверь не думает о детях
С той естественной поры,
Как убрались из норы.

Цель — с природой расплатиться!
О птенцах забыла птица
В тот счастливый миг, когда
Упорхнули из гнезда.

Начинают все сначала,
Лишь бы в сердце кровь стучала,
Смутно радости суля.
Начинают все с нуля!

Средь степей, в речных излуках
Зверь не ведает о внуках
И о правнуках своих
В чащах мрачных и сырых.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Мимо стараний
Летнего дня
К осени ранней
Тянет меня.
Хочется к женской
Прелести той,
Будто бы гжельской
Сини густой.

Тихое слово,
Словно во сне...
Золото снова
Ныне в цене.

На полустанке
И у реки —
Царской чеканки
Березняки.

* * *

Предпочтенье старым стенам
Я и прежде отдавал.
Здесь доныне пахнет сеном
Опустевший сеновал.

Пробужден толчком невольным,
Встал... Ненастье у крыльца —
Как красотка с недовольным
Выражением лица.

* * *

Юная, средь сутолоки высшей,
В городской заботе и тщете
Летним днем стоит перед афишей,
Бегло закрепленной на щите.

О другом о чем-то в слитном гаме
Словно бы задумалась слегка,
Только между влажными губами
Двигается кончик языка.

БАЛЛАДА О КОРАБЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

В то утро весеннее
Он был наверху.
Такое везение
Лишь раз на веку.

Но словно по наледи —
Вопрос и ответ:
— Убитую знаете?..
— Знал несколько лет.
Работали в отрасли
Когда-то одной...

А волосы-водоросли
Чуть тронуты хной.
А брови — травиночки.
Луч гладит скулу.
В лице ни кровиночки —
И кровь на полу.

— Но я был на палубе,
Все время, с утра.
Бесспорное алиби.
Вот даже сестра...

Беседа не выспренна,
Струится как шелк.
Отчетливей выстрела
Наручников щелк.

* * *

Снова штопанье чулок
На грибочке деревянном.
Свет струится над диваном,
Тень уходит в потолок.

Не мехмат и не физтех,
Не ремонт автомобилей —
Это действие из тех
Удивительных идиллий,

Где жестоких стрессов спад,
Где царит миропорядок,
Потому что внуки спят,
И, по счастью, сон их сладок.

В праздник — гости и пирог,
В будни — школьных книжек стопка.
А у бабки снова штопка —
Долгой жизни эпилог.

* * *

Не ударьте в грязь лицом
При всеобщем дефиците
И лужок перед крыльцом
Непременно докосите.

Не спеша, наоборот.
Это будет вам отрадой.
Докосите до ворот,
А потом и за оградой.

Види в небе некий знак,
В позднице писали годы
Тютчев, Фет и Пастернак,
И, конечно, также Гете.

Проповедуйте добро,
Не страшась, до самой смерти.
Уронить из рук перо
Вы успеете, поверьте.

Константин Яковлевич Ваншенкин (р. 1925) — советский поэт и прозаик. Первая книга стихов — «Песня о часовых» — увидела свет в 1951 году. За ней последовали многие другие — и стихи, и проза. Собрание сочинений в 3-х томах вышло в свет в 1983—1984 гг. Живет в Москве.

Леонид Лиходеев

Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала

Роман

106

Первое февраля восемнадцатого года перескочило сразу на тринадцать дней вперед, поторопив, погнав государство в европейское цивилизованное время, в новый стиль.

Новая власть отменяла, запрещала, вымарывала Россию. Ободранный, ощипанный новый язык — новое письмо, без еров, без ятей, без фиты, со скверной, волосатой и на обертку негодной бумагой — коротко и ясно рубил мозг запретами, обещая казни, реквизиции, и новизна языка сего сама по себе подтверждала — все будет по писаному, никаких лазеек, никаких обходов!

Какой-то немыслимый возница затянул узду отощавшей коняги и с места, огревая по бокам батогом, погнал ее непролазной дорогой тащить неведомый неподъемный груз...

Особняк на Васильевском, так и не ставший госпиталем, давно уже не был похож на респектабельное жилище петербургского капиталиста. В комнатах стояли буржуйки, трубы их выходили в окна, забитые, где нет стекол, железными листами — рыжими и покоробившимися. В буржуйках горела гарнитурная мебель.

В гостиной разместился штаб самоходного соединения вольноопределяющегося Шкловского. Сам Шкловский — небольшой, верткий, похожий на преувеличенного новорожденного младенца — говорил сквозь ехидную усмешку, пересыпая речь парадоксами, матерщиной и стихами футуристов.

— Дилетанты побивают профессионалов! — встретил он Юдифь.— Радуйтесь происходящему!

На выщербленном затоптанном паркете столовой солдаты и мастеровые разбирали двигатель, внесенный сюда с мороза.

Комнату Мари занимал комиссар соединения Федор Микулин. Где помещался сам вольноопределяющийся — никто не знал. Он появлялся и исчезал. Было похоже — он играет какую-то игру, которая ему вот-вот наскучит.

Правила домом Анюта.

Она переселилась в господскую спальню, и спальня эта была единственным помещением, сохранившим прежний вид, если бы не буржуйка. Буржуйка в спальне была особенная, ребристая. Она стояла у самого окна, и окно было забито железом только в одном квадрате. В остальных семи сохранилось стекло.

Анюта была влюблена в своего Федора Микулина жарко. Любовь эта подкреплялась еще и тем, что тогда, в Харькове, в госпитале, Анюта не соблюла себя, поверив Феденьке (женюсь, вот увидишь!), и теперь не раскаивалась: Феденька разыскал ее, не бросил, разыскал, несмотря на революцию.

Что делал Микулин с последнего их свидания — Анюта не знала. А попал он из Харькова на Донбасс, был агитатором на Южном заводе миллионщика Коршунова, мотался после февраля в Питер и снова — на юг. Что он там делал, Микулин не распространялся. Анюта знала только недавние дела его на даче Дурново — иак будто привел он к большевикам наиболее сознательных анархистов.

Окончание. См.: «Звезда», 1990, № 2—4.

Как-то ночью, в постели, отдыхая от страстей, Федор спросил:

— Анют... А барышня твоя ничего не знает?

— Чего ей знать, Феденька?

Микулин встал, закурил «Дюшес» от уголька в тлеющей буржуйке, пустил дым, снова присаживаясь на кровать.

— Помнишь, в Харькове поручик к ней ездил?

— Ну?..

— Штабс-капитаном стал...

Анюта вскочила.

— Ну... Феденька...

— Пришили его... Частную собственность защищал...

Анюта схватилась за щеки.

— Сдуру, конечно,— покуривал Микулин,— тогда мы думали: завод — есть очаг эксплуатации... Теперь, конечно, понимаем — заводы нужны пролетариату... А тогда... Сдуру, Анюта... Несознательные были...

— Федор! Ты стрелял? — спросила Анюта так строго, что Микулин приоткрыл рот, не донеся папироски.

— Не я, Анюта, не я! Сказал бы, вот те крест,— перекрестился окурком.— Я только диспут с ним открыл... А кончила братва...

— Бандит!

— Не бандит я, Нюшечка, не бандит! Несознательный я был, слепой!

Анюта кинулась в подушку. Павел Михайлович! Веселый, добрый, умный! А она? Стерва! Хоть бы вспомнила разок о нем! А может быть, вспоминала? Может быть, знает? От нее же клещами ничего не вытащить!

— Федор,— глухо, в подушку сказала Анюта,— молчи...

Микулин радостно кинул к буржуйке окурок.

— Нюшечка! Распрекрасная ты моя! Они ж отстреливались! Они ж наших троих положили!

И кинулся было — в любовь. Но Анюта оттолкнула его. Она почувствовала, что с этого момента власть ее над Федором Микулиным безгранична.

Юдифь бывала на Васильевском все реже. Она теперь оставалась ночевать на Кирочной, у новой революционной своей подруги Наташи Толкачевой. Федор Микулин реквизировал для нее автомобиль, которым она не пользовалась. Но сегодня он сам (с шофером-солдатом) прибыл за нею в Смольный и повез домой.

Глаза Федора Микулина светились детской радостью:

— Одного я не понимал: как это вы, миллионщица, и — за народ?

— Зачем же вы для меня реквизировали автомобиль?

— Правду скажу: не для вас! Режьте меня, что хотите,— не для вас! Для Анютки! Очень она вас любит... Я думаю — ладно! Это заскорузлое рабство я из тебя выбью! Как это — барышню свою любить? Но — верите — слова не сказал. Мотор хочешь? На тебе мотор! За барышней — в Таврический? Садись — поехали! Все равно завтра барышню твою укокошим, и — сама поймешь! А не поймешь — поплачешь и — забудешь! Вот как я думал!

— А теперь?

— Теперь? Что ж я — не вижу? Юлия Семеновна! Я теперь сам за вами — куда прикажете!

— Что же изменилось, Федор Михайлович?

— Вот видите? Федор Михайлович! И — никакой насмешки! Кто я был? Смех один! Анархия — мать порядка! Дураки они! И князь у них есть будто, а дураки! Я тогда еще Анатольке Железняку сказал: дурак ты, дурак! Ты что — дурья голова — не видишь, какой каюк твоей анархии делает сознательный пролетарий? Ну, приставишь ты винта к буржую! Ну? Шубу снимешь! Нет, братишка! Ты сделай так, чтоб буржуй не грабежа твоего боялся, а слова! Сказал — гроб! Я Якову Михайловичу говорю: вот обтесал дубину для победы мировой революции! А не для жратвы какой или для барахла! Где Викжель? Нету Викжеля! Что мы их — грабили? Нет! Мы им слово сказали! Я за это голодать буду, землю грызть буду! Горла грызть буду! Но чтоб слово мое — закон! И за это вам, старыми словами говоря,— спасибо. Ленин сказал — для меня закон! Я сказал — для прочих закон! Это есть народная справедливость! А что был я анархист — быль молодцу не укор...

Речь его напоминала сказ, заклинание, присягу. Он как будто торопился выложить все, что в нем накопилось. Так говорят неразвитые люди, у которых нет никаких аргументов, кроме искренней веры в то, о чем они говорят. Юдифь слушала его, чувствуя, что увлекается его оборотами, его речью, за которыми горела, как ей казалось, истинная возвышенная правда простого человека.

— И смех и грех — уголовные! Не уголовные, а, скажу я,— безголовые! Хочу у Якова Михайловича попроситься — к уголовным. Я из них людей сделаю, большевиков первый сорт! Факт, а не реклама! У меня глаз — ватерпас! Что такое большевик? Это — анархист с политикой: руки анархиста, зубы анархиста, а голова — прошу подвинуться! Голова

соображает, для чего руки и зубы! Но — соображает про себя! Про свободу все говорят, и Милюков молол, и Чернов мелет. А как ту свободу сделать, одни большевики знали — знали да помалкивали до поры. Организация! Надо Вильгельма обдурить? Обдурим! Надо слова говорить — скажем! Потому что на уме у нас одно: реквизиция всемирной буржуазии для справедливой жизни пролетариев всех стран!

Она прибыла в чужой дом, настолько чужой, что ей казалось — она не знает ни расположения комнат, ни порядка жизни. Она старалась не ходить по комнатам, не думать, не видеть. В Анютиной комнате, где ей предстояло ночевать, висел образок и теплилась лампадка. В свою комнату она не пошла, как не пошла в кабинет отца, как не хотела видеть у буржуек обломки мебели и обрывки книг. Она сидела на Анютиной кровати, не понимая, зачем она здесь. Голова была пуста. И вдруг цепочка, на которой висела лампадка, оживила в ней Анютины слова: «Барышня! Наше все закопано! Даже Федор не знает!» Юдифь не хотела спрашивать — откопали, не откопали. Она отгораживала себя даже от памяти.

В комнату постучали. Юдифь вскочила и чуть было не крикнула: «Павел!» Но в двери стоял Коршунов.

Он был в поддевке, шея обмотана шарфом, на голове треух. Она никогда не видела его в таком наряде, но узнала сразу и сразу пришла в себя.

— Евграф Лукич! Что это за маскарад?!

Коршунов, не снимая треуха, оглядел комнату.

— Хорошо живешь...

Вошел, сел на сундучок у двери, увидел образ, но не перекрестился, а только снял шапку.

— Прощаться пришел,— сказал Коршунов.

— Что так? — дернулась как бы на шутку Юдифь, но Коршунов только вздохнул.

— Будет врать... С победою вас!

— Это приятно слышать. Не думаете ли вы записаться к нам? — с деланной насмешкой сказала Юдифь.

— Записался бы. Не возьмете! Буржуй есмь... Пристрелить — пристрелите, записать не запишете.

— А вы попросите!

Коршунов стал вдруг серьезным и сказал как о деле обыкновенном:

— Сейчас не время... Придет время, и буржуев станете записывать, а пока — время расстреливать...

Коршунов вздохнул:

— Революции я не враг, голубушка... Это большевики — ее враги, потому что они — насупротив революции пошли... По-нынешнему, по-собачьему говоря — левее левых.

Ей почему-то стало жаль Коршунова.

— По-вашему, они контрреволюционеры?

— А как же! За ними народ хлынул, а народу революция вроде ходынской забавы — кружки бесплатные дают!.. Грабь, стало быть... А что он при этом сам себя потопчет — ему не видать...

— А вам видать?

— А мне видать... Он, народ-то,— кивнул на дверь, за которой шумел чужой дом,— ваши тары-бары про вселенский интернационал не слушает, не-ет... Он другое слушает... Вы ему мир посулили — ура, землю посулили — ура... А как вы мир устроите, когда самая ярость кругом? А землю как? Земля-то — не идея, ее митингами не вспашешь...

— Евграф Лукич! Вы всегда говорите странные вещи! Вы умны, а логики у вас никакой! Ведь основа нашей программы: земля — крестьянам.

— Всякая власть в России об одном заботилась — не давать мужику набираться силы... А всякая власть — от Бога... И вы — от Бога, за прегрешения наши...

— Евграф Лукич! Вы снова за свои каламбуры! В России появилась новая власть! Народная! Небывалая!

— Небывалой власти, голубушка Юдифь, не бывает... У Господа власть небывалая, а у нас, рабов его, бывалая, хоть царь, хоть Троцкий... Аппарат насилия, так я говорю? Вот и вся российская власть...

— Да вы понимаете, что теперь к власти пришел весь народ! Весь!

— Ну-к что ж... Весь так весь... Это ж сколько теперь городовых да околоточных будет?.. Где уж тут землю пахать?.. Нет, Юдифь, не знаете вы народа... Он без царя в голове сколько хочешь проживет, а без царя на троне — недолго...

— Не будет царя, Евграф Лукич!

— Ну-к что ж... Слава Богу... Значит, пропадете...

— Евграф Лукич! — воскликнула Юдифь.— Как вы можете так говорить? Вы же сами из народа!

Коршунов потускнел знающей улыбкой.

— Я-то могу... А вот вы-то — не можете... Я-то его знаю... Ему-то,— опять головой на дверь,— в работниках еще походить лет сто, пожить честью, не воруя... Бороду чесать научиться... Интерес свой понять... А вы его сразу — на митинги, детскую ярость его распалять, немецкими словесами потчевать... Брат брата не понимает. Будто Вавилон наступил. Помнишь, мы с тобою ездили Митьку Колябу глядеть? Юродивого, предсказателя... Глух был да нем, бедняга, а пророчествовал... И верили! А от чего? От того, что верить хотели! Гришка Распутин десять лет державою управлял. Чем управлял-то? Наговором. Слово петушиное знал! Вот и вы с петушиным словом явились!..

Он встал, надел треух, взялся было за ручку двери, но — задержался.

— Что ж не спрашиваешь про Павла Михайловича? Или — знаешь?

Вопрос хлестнул ее, она встала. Она давно ничего не знала о Павле. Почему? Может быть, отодвигала от себя все, что было связано с прошлым? Теперь она с каким-то страшным облегчением подумала, что Павел стал контрреволюционером! Иначе зачем о нем спрашивает Коршунов?

— Я не знаю,— сказала она, не замечая, что губы ее дрожат.

— Нету Павла Михайловича,— тихо сказал Коршунов,— застрелили пролетарии всех стран...

Она вдруг перестала понимать, что он говорит. Она видела в Коршунове препятствие, препятствие, которое нужно немедленно преодолеть.

— Уходите... Уходите, Евграф Лукич...

— Ну да, ну да,— кивнул он и вышел.

Она уже не слышала, как он сказал кому-то там, за дверью, в чужом доме:

— Чего тебе, молодой орел? А коли пристрелишь меня — поумнеешь?

И ушел, никем не задерживаемый, в никуда — в мороз, в Россию.

А она легла, нет, не легла — упала на кровать, потому что ноги не держали ее.

Она приходила в себя медленно. Анюта вошла, когда Юдифь сидела на кровати и смотрела на образок, освещенный лампадкой. Юдифь никогда не молилась, в доме это было не принято. Она хотела спросить Анюту — что ты испытываешь, когда молишься? Но вместо этого сказала:

— Анюта... Мотор еще здесь? Скажи Федору Михайловичу — на Кирочную...

Ей казалось: она порывает с прошлым навсегда...

107

Вся деятельность большевиков — подпольная, подспудная, тайная и явная — была направлена на разрушение государства, на подстрекательство против правительства, на проклятье буржуям и помещикам. Наученные направлять массу, угадывать ее инстинкты, возбуждать сиюминутные чувства, использовать ее разрушительную силу, большевики оказались вдруг с ходу, с разбегу, как перед нежданным обрывом, перед необходимостью созидать.

Земля крестьянам — программа, провозглашенная первым же декретом новой власти, была отобрана у эсеров. Программу отобрали, как отбирают в схватке оружие. Эсеры прозевали, они слишком долго возились со своей программой, обсуждали, взвешивали, судили-рядили, как быть с общиной, с владельцами, с помещиками, с государственными землями. Большевики решили враз: немедленно и без никакого выкупа!

Но лозунг этот, получивший форму неслыханного закона, окончательно развалил остатки русской армии. Окопы были брошены. Перед неприятелем открывалась невиданная в истории войн дорога в тыл еще вчера воевавшей страны.

Главнокомандующий генерал Духонин отказался подчиниться новой власти. Главнокомандование принял прапорщик Крыленко. Лютый самосуд над генералом Духониным в день появления Крыленки в Могилеве показал, что в России нет ничего опаснее и страшнее положения только что отставленного начальства, оказавшегося в руках толпы. Новая власть металась — как сохранить себя?

Армии в России больше не было. Не могло быть ни войны, ни мира, ни перемирия.

Немецкий генеральный штаб пропускал Ленина через Германию как мину замедленного действия. За полгода Россия была взорвана и обращена в прах.

Но и Ленин оказался непрост. Он считал себя обязанным Людендорфу не больше, чем Алексееву. Цель его была настолько фантастичной, настолько вздорной, что не шла в расчет: о каком правительстве, каких рабочих могла идти речь в России? Какая диктатура, какого пролетариата могла прийти к власти в России?

Однако она пришла. Она сделала Ленина правителем разваленной им самим государственной системы, не способной существовать ни для мира, ни для войны. Он правил географическим пространством, с ним незачем было вести переговоры. Пространство можно было просто брать, оккупировать, делить на части. А как? К такому реприманду Германский генеральный штаб не был готов.

Но гибель России затрагивала интересы союзных с нею держав. Союзников никак не устраивала Германия, освободившаяся от вязкого, бесконечного восточного фронта. Германского усиления нельзя было допустить ни в коем случае. Сила обстоятельств сильнее пророчеств. Вчера еще презиравшие Ленина правительства вдруг сделались странными союзниками русской диктатуры. Западный фронт активизировался. Америка вступила в войну.

В Смольном затеплился огонек надежды на переговоры с Германией о мире.

Люди Смольного дули на огонек с трех сторон, полагая, что вздувают пламя, и не понимая, что вот-вот погасят... В Смольном гремели дискуссии. Сепаратный аннексионистский мир? Революционная война? Ни мира, ни войны?

Ни мира, ни войны — такова была реальность.

Но над реальностью торжествовала вымечтанная в подполье и вычитанная из книг мировая революция, ради которой эти люди — десять, пятнадцать, двадцать лет назад — раз и навсегда изменили содержание своей жизни и определили смысл бытия на земле.

Массу привели к победе люди Смольного — присяжные поверенные, не присягавшие никому, конторщики, бежавшие своего ремесла, студенты, покинувшие университеты ради революции, врачи, никого не лечившие, инженеры, ничего не строившие, эксперты, семинаристы, грамотеи, дошедшие своим умом до всего на свете. Однако у них был опыт подполья, опыт непослушания, однако не было и не могло быть опыта управления державой. И этот опыт они перенимали только там, где он накопился — в самодержавной бюрократической машине, которую они разбили, сохранив суть: объятие необъятного.

Торопливыми неразборчивыми записками — правилами, уложениями, инструкциями,— как бороться с бюрократизмом, волокитой, взятками, саботажем, чтобы немедленно победить, Совет Народных Комиссаров стремился учесть каждый шаг жизни. Люди Смольного, взлелеянные жаждой всякого русского грамотея — дали бы мне! — рванулись осуществлять Добро и Справедливость, немедленно, сей минут. Они сталкивались самолюбиями, горели глазами, доказывали Марксом, ссылались на Робеспьера, грозились Наполеоном, выбегали из ЦК и швырялись министерскими портфелями, как гимназическими ранцами.

Все грозили отставкой, и никто не уходил, ибо каждый поверг себя на алтарь народного дела, а не на заляпанный чернилами стол канцелярской возни.

А возиться надо было. Надо было разворачивать канцелярию, делопроизводство, порядок вещей.

Кто наладит?

Ленин призвал Демьяна Бедного, революционного поэта с хорошим четким почерком и без жажды — дали бы мне! Демьян походил по переполненным комнатам Смольного, постучал суковатой палкой по субтильным ножкам смольнинских гарнитуров, покрутил высокой, аккуратно промятой поверху меховой шапкой и ушел...

Юдифь перестукивала записки Ленина на ремингтоне, литеры сыпались на бумагу мстительно, победно. Декреты повергали российский бюрократизм в прах, подсекали в корне. Замшелые проклятые законы самодержавия, трусливые полумеры Временного правительства были отринуты раз и навсегда. Критерием права стала справедливая революционная совесть.

Юдифь печатала:

«Параграф первый. Все служащие в государственных, общественных и частнопромышленных предприятиях крупных размеров (с числом наемных рабочих не менее пяти) обязуются выполнять возложенные на них дела и не покидать своей должности без особого разрешения правительства Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов или профессиональных союзов. Параграф второй. Нарушение указанного в параграфе первом правила, а равно всякая нерадивость в сдаче дел и отчетности правительству и органам власти или в обслуживании публики и народного хозяйства карается конфискацией всего имущества виновного и тюрьмою до пяти лет!»

Это было справедливо. Нерадивость чиновника мог обнаружить любой проситель — самый простой и несведущий в делах. И заявить об этом во всеуслышанье. Контроль всего народа над управлением обеспечивался без волокиты, без формальностей.

Она стучала на том самом ремингтоне, на котором печатала приказ номер один под диктовку Соколова.

Говорили, Николай Дмитриевич уже поправился, выздоровел после самосуда, который учинили над ним солдаты, вдохновленные этим приказом.

Ремингтон был перевезен в Смольный из Таврического...

108

Постепенно Питер освобождался от дезертиров. Поддержанные новой властью, узаконившей их беглое положение декретами о мире и о земле, отвоевавшиеся солдаты кинулись по своим деревням делить землю, кинулись бодро, чтоб не опоздать, чтоб при-

хватить клин повыгоднее. Как эту землю нарезать, еще не знали. Как быть с хуторами, как быть со столыпинскими наделами, как быть с монастырскими, с казенными? Но — одно знали: брать немедленно и без всякого выкупа.

Немедленно, стало быть, поскорее, а разберемся потом: не может быть, чтобы власть не придумала, как жить дальше!

Запылали усадьбы, экономии, пригодились прихваченные впрок винтовки и пулеметы. В Питере иссякали праздные толпы, утихали митинги, реже слышалась стрельба.

Казалось, власть медленно, но верно прибирает к рукам столицу. И прибирает испытанным своим способом: внедрением в массы классового сознания. Теперь разбои винных складов, самосуды, грабежи, убийства Смольный объявил провокациями буржуев. Люди Смольного призывали победивший народ не поддаваться на происки буржуазии, совращающей и тем самым обессиливающей власть рабочих и беднейших крестьян...

Юдифь удивлялась сама себе — пропал страх. Папин маузер грелся в руке, в муфте надежно, вселяя мстительное чувство куража. Вопрос этой монахини Сухановой — вы кого-нибудь уже застрелили? — вспыхивал постоянно.

Она не боялась ни грабителей, ни патрулей: в муфте под маузером сложен был вчетверо мандат Смольного.

После покушения на Ленина Чрезвычайная комиссия усилила бдительность. Вокруг Смольного по темным улицам ходили ночные патрули — по двое, по трое, посматривали на окна притишенных домов. Если окно тлело огоньком — входили в дом проверять: не готовят ли буржуи новую провокацию, нет ли оружия. Спрашивали испуганных до смерти обывателей угрюмо, не верили ни единому слову. Обыватели — в исподнем, в ночных рубашках, в накинутых шубейках, иные босиком — трепетали. И трепет этот, казалось, удовлетворял патрульных.

— Ну, ладно... На первый раз верим... А в другой раз — шпокнем...

Редких прохожих, семенивших из Смольного по ближним домам (других прохожих и не было в ночные часы), проверяли тщательно, читали-перечитывали мандаты, освещая фонариками. Эти фонарики, розданные революцией в надежные руки, не давали патрульным покоя — все хотелось щелкнуть кнопкой, удивиться — горит!

Юдифь шла ночевать на Кирочную к Наташе Толкачевой. Маузер и мандат надежно оберегали. Но и это надежное оберегание вмиг пропадало перед тоннелью ворот, которую надо было пройти, чтобы пересечь глубокий двор; в углу двора была дверь черного хода. Иногда кураж разбирал ее: пусть бы в подворотне были грабители! (Вы уже кого-нибудь застрелили?) Но страха перед тоннелью кураж не унимал. Страх был женский, девичий — никак нейдущий революционерке. Его надо было превозмочь. Поэтому, услыхав за собою шаги и вздрогнув, чтобы бежать, Юдифь, цепенея, пошла еще медленнее. Маузер заполнял кулачок. Большим пальцем она нащупала предохранитель. Пуговка сдвинулась мягко. Указательный обвился вокруг спуска, но легко, едва касаясь. Шаги были уже рядом. Их было много, очень много. Сколько? Но оборачиваться нельзя: надо преодолевать постыдный страх. Впрочем, вот уже тоннель. Еще немного, еще немного. Тоннель, перед которой она трепетала от страха, вдруг превратилась в спасение. Сквозь тоннель можно бежать. Нет! И сквозь тоннель нужно идти! Нужно! Иначе этот страх никогда не оставит.

— Мамочка,— тихо позвали сзади.

Юдифь не выдержала. Ноги сами рванулись и внесли ее в подворотню.

— Стой!

Тяжелые шаги, цокая железом по наледи, обогнали, и перед Юдифью в темной тоннели, в слабом просвете противоположного выхода, того самого, к которому нужно бежать, чтобы спастись, возник большой, непомерно большой, страшно большой матрос. Она не поняла, как разглядела его, но разглядела вмиг. Он был подпоясан пулеметной лентой, а с плеча на правый бок висел деревянный футляр. Меховая шапка сдвинулась на лоб.

— Мамочка, куда торопишься? — негромко спросил он, и глухой, простуженный голос его, придавленный тоннелью, едва не лишил Юдифь сознания.

— Я здесь живу,— сказала Юдифь. Тоннель исказила звуки, она не узнала своего голоса. Спиною она ощутила опасность — и услышала тяжелое дыхание.

— Документ,— тихо приказал матрос.

— Я иду из Смольного,— пробормотала Юдифь и хотела выпустить маузер в муфте, чтобы нащупать бумагу.

Маузер, о котором она забыла, вдруг затяжелел в руке.

— Не канителься,— услышала она сзади тихий высокий и тоже искаженный тоннелью голос.— Сымай шубу, барышня... Сымай по-тихому...

— Погоди,— возразил матрос,— может, пойдем к ней — погреемся... Ты одна живешь?

— Погреться с ей и тута можно...

— Пропустите, товарищи! — четко сказала Юдифь.

— ...й тебе товарищ,— дружелюбно сказал матрос и, положив ей на плечи тяжелые руки, потянул к себе.

«Малиновский! — резануло Юдифь.— Малиновский».

И, повторяя движение, она, как тогда, в Кракове, вытащила в тесноте из муфты папин маузер и сдавила его изо всех сил. Тоннель громыхнула неожиданно, оглушая, рвя уши. Маузер рванулся из руки, но не так, как тогда в вагоне, а иначе, надежно, твердо, оставаясь в кулаке.

Матрос не отпускал ее, вздрогнул и как-то потек набок, поворачивая Юдифь и падая между нею и серым пятном чьего-то лица. Матрос падал, освобождая дорогу к этому серому пятну. Юдифь приподняла кулак и снова сдавила его. Грохот уже не глушил, боль в руке, в локте была даже не болью, а как бы следом чего-то сделанного, совершенного, необратимого, резким подтверждением спасения.

Ноги, немые и непослушные, вынесли Юдифь из тоннеля, во двор, наискосок, к двери черного хода. В руке сидел невыпадаемый маузер, который нельзя было выпустить никак, ни для чего — даже для того, чтобы открыть спасительную дверь. Юдифь всхлипнула, потянула дверь левой рукой и вскочила в непроницаемую темноту, проморожeнную запахом кошек, мочи, тления. Придерживая левой рукой неверные качающиеся перила, Юдифь поднималась по ступеням, преодолевая непомерную собственную тяжесть. Она шла виток за витком, держа в висящей руке маузер. Наверху возле Наташкиной двери брезжило окно. Юдифь шла, шла, шла к этому окну. Наконец добрела, опустилась на низкий подоконник и, уткнувшись головой в колени, в муфту, в кулак с маузером, затряслась леденящим всхлипыванием. Она не плакала, всхлипывание не облегчало ее.

— Юдифь, ты? — услыхала она сдавленный голос Наташи.

— Я... Открой...

— Сама открывай! У тебя ключ! Я боюсь...

— Открой... У меня нет сил...

Отлетела щеколда, и звук ее вернул Юдифи силы. Наташка стояла в белой, до пят, сорочке.

— Как бы я открыла,— устало проговорила Юдифь,— если ты заперлась на засов?..

Наташка затолкала ее, захлопнула дверь, задвинула щеколду. Руки ее тряслись.

— Ты слышала — стреляли...

— Это — я,— сказала Юдифь,— их было двое... Омерзительные... Вонючие...

И, как была, упала ничком на расстеленную Наташкину лазаретную койку, не разжимая кулака.

Плакать всласть.

109

В сизом февральском утре толпа возле Смольного угрюмо слушала оратора, тяжело дыша. Оратор в распахнутой студенческой тужурке, под которой была потертая меховая телогрейка, бросал в толпу кулак с зажатой шапкой, в лад словам. Он стоял на платформе грузового автомобиля. Лицо его, обросшее молодой бородою, сверкающее стеклами пенсне, дергалось с каждым словом. Что там находилось на платформе — Юдифь не видела.

— Выстрел в грудь — это выстрел в сердце Революции! — кричал оратор.— Выстрел в голову — это выстрел в мозг революции! Буржуазия мстит! Буржуазия подстерегает нас в подворотнях!

Юдифь обмерла, сердце заколотилось в горле. Она поняла, что там, на платформе. Она пробиралась сквозь тесноту шинелей, тужурок, поддевок. Ее пропускали нехотя, ворчливо. Поднявшись тяжелыми ногами по ступеням, Юдифь обернулась. На грузовом автомобиле, у ног оратора, лежали матросы. Она узнала их вмиг. Один был большой, тяжелый; другой — короткий, с прикрытым какой-то тряпкой лицом. Юдифь побежала к дверям.

— Мандат, мандат,— лениво потребовал часовой в надвинутой на лоб папахе,— куда летишь...

Мандат находился в муфте, придавленный, как камнем, тяжелым теплым маузером. Боясь вынуть маузер, она неверной рукой извлекла ветхую потертую бумажку.

— Чего ковыряешься? — лениво подбодрил часовой.— Лимонка у тебя там?.. Вон — видал,— кивнул бородою на оратора,— двоих этой ночью... Отстреливается капитал...

— Сейчас, сейчас, товарищ,— бормотала Юдифь, вытаскивая сложенный вчетверо мандат.

Часовой посмотрел, кивнул:

— Я тебя и так признал.— Юдифь обмерла.— Так-то, дорогой товарищ... Стреляют нашего брата...

Сразу за дверью, за загородкой, в бывшей швейцарской гремел спор:

— Я не сомневаюсь! Враг скрывается в том же доме, где произошла трагедия! Мы должны арестовать поголовно всех и держать их до тех пор, пока не дознаемся, кто стрелял! Вплоть до выборочных расстрелов! Они уже стреляли в Ильича! Чего вы ждете?!

Кричал Велтистов, она узнала его и помимо воли замедлила шаг.

— Погоди расстреливать... Ты документы видел?

— Нет документов! Их похитили! Их не могли не похитить!

И вдруг неожиданно чей-то незнакомый, вразумляющий, негромкий голос:

— Послушайте, товарищи. А если это — не то, что вы полагаете?

— Как — не то? Мы хороним наших товарищей! Их тела еще не остыли!

— Да хороните на здоровье... Но с чего вы взяли, что это преднамеренное убийство?

— А что это?!

— Может быть, это — самооборона?

— Самооборона?! Тем хуже! Если это самооборона — следовательно, у обывателей имеется оружие! А коль скоро у обывателей имеется оружие — грош цена чрезвычайке!

Юдифь побежала к лестнице.

110

Больше всех донимал новую власть Максим Горький. Пролетарского писателя как подменили. Вот что делает с пролетарием золото: разбогател, разжился и сам стал буржуем. «Новая жизнь» не кричала, не митинговала, не проклинала, нет. Она втолковывала, сокрушалась, взывала к рассудку, воспаленному удачей, победой. И это было особенно опасно, потому что по-горьковски действовало на неокрепшую в классовых боях околореволюционную публику.

«Вы дикие русские люди,— втолковывал Горький,— вы развращены и замучены старой властью, вам она привила в плоть и кровь свой бессмысленный деспотизм. Вас нельзя судить по той же причине, по которой не судили за Ленский расстрел, за девятое января, за пятый год. Это — суть России, вы ничего не изменили в ее сути... Будьте же человечнее в эти дни озверения!»

В Смольном было не до Горького. Чрезвычайка выжигала каленым железом сопротивление поверженной буржуазии. Чрезвычайка расстреливала своих — заворовавшихся, нестойких в борьбе. После покушения на Ленина, после ранения швейцарского коммуниста Франца Платтена — ясно было каждому, кто не слеп: враг еще не сдался. Враг не сдался, следовательно, подлежит уничтожению. Горький, бывший товарищ Горький, отступился от революции. Товарищ Троцкий уже объявил его худшим из меньшевиков, товарищ Зиновьев высмеял — Горький чешет пятки буржуазии!

Но это был Горький. Привычка к нему, оглядка на него оказались делом не шутейным. Это не свой брат революционер вроде Рязанова или Шляпникова, это не поверженный Мартов, не колеблющийся Прошьян, не фурия — Спиридонова. Это — Максим Горький, вознесенный двадцатью годами борьбы над самою борьбой — над дискуссиями, над расколами, над богоискательством, над Плехановым — надо всем, что было буднями революционных схваток в подполье. Он был вознесен всеми — как по молчаливому уговору,— всеми: большевиками, меньшевиками, эсерами, даже кадетами, даже иными прогрессистами. Вознесен всеми, а был — за Ленина, за большевиков! Что с ним делать теперь, когда большевики пришли к власти, а он отступился?

Молодые горячие головы обсуждали в самом Смольном горьковскую «Новую жизнь», будто не было ни большевистской «Правды», ни советских «Известий», ни плехановского «Единства», ни эсеровской «Воли народа».

— Большевизм — особенность русского духа. Мы — народ — мессия, по пророчеству наших учителей Достоевского и Толстого!

— К черту Достоевского! Он нам тычет в нос дурацкий силлогизм: стоит ли все это слезы ребенка? Дети уже плачут! И для того, чтобы они не плакали, нужна борьба! Оставьте вашего Достоевского! Это не лучший авторитет для революционера! Горький сам его не любил, пока не продался буржуазии!

— Оставьте! Он прав! Но с привычной расейской оглядкой на барина! На немецкую революцию, на китайских рабочих, на латышских стрелков, на европейский пролетариат, на интернационал, на Маркса, но только не на свои силы! Народ, народушко, мужик — как пряник! Посмотрите, что сделал с Санкт-Петербургом за три месяца наш «пряник»!

— Убирайтесь к меньшевикам вместе со своим Горьким!

— Видите?! Убирайтесь! Почему вы не хотите слушать? Горький умоляет об одном: прислушайтесь! Прислушайтесь! Возбужденное невежество движется к власти! Неквалифицированные рабочие уже избивают мастеров! Они расправляются с ними как с лакеями капитала! Вы же сами это видите!

Горький не давал покоя:

— С чем вы собираетесь жить, израсходовав свой мозг? Сытин — в тюрьме, ассенизатор революции Бурцев — в тюрьме, Карташов, Бернацкий, Коновалов! Измайловский полк, движимый революционной справедливостью, погнал на фронт насильно сколоченный отряд петроградских артистов! Что вы делаете? При бумажном голоде вы издаете дикие сплетни об Алисе взамен вчерашних порнографических романов! Демагоги и лакеи толпы, что вы делаете?

Нет, Горький уже мешал активно, язвительно, опасно. Еще не поднималась рука шлепнуть его за саботаж, но делать что-то с ним надо было. И — поскорее.

Брестский мир обухом качался над головами людей Смольного, Брестский мир, любою ценой! С аннексиями, с контрибуциями, с чертом, с дьяволом! Хотят три миллиарда? Дать! Десять? Дать! Только поскорее — революцию нужно сохранить ценою любых жертв! А потом — посмотрим!

Горький не унимался. Он обзывал Ленина обиженным бездарным ученым, для кого люди — вроде собак и лягушек. Он обзывал его мстителем за свою жизнь неудачника, индивидуалистом, презирающим всех и вся...

Ленин будто не слышал. Проклятый мир не лепился ни с немцами, ни со своими присными.

В перерыве между заседаниями без согласия, без толку, без конца Ленин как очнулся — до Горького ли теперь?

— Послушайте! А не уехать ли ему, пока цел, со своим идеализмом? Пролетарка требует перебить, перевешать, перестрелять врагов революции, а господин Пешков хочет, чтоб она улыбалась, как Богоматерь Младенцу! Он хочет сделать из пролетарки Мадонну, Антигону, Юлию Рекамье!.. Не верю я, что он написал «Мать»!

111

Ходоки толклись в Смольном, следя лаптями, стуча чоботами, проникая к самому, только к нему, потому что, окромя него, теперь в России никто ничего не может. Он один знает, как быть и что делать. Ходоки проникали через три караула, через земляков, сторожиивших ходы-выходы; лукавством, гостинцами добирались до третьего этажа, до секретариата, из окон которого вытянулись в мир Божий пулеметы, возле коих дежурили товарищи латыши.

Добирались, степенно кланялись, ставили перед барышнями подношения — караваи, поляницы, сало, сверкающее алмазами крупной немолотой соли.

— Хлебом вы, чай, нуждаетесь... Нам бы — до самого... И документ выдайте — были, мол, видели, а то — не поверят...

Иные с белым, ситным, мягким, сдави — вновь возрастет, ждали, пока сам хоть на миг выскочит, робели, увидав, но кланялись степенно.

— Сход с новым совдепом положили почтить нашего дорогого защитника...

— Товарищи крестьяне! У меня времени не хватит, чтобы все это съесть!

— Блин — не клин, дорогой деятель, а дозволь узнать, как быть с владельческой землицей, купленной еще звон когда через бывший хрестьянский банк? За нее трудовые плочены, а комбеды желают и ее — того...

— К Шлихтеру, товарищи, к Шлихтеру! У него все указания советской власти!

— Неужто он лучше тебя скажет? Нам надо, чтоб крепко было: путь не близкий.

Мир, Брестский мир теплился за дверью, задуваемый спором о мировой революции.

Ходоки брели к Шлихтеру, оставив ситный на столике — ешь, дорогой наш вож, кушай...

— Почта, Владимир Ильич...

— Скорее! Что там?

Юдифь читала вслух:

— Пишет кухарка... Украли у нее сто рублей, кровно заработанные ценою горьких обид. Прикажите полиции вернуть, друг обездоленных...

— Скажите Коллонтай...

— Еще, Владимир Ильич... Дозволь нам сеять опосля свеклы пшеницу. Земля у нас хорошая...

— Пускай сеют!

И — к двери.

И вдруг — от двери:

— Как — опосля свеклы?! А сахар? Республике нужен сахар! И скажите Горбунову — в последний раз! Пусть составит список лиц, имеющих право входить ко мне без доклада! Иначе он попадет за решетку!

Мир, мир, мир гремел за дверью.

Два месяца немцы набивали цену, играя несогласием, спорами, разбродом Смольного. Американцы простодушно предлагали Крыленке по сто рублей за каждого воюющего с немцами русского солдата: вероятно, Смольный нуждается в средствах? А Россия делила землю, не зная, не ведая, что эту землю ждет, если не будет мировой революции.

Горький плакался запоздало, отчаянно. Читали его уже одни буржуи — читали, забившись от недреманного глаза чека, удивляясь, как позволяют Горькому печатать газету. Относили несуразицу эту на счет старинной дружбы Ленина с певцом Буревестника. Благородное терпение Председателя Совнаркома вселяло надежды на лучшие времена — авось опомнится: ведь — университетский, даром что экстерн; ведь — присяжный поверенный («Помощник, сударь! Помощник-с!»), ведь сын статского генерала — даром

что выслужившегося из податного сословия. Ведь в семействе, говорят, крепок был Бог — генерал не пропускал ни одной обедни. Верили, надеялись — хотели верить. Ведь дружили домами — Илья Николаевич Ульянов и Федор Иванович Керенский. В несчастье семейном, после казни старшего сына Александра, кто по-христиански разделил горе? Керенские. Кто хлопотал о детях, о самом юноше Володе? Керенский...

Удивлялись — откуда вдруг выплеснули на свет Божий симбирские сведенья?

Отцы дружили — дети оказались в принципах. Говорили — в принципах, по-тургеневски. Время такое — все в принципах. Ну, прогнал Владимир Александра (уточняли ехидно: Володя Сашеньку), а Россия-то при чем? Россия, жизнь? Неужто не обойдется?

Буржуи мели улицы. Газеты писали: как использовать буржуазию для пользы пролетариата, если ни к чему она непригодна, кроме физического труда? Писали умно, философствуя, веря свято во что пишут. Дали в холеные руки метлы — справедливость торжествоала: кто был ничем, тот стал всем, а кто был всем — мети улицу, не все коту масленица!

112

Медные скакуны, египетские сфинксы, гранитные колонны вдруг омертвили Санкт-Петербург, упокоили, как надгробия, отбросили в прошлое.

Мраморные боги с отбитыми носами, со вздетыми культяпками рук, с причинными местами, заляпанными варом, грязью (мухи роились над фиговыми листьями, над женской неприкрытостью), не почувствовавшие ни битья, ни уродования, ни истязания, ни осквернения, улыбались прекрасными лицами.

Не виноватые ни в чем, как только могут быть невиноватыми склепы, стыля на Невском дома с отбитыми карнизами, с фанерою в проемах окон, с черными трубами печек, торчащими между колонн. Белые ночи не серебрили — притеняли тяжелым сизым свинцом непонятно для чего вагроможденный город.

Тридцатого мая умер Плеханов.

Он жил как не жил, больной, обреченный, созданный для того, чего не дано увидеть. Его терзали обысками революционные матросы, с него срывали маску ученика, его клеймили изменником и буржуем ораторы на митингах. А он смотрел чистыми, усталыми, слезящимися глазами, как старая собака, выгнанная со двора за ненадобностью. «Ленин ваш сын, геноссе Плеханов»,—говаривал ему Виктор Адлер, не то шутя, не то упрекая. «Если и сын, геноссе Адлер, то — незаконный...» Это было недавно или — давно, когда руки и носы мраморных богов были еще целы. «Не слишком ли рано мы в отсталой полуазиатской России начали пропаганду марксизма?» Это было уже после всего. Это уже никого не касалось, как не касался и сам марксизм, вычитанный из книг, осветивший головы огнем истины, выпестованный в рефератах и приведший к тому, что было известно от сотворения мира: довлеет дневи злоба его...

Плеханов остался с той стороны, на которую нацелились пулеметы и на которую опасно ходить. К нему ходили бывшие враги и бывшие друзья, ходили прощаться с невозвратимым временем бодрствующих надежд, сладких иллюзий, расстрелянных понятий. Кто боязливо оглядываясь, кто в бесстрашном последнем отчаянье — тянулись к нему мастеровые, солдаты, думцы, спрашивали, допытывались — что же дальше? Ходили Колчак, Алексеев, Корнилов, Родзянко...

Плеханов испустил дух, отошел, может быть, один понимая, что оставляет тот момент бытия, когда Россия в последний раз спохватилась, задумалась о своей судьбе — сокрушаясь в умных речах, ликуя в газетах, сатанясь в партийных противостояниях, оплевывая и вознося самое себя до небес, обсмеивая, клянясь, пророчествуя...

Пуришкевич прислал ему венок: «Политическому врагу, великому русскому патриоту».

Не благообразный рассудительный Маркс, а беспощадный неистовый Нечаев соборовал Плеханова в его последние часы. Не Гегель с его идеализмом и не Фейербах с его метафизикой, не Адам Смит и не Иммануил Кант прикрыли его мертвые веки, а похожий на обритого Бакунина здоровенный матрос, опутанный пулеметными лентами, бросил на его мудрые глаза два пятака смерти.

Девятого июня гроб вынесли из помещения Вольного экономического общества и на руках, молча, понесли по Невскому, к Знаменской, на Лиговку, обрастая угрюмой толпою.

Среди расколоченных памятников вырыли яму, опустили гроб, и человек мастерового вида, не утирая катящихся по морщинистому лицу слез, сказал:

— Мы зарываем его в могилу в дни национального бедствия, когда те жалкие остатки, которые еще имеются у нас, с каждым днем отдаются в пасть немецкого империализма, когда страна управляется расстрелами, когда земля поливается кровью, когда у нас нет правосудия и задушено свободное печатное слово. Мы хороним Плеханова в этот ужасный момент, а русское общество хранит упорное молчание. Где те, кто так же умел бороться,

как наш покойный учитель? Лед равнодушия должен тронуться или окончательная гибель неминуема!..

Зарыли, расходились, оглядываясь, утешали себя испытанным витийством:

— У Христа был только один Иуда. У Плеханова их было много. Эх, Россия...

113

Смятенная осенним хаосом прошлого года, мыслящая Россия попритаилась от страха, от изумления. Офицеры сдирали с себя погоны, прятались по углам, бежали на юг — собираться силами отбивать престол у Троцкого.

Но все-таки первыми, кто из чистого сословия перешел на сторону большевиков, были не адвокаты, не инженеры, не врачи. Первыми были военные.

Боль за Россию, неуверенность в судьбе, раскаяние перед сирым невинным народом — все толкало этих молодых людей под красное знамя.

Именно военные — молодые, недохлебавшие военных щей, недослужившиеся чинов, недовоевавшие своего нонринца — первыми почуяли железную руку, собирающую Россию в мощный кулак. Они оставляли армию — преданную распутинскими министрами, замороченную родзянкинскими говорунами, обворованную сухомлиновскими казнокрадами, растленную социал-демократическими пропагаторами, изъеденную вшами, изголодавшуюся, оборванную, безоружную.

Неумолимый закон войны повелевает искать не истину, но победу.

А Россия — исконно военная страна, изумленная хаосом, ошалевшая от собственной безбрежности, изнемогающая от безнаказанности,— жаждала командирской руки.

Молодые офицеры переходили под красный флаг потому, что большевики были беспощадно закованы в железную иерархию, без которой армия невозможна. Молодые офицеры шли в военные спецы под начало книжников, фанатиков, инородцев, мастеровых, штафирок, посадских, студентов. Они шли с открытой душою, скрепя честное сердце, строить новую русскую армию, может быть, ту, которая мечталась в полумраке кадетских дортуаров,— суворовское войско, где каждый солдат знает свой маневр, сознательную армию Великой России. Они шли продолжать едва начавшуюся карьеру, властвовать, возвышаться, проливать кровь своих батальонов за славу и почести. Они шли служить России православной и России, отвергшей Бога. Они искали, куда себя девать в развороченном, кровоточащем муравейнике бывшего Государства. Они хотели нового Государства, ибо только оно могло бы узаконить их измену присяге, флагу, империи. Они хотели нового Государства, ибо только оно могло подтвердить неслучайность их случайных биографий и позволить их надеждам сбыться...

Комиссары внедряли в военспецов классовое сознание линьками догматов и параграфов, как фельдфебели вгоняли в нижних чинов словесность. Комиссары рассчитывали на их идейное перерождение. Военспецы же исподволь натаскивали комиссаров на военную науку, с опаскою рассчитывая на благоразумие и все на то же идейное перерождение во имя России.

Но и у комиссаров, и у военспецов идея была одна, общая: вечная истина, накопленная военной деятельностью человечества,— победа.

Идея эта была бесклассовой, как жизнь и смерть...

На беспощадном солнцепеке, под выцветшим белесым небом Царицына, на площади Благовещенского собора, перед сбитым в кучу как попало войском неуемный Минин держал речь. Он привставал в стременах с серебряного текинца, жеребец изгибал шею, норовил заглянуть себе под грудь, косился кровавым глазом, кидал пену. Войско поглядывало на коня уважительно. Недоступный тысячный производитель нетерпеливо переминался на тончайших ногах. Но — кто ближе стоял — видел: над левой задней бабкой торчал малым сучком струпик — дикое мясо: в гвардию не взяли бы...

— Товарищи! — вздыбливал жеребца Минин.— Смерть Краснову!

Остатки третьей и пятой армий, рабочие отряды Ворошилова, смятые, выбитые из Донбасса немецким наступлением, правильным натиском регулярной армии, запрудили растянувшийся вдоль Волги городок.

Митинги шумели в волжском пекле — до одурения, до помрачения голов, до расплавленной тьмы в глазах.

Новая словесность гремела над головами — не вбиваемая господином фельдфебелем, а исходящая сама собою из каждой желающей глотки. Желаемая словесность, чистая от запоминания царей и князей, освобожденная от запоминания чинов и титулов господ командиров, не сопровождаемая ни нарядами, ни зуботычинами,— словесность освобожденного народа.

И было в ней — в новой словесности — только одно взято по делу из старой: враг внутренний и враг внешний. Враг внутренний был вот он, под рукою,— барин, зуботычник, золотопогонник. Враг же внешний был мировой капитал, от которого и пошло все зло на земле.

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов,
И как один умрем
В борьбе за это,—

тянула зычно и неслаженно толпа, и молодые прапорщики, и подпоручики, честно содравшие с себя погоны, чтобы достойно и набожно служить освобожденному народу, подпевали новую песню, стараясь не угадывать в ней томящий мотив романса, петого под гитару в блиндажах и землянках, в часы затишья:

Белой акации
Гроздья душистые...

А толпа пела молитвенно, истово, как на Пасху, и все на тот же мотив:

Ленин и Троцкий
И Луначарский —
Они создавали
Союз пролетарский...

«Белой акации гроздья душистые»,— колотилось в мозгу поручика Суровцева как наваждение, как дьявольская подсказка во время честной молитвы. И не открестишься...

114

Полк бывшего поручика Суровцева формировался под Арчедой.

Суровцев не знал в лицо представителя ставки и, откозыряв, потребовал документы.

Иванов улыбнулся.

— Молодец!

И похлопал командира полка по плечу.

Суровцев небрежно, но, впрочем, уважительно шевельнул плечом, давая понять, что этого не следует делать, прочел мандат, изящно щелкнул каблуками и протянул Иванову бумагу.

— К вашим услугам, товарищ Иванов!

Иванов сел, пристально вглядываясь в Суровцева, вынул из кармана трубку, набил ее махоркой и спросил:

— Курите?

— Курю,— ответил Суровцев и достал из левого нагрудного кармана серебряный портсигар. В портсигаре были мелко нарезанный самосад и книжечка папиросной бумаги.— Прошу, товарищ Иванов!

— Спасибо, я — трубочку,— улыбнулся Иванов, и Суровцев крикнул:

— Петренко! Огня!

Немедленно в комнате появился чубатый Петренко с трутом и огнивом. Вестовой был одет подчеркнуто чисто, глядел молодцевато. Сапоги на нем — офицерские, по ноге — блестели зеркально. Он высек огонь и, понимая службу, поднес трут Иванову, почтительно дожидаясь, пока начальство раскурит свой «самовар», как он немедленно назвал про себя трубку.

— Петренко, свечу,— сказал Суровцев.

— Слушссссь! — ответил Петренко и вышел.

Иванов выпустил дым.

— Вышколенный...

— Это мой денщик. Он у меня с пятнадцатого.

Иванов улыбнулся.

— Стало быть, вы ему приказали перейти на сторону революции?

— Я об этом не думал, товарищ Иванов.

Суровцев перешел на сторону революции в декабре. Кто-то из офицеров стрелял в него ночью и легко ранил. Суровцев знал — кто, но молчал.

Вошел Петренко и поставил на стол свечу в медном начищенном подсвечнике.

— Ступай,— сказал Суровцев, и вестовой, щелкнув каблуками, молодцевато вышел.

Командир полка проводил его взором и сказал:

— В армии нужна дисциплина.

— В армии нужна сознательность,— поправил Иванов, поднимаясь.— Ну, показывайте полк.

— Прикажете собрать командиров?

— Долго, небось...

— Они здесь.

— Вы что же — знали о моем приезде?
— Нет. В восемь ноль-ноль они явятся на оперативное совещание.
— Кто у вас комиссар? Женщина?
— Да,— ответил Суровцев.— Дама-с.
Иванов знал, что комиссар у Суровцева женщина, которую он никогда не видел. Он спросил:
— Каковы взаимоотношения?
— Взаимоотношения определяются в бою, товарищ Иванов.
— Ну, бои не за горами... Ладно...
Иванов не придал значения подчеркнутой хладности Суровцева. А тем не менее, смысл в ней был. Комиссаром к нему прислана была из Всероссийского бюро военных комиссаров та самая сестра милосердия, которая поразила его воображение в униатском селе в апреле пятнадцатого года и которую он тогда же окрестил про себя «сфинкс-ведьмой». Тогдашний свой порыв он видел в памяти как измену бедной Сонечке. Но, может быть, Господь еще не до конца испытал сердце Суровцева? Должно быть, не до конца — потому что, едва глянув на комиссара, он прежде всего заметил небольшой шрамик, как бы продолжающий линию левого глаза. Неужели он так подробно запомнил ее лицо? Что же с ней было? Рана? Суровцев не посмел спрашивать.
— Кажется, я имела удовольствие видеть вас в Карпатах? — улыбнулась она, и он впервые увидел ее улыбку — веселую, открытую, сулящую царство небесное и не подпускающую ближе, чем на расстояние штыка.
Юлия Семеновна вошла в хату по-хозяйски и посмотрела на Иванова вопросительно.
Он протянул ей руку:
— Будем знакомы. Егор Иннокентьевич Иванов. Представитель ставки.
Он смотрел на нее несколько исподлобья, немедленно оценив ее красоту. Черные брови ее над косоватыми глазами чуть съехались к переносице, изображая строгость. Иванов улыбнулся.
Она пожала руку, вздернув голову, будто бросая вызов, и сказала Суровцеву:
— Здравствуйте, товарищ.
— Здравья желаю,— четко кивнул одной головою Суровцев, и Иванов понял, что поручик все никак не притерпится к тому, что комиссаром у него — баба.
— Как устроены, товарищ? — спросил Иванов.
Она посмотрела на него удивленно.
— Хорошо.
Черная кожаная курткв, сшитая на небольшого мужчину, была великовата для комиссара. Ей пришлось затягиваться широким офицерским поясом, который предательски выдавал заманчивую миниатюрность ее талии.
— Разрешите вам дать совет,— как-то сказал Суровцев, смущаясь.— Вам следует несколько укоротить портупею...
Комиссар вздохнула:
— Подробности моего туалета вас не должны касаться, товарищ командир полка!
— Извините,— пробормотал Суровцев.

Суровцев понимал, что в военной риторике Красной Армии слово «отступление» преследуется как выражение измены. Вперед, только вперед — такова была военная доктрина.
А между тем Краснов занял Великокняжескую, Мамонтов шел на Калач, а с запада рвался отрезать Царицын от Москвы Фицхелауров.
Плохо сформированный полк Суровцева (замышлялся кавалерийским, да не хватило лошадей) рыл траншеи. Сил сдержать готовящееся белое наступление пока не хватало. Восемь тысяч штыков и сабель Филиппа Миронова против двадцати тысяч генерала Фицхелаурова — было маловато.
Обо всем этом Суровцев хотел говорить с представителем ставки, поскольку его командиры рвались только вперед, говоря, что рытье окопов осточертело им в распроклятой царской армии. Комиссар изумленно вздела брови, когда он заикнулся о возможном отступлении, к которому надо быть готовым.
Иванов слушал Суровцева под неодобрительные переглядывания командиров. Комиссар — с досадой — о конском запасе, о снаряжении и о продовольствии, как будто революционная война ничем не отличается от прошлых войн. Она даже хотела перебить этого скучного поручика, но в хату влетел какой-то красный казак:
— Кныш тут? Вася, родной! Глянь, чего они наделали, гады!
Командир эскадрона Кныш, небольшой, крепенький, рванулся с места, никого не спрашиваясь.
— Вот так, товарищ Иванов,— сказал Суровцев.
— Нам нужна сознательность, товарищи,— вздохнул Иванов,— но не меньше нам нужна дисциплина... Товарищ Суровцев, поедете со мной в штаб дивизии... Ваши соображения кажутся мне дельными... Поговорим... А вы, товарищ комиссар, выясните, что так взбудоражило командира эскадрона...

Пока только эскадрон Кныша, приданный полку, был укомплектован полностью — людно, конно и оружно. Эскадрон этот Кныш, избранный комэском еще в апреле, привел под красное знамя почти в полном составе, но, конечно, без офицеров. Сам Кныш дослужился в царское время до вахмистра.
Кныш любил бойцов, охочих до коней. Так, приняты им были в эскадрон прибывшие из Питера Гудзь, Уваров, Лаптев и Горпиненко. Будь ты хоть кацап, хоть иногородний — абы сила в руке, подскок в заднице и революция в башке. Говорили, Кныш подучивал своих орлов плеткой. Но орлы не обижались: наука была вдумчивой, братской.
Эскадрон терзал группу генерала Фицхелаурова, долетал чуть не до Усть-Медведицкой — оставалось только речку перескочить. В стане генерала Фицхелаурова зло на Кныша закипало нешуточно. За голову его уже полагался приз.
На рассвете двадцать пятого июля белый карательный отряд — сабель шестьдесят — налетел с тыла на хутор, в котором замешкался красный обоз.
Разъезд Кныша прискакал, когда каратели только ушли.
Небольшой хутор — три хаты — стоял на бугорке, стоял мертво, одна хата дымилась, никак не желая разгораться. Внизу у ручья паслись стреноженные лошади. Возле тлеющей хаты за загородкой блеяли овцы, просясь наружу. А между возов, между трупов, брошенных как попало, поклевывая, ходили куры. Сино-рыжий петух вдруг захлопотал крыльями, как очнулся, заголосил. Толстая баба белела на возу иссеченной плетями спиною. Девчонка в задранной рубахе висела через невысокий тын, согнутая вдвое: голова с растекшимися по земле темными волосами здесь, остальное — за тыном. Мальчонка, перерубленный пополам, держал ее за волосы. Рядом лежал рассеченный красноармеец — рука с карабином отогнулась далеко от головы, а между плечом и шеей — красное тряпье, кость белела на солнце из красного.
К упершемуся в землю дышлу привязаны были трое — рука на руку, как на распятии. Они лежали голые, замазанные кровью, обсыхающей вокруг содранной на грудях кожи — до костей. Кожа содрана была лоскутами — должно быть, рисовали на них ножами звезду Розовевшая крупная соль искрилась на раннем солнце. У одного был распорот живот до срама (из разреза белели внутренности), другой затих с черной дырою в глазу, третий будто еще шевелился. Горпиненко плеснул в него водою из цибарки, и человек этот слабо ойкнул, как будто умер, но Горпиненко чутьем угадал: живой! Бросил ведро, кинулся резать путы.
— Браток... Потерпи... Браток...
Через полчаса на хутор прискакал Кныш — и за ним комиссар полка.
— Вот они как с нами, товарищ комиссар,— тихо сказал Кныш.
— Догнать,— еще тише сказала комиссар.
Это было первое, что она увидела на гражданской войне в разгорающемся жарком июльском утре...

115

Кныш догнал карателей.
Драка была отчаянная — из всего отряда осталось двенадцать казаков и ротмистр. Этот ротмистр обошелся Кнышу в пять сабель — двое убитых и три раненых. Но Кныш был упрям. Он хотел взять господина офицера живьем и взял.
Пленные стояли посреди эскадрона как полагалось — понуря головы и воровато блуждая глазами. Они не ждали ничего хорошего. Оружие их — шашки и карабины — лежало у ног Кныша на зеленой японской шинельке. Господин офицер находился в двух шагах от своих казаков и смотрел на красноармейцев вольно, обидно, будто не был пленным.
Кныш кипел злобой от бессилия — вот ведь может он сейчас рубануть этого гада до пупа, а нагнать на него страху — не может. Ротмистр — безоружный, грязный, с одним погоном, второй оборвали красные орлы, когда валили его с коня,— стоял перед Кнышем, блестя тусклым солдатским Георгием, и улыбался барственно, независимо, недоступно для простого человека.
— Убью гада,— простонал, скрежеща зубами, Кныш боевому комиссару красного непобедимого своего эскадрона «Смерть контрреволюции» товарищу Губареву Алексею Ивановичу.
— Не имеешь права,— тихо сказал Губарев.
Кныш и сам знал, что не имеет права,— иначе на кой дьявол положил он пятерых за этого гада. Но надменная улыбочка ротмистра лишала Кныша рассудка. Вот же стоит —

с Георгием, каких и у Кныша целых три штуки, а четвертый не дала дополучить справедливая революция. Но Кныш снял с себя позор царских подачек. Почитай, полный георгиевский бант лежал у Кныша на дне сумки, конечно, не как царская награда, а как память о невозвратимом времени, когда, не имея в голове сознания и исполняя приказы проклятых царских генералов, Кныш в темноте своей бил одураченный германский рабочий класс, сам не зная за что...

А этот красуется Георгием, каковой на груди офицера есть знак особенной храбрости. Кныш знал, что солдаты, когда крушили офицеров, обходили своей революционной справедливостью награжденных этим крестом.

Крест на ладной ротмистровой груди блестел тускло, нечищенно, на засаленной ленточке — видать, его благородие таскал награду, не снимая ни зимой, ни летом.

— Красуешься, гад! — заревел Кныш и содрал Георгия.

Ротмистр выдержал рывок легко, посмотрел в самые зрачки Кныша, улыбнулся без страха и плюнул Кнышу под ноги.

Кныш ощутил беспощадность в руке и хотел было двинуть в гордую барскую рожу, но осекся.

Во двор зацокотал копытами неугомонный комиссарский жеребчик.

Не слезая с лошади, Юдифь посмотрела на ротмистра хладно. Улыбка сползла с его бледного лица.

«Забоялся»,— подумал про себя Кныш и уставился на комиссаршу. Уставился и удивился — распрекрасное барское лицо ее осеняла все та же вольная, обидная улыбка, которая так мучила Кныша. Будто переползла эта недоступная улыбочка с ротмистрова лица на комиссарское, и одна радость была у Кныша, что победила все-таки комиссарша.

— Товарищ комиссар непобедимого полка,— начал было Кныш, но Юдифь перебила его:

— Здравствуйте, товарищ Кныш.

Кныш обеими необхватными ручищами принял ее легкую ладонку:

— Здравия желаем...

— Постройте, пожалуйста, товарищей революционных бойцов...

— Эскадро-о-о-н! — выпучась, заревел Кныш.

Пленные оживились, ожидая, что будет, и пялясь на бабу, горячившую буланого жеребчика. Конь был невеликих статей, однако веселый и, видать, шустрый. Баба же на коне, в черной кожанке, с маузером на крутом боку, мерещилась им как бы видением — бледнолицая, с черными бровями, ася как есть теплая, раскоряченная на аккуратном казачьем седле.

Эскадрон выстроился вмиг. Кныш начал было докладывать, но комиссар его упредила:

— Товарищ Кныш, сколько пленных?

— Двенадцать! — истово выпучился Кныш.

— Вот и прекрасно,— сказала комиссар.— Двенадцать плетей господину офицеру... Пускай уж сами секут... Они приучены сечь безоружных... И его благородие приучен... Пусть попробует на себе.

Кныш удивленно приоткрыл рот:

— Сами?

И крикнул пленным:

— Казаки! Двенадцать батогов его благородию! Лупцуйте как хотите — хоть каждый по одной, хоть выбирайте кого! Теперь — свобода!

И расхохотался, освобождаясь от тяжелой каменной ненависти, не дававшей ему дышать.

Ротмистр поднял голову и побелел.

— Вы что? С ума сошли?

Начавший было набухать весельем эскадрон вдруг стих, ожидая — что будет. В тихом воздухе четко прозвучали слова комиссара:

— Нисколько, поручик...

— Я не поручик! — гневно заявил ротмистр.

— Теперь это не имеет значения,— ответила Юдифь.

Комиссар повернула коня и — шагом со двора.

Небывалый приказ ее все-таки смутил Кныша. Он кашлянул, оглядел веселые рожи и даже почувствовал обиду.

— Ну, чего ржете, як жеребцы! Приказано — сполнять надо!

Выручил его рябой вахмистр из пленных.

— Товарищ! Дозволь сполнять?

Кныш хотел было дать ему нагайкой за «товарища», но удержался. Вахмистр приступил к делу хозяйственно, Кныш это оценил.

Двое казаков бесстрашно, вроде и не в плену, побежали к тылу, заприметив там доски.

— Козелки бы сделать,— подчиненно, уважительно сказал Кнышу вахмистр,— чтобы, значится, повыше...

— Делай! — строго нахмурился Кныш.

— Так — струмент бы...

Кныш кивнул головой:

— Хлопцы! Подсобите!

— А чего их делать? — возразил кто-то из притихшей толпы бойцов.— Нехай лавку с хаты принесут.

Пленные бросили доски, метнулись в хату, за ними двое красных орлов, и оттуда вчетвером вытащили лавку — едва пролазила в дверь. Кныш присел на колоду, крутя цигарку.

— Шоб на месте была! — сказал он про лавку. Вахмистр понял:

— Не извольте беспокоиться, товарищ!

Господин ротмистр стоял белый, даже глаза побелели, стоял, как замер,— чуть разведя руки, без всякого соображения. Красные орлы старались не глядеть на него: уж больно страшило ротмистрово лицо — страшило, ужасало непонятностью, бормотанием губ — молился, что ли?

И вдруг, когда четверо гукнули лавкой об землю, пришел в себя, крикнул Кнышу твердо:

— Трус! Холоп! Выстрели в меня!

— Не имею приказа,— негромко ответил Кныш.— Сполняйте!

— Ваше благородие! — забеспокоился вахмистр.— Не извольте приказывать... Живые ж будете, ваше благородие!

Ротмистр вдруг натянулся, закостенел и со всего маху сиганул на Кныша, схватив его за горло.

— Стреляй, мерзавец! Стреляй, холуй!

От неожиданного наскока Кныш повалился, ротмистр, вцепившись костяными пальцами в его уши, в сусала, бил Кнышевой головой об землю, как кавуном, и хрипел нечеловечески:

— Стреляй! Стреляй! Стреляй!

Кныш вырывался, отбиваясь руками, ногами. Пленные казаки вместе с красными орлами стаскивали ротмистра, а он не давался, и страшно было видеть, какая может быть сила в неказистом теле. И вдруг эта сила как бы лопнула изнутри, ротмистр вдруг обмяк, повис, как от выстрела, хоть никто в него не стрелял.

Вахмистр токовал, как тетерев, непослушными толстыми губами в пеньковой бороде:

— Ваше благородие, не извольте! Ваше благородие, не извольте...

Кныш поднялся молча, дыша по-бычьи. Помацал скулы, уши, затылок, поднял кубанку, надвинул, снова присел на колоду — покрутил головою, нехорошо усмехаясь.

— Пульки захотел, контра? Я с тебя сыромятину сперва резать буду...

Руки его дрожали.

Ротмистра тащили к лавке, и он висел на руках, как мертвяк, волочась по земле чужими ногами, голова тянулась к земле носом, а на помертвелой щеке солнце брызнуло по мокрому следу.

— Дывы — плачет! — удивился кто-то.

— Значит — живой, коли плачет,— сказал Кныш, успокаивая пальцы верчением цигарки.

Вахмистр бережно, как с больного, снимал с ротмистра галифе, ласково искал под животом очкур, командовал молча, одним киванием пеньковой бороды. Ротмистр был безучастен. Только лопатки его вздрагивали мелко и редко.

— Становись,— как по делу, сказал вахмистр и вдруг — Кнышу: — Чем прикажешь лупцувать, товарищ?

Кныш, не глядя, выдернул из-за голенища треххвостую нагайку, кинул.

— Сполняй!

Пленные выстроились в очередь.

— Каждый — по батогу! — заботливо затоковал вахмистр.— Не налезай! Каждый по батогу!

Били привычно — не сильно, не слабо, до синей полосы на белом теле. Ротмистр вздрогнул — однако без звука — только раз — на девятом ударе, когда треххвостка по-кошачьи ободрала до красного.

— Стой! Будет! Раз — и в сторону! — токовал вахмистр.— Бей с оттяжкой, как приказано! Не вольни!

Три последние нагайки ротмистр перенес бесчувственно. Должно быть — не сдюжил.

Комиссар подъехала к концу, как угадала. Подъехала боком, чтоб не глядеть на голое мужское тело. Кныш кинулся к ней, затоптав цигарку.

— А теперь отпустите их на все четыре стороны,— скучно сказала комиссар Кнышу.

И голос ее, нежный и далекий, как бы оживил ротмистра. Он осторожно вздохнул, слабо, через силу повернул к ней неживое, замертвевшее, как присыпанное мукою лицо, сверкающее на солнце слезами. Она не глядела на него.

— Я вас убью,— прохрипел ей ротмистр, бессильно поднимаясь при помощи своих казаков и не стесняясь наготы. Но комиссар шагом отъехала.

Рыжий вахмистр распоряжался:

— Нехай полежать чуток... Ваше благородие, не извольте беспокоиться... Сейчас мы вас обмоем в лучшем виде... Не извольте страдать, ваше благородие... Живые остались, и на том спасибо...

Петренко растолкал Суровцева.

— Товарищ командир... Ваше благородие...

Суровцев просыпался сразу — будто и не спал.

— Одеваться!

— Не... Слухайте... Той, шо у Кныша, чуете? Там — в бурьяни...

Суровцев понимал ординарца по одному выражению лица.

— А пленные? — спросил он.

— Геть пишлы! До дому!

Суровцев натянул галифе. Петренко приставил к лавке начищенные сапоги.

— Признав меня...

— Кто же это?

— Третьего эскадрону ротмистр Курдюмов! — отчеканил Петренко.— Той, шо стриляв тоди...

Суровцев прикрыл ладонью шрам на левом плече, опустил голову, не знал, как быть. Петренко наклонился к нему:

— Дай, каже, наган з одноим патроном.

— Ну? — поднял голову Суровцев.

Петренко вытянулся во фрунт.

— Так точно! Там же й закопав.

Суровцев встал, подошел к окошку, глянул — бурьян был высок, ничего не видать. Сказал, не оборачиваясь:

— Петренко! Ты мне ничего не говорил...

Ординарец глуповато выпучился.

— Шось приснылось? Товарищ командир?

Суровцев повернулся, встретился с ним взглядом.

— Умываться...

Суровцев подошел к ее хате и спросил у хозяйки:

— Дома комиссар?

Хозяйка затянула под подбородком концы хустки.

— Спять они...

— Разбуди.

— Я не сплю,— крикнула Юдифь,— входите, товарищ...

Суровцев, наклонясь под невысокой филенкой, шагнул в хату. Юдифь стояла в галифе, в сапожках, но, видимо, еще без гимнастерки, потому что куталась в широкий пуховый платок с длинной бахромой. Маузер висел на колышке, вбитом в саманную беленую стену. «В платке вам лучше, чем в гимнастерке»,— хотел сказать Суровцев, но, увидев ее сдвинутые брови, сказал:

— Я по поводу этой экзекуции... Поздравляю вас...

— Не стоит,— небрежно сказала Юдифь.

— Нет, стоит! Извольте, товарищ комиссар, впредь не устраивать подобных спектаклей.

— Да? Почему же? Вам жалко ротмистра? Вы с ним воспитывались в одном кадетском корпусе?

— Мне жалко вас,— сказал Суровцев печально, и в ней что-то дрогнуло от его тона. Поэтому она немедленно взвинтилась:

— А запоротых мужиков вам не жалко?! А забитых до смерти красноармейцев? А тех троих с вырезанными звездами — солью посыпали — вам не жалко?!

Она взмахнула платком, как крыльями. Суровцев зажмурился, но под платком была гимнастерка.

— Не надрывайтесь,— поморщился Суровцев.— Вы не на митинге! Выслушайте меня спокойно... Юлия Семеновна, нам нужна армия, дисциплинированная революционная армия, не банда мстителей...

— Не продолжайте,— сказала Юдифь,— вы прекрасно знаете — если я сейчас соберу митинг и скажу, что вам жалко ротмистра,— вас разорвут на части!

— И это удовлетворит вашу совесть?

Она не ответила, опустилась на лавку, он сел напротив, не спросясь. Сел, вынул портсигарчик, свернул самокрутку и, не спросясь, задымил.

— Извините, в мое время дамы были учтивее. Они предлагали не только садиться, но даже курить.

Она молчала.

— Юлия Семеновна,— пустил дым Суровцев,— на одной ненависти мы ничего не добьемся... Как же вы можете, образованный тонкий человек, партиец, играть на самых низких, самых грязных чувствах российского мужика?

Она молчала, но дыхание ее стало тяжелее. Суровцев почувствовал — сейчас она взорвется снова, но спокойно продолжал:

— Вы говорите — замученные мужики, звезды, соль... Что же, вы хотите перещеголять их?.. Юлия Семеновна! Так было всегда на Руси. Всегда били, всегда истязали, всегда карали, всегда полосовали поперек рожи! Всегда! И вы хотите, чтобы так было и дальше?! Вы знаете, когда я возненавидел все это?

— Знаю,— сказала она вдруг,— когда вы прочли Толстого!

— Нет,— ответил Суровцев,— мне не до книг... Впрочем, я не стану исповедоваться, хотя в ваши функции, насколько я их понимаю, входит также и принятие исповедей, не так ли?

— В мои функции,— внятно сказала она,— входят также и расстрелы контрреволюционеров.

— Да-да,— кивнул Суровцев,— но главным образом, вероятно, унижение жертвы перед расстрелом? Колесование не входит в ваши функции? Плевки в физиономию не входят в ваши функции? Что вы делаете, Юлия Семеновна? Неужели революция произошла для того, чтобы все это продолжалось? Унижение, торжество подлых натур!

— Послушайте, поручик, вы, кажется, не на балу?

— Я — на войне! — воскликнул он и встал.— На войне, а не на шабаше ведьм! Мне нужны солдаты, а не садисты! Мне нужны военно-полевые суды, а не спектакли для злобных дикарей! Почему вы не расстреляли этого ротмистра?

— Садитесь, поручик,— сказала Юдифь.— Я вас выслушала. Теперь выслушайте меня. Очень жаль, но мне придется восполнить то, чему вас не учили в академии.

— Оставьте мою академию в покое!

— Охотно. Так вот. Я вам преподам урок политграмоты. Нам нужно, чтобы эти казаки разнесли по всей белой армии весть, что красные секут господ офицеров. Не расстреливают — этим никого не удивишь,— а секут! Батогами! Плетями! Господ офицеров! Белую кость! Их благородия! Вот так: снимают галифе и — секут! Понимаете? Раньше они секли, а теперь — их секут! Сами солдаты секут своих же господ!

— Вот это и есть ваша политграмота? — выпучил глаза Суровцев.

— Да! Вот это и есть наша политграмота.

— Но, Юлия Семеновна, это же никогда не кончится... Так же — нельзя... Ведь мы же должны отличаться от белой армии, от... от...

Он не находил слов. Она усмехнулась.

— Я вас понимаю. Я вас просто не хочу понимать. Иначе — мы проиграем... Кстати, почему этот ротмистр вас так взволновал?

— Неважно.

— Нет! Важно.

— Ну, хорошо. Я вам скажу. Мы вместе были удостоены Георгиевских крестов...

Суровцев устало поморщился.

— Ничего вы не понимаете, мадам! Ничегошеньки! И не понимали ничего, и не поймете. Он застрелился...

— Когда? — вскочила она.

— На рассвете.

— А где он взял револьвер? — спросила она, машинально глянув на свой маузер.

— Не знаю,— сказал Суровцев,— честь имею...

И направился к двери.

Она метнулась к нему:

— Погодите! Где он?

— Не бойтесь,— обернулся Суровцев.— Я приказал закопать его.

Суровцев подошел к ней вплотную, увидел, как она красива, и она это поняла, вспыхнула и опустила голову. Он через великую силу заставил себя не прикасаться к ней.

— Вы — ведьма! — сказал Суровцев и вышел.

116

Еще в марте, сразу после Брестского мира, наркомвоенмор Дыбенко сдал немцам Нарву. Пока его судили за это революционным трибуналом, пока молодое правительство устраивалось в Москве,— на юг, в казачьи края, в Новочеркасск бежали из большевистских тенет знаменитые генералы Лукомский, Корнилов, Алексеев, Краснов — лютые ненавистники кайзера Вильгельма — собирать среди верного казачества эскадроны, полки, дивизии.

Двухсотлетний триединый клич военной России — за Веру, Царя и Отечество — сбивал, сколачивал Добровольческую армию.

Однако новое триединство, провозглашенное большевиками — Мир народам, Хлеб голодным, Земля крестьянам,— оказалось сильнее.

Ленин дал казакам землю, и земля эта ворочалась, скидывая с себя господ добровольцев. Казаки выдавали офицеров комиссарам. Кубанская Зеленая республика не признавала ни Корнилова, ни Алексеева. Казаки поднимались дружно — добивать незваных беляков.

Есаул Филипп Миронов, подчиняясь декрету о создании Красной Армии, увел к новой власти тридцать второй полк. Есаул был прям, человечен, казаки и иногородние тянулись к нему в одиночку и собранно — бить ненавистных офицеров.

Донской казак Борис Мокеевич Думенко с вахмистром Семой Буденным собирали донцов, кубанцев, терцев — смести золотопогонников, скормить их черноморской рыбе и — начать небывалую жизнь.

Тринадцатого апреля убит был под Екатеринодаром бывший герой, бывший почти что диктатор России генерал Корнилов. Обезглавленная Добрармия, не имевшая ни тыла, ни припасов, посыпалась, теснимая в смерть — в калмыцкие степи.

Однако бросившие Кавказский фронт солдаты расползлись по станицам Кубани и Дона. Они оседали на земле. Они требовали наделов, оттесняя тех, кто наделы уже получил. Северный Кавказ насытился оружием. Иногородние, пришлые, припоздавшие начали передел земли.

Советская власть, подвигаемая единой справедливостью, подтверждала намеренья пришлых, помогала теснить справных хозяев, разгоняла базары как средоточие мелкобуржуазной стихии, сколачивала продотряды — отбирать излишки продовольствия.

Дело Чека и Реввоенсовета — далекое отсюда дело Кацапии, Московии, несытых мест — докатилось в привольные края, собравшиеся было жить своим умом. Дело это оказалось нешуточным, беспощадным, и от него надо было отбиться, а иначе — смерть.

И тогда забытая идея отечества стала вдруг близка крепким мужикам. И уже без всякой белогвардейской агитации они сами — конно, людно и оружно — вливались под начало вчера еще гонимых за досадной ненадобностью царских офицеров. Июнь усилил, направил Добровольческую армию. Комиссаров резали, убивали, вешали, закапывали живьем и шли на север — уничтожать Коммунию, брать сам корень зла — Москву...

Вмиг раскололась Россия. Она раскололась четко: на красных и белых, на богатых и бедных, на тех, кто не желал отдавать, и тех, кто хотел взять.

Две силы противоборствовали жестоко, беспощадно, ломая друг друга по фронту и отбиваясь в тылах от отчаявшихся банд, не веривших ни в Веру, ни в Царя, ни в Отечество, ни в Мир, ни в Хлеб, ни в Землю, а в единый соленый огурец.

Непреодолимая воля большевиков, возвестивших раз и навсегда «экспроприацию экспроприаторов», собирала свою большевистскую силу, чтобы отбить главное, что есть в человеческой жизни: хлеб.

Войско Миронова, войско Думенки, войско Минина и Ворошилова — сила росла в местах, не достигнутых ни Добрармией, ни немцами, в местах, где только и остался хлеб для республики.

Москва торопилась собрать эту силу в правильный порядок, в грамотное войско, способное защитить революцию от воспрявшей духом, растущей на глазах Добровольческой армии Алексеева, Лукомского, Деникина, Краснова.

Перешедший на сторону красных генерал-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев, благородный, ученый, высокоумный, прибыл с мандатом Ленина в Царицын командовать красными войсками против белой России. Прибыл наводить порядок в пугачевской орде Минина и Ворошилова. Ах, Россия смутных времен, чудо-страна — был Минин с князем Пожарским, теперь — с безместным мастеровым. А кого гнать? Поляков? Немцев? Да своих же русских!

В Царицыне Андрея Евгеньевича арестовали — до выяснения обстоятельств, но, слава богу (выручил только мандат, подписанный Лениным), заперли в приватном доме, а не на барже, куда кидали поручиков и штабс-капитанов, снявших погоны и перешедших под красное знамя. Революция была бдительна и неусыпна. Она не доверяла даже Москве. Она знала два слова: саботаж и расстрел.

В начале июля в Царицын прибыл чрезвычайный комиссар продовольственного дела Юга России Сталин. Прибыл за хлебом. С наганом, с пулеметами — а как его взять иначе, хлеб этот? Одна цена за него теперь — кровь.

Чрезвычайный комиссар, лично знакомый Климу, диктовал в юз прямо из своего вагона — Ленину в Кремль:

«Можете быть уверены запятая что не пощадим никого тире ни себя ни других запятая а хлеб все же дадим точка если бы наши военные специалисты в кавычках сапожники в скобках восклицательный знак не спали и не бездельничали запятая линия не была бы прервана точка и если линия будет восстановлена запятая то не благодаря военным запятая а вопреки им».

Полную баржу, набитую военспецами, чрезвычайный комиссар велел пустить ко дну, а утопленников списали как издержки революции.

Высший военный инспектор Окулов, присланный Лениным разобраться, что происходит, подоспел, когда на воде уж не было ни пузырька.

Генерал Снесарев избежал гибели, однако образумить Минина ему не дали — отправили назад, в Реввоенсовет, к товарищу Троцкому. Революция не желала подчиняться высоколобым умникам.

О чем ругались чрезвычайный комиссар продовольственного дела и высший военный инспектор, никто не знал, но ругались ненавистно.

И все же иных небольших офицеров, перешедших на сторону справедливого народа, стали ставить на сотни, батальоны, эскадроны, кое-кого — и на полки, как бы замазывая в памяти потопленную баржу.

А Добровольческая армия уверенно шла на север. В июле казаки заняли Тихорецкую, отрезав Кубань. Двадцать первого июня отряд Шкуро ворвался в Ставрополь. Оседлое население встречало Добрармию с восторгом, будто не оно вчера еще выдавало беляков товарищам комиссарам. «Многая лета» гудело в станичных храмах.

Восьмого августа войска атамана Краснова ворвались в Царицын.

Два месяца — в пекле, в мареве волжского лета — длинный, как тракт, обставленый домами и амбарами, Царицын то целиком, то частями переходил из рук в руки. Хлеб, за которым был послан чрезвычайный комиссар, застревал на разбитых станциях, горел, скармливался как фураж, рассыпался из пробитых пулями мешков на каменную, спаленную солнцем и мелинитом желтую землю.

Из Москвы летели призывы — Ленин требовал хлеба. Делайте что хотяте, но давайте хлеб! Чрезвычайный комиссар продовольственного дела Юга России, прощенный за баржу, введен был в военный совет Северо-Кавказского округа.

117

Хозяйка поняла, что с нею неладно, спросила:

— Потекла, что ли?

Юдифь вспыхнула, ничего не ответив.

Всякий раз, когда это начиналось, она ощущала себя побежденной, беспомощной, чужой самой себе. Естество не поддавалось ничему. Оно существовало независимо. Но не саднящая боль внизу, внутри изматывала ее — боль она переносила, привыкая к ней за несколько часов, с болью можно было сладить, изматывало ее непреодолимое унижение.

— Спекешься в шароварах-то,— жалела ее хозяйка,— захляпешь...

— Уходите,— вздохнула Юдифь,— я — сама...

Хозяйка открыла сундук, вытащила лоскут желтоватого полотна, стала рвать на полосы.

— Долго текешь?

— Нет,— нехотя ответила Юдифь,— два-три дня...

— Молодая,— рванула лоскут хозяйка,— нерожалая...

Юдифь никогда ни с кем не говорила об этом. Только с мамой. Давно, когда это еще только начиналось.

— На вот,— положила на лавку полотно хозяйка,— подоткнись... А лучше — вольно побудь... Экая беда — седло... Женское ли дело?

Знакомое ненавистное жжение разгоралось от слов, от унизительной зависимости.

— А у меня закрылось,— сказала хозяйка,— уже четвертый год не маюсь.

«Зачем мне это знать? — подумала Юдифь.— Что за бесстыдство?» Но хозяйка смотрела легко, и Юдифь усмехнулась. Не мается! Старуха — потому и не мается. Небось жалеет, что не мается. Когда это начиналось, Юдифь презирала себя, презирала весь женский род. Она вообще не любила женщин. Но, странное дело, нелюбовь эта пропадала и вместо нее появлялось ощущение тайной подспудной женской солидарности. Там, за дверью хаты, гоготали, двигались, чистили лошадей, стирали рубашки чужеродные существа, не возбуждающие в ней никакого интереса. Впрочем, интерес был — тихое мстительное чувство стыдливого превосходства, которое нужно прятать, страдая от стеснения. Они находились там, за дверью, а здесь была хозяйка, женщина, однородное с нею создание. Сочувствие, даже соучастие хозяйки утоляло Юдифь. Ей хотелось, чтобы там, за дверью, все исчезло, пусть не навсегда, пусть только на время.

— В седло тебе никак,— бормотала хозяйка,— женщина не мушшина...

Юдифь закусила губу.

— Надо будет — сяду в седло...

Весть о расстреле царя пришла из Екатеринбурга не сразу.

Говорили, расстреляны только государь и мальчишка, царица же с дочками живы.

— Как быть? — спросил Суровцев.
— Молчать,— сказала Юдифь.
— Напротив, Юлия Семеновна,— возразил Суровцев,— нужно сказать полку официальную версию...
— Вы странно рассуждаете! Версия... У революции нет версий!
— Юлия Семеновна,— вздохнул Суровцев,— вы как-то заметили, что расстрелами теперь никого не удивишь... Я думаю, что расстрел императора все-таки удивит.
— Бывшего императора,— поправила Юдифь.
— Разумеется...
В хату влетел Петренко, оглянулся, будто за ним гнались, вскрикнул выпучась:
— Ваше благородие! Товарищ командир! Самосуд!
Суровцев выбежал, как будто ждал этого известия. Вскочил на Гнедого и — галопом вдоль станицы. Петренко поджидал, пока комиссар влезет в седло, нетерпеливо топтался, придерживая стремя.
Екатеринбургская весть не дождалась, пока командир и комиссар полка рассуждали, как с ней быть.
Роман Горпиненко утречком купал жеребца в старице. Жеребец стоял посреди пересохшей за лето лужи, вода не достигала брюха. Горпиненко плескал на коня из гнутой побитой цибарки. Конь терпел без внимания, иногда опуская голову, нюхал зазеленевшую цвелую воду.
Дед-бобыль ходил по расположению полка, приглядывался, как шпион (давно бы пришить пора). Картуз, мятый, линялый, с засаленным околышем, с ломаным козырьком, сдвинут был на седой затылок.
— Слышь,— сказал дед,— государя императора кончили...
— Ври больше,— откликнулся Горпиненко и вдруг, сообразив дедовы слова, выпрямился.
Дед-бобыль снял картуз, перекрестился на восток. Плешь в седом венчике сверкнула ранним солнцем.
— Кончили,— повторил дед, крестясь,— кончили... Все семейство кончили...
— Кто?! — закричал Горпиненко.
— Большевики! — запричитал дед, надевая картуз.— Анчихристы! Детишков не пожалели! Малолетнего цесаревича!
И снова сдернул картуз — креститься.
Ужас разлился в душе Романа Горпиненки. Ужас этот никак не соответствовал тому, что сказал проклятый дед-бобыль. Казалось бы, боевой красный конармеец непобедимой революции должен был бы принять справедливое известие не как какой-нибудь монархист, а как пролетарий. Горпиненко вмиг увидел в памяти государя императора, как они ткнули в снег лопату и ушли в помещение, не оборачиваясь, тихо, мирно. Спину его видел, даже пуговицы на хлясте шинельки... Выходит — кончили!
— Дед... Врешь...
Дед-бобыль осмелел:
— А тебе царь зачем? Тебе комиссары — цари!
— Ты тут агитацию не наводи, контра! — закричал Горпиненко и вдруг ощутил, что с криком страх как-то убывает. Ощущение это подбодрило.— За такие слова пришить мало! А ну, пойдем в расположение штаба! — кричал Горпиненко.
На крик его немедленно появился Петька Уваров.
— Петро! — бодрил себя криком Горпиненко.— Стрели его к трепаной матери! Стрели гада!
Уваров был в подштанниках, босой, сидел на кобыле без седла, в голое плечо вминался ремень карабина.
Горпиненкин нутрец дрогнул ноздрями, вытянулся, учуяв кобылу, загоготал тонко, с хрипом похоти.
— Убирай жеребца! — заорал Уваров.
— Да он не вскочить! — сказал дед, как бы веселясь.
— Убью контру! — задохнулся Горпиненко, обидясь за коня.
— Ты его по яйцам, по яйцам,— язвительно бодрил дед.
— Петро! Дай мне винта! Пришей его на месте! Он брешет — царя убили!
Уваров сорвал с голого плеча карабин:
— За такие слова!..
Мимо старицы на галопе, на аллюре, крутя над патлатой головою сверкающей шашкой, летел Лаптев.
— Митинг! Митинг
Забыв про деда-бобыля, Горпиненко вскочил на жеребца, огрел его по крупу.
— В другой раз пришью! — прокричал Уваров деду-бобылю и полетел наметом за Горпиненкой.

Весть о расстреле царя повергла в ужас не одного Романа.
Кныш, в ремнях, засупоненный (любил всякую сбрую товарищ комэск), стоял на возу перед чистенькой беленой церквушкой с синим шатром колокольни. Эскадрон сбежался как на пожар — кто конно, при обмундировании, кто так, по-домашнему — без коня, кто и вовсе безоружно.
— То-ва-ри-щи! — кричал Кныш, махая руками.— Самую главную гидру, самую отпетую контру, самую буржуазно-помещичью гадину уконтрапупили! Слово для текущего момента имеет боевой товарищ комиссар Губарев!
Тот птичкой взлетел на воз:
— Товарищи! Не паниковать! Не дадим монархическому элементу справлять свой шабаш! Теперь под видом убитого царя этот злостный элемент будет сеять свою агитацию, что мы беспощадные! Пора этому элементу обвыкнуть! Мы пришли не с бабами киснуть! Мы пришли делать справедливую революцию против всех царей, какие были, есть и будут! Без паники! Боевая готовность номер один — наш ответ буржуям и кровососам! А что я вижу перед собой? Я вижу голожопых конокрадов, а не боевой эскадрон! Мировой капитал смотрит на нас во все свои змеиные зенки! Товарищ Маркс предупреждал нас за этот капитал! А мы забоялись пульки в какого-то царя! А монархический элемент уже гудит кругом нас, как учит товарищ Троцкий!
Монархический элемент гудел не кругом, а внутри. Роман Горпиненко нутром почуял, что ужас, который он давил в себе, давит и самого комиссара. Роман виновато огляделся. Скученный эскадрон притих, будто дожидался, как быть дальше,— ждал команды.
Сзади вспорхнул несмелый голос:
— Мальчишку-то за что?
Голос повис безответно в разогревающемся утре. И вдруг, рядом с Горпиненкой:
— Бей монархистов!
Кричал Петька Уваров. Эскадрон вмиг взбодрился, вздыбил коней, спешенные ринулись не то от копыт, не то на голос.
— Бей монархистов! — надрывался Петька Уваров, наливаясь спасительным хмелем расправы, страшась одного: чтобы никто не увидел его ужаса.
— Бей!
— Бей царскую гидру!
Давились в крике, хватали друг друга, рвали из рук повода — искали: кого кончать, кого тащить с коня, топтать копытами. Стреляли в воздух, боясь своего страха, своего кощунства.
Суровцев влетел в толпу, заорав еще с ходу:
— От-ста-а-а-вить!
Ладный вид командира полка, бывшего поручика (говорили — ротмистра), бывшего дворянина, монархиста, добавил спасительного хмеля. Ближние, не сговариваясь, потащили Суровцева с коня.
— Долой монархистов!
— Пришить его!
— К стенке!
— Кончай царское племя!
Кныш с Губаревым спрыгнули с воза, продираясь, раскидывая толпу, рвались спасать командира полка. Суровцев обнимал шею коня, вертел головою, чтоб не попасть под удары, сжимал ногами коня. Гнедой вздымался, храпел, кроваво косясь, будто слитый с всадником.
— Петренко! — кричал Суровцев.— Не стрелять! Не стрелять!
Он не видел ординарца, но чувствовал, знал — он здесь, рядом и сейчас выстрелит, спасая командира. Он не отбивался, он пытался только вжаться в своего Гнедого и выскочить из толпы. Перед ним мелькали знакомые лица его солдат, верных, послушных, совестливых. Дикий хмель расправы забелил их лица, выпучил и обессмыслил глаза.
«Не удержусь»,— мелькнуло у Суровцева в голове. Но вдруг стало свободнее. Суровцев немедленно вздыбил свечкой храпевшего коня.
Юдифь влетела в толпу и с налета выстрелила. Она выстрелила так, как будто неслась сюда только за тем, чтобы выстрелить и попасть в того, в кого попала.
Эскадрон отхлынул.
— Товарищи революционные бойцы! — взмахнув неостывшим маузером, крикнула Юдифь.— Монархисты провоцируют вас против советской власти! Вот что ждет каждого из них!
Она ткнула дулом в убитого, завертелась с конем, пытаясь сунуть маузер в футляр на боку.
Бородатый мужик в линялом бешмете, босой, в задранных шароварах со следом спороттых лампас лежал на спине, как накуролесивший всласть, пропивший сапоги и сваленный хмелем где попало гуляка. Фуражка с выцветшим малиновым околышем сдвинулась на нос, как бы прикрывая лицо от беспокойства — от мух, от солнца...

Эскадрон, боязно отступив на сажень, сгрудился тесно, смотрит по-детски, будто никогда не видел ни трупа, ни крови.

— За что? — простоналось из толпы. Комиссар вмиг вскочила в стременах.

— Бывшего царя жалко?!

— Царя — хрен с ним,— сказал кто-то четко.— Пашку жалко...

Губарев вновь взлетел на воз:

— Станишники! Погибшего за свою дурость, подбитого на контрреволюцию мировым капиталом, несознательного красного героя Пашку Молиова схороним честно! В станицу отпишите — зла на него у советской власти не имеется!

Суровцев (без фуражки) не дослушал речи, ни на кого не посмотрев,— будто ничего не было — поскакал прочь. Эскадрон притих. Вслед за командиром полка тронула коня Юдифь. Отстав на три корпуса, скакал конь Петренки.

Перевалив бугор, на котором стояла церковь, Суровцев сдержал коня.

Солнце поднималось, золотило небольшой крест на колокольне. Золотой полумесяц катался под крестом на синем шарике. Розоватый отсвет утра иссякал, сходил с белой церковной стены, стена теплела начинающимся жарким днем.

Они ехали шагом, понурясь,— и люди, и лошади.

— Благодарю,— сказал Суровцев.

Юдифь дернула повод:

— Только не вздумайте, будто я спасала вас лично!

И, привстав в стременах, дала шпоры.

Суровцев догнал легко:

— Юлия Семеновна, эскадрон следует расформировать.

Она остановила коня:

— Как?!

— Не знаю, как будет по новому уставу, но командир, подвергшийся самосуду, не может командовать частью...

— Глупости, Сергей Михайлович! У вас какие-то старорежимные понятия! Неужели вы не видите? Они просто ополоумели... Это — казаки, служившие империи верой и правдой.

Кони стояли, вытянув головы, фыркая в пыльной сгоревшей траве. Суровцев подергивал повод: беспородность жеребца как бы срамила всадника. Юдифь заметила, но повод, наоборот, отпустила, дав волю.

— Юлия Семеновна, мы уже толковали с вами о таком старорежимном понятии, как честь... Вы остались при своем мнении... Часть, покрывшая себя позором мятежа, должна быть немедленно лишена знамени... И сделать это придется вам... Если вы, разумеется, спасали не меня, а революцию.

Из-за бугра вылетел всадник. Он летел, припалясь к гриве, правая рука его болталась как прицепленная. Суровцев узнал по посадке Кныша.

— Сергей Михайлович! — крикнул Кныш, вздымая коня свечкой и болтая пустой — без шашки — рукою.— Есть разговор!

— Нам не о чем с вами говорить, Степан Васильевич,— глядя ему в глаза, сказал Суровцев.

Конь упал со свечки, стал как вкопанный.

— Сергей Михайлович, верьте мне, я их усех нагайкой пересчитаю... Но — не расформировуйте... Ей-богу,— приложил болтавшуюся руку к бешмету,— не расформировуйте... Я ж без их никуда, Сергей Михайлович!

— А откуда вы знаете, что эскадрон расформируют? — Юдифь сдвинула брови.

Не глянув на нее, Кныш ответил, как бабе на глупый вопрос:

— Я не первый год служу, комиссар!

Он смотрел в глаза Суровцева с отчаянным детским простодушием, с чистосердечным раскаянием.

— Они — босяки, но они же — мои... Як же я без них?.. А хочете — рядовым пойду! Ей-богу! Дайте нового на эскадрон! Ну, хочь, от — Петренку дайте!

Суровцев опустил глаза.

— Степан Васильевич...

Но Кныш перебил:

— Мы придем, повинимся... Ну — на колени встанем...

— Какие еще колени?! — возмутилась Юдифь.

— То — наше дело, комиссар,— так и не повернулся к ней Кныш.

— Кровью смоете позор! — отрезал Суровцев и, дернув повод, поскакал в степь.

— Смоем! — радостно закричал ему вдогонку Кныш.— Смоем!

Выхватив шашку болтавшейся, как бы лишней, когда она пустая, рукой, Кныш закрутил сталью над кубанкою, помчался на бугор, к церкви, густо пыля желтой спекшейся землей.

Суровцев придержал Гнедого, слушая спиною, как удаляется Кныш. Повернул коня, возвратился.

— Что он собирается делать? — спросила Юдифь.

— Полагаю — очищать эскадрон,— сказал Суровцев, глядя на оседающую пыль, на белую колокольню, невысоко выдлинившуюся из-за бугра.

— Как — очищать?! — дернула повод Юдифь.— Выборочный расстрел?

— Нет,— спокойно сказал Суровцев.— Расстрелов уже не будет. Достаточно — одного...

Она ответила скороговоркой, как будто последние слова к ней не относились:

— Нам необходимо быть в эскадроне!

— Юлия Семеновна,— сказал Суровцев,— я не могу встречаться с эскадроном, пока его не приведут ко мне в полной готовности повиноваться...

— Глупости! Вы что — играете в солдатики? Это война!

— Поэтому нам и нужна дисциплина,— сдержался Суровцев.— Опыт тысячелетий...

— Революция смела этот опыт! — перебила Юдифь. Суровцев вздохнул:

— Не горячитесь, Юлия Семеновна! Кныш сделает все, что нужно.

— Интересно, что вам нужно? Парады? Ранжиры? Спектакли?

— Ну, до этого еще далеко,— слегка сощурился Суровцев,— но если мы этого достигнем — будет и вовсе неплохо. Командир, чья честь замарана, должен либо подчинить солдат, либо,— он пристально посмотрел в лицо Юдифи,— застрелиться.

— Этот урок вы мне уже преподали,— отвернулась Юдифь.

— Юлия Семеновна,— сказал Суровцев,— возьмите, пожалуйста, Петренку и поезжайте в эскадрон... Возможно, вам покажут другой спектакль... Петренко! С комиссаром!

И с места поскакал в степь.

— Вы любите Суровцева? — неожиданно для себя, сдвинув брови, спросила Юдифь.

— Не девка он, шоб любыть... Но — в обиду не дам.

— Чем же он вам так нравится?

— Дак он же и вам нравится, комиссар.

— Глупости! — вспыхнула Юдифь и дернула повод. Конек ее поскакал, как дождался.

Петренко догнал, крикнул:

— Справная посадка... Конюшня была?..

Юдифь не ответила, вспомнила кобылу Измену, на которой разминалась после ранения.

За бугром открылся майдан.

На майдане конь к коню стояли пешие конармейцы. Они стояли ровно, выстроенно, дожидаясь команды — по коням, стояли невесело, понурясь.

Горло Юдифи сжалось испугом.

— Почему — спешились? — сглотнула она.

— Не достойные лошадей! — одобрительно сказал Петренко.

«Значит, не похороны? Что же тогда?» — пронеслось в голове Юдифи.

Они въехали на майдан со стороны церкви. Перед спешенным эскадроном стоял двуконный деревенский воз с задранным дышлом. Эскадрон притих перед пустым возом.

Кныш выбежал из домика при церкви с бумагой в руке. За ним, придерживая шашку, бежал комиссар Губарев.

— Товарищ комиссар непобедимого полка! — задрал к Юдифи голову Кныш.— Эскадрон построен для оглашения справедливого приказа!

Он смотрел на нее весело, чисто, как мальчишка, играющий в какую-то увлекательную, захватившую его игру.

Там, возле домика, стояли три лошади. Их держал на поводах коновод.

Юдифь покосилась на Петренку, ординарец кивнул: никто в эскадроне не достоин коня — даже командир и комиссар. «А — похороны?» — хотела спросить Юдифь, но не спросила.

— Прикажите сполнять!

Ей казалось, что все они начисто забыли о том, что произошло здесь час назад.

— Исполняйте,— ответила Юдифь, чувствуя, что и сама проникается азартом этой игры. Кныш ступил на спицу, влез на воз, огляделся.

Эскадрон стоял, опустив головы. Бородатые здоровенные мужики притихли по-детски.

— Нехай вам будет стыдно! — крикнул Кныш.— Женщина перед вами на коне, а вы стоите перед нею, как какие-то абрыкосы!

К Губареву подошел чубатый чернявый казак, сказал тихо:

— Как приказано, все готово, Леня.

Губарев ответил еще тише:

— Добро... Пообождите в хате.

Конь повернулся, и, выравнивая его, Юдифь увидела, как из беленой калитки небольшой конармеец вынес на плече две лопаты. За калиткой был погост. Юдифь вздрогнула — ей показалось, что люди эти, придерживающие за уздечки своих лошадей, следят, как она смотрит на лопаты.

Непостижимая жизнь этих людей не впускала ее в себя. Она не могла быть принята в эту жизнь никак, никаким образом, ни даже как женщина. Она не существовала для этих людей ни как отвращение, ни как соблазн. К ней не было ни ненависти, ни любви. Они сейчас хоронили человека, которого она убила, хоронили безропотно, будто сговорились, без слов. Она не существовала для них даже сейчас, когда вдруг стала виновной в убийстве одного из них. Она никак не могла изжить в себе предубеждение, которое отчуждало ее от них, от их естественной жизни.

Кныш с воза читал приказ по эскадрону:

— Параграф номер один! Продавшийся на удочку мировой провокации непобедимый эскадрон, достойный всяческого расформирования, покрыл себя неувядаемым позором!

Поднял голову от бумаги, осмотрел войско пристально, даже прищурился — всем ли понятно?

Эскадрон стоял при конях, держа их под уздцы. Лошади дергали головы от слепней, жужжавших у ноздрей, над глазами. Люди не препятствовали — только опускали-подымали руку, упершись глазами впиз, как рассматривали сапоги. Кныш убедился: всем ясно, и — в бумагу:

— Параграф номер два! Всем красным казакам заиметь революционную сознательность вплоть до расстрела на месте как поганую буржуйскую шкуру!

Теперь бойцы подняли головы, посветлели лицами — будто на душе полегчало. Кныш мельком глянул, одобрил и весело — дальше:

— Параграф номер три! Причинение обиды красному командиру полка, сами знаете какой,— снова зыркнул на своих орлов,— смыть горячей кровью!

— Ура! — не выдержал кто-то.

— Отставить! — радостно закричал Кныш.— Слухать дальше! Командир эскадрона Кныш! Комиссар Губарев! Скрепил писарь Дубнов! Теперь — все!

И, подняв над головою, показал бумагу.

Эскадрон, при полном обмундировании, в горячих бараньих кубанках, с ожиданием в ясных глазах, нетерпеливо переминался — когда прикажет в седла.

— А теперь,— закричал Кныш,— действительно — ура!

«Ура» закричали вразлад, лишь бы откричаться. Кныш понял:

— Отставить! По коням!

И, лишь обретя натуральное состояние, то есть вместившись в седла, эскадрон гаркнул, как единой глоткой.

— Так им привычнее, товарищ комиссар,— сказал Кныш,— они родились на конях... А пешие они — босяки...

Кныш смотрел на нее победно, как прощенный школяр, очищенный наказанием. Конь его переминался рядом; Кныш даже задел ногою ее ногу и отдернул коня.

Юдифь поскакала прочь.

— Что я сделала неправильно? — сквозь зубы спросила она догнавшего ее Петренку.

«Все правильно, барыня!» — хотел было сказать Петренко, но засмеялся:

— На войне усе правильно, комиссар!

Она еще не понимала, что, преодолевая себя, подгоняя свою природу под чуждые, не свойственные ей представления о бытии, она ввергает себя в рабство, из коего нет возврата...

118

«Отчего же не разваливается все?» — думал Коршунов. И вдруг его осенило: мешочники!

Огромная муравьиная масса мешочников перетаскивала по развороченной, разрушенной, разбросанной стране, как по разбитому муравейнику, народное добро. Чувалы, сидоры, мешки, как подушечки одичалых муравьев, лезли в теплушки, тряслись на крышах вагонов, ждали на нечистых разбитых станциях. Вся Россия перелопачивала вверх дном самое себя, расползалась по углам и сползалась снова, не умом — пюхом обнаруживая, где еще что осталось непобитое, несъеденное, неснощенное. И менялась, менялась, менялась — без выгоды, без барыша — единой цели ради: выжить.

Комиссары хватали, ставили к стенке, шлепали, а муравейник все равно сам собою, с муравьиною мудростью защищал себя, защищал без разума, без силы — тайно, явно, любым немыслимым манером: отругиваясь, отплакиваясь, делясь, помирая, обманывая, вымаливая ради единой природной цели — жить.

Ради единой цели — жить — валили придорожный лес, чтоб согреть остывший паровоз, прикрывали телом от бандитских пуль свои сидора, становились к стенке.

Евграф Лукич пробирался мимо большевиков на юг, куда подались все буржуи, будто там, на юге, шевелилась какая-то защита от немыслимой Божьей кары...

Войско на плацу колыхалось, не блюло строй, гудело недобрым гудом под длинным балконом, всю длину которого затянула штука красного сатину. На сатине белели меловые неровные литеры: «Смерть мировой контръ революции!». А над буквами, над красной тканью, над плацем, над папахами и картузами, нависая с балкона аполтуловища, кричали резаным криком двое в кожанках и один в бекеше. Они кричали все трое враз, махали руками, пытаясь унять гул, урезонить, упросить, заставить себя слушать.

Евграф Лукич, с посошком, с котомкою, глядел снизу вверх и не мог разобрать ни слова.

Должно быть, комиссары не справлялись с войском. «Бунт, что ли?» — подумал Евграф Лукич, присматриваясь издали к серым заросшим лицам, к белым беспонятливым глазам, выкаченным гневом. Шинели не перзой носки, подвязанные ремнями, пузырились на грудях, на спинах, на задах; воины показались Евграфу Лукичу недомерками, будто обмундирование правильного гвардейского полка роздано было зеленым новобранцам. И верно — растительность на иных лицах была редкой, робкой, мальчишеской, иные щеки золотились цыплячьим пушком. Должно быть, мела красная мобилизация остатки России — отроков непризывного года. Да и где набрать после такой войны солдат, чтобы были впору шинельному размеру?..

Войско зло дышало, топчась на булыжном плацу ношеными лаптями, сизыми обмотками поверх онуч. Евграф Лукич вспомнил щербатого пьяного солдата-весельчака, счастливого ото всего на свете, а более всего — оттого что ранен, оттого что шагает домой. Сидел на бугре, переобувался, то есть обматывал ногу в нерусской носастой бутсе, как бинтом, изделием каширской мануфактуры. Шутил: «Четыре аршина голениц!» Давно это было — два года назад. Евграф Лукич ехал на бричке, остановился, дал весельчаку старый империал — на обзаведение. Пропил, должно быть, весельчак — и золото, и английские ботинки.

А войско на плацу закипало недобрым нарастающим гулом. Евграф Лукич помалу привыкал к гулу, стал разбирать слова с балкона, слыхивал он уже эти слова: «Революция в опасности!».

И вдруг, как сквозь стену, внезапно, как нечистый дух, возник на балконе длинный кожаный человек в кожаном картузе, в сверкающих окулярах, раздвинул руками, раскидал по сторонам комиссаров (тот, кто в бекеше, даже схватился за край балкона, чтоб не свалиться) и, вырвавшись вполтела над толпою, выставляя козлиную бородку, крикнул небывало, трубно, сокрушительно:

— Где прррредатели?! Пусть они выйдут вперррред, если им шкура недорога!

И вскочил на что-то невидимое снизу, чтобы встать во весь рост.

Евграф Лукич удивился неожиданной тишине. Кожаный человек слегка согнулся, навис над толпою, страшно сверкая стеклами. Кожанка его была плотно пригнанной, обтянутой офицерской сбруей — портупеями — через плечи к ремню. И сбруя эта была не рыжей, что было бы привычно, а — черной, а цвет кожанки. И кобура на правом боку тоже была черной. И галифе — черной кожи.

Предатели не выходили. Человек ждал. Ожидание его, бессловесное, зоркое, устрашающее, было таково, что войско, утихнув, стало само по себе затвердевать, ровняя нелепые свои шеренги.

И неожиданно в тишине, ворчливо и негромко из глубины плаца, вспорхнула не то жалоба, не то угроза:

— Сапоги давайте...

Плац всколыхнулся, осмелел:

— Са-по-ги!

— Сапоги? — зычно переспросил кожаный человек.

И, вмиг выпрямившись, поднял ногу, сдернул сапог, потом второй, зацепил рукою сразу два ушка и замахнулся над гудящим плацем парою хромовых сапог с твердыми полковницкими голенищами, с утиными головками, с высокими польскими задниками, с несбитыми каблуками.

Он стоял надо всеми, высокий, ладный, пригнанный к обмундированию, в кожаных галифе и — босой. Босой в раскрутившихся портянках.

— Сапоги?! — опять переспросил он.— Вот вам сапоги!!!

И с силой, со злом, беспощадно, как кидают камень в последнем отчаянье, швырнул в толпу сапогами.

Войско ахнуло, опешило, и кто-то в бекеше немедленно, будто дождавшись, закричал высоким голосом:

— Да здравствует товарищ Троцкий! Урррра!

— Урррра-а-а-а! — взревел плац.

— Да здравствует революция! — не унимался в бекеше.

— Уррра-а-а-а!

— Смерть мировой буржуазии!

Босой Троцкий стоял на чем-то (не на столе ли?) и слушал это «ура», внимательно повернув к толпе ухо, будто подсчитывая, все ли кричат.

Евграф Лукич узнал его не сразу.

Чертовское («как Шаляпин»,— подумал сперва Евграф Лукич) появление главного большевика развлекло Коршунова. Он за этот год повидал уже немало этих чертей — и кожаных, и суконных, и в окулярах, и с бороденками. Сей же почему-то задел внимание только черной своей сбруей. Даже фокус с сапогами Евграф Лукич счел обыкновенным комиссарским пустяком. Но когда тот, в бекеше, возгласил здравицу, Евграф Лукич удивился самому себе: как это он сразу не признал небывалого этого еврея?

Коршунов видел Троцкого второй раз. Тогда, в Кадетском, Троцкий зычно требовал новой власти. Теперь же власть была при нем. И кинул он в толпу пару реквизированных щегольских сапог, и вот толпа на глазах становится войском, орет «ура», равняет шеренги...

Тогда Евграф Лукич не смотрел на крикуна, устало ждал, пока выкричится, терпел, подвигаемый символом свободной, разговорившейся с перепугу демократической России, слушал шалунов. Теперь же вспомнил Родзянку и — сапоги! Четыре миллиона пар сапог требовал великий князь. «Стыдно за Россию,— рокотал Родзянко в нумерах „Астории“,— армия не обута, война как снег на голову». Ах, Михаил Владимирович! Вот они, оказывается, где — сапоги! А мы-то с вами Маклакова дураком ругали! Промышленников кликали, кожемяк, сыромятников! Ответственную министерию алкали... И — ни сапог, ни министерии. К Гришке Распутину ревновали, ибо был он жулик, а нам, ученым, денежным, хотелось иной России — чтоб как у людей, чтоб не гореть со стыда. И вот — поди ж ты, Михаил Владимирович! Аз, грешный, зрю своими же очесы! Чудо зрю! Бедовый иудей бросает в толпу пару ворованных сапог, подобно Господу нашему Иисусу Христу, пятью хлебами утолившему глад пяти тысяч алкающих!

И вспомнил, что Троцкий тогда, в Кадетском, сулил хлебом накормить Россию. Вспомнил и сокрушенно усмехнулся: а ведь накормит...

119

Тяжелый артиллерийский снаряд грохнулся неподалеку, взметнулась земля, Юдифь прижалась к брустверу. Суровцев, прикрыв руками затылок, повалился на нее сзади.

— Убирайтесь! — закричала Юдифь.

— Идите к черту,— зарычал Суровцев, подминая ее под себя.

Новый снаряд разорвался ближе, их засыпало землей. Юдифь съежилась, он стал стряхивать с себя землю. Нос его случайно уткнулся в ее затылок, и он почувствовал далекий, как с того света, запах хороших духов — вымытый, выветренный запах, которого, может быть, и не было, но который все же был. Суровцев вскочил и заорал, рвя горло:

— Петренко! Санитаров комиссару!

Третий снаряд упал подальше, Юлия Семеновна очнулась.

— Я жива.

— Прекрасно,— сказал Суровцев,— вы можете двигаться?

Юлия Семеновна встала на ноги.

— Могу.

В окоп влетел Петренко:

— Ваше благородие! Товарищ командир! Кныша убило!

— Лошадь! — закричал Суровцев.

— Так что Гнедой убитый...

— Хорошо! Оставайся с комиссаром!

Он побежал, пригибаясь, по полю в лощинку, где Петренко привязал лошадей. Его конь не был убит, Петренко ошибся. Взмыленный и как будто поседевший от ужаса Гнедой бесился, рвал повод, которым был привязан к небольшому дубу. Петренкин Буланый, опустив голову, дрожал в коленях. Убита была лошадь Юлии Семеновны.

Гнедой гоготал с визгом, пучась кровавыми глазами. Суровцев с разбега вскочил на него, и — странно — конь успокоился. Суровцев, не слезая, развязал повод и поскакал назад, к окопу.

— Петренко! За комиссара отвечаешь головой! Ее лошадь убита!

И помчался по полю в третий эскадрон, которым командовал Кныш.

— Куда? — закричала ему вслед Юлия Семеновна.— Куда?

— Так что — в третий,— почтительно произнес Петренко.— Кныша убило.

Штук сорок пуль просвистело над головой, и вдогонку им затарахтела пулеметная очередь. Стреляли из-за лощинки. Там заржал Петренкин Буланый.

— Комиссар,— тревожно проговорил Петренко,— чуете, комиссар? Это — беляки... Обходят... Чуете? Беляки прорвались...

Снова свистнули пули. Петренко вытащил тяжелый офицерский наган и, не церемонясь, толкнул Юлию Семеновну в землю:

— Лежить, комиссар, лежить...

Он прижал ее боком к брустверу, будто стараясь запихнуть под землю:

— Тихо, комиссар...

С десяток всадников выскочили из лощинки и понеслись вдоль окопа, поблескивая шашками.

— Тихо,— шептал Петренко,— може — проскочут.

— Стреляй! — тоже шепотом выдавила Юдифь.

— Яке там стреляй! Тихо!..

Она протиснула руку к футляру, пытаясь достать маузер. Петренко расстегнул деревянную кобуру на ее боку, потащил оружие, не глядя.

— Держить... Тильки не стреляйте.

Маузер был тяжел и мазался жиром. Юлия Семеновна выставила его перед собою. Всадники проскакали.

Юлия Семеновна неожиданно щелкнула курком.

Маузер не выстрелил.

— Я должен был сохранить полк,— сказал Суровцев.

— Это предательство! — закричала Юдифь, побелев от гнева.

Суровцев был невозмутим.

— Выбирайте слова... Посмотрите на карту... Мы выдвинулись слишком далеко...

— Да! Далеко! Солдаты революционной армии оказались смелее своего командира!

— Мадам,— сказал Суровцев,— должность комиссара не предусмотрена ни одним военным уставом. Я не знаю, как реагировать на вашу истерику.

— Ах, вот вы как заговорили! Оставьте ваши юнкерские замашки! Вы будете отвечать перед революцией за отступление!

Суровцев вздохнул:

— Юлия Семеновна, взгляните на карту. Правый сосед не двинулся с места... К нам в тыл вошла конница... Мы были окружены... Возвращение на позиции — это удача... Я удивляюсь, почему нас не изрубили...

— Вы удивляетесь! А я не удивляюсь! Они просто не посмели зайти к нам в тыл.

Суровцев достал свой серебряный портсигар, раскрыл его и стал крутить самокрутку.

— Дивизией белых командует генерал Крылов. Я служил у него и знаю... Он бы...

Она перебила:

— Может быть, вы и сейчас у него служите?

Суровцев побелел:

— Во всяком случае, сударыня, я служу не у вас. И отвечать за свои действия я буду не перед вами!

Юдифь не удивилась, что ей так легко удалось арестовать Суровцева.

Красные бойцы смотрели на своего командира исподлобья, как нашкодившие. Суровцев старался не глядеть никому в глаза, и это воспринималось с облегчением.

Петренко кинулся было на защиту, но Суровцев приказал негромко:

— Афанасий Иванович, отставить. Там разберутся.

Вера в революционную справедливость была велика.

Арестованного командира полка посадили в бедарку, рядом с комиссаром.

— Кого же вы оставляете за командира? — спросил Суровцев.

Она не ответила. Четыре конармейца поскакали в конвое.

Суровцева привели в вагон чрезвычайного комиссара, без ремня, без сапог — в калошах, надетых на шерстяные носки.

Коба сидел за столом, на котором лежали карта и растрепанные мятые бумаги, придавленные тяжелым офицерским наганом.

— Поручик Суровцев,— брезгливо сказал Коба, не поднимая головы,— нам некогда вас расстреливать... Извините... Как-нибудь в другой раз...

Суровцев стоял вытянувшись. «Хочет, чтобы я застрелился»,— подумал он, увидав тяжелый наган.

— Есть более неотложные дела,— продолжал Коба.

Он поднял голову и улыбнулся.

Суровцев не ответил на улыбку.

Коба встал:

— Вам придется принять начальствование над бригадой...

Суровцев опешил.

— Я впервые принял полк.

Коба подошел к нему и наклонил голову к плечу, рассматривая снизу вверх нечистое заросшее лицо Суровцева.

Суровцев, поддаваясь подбородком, старался выдержать взгляд.

— То, что вы никогда раньше не командовали полком,— добродушно сказал Коба,—

вы блестяще доказали в бою... Попробуйте покомандовать бригадой... Может быть, у вас это выйдет лучше.

— Но бригада не полк! — сказал Суровцев, ничего не понимая.

— Неужели? — улыбнулся Коба.— Видите, вас неплохо учили в Академии Главного штаба. Кое в чем вы уже разбираетесь. Это — немало.— И жестко добавил: — Принимайте бригаду, товарищ Суровцев. И оденьтесь, как полагается революционному комбригу, а не бог знает как...

И пожал плечами, как бы подчеркивая неловкость, которую испытывает, видя человека без ремня и в калошах.

Когда Суровцев вышел, Коба сказал Иванову:

— Ну что нам делать с такими пламенными революционерами?

И, не дождавшись ответа, повернулся к Юдифи:

— Поезжайте в Москву, товарищ Юдифь. Поезжайте... И благодарите бога, что так легко отделались... Партия и без вас знает, как поступать с военными специалистами. Ваши девические порывы пригодятся в пьесках на военные темы, но не на войне...

— Товарищ Коба,— встала Юдифь,— я буду на вас жаловаться товарищу Троцкому!

Коба озабоченно сморщил лоб, но сказал весело:

— Не советую.

— Почему? — встряхнула головою Юдифь.

— Потому что товарищ Троцкий вас расстреляет, и правильно сделает... Нам нужны военспецы... А комиссаров мы всегда найдем. Поезжайте, поезжайте в Политпросвет...

Когда она вышла, Коба, слегка посмеиваясь, сказал Иванову:

— Чем-то ей Суровцев досадил... Наверно, не удовлетворил в чем-то...

Иванов вспылил:

— Брось, Коба!

Коба будто не слышал:

— Ляжки у нее — замечательные... Как каменные... Ты попробуй, слушай... Тем более — она уже давно не целка...

Лицо Иванова налилось краской. Коба бесстрастно посмотрел на него желтым зрачком:

— Вах, ты сейчас лопнешь...

Иванов через силу выдохнул:

— Брось, Коба... Это — женщина... Редкая...

Коба раздраженно пожал плечом:

— Редкая! Что ты думаешь — там у нее поперек, что ли? Оставь глупости, Егор! Надо везти хлеб в Москву... Можешь взять с собой в эшелон эту редкую женщину... Чтоб нескучно было...

120

Был поздний декабрьский вечер.

Тяжелая — с грузом — лампа в зеленом абажуре висела над большим круглым столом низко: можно было легко дотянуться до затейливого бронзового кольца, чтобы поднять или еще опустить ее.

За столом кроме хозяйки находились Юдифь и пожилой бритолицый артист императорских (ныне — государственных) театров.

Старый поэт Рукавишников полулежал в неглубоком кресле, сложив на животе огромные ладони, вытянув ноги к пустому холодному камину. Он прикрыл темные стариковские веки, развалился, не заботясь о приличии, должно быть, как баловень хозяйки, любимец дома.

Ольга Давыдовна Каменева в белой батистовой кофточке с множеством пуговок сидела выпрямленно и двигалась нарочито медлительно, разливая чай из тяжелого медного чайника.

Артист подался помочь — но сдержался. Галантность его страдала: как быть, если чай приходится разливать не из самовара, а из этого медного чудовища, которое даме неподъем? Он облегченно вздохнул, когда хозяйка поставила чайник на серебряную подставку. Она сняла крышку (пар заклубился) и уместила синий фарфоровый заварной чайничек.

Ольга Давыдовна была похожа на брата, как женщина может быть похожа на резколицего кривоносого близорукого мужчину. Должно быть, у Троцкого подбородок тоже раздвоен и резок, как у сестры.

— А вы ведь — комиссар? — спросил артист, надменно повернув к Юдифи бритое одутловатое лицо.

— Да, я была комиссаром,— негромко сказала Юдифь.

— А так — не скажешь,— уже с интересом вглядывался в нее артист,— вы изящны и элегантны...

— Благодарю вас. Это — первое условие, необходимое комиссарам.

Артист рассмеялся деланно:

— К тому же вы еще и остроумны!

— Наша Юдифь,— сказала хозяйка,— не только остроумна, но и немногословна, что делает ее остроумие особенно пикантным.

— Вы, разумеется, замужем? — спросил артист с некоторой надеждой в глубоком раскатистом баритоне.

— Вообразите — нет! — повернулась к нему Юдифь.

Артист вздохнул, выпятив подбородок:

— Это — трудно вообразить.

Юдифи почему-то стало жаль его.

— В последний раз я вас видела в «Лире». Вы были прекрасны.

— Что вы, что вы! — счастливо отмахнулся артист.— Какой я теперь Лир!.. Я теперь — Фальстаф! Гарпагон! Бурдюк! Революция полнит, не правда ли?

Он снова рассмеялся прерывисто, безнадежно махнув белой с перстнем рукою на свое заметное брюшко:

— Вот она — биодинамика! Мне говорил Мейерхольд...— И вдруг прикрыл рукою лицо.— Боже, Боже... Я никогда не приму этого, никогда с этим не соглашусь...

— С чем? — не поняла Юдифь.

— Как?! — вскричал артист, отдернув руку от лица, как от горячего.— Как?! Вы не знаете?

Он смотрел на Юдифь с ужасом, но ужас этот был не страшен, театрален, пуст.

— Не думаю, чтобы Деникин на это решился,— сказала хозяйка,— не думаю... Несмотря на всю его классовую жестокость!

— Я не понимаю связи между Деникиным и Мейерхольдом,— посмотрела в лицо хозяйки Юдифь.

— Он расстрелял его семью! — вскричал артист.

— Ходят слухи,— поправила Ольга Давыдовна,— но я — не верю... Как вы думаете? Посмел бы он это сделать?

— Почему же? — спокойно сказала Юдифь.— Идет война...

— Вы думаете? — испуганно спросила Ольга Давыдовна.— Впрочем, вам следует верить... Вы ведь...

— Я — стреляла,— негромко сказала Юдифь,— стреляла, но — не расстреливала.

— Разве в этом есть разница? — Ольга Давыдовна не скрывала ни любопытства, ни осуждения.

— Конечно! — тряхнула головою Юдифь.— Стреляют в вооруженных. А расстреливают — безоружных.

— Боже! — всплеснул руками артист. Он теперь смотрел с ужасом — естественным, не сыгранным.— И человек — падает?

Юдифь не успела ответить. Непритворный ужас на широком лице артиста вдруг исчез вмиг, сменившись непритворным детским интересом.

— Вы знаете балладу о Мейерхольде? И о нашей прелестной хозяйке?..

— Каким образом? — изумленно округлила глаза Ольга Давыдовна, и Юдифь, болезненно чувствующая фальшь, отметила про себя: знает.

— Что же это за баллада? — спросила она.

Актер стал с удовольствием декламировать:

Как восплачется свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай своего коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку...

— Оставьте! — перебила Ольга Давыдовна, слегка порозовев.— Я не звала его...

Ей, должно быть, нравилось слушать балладу, в которой ее называли княгинюшкой.

Юдифь пожала плечом и отвернулась.

В тишине посапывал у холодного камина Рукавишников.

— Наша Юдифь упрямо лишает нас удовольствия узнать подробности своей удивительной жизни,— улыбнулась хозяйка.— И между тем, нам известно многое...

— Следовательно, вы не лишены удовольствия,— проговорила Юдифь, посмотрев на нее слегка исподлобья. Ее раздражало новое комильфо. Поселившиеся в Кремле в качестве первых дам государства, эти дамы, знакомые ей по эмиграции, вдруг стали раздражать ее бонтонной манерностью. Одна Крупская осталась такою, какой была — преданной своему Володе, будь он хоть премьер-министр, хоть безместный адвокат.

— Однако любопытство неиссякаемо,— выдержала взгляд Ольга Давыдовна.

Рукавишников сказал вдруг, как проснулся:

— Любопытство движет науку...

— Наш поэт подтверждает мое предположение,— светски улыбнулась хозяйка, и Юдифь поняла, что в Театральном отделе Наркомпроса служить не придется.

Рукавишников встал, подошел к столу, смело отодвинул высокий стул и сел, ни на кого не глядя. Рыжеватая борода его — длинная и узкая — как-то ловко не попадала в чашку.

— Любопытство! — повторил Рукавишников.— Я изобрел автомат в шахматы играть... Переиграет Капабланку и Ласкера!..

Рукавишников был нетрезв. Хозяйка пыталась отвлечь гостя.

— Во всяком случае, недалек тот час, когда автоматы будут исполнять и более продуктивную работу! Пейте чай, товарищи...

Чай пили из узких фаянсовых чашечек — под шоколад. Сервиз был случаен, как случаен круглый стол, прикрытый белой с бахромой скатертью, как высокие черные стулья, как неглубокое жесткое кресло Рукавишникова.

Ольга Давыдовна подняла чашечку, отпила, отставив небольшой мизинец. Юдифи показалось, что главное, о чем заботится хозяйка,— это сидеть прямо, говорить негромко и улыбаться вежливо.

— Каждого рабочего,— неожиданно сказал Рукавишников,— можно сделать поэтом! Теперь, по крайней мере!

Хозяйка цокнула чашечкой о подставленное блюдце.

— Разумеется. Это и составляет задачу Наркомпроса. Ведь, в сущности, что такое живописец, или певец, или танцовщица? Это — талант, раскрепощенный общественными условиями! Прежнее общество не способно было на это...

Вошел мальчик в маленькой матросской фуфайке, в синей блузочке, сшитой из тяжелого недетского сукна. Ольга Давыдовна привлекла мальчика к себе, сказала, лучась счастливыми глазами:

— Вообразите, товарищи, этого выдумщика Раскольникова! Он подарил Лютику костюм, нарочно сшитый на какой-то канонерке! Что, Лютик?

— Папа просит товарищ Юдифь,— тихо сказал мальчик.

— Прекрасно! Юдифь, милая, Лютик вас проводит. Надеюсь, дело решится быстро. Лютик, скажи папе — мы ждем к чаю...

На большом письменном столе в кабинете Каменева горела настольная электрическая лампа. Юдифи показалось, что здесь светлее, чем в столовой.

В большом шкафу, стекла которого защищены были скрещенными бронзовыми копьями, стояли книги — издания Общины святой Евгении, Бенуа, Грабарь. На толстом кожаном корешке значилось — «Царская и императорская охота». Юдифь вспомнила, где она видела благообразного мальчика в матросской блузочке — в «Ниве» на фотографии. Это был цесаревич. Сытинская «Война и мир» стояла рядом с царской охотой. Следующую полку занимал Брокгауз.

— Нам не помешают,— сказал Каменев, потрепав мальчика по послушной голове.— Царевич может знать, что ведает князь Шуйский! Помните наши споры об отцах и детях, об удивительном, единящем слове — товарищ...

И рассмеялся, с удовольствием хлопнув ладонями.

— Садитесь, Юдифь! Стало быть — сколько зим и сколько лет?

Юдифь села.

— Лев Борисович, мне ведь в Москве негде жить.

Каменев уперся согнутыми пальцами в стол.

— Разумеется, нужно что-нибудь придумать...

— Но думать — некогда,— дружелюбно сказала Юдифь, подняв к нему лицо.

— В том-то и беда, что нам некогда думать,— весело кивнул Каменев.— Это — грех революции!

И — развел руками.

Он поседел за этот год.

— Итак? — спросила Юдифь, приподняв уголки губ, от чего щеки сузили большие глаза. Это была и улыбка, и насмешка — пленительное свойство ее лица.

Каменев опустил большую бобровтую голову.

— Видите ли, Юдифь,— сказал он,— в Моссовете чиновники припрятали квартиры. Вы сами понимаете, что это — преступники. Они торгуют квартирами!

— Я этого не знала, но если это утверждает председатель Моссовета, должно быть, это правда,— усмехнулась Юдифь.

Каменев рассмеялся легко, беззаботно:

— Председатель Моссовета громко звучит. Поверьте мне, власти у него не так много, как... Как... Словом, к нашему несчастью, городом по-прежнему распоряжается испытанное расейское вымогательство... Эти негодяи торгуют квартирами! У них есть наводчики — уверяю вас — целая подпольная сеть! И ни на одну квартиру — даром — вам никто не укажет!

Он сказал это с привычным пропагаторским запалом, как опытный обличитель и полемист. Как будто еще предстояло свергнуть ненавистный царский режим, наплодивший расейских взяточников.

Мальчик сидел на кожаном диване тихо, как мышонок. Он рассматривал рисунки какой-то толстой книги.

Юдифь ощутила знакомое раздражение. Пустословие унижало ее. Деловитая бергонская порода не терпела слов, за которыми не было дела. Тирада Каменева имела смысл по ту сторону октябрьского рубежа. Сейчас она возмущала беспомощной пустотой.

В кабинете стало тихо, настороженно. Мальчик в матроске держал страницу, не решаясь перевернуть.

И вдруг Каменев закричал на книжный шкаф:

— Смешно! Просто смешно! Старая революционерка, отдавшая революции особняк...

— Я ничего не отдавала революции, и революция у меня ничего не брала,— негромко перебила Юдифь и встала. Лицо ее сделалось покойным, холодным, непроницаемым.

Мальчик настороженно поднял голову.

— Погодите, Юдифь! — спохватился Каменев.— Разумеется, мы что-нибудь придумаем!

— Я уже придумала. И если я при этом пристрелю какого-нибудь вашего сотрудника...

— Какого сотрудника?! — всплеснул руками Каменев.— Что вы говорите, Юдифь? Можно подумать... Мы с вами знаем друг друга много лет!

— Я узнала вас только сейчас! — вздернула головою Юдифь и вновь приподняла уголки губ.— Вам действительно — торговать книгами на развале! Ленин прав!

Мальчик смотрел на нее удивленно, обиженно, презрительно сжав нетвердые детские губы.

— Знаете,— вдруг тяжело задышал Каменев,— не вам судить, что мне делать...

Знакомый кураж вспыхнул в Юдифи, затемнил голову, она посмотрела на Каменева победно. Перед нею стоял изрядно постаревший, отяжелевший — уже почти не похожий на краковского — ухаживатель, галант, джентльмен с безупречными манерами. Теперь он был нелеп и смешон — владыка Москвы, жалующийся на свою беспомощность.

— Именно — на развале! — подражая Ульянову, дернула головою Юдифь и, глянув на мальчика в матроске, подмигнула ему: — Царевич может знать, что ведает князь Шуйский!

И резко вышла из кабинета.

Ей сделалось легко. Она сорвала с вешалки кожанку и, влезая на ходу в рукава, побежала по белому коридору Потешного дворца.

121

Юдифь напрасно поругалась с Каменевым. Жилья в Москве было сколько угодно: дома опустели, входи и живи. Наташа Толкачева, служившая теперь в Совнаркоме, сказала, что достанет квартиру лучше Каменева. Юдифь быстро шла в Козицкий, к Наташе, остывая от запоздалых революционных речей. Она не выносила пустословия. В Наркомпросе ей тоже — не служить. Завтра она пойдет к Крупской — надо же что-то делать.

Она приехала в Москву с Ивановым. В товарном вагоне лежали мешки с хлебом, возле двери стоял приготовленный пулемет. Иванов устроил ей постель на мешках. Было жестко, и пахло сыроватой половой. Иванов был трогателен. Он велел красноармейцам курить возле двери. «Если вам что-нибудь понадобится — скажите. Остановим поезд». Отряд был запаслив: большой кусок сала в тряпице, спирт в какой-то странной банке с крышкой на баранчиках и целый мешок мраморного мыла.

— Выходите за меня замуж,— сказал Иванов и поспешно добавил: — После войны, конечно...

Она отшутилась, а он обиделся.

А что? К Иванову! Он сейчас в «Национале»! И — на фронт! Коба! Кобу все равно

5 уберут из Царицына! А может быть, уже убрали? К черту!

По Моховой, по Охотному шел длинный отряд красноармейцев, шел тяжело, устало, голодно. Наверно, кашу дадут при погрузке. Запах махорки и сапожной ворвани тянулся в морозном воздухе. Вдоль отряда ездил взад-вперед на небольшой лохматой лошадке человек в кожанке и с маузером на боку.

Из «Националя» вышел кто-то в шинели с наставленным воротником, высокий, согнутый холодом. Юдифь едва разминулась с ним, как высокий человек этот обернулся:

— Ю... Это — я...

— Па-авел! — закричала Юдифь.— Па-авел!

Она упала.

Он подскочил к ней, поднял, стал дышать в лицо:

— Ю... Я здесь...

Он был жив. Тогда, в прошлом году, анархисты начали было громить коршуновский

завод как источник эксплуатации, но успели взорвать только ворота. Мастеровые отстреливались от анархистов, и в перестрелке погибли несколько человек с обеих сторон. Известно было, что мастеровыми командовал инженер — бывший царский капитан, который пропал куда-то после стрельбы.

Но это он расскажет ей потом. Он расскажет ей, как искал ее и как в Питере ему сказали, что она погибла под Царицыном. А пока она плакала и что-то кричала, а он прижимал ее к своей шинели, выдавливая веками слезы и бормоча: «Ю, я здесь, Ю, я здесь...»

— Чего орешь? — дружелюбно спросил какой-то человек в бушлате, с карабином на плече.— Нашла, дык песни петь надо...

— Товарищ! — закричала бушлату Юдифь.— Это мой муж! Он жив! Он жив!

— Ну, а коли жив — значится — того... Не плачь...

— Ю,— приходил в себя Павел Кордин,— пойдем домой...

Девятнадцатый год

123

Евграф Лукич Коршунов все никак не мог оставить разворованную Россию. Он размышлял о превратностях судьбы. Делал снаряды для победы православного воинства, обедал с царем в Могилеве и вот — приютился в рыбацкой мазанке у старого фактора своего Пантелея.

Несильная, но колючая зима восемнадцатого на девятнадцатый год застала его приболевшим — ломило поясницу, не разогнуться по утрам, потягивало справа под ложечкой (печенка, что ли?). Вспоминал доктора Фогеля, натурального немца, домашнего врача. Берег коршуновское здоровье немец. В начале войны доктор Фогель опасался — а ну прицепятся патриоты? Евграф Лукич посмеивался: «При мне ничего не бойтесь». Делать немцу при Коршунове было нечего: Евграф Лукич был крепок телом. Доктор прикладывал к коршуновской груди салфетку, прижимая ухом,— слушал, как кот мышку.

— Ну, будет,— говорил Евграф Лукич, перетерпев,— дел много.

— Я выполняю свои обязанности,— сухо говорил доктор.— Извольте повернуться спиной.

И — салфетку к спине.

Немец любил Коршунова, и бывал грех — сиживали они за лафитом неоднократно и к цыганам ездили. Доктор был тоже — старый холостяк.

Но в августе пятнадцатого доктор Фогель понадобился не на шутку. Тогда была ранена Юдифь.

...Где они все? Где доктор? Где верный китаец Пей-фу? Где она, девчонка, жизнь, красота, грация?

Он лежал на топчане в саманной мазанке под лоскутным одеялом. Рыбным следом тянуло от одеяла. Мазанка и вся пропахла рыбою, но не горько, не тошнотворно, а легко, присолено, как пахнет чистое море.

Северный ветер затянул морозной шубой небольшое оконце. Евграф Лукич скосил глаза: Пантелей колдовал у печи. Печь была странная — и тебе голландская труба, и — русская, с шестком. Пантелей кинул в зев охапку бросовой вяленой рыбы — чтоб бойчее занялись обрубки плашкоута.

— С добрым утречком, Евграф Лукич,— сказал Пантелей, будто спиною увидел, что Коршунов проснулся.

— И тебя с добрым утром...

Пантелей выпрямился. Был он длинен, костляв — плечи торчали, распирая полосатую фуфайку. Пегая борода подстриженная, иногда подбриваемая со щек, с губ прикрывала шею. С лица, темного, репанного, как кора, из-под серых бровей смотрели выцветшие голубые глаза.

— От Нобеля никого не было, Евграф Лукич, кто придет? Ждать надо... Не вечно же... Мука у нас есть... А золото — не жевать же его... Баржу, действительно, расколотили... Нефть ушла...

— Жизнь ушла, Пантелей,— неожиданно для самого себя проговорил Коршунов.

Пантелей поджал давно небритые губы:

— Это, хозяин, напрасно... Жизень — никогда не уходит... Перезимуем... Слышно, у Ленина пуля невынутая по жиле катается...

Коршунов усмехнулся (пожалел, что брякнул слабые слова), спустил ноги в рыжих верблюжьих носках.

— Сколько ж тебе годов, Пантелей?

— Так шесть десятков уже было... Еще поживем, Евграф Лукич... Я еще жениться буду... Слышно, государь император спасся... Вот-вот явится, и тогда уж образумимся...

Евграф Лукич не ответил. Думал, вспоминал недавнее.

Добровольческая армия собирается спасать Россию. Евграф Лукич разговаривал в ставке с генералом Лукомским — как бы военным министром будущего правительства России. Он не изменился за три года. Так же стрижен ежиком, те же негустые усы и бородка. Разве что — поседел. Глаза генерала были печальны — домашние, никак не генеральские. Евграф Лукич пожалел про себя Лукомского.

— Сколько у вас капитала за рубежом? — спросил Лукомский.

— Немного, Александр Сергеевич,— лениво-благодушно ответил Коршунов,— так, на баловство...

Должно быть, обращение по имени-отчеству не понравилось генералу. Вот тебе и домашние глаза.

— Эта московская братия и развалила державу. Москва побила Питер. Орда!

Коршунов понял неудовольствие, сказал:

— За орду не виноват-с...

Разговор у них был странный, будто разговаривал Евграф Лукич с человеком умным, толковым, однако — слепым. Генерал сказал про отряды мстителей — земледельцы отобьют землю у большевиков.

— Мстители,— кивнул Коршунов,— а земля уже взята...

— Но взята незаконно!

— Зато — крепко, ваше превосходительство. Большевики, конечно, незаконные, а мы все путаемся в законности, от того и сидим в Екатеринодаре, а не в Питере.

— Но мы не можем им уподобляться!

— Не можем... Не умеем, не знаем, как... Оттого в отчаянье мстим. Режем, колем, кожу сдираем... А землю народ-то все равно взял...

Разговор про землю не получался.

— Вы промышленник, что вы скажете о нашем рабочем законодательстве? — спросил Лукомский.

— Благородно, ваше превосходительство... Восьмичасовой день, охрана детского и женского труда... Благородно... Можно подумать — социалисты писали... Только ведь это уже — никому... Народ об одном: прокормиться. Фабрики не дымит, мастеровые разбрелись...

Не вышло разговора с Лукомским. И строгость была не к месту, и рассуждения не к месту. Ах, Добрармия, Добрармия! Правые, умеренные, кадеты. Одним давай монархию, другим — Земский собор, третьим — конституцию. И ругаются, спорят. И не враг с врагом, а между собой, будто переехала Государственная дума из Таврического дворца на Кубань, на Дон, переехала не дело делать — доругиваться. Правые требуют в диктаторы Великого князя Николая Николаевича. А Деникин, у которого в руке — войско, обещает децентрализацию российской власти! При царе Дума мечтала о децентрализации — не удалось. Чего теперь хотят, когда вся сила в железной диктатуре? А диктатура там, в Москве. Здесь — говорильня. Будто досталась политическая жизнь России белым: нате, расхлебывайте!..

Месяца два назад в Екатеринодаре — полковник какой-то. Лицо знакомое, видались когда-то, а как звать — позабыл. Полковник этот — седоусый, под глазами желтые мешочки — узнал Коршунова, не удивился встрече: где же ему быть, Коршунову, как не в добровольческом стане, куда вся Россия сбежала?

— Евграф Лукич, окажите честь отобедать. Приказано мне занимать союзников. Миссия британская прибыла...

Англичанин сидел выпрямленно, улыбался высокомерно, учтиво. Полковник, пивший с тоски, говорил толмачу — юному поручику, чистенькому, новенькому, как только что отчеканенному:

— Им нужна Персия, Баку, Грозный. До России им дела нет!

Должно быть, поручик перевел мягче, чем было сказано. Англичанин ответил:

— Нефть нужна всем цивилизованным народам. У Великобритании большой опыт, которым она готова поделиться.

«Ты со мною — опытом, я с тобою — нефтью,— подумал Евграф Лукич.— Грабеж, что ли?»

Полковник улыбнулся болезненно, как будто рана саднила:

— Им совсем и не нужно, чтобы мы побили большевиков. Им нужно, чтобы большевики разбили русскую промышленность. Русская промышленность для них конкурент страшнее большевиков.

Поручик не перевел, удивился:

— Но большевики устроят хаос!

— А им это и нужно. Придут правити и володети нами...

Поручик весьма смущенно заговорил с гостем, полковник подвинулся к Коршунову:

— Я, Евграф Лукич, в небылицы стал верить. Если бы Европа поглупела и завела своих большевиков. Чтобы они, сукины дети, поняли, что такое «бей буржуев!». Ему ваша нефть нужна, Евграф Лукич! И чтобы крови нашей побольше вытекло! Жди от них помощи, как же!

Евграф Лукич не думал, что большевики устроят хаос. Что-то другое устроят, а что — не понимал. Союзников же понимал: нет им смысла помогать Добрармии. Накладно и не видать, что вырастет...

— Пантелей,— тихо сказал Евграф Лукич,— в Москву пробираться буду...

— Само собою, хозяин... Все войско туды собирается...

— Да нет, войска ждать не буду. Пойду погляжу — что ж они все-таки затевают?.. Есть же народу надо? Где возьмут?

124

Ульянов сидел, привалясь к столу, сунув левую руку в карман пиджака и уложив лоб в небольшую ладонь правой, упертой локтем в стол.

Тусклое желтенькое электричество отсвечивало на его голове неясными бликами.

Перед ним стоял, видимо, уже собравшись уходить, высокий тощий человек. Лицо его казалось белым, мертвым, и странно краснели на нем небольшие скулы. Черная бородка его была седой, со щек он давно не брился. Он был в худом пальтишке и в толстом шерстяном шарфе, обмотанном вокруг длинной шеи. Длинными чахоточными пальцами человек этот сжимал потертую шапку.

Он стоял перед Ульяновым и близоруко смотрел на его опущенную голову жаркими страдающими глазами.

— Погодите,— шепнула Крупская Юдифи и хотела было закрыть дверь, но человек этот заметил ее:

— Надя... Спасибо... Я ухожу...

Два тонких стакана коричневого чаю никто не пил.

Крупская посмотрела на стол:

— Выпейте чаю, Юлий... Холодно...

Он не ответил, вдруг уперся руками в стол и сипло заговорил, не обращая внимания ни на что, кроме ульяновского лба:

— Ну, хорошо, вы победили... Но вы никогда не побьете российского мещанина! Никогда! Володя, вы покоритесь ему, потому что сами выбили затычку сословности, которая его кое-как сдерживала!

Ульянов, не вставая, потянулся через стол, ложечка в стакане звякнула. Он поднял голову, и они встретились глазами. Гость вдруг дернулся, отпрянул от стола, отвернулся и, выхватив из кармана пальто платок, приложил его к губам, пересиливая кашель, который уже дергал изнутри его неширокие плечи.

— Выпей чаю,— сказал Ульянов и притронулся к блюдечку.

Гость замотал головой и, глухо кашляя в платок, проговорил сквозь кашель:

— Пройдет... Володя, вы не побьете мещанина... Вы освободили холуя от барина... А он... Он попытается увидеть барина в вас... и если не увидит... станет барином сам, и тогда вам — горе...

— Выпей чаю,— тихо повторил Ульянов.

Гость спрятал платок.

— Ты знаешь — я не могу без революции...

— Не знаю,— жестко перебил Ульянов,— наверно, можешь... Все это пошлости... Поезжай туда... Мы тебе дадим денег...

Ульянов сидел спиною к двери, Юдифь не видела его лица.

— Но ты же знаешь,— проговорил гость отчаянно,— ты же знаешь, что я не сдамся, пока жив!

— Знаю,— тихо сказал Ульянов,— ты не сдашься. Поэтому — уезжай.

— А если я не уеду? — Слеза покатилась по его мертвому лицу.

— Ты должен уехать,— сказал Ульянов,— ты непременно должен уехать. Я не хочу, чтоб тебя расстреляли...

Гость убрал пальцем слезу и усмехнулся:

— Ты думаешь, я дорожу жизнью?

— Не думаю. Прощай... Если ты не уедешь — не приходи ко мне больше. Я прикажу тебя не впускать.

— А если уеду?

Ульянов встал, сунув руки в карманы штанов.

— А если уедешь — ты и сам не вернешься, не правда ли? Прощай.

И, круто повернувшись, увидел Юдифь:

— А! Блудная дочь?

Он сказал это весело и беззаботно, как будто в комнате никого не было, как будто, сказав «прощай», он вычеркнул своего странного гостя.

Но гость был в комнате. Новый кашель сотряс его плечи, он выхватил платок, зажимая рот дрожащей желтой ладонью. Ульянов не пошевельнулся. Гость, не глядя ни на кого, быстро, не отрывая от лица платка, вышел из комнаты в коридор, кашляя на ходу. Возле высокой белой двери он остановился, словно не соображая, что делать, подумал и толкнул дверь шапкой, зажатой в кулаке.

— Он очень плох,— вздохнула вслед ему Крупская и посмотрела на Ульянова большими выпученными глазами.

— Да,— сказал Ульянов, глядя на дверь, которую закрыл за собою гость.— Ну-с, милая барышня, с чем пожаловали?

— Володя,— сказала Крупская,— может быть, можно для него что-нибудь сделать?

— Что? — резко обернулся к ней Ульянов.— Отменить революцию? Восстановить учредилку? Уйти в подполье? Распустить партию? Отдать Кремль Деникину? Что еще можно сделать для господина Мартова?!

— Я не об этом, Володя,— холодно проговорила Крупская.

— Да? — язвительно наклонил голову к плечу Ульянов.— Большое спасибо! — И, смягчившись, добавил: — Мы найдем способ поддержать его... То есть я хотел сказать — подкормить его... Разумеется, если он уедет. Кстати, Надюша, пусть он уедет... По крайней мере, проценты на ту лепту, которую он внес в революционное движение России, мы ему вернем! Вот так, милая барышня! — развел руками Ульянов.— Туберкулез! Профессиональная болезнь русских революционеров! И что удивительно — революционер давно уже умер, а туберкулез в нем все еще жив!..

125

Комиссар Егор Иннокентьевич Иванов сидел за небольшим белым столиком. Гнутые ножки, обрисованные затейливыми золотыми вензелями-цветочками, вымазаны были просохшим дегтем. Должно быть, немало голенищ терлось о них. На столике находилась большая фигурная чернильница, а под чернильницей — след фиолетовой лужицы и чернильные капли вокруг. Стоял на столике также зеленый обтертый ящик полевого телефона.

Столик, привезенный откуда-то, доставлен был из обоза сюда, в дебелый каменный дом-лабаз, хозяева которого — все семейство — расстреляны были неделю назад тут же, на дворе.

Ветреный февральский мороз затянул небольшие стекла. Стекла все же синели короткими сумерками. В помещении было тепло. Ординарец натопил печь и, сидя на припечке, штопал толстый — пестрой грубой шерсти — комиссарский носок. Егор Иннокентьевич не уважал портянку: на голые ноги надевал носки.

Двенадцатилинейная лампа тяжело, крупно свисала с невысокого потолка, прикрытая молочным абажуром; должно быть, керосин в ней догорал: пламя слегка чернило по краю. Ординарец поглядывал на лампу — скоро ли товарищ комиссар дочитает, чтобы погасить да долить керосину.

Егор Иннокентьевич читал директиву Оргбюро ЦК от двадцать четвертого января сего, девятнадцатого, года. Он знал эту директиву, она уже действовала недели две. Но он перечитывал ее, пытаясь уразуметь смысл предписания.

«Признать единственно правильным,— читал Егор Иннокентьевич,— самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем их поголовного истребления». Поголовное истребление было подчеркнуто синим карандашом, подчеркнуто зло: карандаш треснул, оставив след осколка. «Провести массовый террор (тоже подчеркнуто, но уже — красным) против богатых казаков, истребив их поголовно, провести массовый беспощадный террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо, прямое или косвенное, участие в борьбе с Советской властью».

На бумаге сбоку стояла чернилами написанная цифра — 3.728. Это — сколько расстреляно на сегодняшний день. Всем выли станицы и хутора, занятые Восьмой красной армией. Трупы мужиков, баб, подлеток валились в наспех вырубленные в мерзлой земле канавы. Мерзлыми комьями закидывали канавы пришлые и иногородние, о которых сказано было в директиве — давать оружие только им и землю, освобожденную от хозяев, отдавать им же.

Егор Иннокентьевич не мог понять этой директивы. Лютым ликованием горели глаза красных бойцов и командиров. В штабе Восьмой будто велено было истребить восемь тысяч классовых врагов — по номеру армии. Егор Иннокентьевич чувствовал ознобом, страхом: стань он вразумлять, стань доказывать — трибуналом расстреляют Егора Иванова свои же и кинут в яму вместе с классовым врагом. Что же делать?

Бегут от красных в Добровольческую армию к Деникину казаки — справные, несправные, всякие. Растет Добровольческая армия. Во что вырастет? Чем обернется начатый Деникиным поход на север? Чем заплатят за эту директиву пролетариат и беднейшее крестьянство?..

Нет, надо в Москву, в Реввоенсовет, в Оргбюро, к Ленину, к Троцкому. На что пошли? Что делаем?!

А может быть, это его — Иванова — меньшевистские метания? Может быть, и сам он сдает в классовой борьбе?

Якир говорил:

— В тылу наших войск и впредь будут разгораться восстания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие даже мысль о возникновении такового. Эти меры: полное уничтожение всех поднявших восстание, расстрел на месте всех имеющих оружие и даже процентное уничтожение мужского населения. Никаких переговоров с восставшими не должно быть!

Попробуй поспорь.

Иванов не спорил. Он понимал, что республике нужен хлеб. Но хлеб, а не кровь. Однако директива требовала крови...

126

Юлия Семеновна увидела небольшого мужичонку в латаной сермяге, однако в хороших чистых сапогах. На голове его высилась ношеная мятая солдатская папаха, разрезная с боков, а подпоясан он был нешироким кушаком — кожаным, что ли,— не разглядеть. Через плечо висела сума-торба для всякого — может быть, для харчей, если мужичонка нищенствовал. Но, видать по всему, был он шустр, крепок, и Юлия Семеновна почему-то подумала — не маскарад ли?

Он задирал нечесаную бородку, надвигая папаху с затылка на брови, и, щурясь от солнца, разглядывал дом, будто искал знакомые окна. В правой руке его была клюка, посох. Этой палкой мужичонка постукивал по липким булыжникам, забитым грязью. Грязь жирнела меж камней, прорастая первой весенней травкой, и травка не радовала глаз, а удручала неуместностью жизни среди мертвой, заваленной всякой всячиной мостовой.

Скрюченный от голода и одичания пегий пес побрел было из подворотни за мужичонкой, нюхнул через силу и лег дрожа — усилие оказалось чрезмерным, лег не по-собачьи, калачиком или на грудь, а как-то набок, завалясь головой.

Мужичонка увидал собаку, присел на корточки, порылся в торбе — что там могло быть? Но достал чего-то, поднес к морде — пес не шевелился. Мужичонка встал, поднял сапогом собачью ногу, отпустил — нога упала.

Юлия Семеновна смотрела сквозь давно немытое стекло — единственное в высокой раме, забитой фанерными обрезками. Вверху рамы была не фанера — ржавый железный квадрат, в который уходила ржавая же труба буржуйки.

Юлия Семеновна смотрела на старого бродягу, каких теперь было множество, и вдруг схватилась холодными пальцами за щеки. Она узнала в странном мужичонке — Коршунова. И удивилась, что ни разу не вспомнила о нем. Узнать его было невозможно, но она узнала и почувствовала неприятный жестокий интерес к его маскараду. Ей захотелось, чтобы Коршунов прошел мимо, не заметив ее,— она даже отступила от окна, но другая сила неукротимо тянула ее к нему спросить об отце, о маме, о Мари — где они? Он должен знать! Но почему он сам здесь, с этим мешком?

— Евграф Лукич! — крикнула она неожиданно для себя и тут же зажала себе рот ладонью.

Коршунов не слышал. Он задрал бородку, подумал и ступил в подворотню. Юлия Семеновна бросилась из комнаты. Она бежала по огромному грязному коридору, не понимая ничего. Коридор был темен, она споткнулась о какую-то твердость, ушибив ногу, но не упав. Боль врезалась беспощадно, и она заплакала, присев на корточки и схватив ушибленное место. Но поняла, что плачет не от боли. Юлия Семеновна встала, вздохнула, слезы вмиг просохли. Она была спокойна. Зачем ей видеться с Коршуновым? Зачем он так вырядился, старый фигляр? Может быть, он скрывается от чеки? И что тогда? Задержать его? Добрейшего Евграфа Лукича? Нет — буржуя Коршунова, контрреволюционера Коршунова, контру, как сказал бы покойный Кныш. Буржуя, контру... Она усмехнулась. Боже мой, но он же меня не видел и я не видела его! Я не знаю, кто этот старик в хороших сапогах! А почему он в хороших сапогах? Потому, что он — богат. Он богат и сейчас, когда республика корчится от голода! Вот сейчас он наклонялся к издохшей собаке, он хотел накормить ее! Значит, у него есть чем кормить собаку, которую сейчас утащат, чтобы дать есть голодным детям! Нет, она знает, что делать!

Юлия Семеновна вернулась в комнату, отодвинула ящик буфета и взяла маленький маузер. Подержала его в руке и вдруг, бросив его, снова побежала через темный коридор, откинула щеколду, распахнула дверь и отпрянула от резкого удара солнечного света. Свет ворвался, заиграл на паутине, заблестел на высохших пыльных ребрах столярного клея, из которого всю зиму выламывали паркет для ненасытной буржуйки.

— Евграф Лукич! — закричала она.— Я здесь!

Мужичонка в старой сермяге стоял на ступеньке, держа в руке мятую папаху, будто пришел за подаянием. «Где мама? Где Мари?» — пронеслось в голове Юлии Семеновны.

— Бонжур,— сказал Коршунов.— Не ждала? Ну, покажись, мадемуазель комиссарша? Али уже — мадам?

Голос его был прежним, и лицо его было прежним, только заросшим до глаз. Это был прежний Коршунов. Юлия Семеновна пришла в себя:

— Что вы юродствуете, Евграф Лукич?

Коршунов сощурился лукавством, которое и забавляло, и раздражало ее.

— А кто же не юродствует, мать моя? Пустишь, что ли?

— Входите... Вы что — искали меня? Как вы меня разыскали?

— Эк, как ты строга!.. Пей-фу нашел... Ну, веди...

Ночевал Коршунов у себя, на Якиманке.

Москва была чужой.

В доме расположились китайцы. Предводительствовал ими Пей-фу. Он принял хозяина, не меняясь лицом,— пришел и пришел. Где был, куда идет — дело хозяйское. Одно только сказал:

— Балысыня в Совнаркоме служит... Паала Михайлоаича — мужа... Живет — Дмитровка...

— Его же убили, Пей-фу!

— Живая, хозяйна, живая...

Но, увидав Юдифь, Коршунов не стал спрашивать о бывшем своем инженере.

Он ступил в коридор и пошел за нею, постукивая посохом.

В комнате она, пристально оглядев его, повторила:

— Что это за маскарад?

— Да уж спрашивала,— ответил Коршунов, вытирая сапоги о порог, вытирая демонстративно, как бы отряхая прах от постолов. Старинное забытое раздражение зашевелилось в ней. «Где мама? Где Мари? Где отец?» — впилась она в него глазами, но чувствовала, что найдет в себе силы не спрашивать его ни о чем.

— Маска-а-рад,— протянул Коршунов, озираясь.— Стало, тут и живешь?

— Где мама? Где сестра? Где отец? — вырвалось неожиданным криком. Спросила и замерла от удивления, как после выстрела.

Коршунов приставил к стенке клюку, снял с плеча торбу, вылезая из-под лямки, и, не глядя на Юлию Семеновну, тихо проговорил:

— А где им быть? В Париже...

Он поискал, куда положить торбу. Положил возле двери, распустил потрескавшийся офицерский ремень.

— Вшей на мне нет, мать моя, не гляди... Говорю — должно быть, живы... В Париже тихо, большевиков не слыхать...

Слова эти обидно подхлестнули ее. Появление Коршунова вырвало из нее вопрос, который она уничтожила два года назад. Но вот поди ж ты — кинулась к Коршунову и звала его, чтобы выстрелить именно этим раз и навсегда ликвидированным вопросом.

А Коршунов — она это чувствовала — понимал ее смятение и, скрывая свое понимание, неторопливо, по-стариковски складывал свою маскарадную сермягу на маскарадную торбу, складывал так, будто всю жизнь побирался и не знал никакого другого занятия. Старый юродивый! Юлия Семеновна закипела гневом:

— Тогда... какого черта вы — не в Париже?!

Коршунов выпрямился, развел ручками:

— Вот те на... Строга ты, мать, строга... По документу я — Евграф Лукин сын Коршунов, калужский мещанин... Пильщики мы...— Коршунов, со своими короткими ручками, заросший и нечесаный, в синем выцветшем суконном казачьем бешмете с чужого плеча, был мал и беззащитен. Но именно эта беззащитность глядела так победно и даже молодцевато, что Юлия Семеновна ощутила, как в сердце ее оборвались за ненадобностью и гнев, и раздражение. Она досадливо улыбнулась:

— Евграф Лукич, неужели вы не понимаете, как серьезно ваше положение?

Он погладил от кадыка бороденку, как делывал это в лучшие времена:

— Да уж чего серьезнее? Капитал у меня в Женеве, городок такой имеется в Европе... Там же и папеньки вашего капитал... Так что — милости просим... Сала я тебе привез, не обессудь...

Юлия Семеновна ощутила вновь приближение гнева:

— Сала?! Откуда сало?

— Так уж не из Женевы...— пояснил Коршунов, разглаживая усы.— Далековато Женева-то... Из Малороссии, городок такой есть, Таганрог.

— Но там же Деникин! — закричала она и топнула ногой.

— Ну-к што ж... Там — Деникин, тут — Троцкий, а все — люди... Может, присядем с дорожки-то?

— Да, да, конечно,— сказала она и подошла к забитому фанерой окну.

Коршунов не сел. Он стал разглядывать жилье купецким прищуренным глазом, будто оценивая — покупать ли, погодить? Задрал голову на закопченный лепной потолок. Чумазые амурчики баловались по углам в медальонах. Цветочная канитель тянулась от

медальона к медальону, а посреди потолка из центра грязной алебастровой клумбы, как бы прилепленной вверх корнями, на простой собачьей цепи висела керосиновая лампа с пузатым засиженным стеклом, взятая не иначе как из кавалерийской части. Висела она над хорошим ореховым столом, прикрытым газетой «Правда». Там, где газеты не хватало, видны были вздутая фанеровка, местами облупленная, и выжженные круглые следы от горячего. Красного дерева высоченный буфет с замутненными стеклами, видать по всему, был пуст. Нижние тумбы хранили клеевой след отодранных украшений — к чему украшения, ежели нечем топить. Поближе к окну стояла сама буржуйка, чугунная, литая, рыжая от гари и ржавчины. А возле буржуйки — две рядышком — солдатские железные койки, прикрытые серыми одеялами шинельного сукна.

— Стало быть, не одна живешь? — спросил Коршунов.

— Евграф Лукич! — стоя лицом к окну, сказала Юлия Семеновна.— Если вам безразлична ваша судьба, в чем я сомневаюсь, имея в виду, как вы выразились, городок Женеву,— вы обязаны подумать, в какое положение ставите меня!..

— Дык подумал... Капиталец-то на твое имя в случае моей... этой самой...— Он дернул рукой возле шеи, как веревку затянул.— Хотя вы же будто не вешаете, а расстреливаете... Так что тебе сейчас в самый раз — в чеку...

Она опустилась на стул, уперла локти в колени, закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. Коршунов смутился:

— Ну-ну, извини, Юдифь, голубушка... Извини меня, детка...

Он подошел к ней, положил руку на голову:

— Матушка... Ну-ну... Шутка, конечно, дрянная, хотел развеселить — обидел... Ну ее, чеку-то, бес с ней...

Она подняла на него заплаканное лицо:

— Зачем все это, Евграф Лукич? Вы же знаете, что мне не нужны ваши деньги... Никогда...

— Ну-ну-ну... Никогда...— Коршунов снова погладил ее по голове.— Гляди-ко, мать моя... Волосок седой... Ну и с кем же ты тут пребываешь?

— С мужем!

— Комиссар, небось? — насмешливо спросил Коршунов.

Она не хотела говорить Коршунову про Павла. Ей казалось, что возвращение к Павлу Коршунов воспримет как возвращение к прошлому. Но и врать про «комиссара» она тоже не хотела.

Она поднялась и сказала весело:

— Представьте себе — нет! Инженер! Он сейчас на службе...

— А, ну да... Ну да...

Юдифь как бы спохватилась:

— А вы почему здесь, Евграф Лукич? Вы что — у Деникина были?

— Был... Худо дело у Деникина... Печалится Антон Иваныч...

— Как же печалится, если наступает?

Коршунов махнул рукой:

— Изворовалось православное воинство... Ваши — куда способнее.

— Евграф Лукич! — строго глянула Юлия Семеновна.— Вы мне скажите честно: зачем вы здесь?

Он сощурился:

— Думаешь — лазутчик? Нет, мать моя, я — сам по себе. Не веришь?

— Я вам верю... Другие не поверят...

— Дык уж обманывал, не бойся... Все я никак из России не уберусь... Да...

И снова она почувствовала надежное высокомерие, которое всегда давало ей силы:

— Неужели вы ждете перемен?

— Нет, мать моя, не жду...— простовато сказал Коршунов.— Крепче вашей власти в России отродясь не было... Она хоть и незаконная, а навеки...

— Как же — навеки, если незаконная?

— Власть, взятая силою,— незаконна, хоть она тысячу лет провластвует...

— Ну, тысяча лет нас устраивает вполне! Так что вам — лучше в Женеву!

Коршунов покачал головой:

— Неинтересно русскому человеку в Женеве... В России-то не в пример интересней... Хоть и опасно по нынешним временам... В России-то что вышло, поняла ты?

Она уже ожидала от него неожиданного парадокса или притчи.

— А вы поняли?

Он заметил ее высокомерие и нахохлился.

— Я-то? Я-то понял, милая барыня, товарищ комиссар... Скажем так... Некоторый крестьянин выбился в купцы, богател на краю села, а мужик на него зубы точил: русский мужик не любит, ежели кто богатеет... Исправник, как должно быть, душит купца налогами да поборами, а купец все равно — богатеет... И покуда власть сия существовала, мужик злобился тайно — авось, мол, господин исправник задушит этого богатея — все же справедливость будет... А богатый взял да и прогнал исправника! Когда же он его прогнал, мужик осерчал и смекнул, что не бывать справедливости ниоткуда, окромя как от его мужицкой мозолистой руки... Смекнул, взял колун и разметал купцу башку! А не балуй! Вона что вышло, товарищ барыня!

— Ну, ну... Кто же в этой притче — купец, кто — исправник, кто — мужик?

— Все просто, мать моя. Я — купец! Исправник — царь-государь, власть то есть, а мужик он и есть мужик. Народ собственно. По-вашему — пролетариат! Ибо в России мужик всегда заодно с властью, какова бы ни была! Богатейство что такое, ась? Сво-бо-да! Вот что такое. Власть свободу не признает, мужик не разумеет, и в том они с властью едины... А тут и вы подоспели — что может быть крепче? Аккурат, стало быть, в феврале купец прогнал исправника, а в октябре, значит, мужик и осерчал. Так-то... Теперь ни ремесла, ни коммерции знать не надо. Петушиное слово надо знать и — благо... Я ведь как в нурскую чеку не угодил? Петушиным словом спасся! На митинге... В поезд не сядешь — стоят ваши товарищи с ружьями. А мне — надобно в Москву добраться. Как быть? А тут — митинг. Я кричу — братцы, товарищи! Дозвольте слово сказать! Откудова ты, папаша? С Екатеринославской губернии! Следую поклониться товарищу Ленину от християнской голытьбы! Да здравствует мировая революция!.. А они — что-то сапожки у тебя не бедные! Правильно, говорю, братцы-товарищи! Всем миром собирали меня, чтобы предстал перед мировым вождем во всей християнской комплекции! Ну, давай, папаша, лезь! Пустите, говорят, это делегат из Екатеринослава! Вот и понимай — то ли меня расстрелять как буржуя, то ли к Ленину на поклон! А все — петушиное слово. Я, мать моя, не умнее других. Другой еще похлеще придумает, чтобы к власти прибиться. Да и то — как быть, ежели ни ремеслом, ни коммерцией себя не докажешь? Стало быть — обманом... Петушиным словом то есть...

129

А жизнь с Павлом не получалась. Он ждал от нее порыва — как тогда, в вагоне, как тогда, в начале войны. Она же отгораживалась от него все больше потому, что железная дисциплина партийных тайн отдалила ее, не допуская до особенного всесокрушающего откровения, которое, собственно, и есть любовь.

Две солдатские койки стояли рядом, не соприкасаясь. Она не сказала ему о странном визите Коршунова по той же причине, по которой не сказала Коршунову, кто ее муж. Мир поделился на белых и красных, на прошлое и будущее. Посреди не было ничего. Посреди было настоящее, которое предстояло изжить, преодолеть, превозмочь, перешагнуть. Но оно не изживалось, не преодолевалось, не превозмогалось и не перешагивалось. Оно было жизнью — существованием на земле.

Должно быть, Коршунов все-таки был лазутчик. Деникин неудержимо идет на Москву. Республике надо быть готовой ко всему, даже к подполью. Уже напечатаны фальшивые царские деньги, чтобы обеспечить работу подпольщиков. Возможно, и она останется в подполье. Может быть, снова понадобится вывеска «Артур Берг и сыновья, металлические заводы». А Павел? Павел мешал ей тем, что она не могла, не имела права говорить с ним об этом. Иногда ночью она приподнималась на локте, прислушиваясь, как он посапывает в усталом коротком сне. С кем он? Кто он? Он голодал, как и все, и приносил домой из своего ВСНХ паек — мокрую кашу в кульке из газеты.

Сало, подаренное Коршуновым, она разделила на шесть кусочков и раздала в Совнаркоме. Все были рады, все веселились, все благодарили, но никто не спросил, откуда эта роскошь. Никто не хотел знать откуда — все хотели есть. Она хотела отдать и свою долю, но пожалела Павла. Павел спросил — откуда. И тогда она соврала: паек. Павел поверил. Паек так паек. Иногда на паек давали четверть фунта паюсной икры, попахивающей старым рыбьим жиром. Республика выметала из буржуйских подвалов запасы.

Павел заедал сало мокрой перловой кашей и читал какие-то запутанные чертежи. Ему как спецу, работающему по ночам, полагался лишний фунт керосину.

— Юленька, когда все уладится, поедем на Южный завод. Я не рожден чиновником. Восстановим прокатный стан. Замечательный металл можно будет катать на Южном заводе...

Ее не занимал металл. Ее занимало то, что Южным заводом владел Коршунов, а Деникин шел на Москву, оставляя коршуновские владения у себя в тылу.

Павел Кордин положил газету, разгладил ее, будто набираясь воздуха перед нырянием.

Юлия Семеновна чувствовала, что сейчас он начнет брюзжать, но не показывала виду. Павел Кордин улыбнулся:

— Наркомпрод нумер сто восемь дробь бэ три октября восьмого дня... Об использовании желудей как суррогата хлеба... Следует отметить на возможность использования желудей при хлебопечении... «Отметить на возможность» — хорошо сказано...

— Что ты хочешь? — не выдержала она.

Кордин читал дальше:

— Главная составная часть их — крахмал... Необходимо, однако, указать, что в желудях кроме питательных веществ имеются и вредные дубильные... Видишь — Гегелева диалектика наконец обрела...

— Прекрати,— зло, сквозь зубы, перебила Юлия Семеновна,— я не хочу тебя слушать!

— Ну, хорошо,— кивнул Павел Кордин,— я не стану читать, как вымачивать желуди... Посмотри, сколько революционеров подписали этот декрет! Раз, два, три, четыре, пять!

— Слушай, Павел,— вздохнула она и села,— удивляюсь, как это тебя до сих пор не расстреляли? Мы окружены интервентами! Страна разрушена! Что ты хочешь — чтобы все сразу?

Он мягко улыбнулся:

— Нет, Юленька, это вы хотите, чтобы все — сразу...

— А ты? — как выстрелила она.— Ты что хочешь?

Павел Кордин не хотел спорить. Он снова прочел про себя предписание номер сто восемь дробь бэ три и серьезно сказал:

— Подписали это пять человек... Член коллегии наркомпрода А. Смирнов, начальник управления заготовок В. Сенин, управляющий каким-то техзагототделом Дм. Бучинский... Дм. Видимо, очень себя ценит этот Дм. Ты не находишь?

Она возмутилась, но он продолжал:

— Погоди, погоди! Еще не все. Еще заведующий продинспекционным отделом товарищ И. Мирошников и, наконец, чтоб никто не сомневался, с подлинным верно — заведующий отделением Гофман! Ну, если Гофман, тогда все будет хорошо... Пять подписей под инструкцией, как отмачивать желуди... Я хочу сказать, что, если так пойдет дальше — не хватит и желудей...

— Да,— сдержалась она,— многовато... Но в этом ли дело, Павел? Почему ты цепляешься за мелочи? Почему ты ничего не хочешь видеть, кроме этих нелепостей, от которых мы освобождаемся!

— Нет,— вздохнул Павел Кордин,— вы от них не освободитесь никогда...

— Почему?

— Потому что у вас в руках — паек... И все люди, которые никогда не умели заработать себе на кусок хлеба, поняли простую вещь: оказывается, достаточно объявить себя красным — и тебе дадут паек... Сенину паек, и Мирошникову паек, и Гофману тоже паек... Ты знаешь, я хочу посмотреть на Дм. Бучинского... Наверно, он пишет стихи и ходит в красных крагах. Ты не знакома с ним?

— Перестань!..

— Паек... Всем нужен паек. Поэтому возникают на пустом месте отделы, и подотделы, и еще отделения, специально для Гофмана... Это, наверно, он написал «отметить по возможность»...

— Что ты к нему пристал, боже мой!

— Я к нему? Это он ко мне пристал! Я не люблю недоучившихся евреев!

— Ты не любишь революцию!

— Возможно. Во всяком случае, я никогда не думал, что она призовет пайком такое количество никчемных людей... Освободиться от них нельзя, Юленька. Это — их власть... Это какая-то кошмарная игра в чины, в места, в должности... Посмотри! Они же все знают наперед!

Он ткнул пальцем в колонку текста:

— О заготовке конины!.. Срок службы лошадей принят двадцатилетний!.. Ежегодный выход из хозяйств — пять процентов! Ты видала когда-нибудь двадцатилетнюю лошадь?!

— Я не смотрела в зубы лошадям! — крикнула она.

— Напрасно! Начинать надо было с этого! Смотри! И те же самые подписи! Нет! Еще две! Бедная Россия никогда не подозревала, какие у нее резервы чиновников... Я не знаю, что вы собираетесь делать дальше... Строить коммунизм? На желудях? Не знаю, Юленька... Мне кажется, Ленин растерялся сам.

Двадцатый год

134

Подложив руки под зад, Кельбас покачивался на мягком диване то ли от хода поезда, то ли — пробуя мягкость.

Юлия Семеновна смотрела в окно.

Шаг, на который она решилась («у нас нет ничего общего»), все еще казался ей нереальным. От того венского поезда до этого пролетело семь лет. Годы были реальными, и все было — реально. Она пробовала вспоминать, но помнила только тот поезд и Павла, которого надо было забыть.

За окном, нешироким и протертым старательно, так, что остались следы тряпки, медленно, нехотя ползла подмосковная весна — вздученная земля сверкала синими лужами, в черных кустах застрял грязный угольный развалившийся снег.

Как она решилась? Почему она здесь?

Все надо делать решительно и быстро, сказала Наташка Толкачева. А Павел? Павел — обыватель, типичный спец в лучшем случае. Он все равно эмигрирует.

Грохот встречного поезда оттолкнул Юлию Семеновну от окна. Она отстранилась. Бурые теплушки потянулись близко, рядом.

— Хлеб повезли,— сказал Кельбас.

Замечание это подбодрило Иванова:

— Помните, как мы с вами хлеб везли из Царицына, Юлия Семеновна?

В тени проходящего товарняка мало различимое лицо Егора Иванова вспыхивало светом межвагонных разрывов. Она глянула в его серые глаза, в которых не было победы. Он спросил только о хлебе.

— Конечно, помню,— сказала Юлия Семеновна, но в памяти своей увидела не хлеб, а закуток в теплушке — купе, сооруженное для нее Ивановым. «Выходите за меня замуж»,— сказал он тогда. Она засмеялась, а он обиделся...

Товарняк прошел.

— Вот, Егор, как дело-то обернулось,— сказал Кельбас.— Губернатор ты и есть губернатор. Председатель губисполкома. В первом классе едешь с молодой партийной женою!

Вагон был второго класса. Юлия Семеновна хотела исправить ошибку, но промолчала.

— Ну — еду,— улыбнулся Иванов.— И что?

— Говорю — красный губернатор... И я, стало быть,— с бочкю...

— Коли на то пошло,— добродушно откинулся на спинку дивана Иванов,— я — генерал-губернатор... А губернатор — ты... Секретарь губкома...

— Я,— согласился Кельбас,— то-то и есть, что — я.

Юлия Семеновна почувствовала знакомое снисхождение, то мерзкое чувство высокомерия, которое упорно вытравливала из себя и никак не могла вытравить.

— Егор Иннокентьевич,— сказала она,— товарищ Кельбас не уверен в своем положении.

Кельбас отвернулся к окошку:

— Дадут от ворот поворот и — баста.

— Не дадут,— подбодрил Иванов.— Тебя цэка рекомендует.

Кельбас не был делегатом Девятого съезда. Ходил как гость. Но анкету заполнял делегатскую. Для Оргбюро цэка. Понимал — берут в работу. Перед отъездом товарищ Андреев бодрил. И еще сказал — поглядывай, мол, за советской властью — мало ли кто в нее теперь лезет. А советская власть — Егор Иванов. Не за ним ли глядеть? Трудно стало по нынешним временам разбираться в политике. Что Бухарин, что этот рябой армяшка — ориентируйтесь на советскую власть. Стало быть — на Егора? Но — не забывайте, что всему голова — партия. Значит, не Егор всему голова? Значит, всему голова — Кельбас? Велено мне, Егор Иннокентьевич, глядеть за тобою! Вот так-то. Подумал, но не сказал. Неужели же не велели Егору поглядывать за новым секретарем губкома? Факт, велели! Чего же они добиваются?

— Рекомендует, конечно, цэка,— согласился Кельбас,— а на месте тоже люди...

Иванов рассердился:

— С такими настроениями — отказался бы!

— Как же откажешься,— придурковато вглядывался в Иванова Кельбас.

Иванов игру эту разгадал.

— Шура! Сказано мне поглядывать за тобою. Ты еще молодой работник. А тебе сказано — за мною поглядывать, как за старым, верно? Вот и давай друг за дружкой глядеть. И сообщать: ты — в Оргбюро, я — в Совнарком. И оба — в чеку. Заживем, водой не разольешь, а?

Юлия Семеновна покосилась на Иванова. Слова его могли обидеть простодушного Кельбаса. Тот набычился:

— Пытаешь?

— Пытаю,— улыбался Иванов.— А пытать нечего.

— А нечего, так скажи мне,— решился Кельбас,— чего нам вдвоем-то делать? Ты — губисполком, ты — партийный, ты — старый большевик...

— Ну, мало ли... Вдруг и ошибусь?

— Стало быть, я при тебе от ошибок ворожить? Нет, Егор, сказал бы я тебе, да молодой твоей жены совестно.

— Вы не смущайтесь,— улыбнулась Юлия Семеновна,— а хотите — я выйду...

— Не то,— замотал головою Кельбас,— не то.. Вот скажу, что думаю, и — пропала моя голова...
— Тогда — не говорите...
— Как не говорить? — разгорячился Кельбас.— Как не говорить, если партия — одно, а остальное все — другое... Зачем, скажем, партия, если есть советская власть?
— Ну-у-у! — развел руками Иванов.— Это ты, брат, что-то уж сильно загнул. Это ты — как Троцкий!
Кельбас снова сунул руки под себя, посмотрел внимательно на желтый мытый пол, сказал тихо, не поднимая головы:
— А чего Троцкий? Троцкого хоть понять можно — чего хочет, а этих же — не поймешь...
Юлия Семеновна вмешалась:
— Как же вы поняли товарища Троцкого?
Кельбас поднял к ней голову:
— Ясно говорит, оттого и понял. Он говорит как? Человек есть лядащая скотина!
— Ну, это он — пошутил...
— Зачем? — удивился Кельбас.— Какие тут шутки? Кто работать хочет? Никто. А шамать надо. Значит, будем заставлять! Маркс как нас учит? Голод — не тетка!
Иванов переглянулся с Юлией Семеновной. Кельбас заметил это:
— А буржуазия всех стран что делает? Работай на меня, а то — подохнешь с голоду! Факт?
— Ну — факт...
— Теперь берем дальше... Свобода, буржуев нету! Радость ему это или не радость? Радость! Будет он работать с такой радости?
— Погоди,— махнул рукою Иванов,— а голод не тетка?
— То-то! — снова поднял палец Кельбас.— Это надо быть самим товарищем Марксом, чтобы всегда держать в башке такую сознательность!
— Ну, а как же тогда кормиться? — уже заинтересованно спросил Иванов.
— Как? — повернул лицо в профиль Кельбас.— А реквизиции? А продразверстка? А где плохо лежит? А государство рабочих и крестьян — пущай оно мне жрать дает! Я вот сколько угнетения принял!
— Да брось ты, Шура, эту босяцкую агитацию! А сознательность масс?
— Вот! — обрадовался Кельбас.— Соз-на-тель-ность! Где она? Ее на сегодняшний день — не имеется. Она еще ползет из головы товарища Маркса в наши лихие головы! А покуда она ползет-переползает, детишки просят шамать! А где взять?..— Сощурился и ответил поучительно: — Работать надо! А неохота! И тут наш вождь товарищ Троцкий говорит: «Пока к вам сознательность заявится — протянете ноги!» А посему,— палец вверх,— всех вас, сукиных сынов, заарканить и мордой — в работу, пока не поймете, что такое труд, свободный от буржуйской эксплуатации! А поймете — спасибо скажете!
Кельбас разгорячился, кованое лицо пошло пятнами, как на углях раскалилось.
— А я с Троцким не согласен,— спокойно сказал Иванов.
— Может, и я — не согласен,— стал остывать Кельбас,— но — голод не тетка, сам говоришь.
— Нужна другая политика,— сказал Иванов.— Землю дали, а хозяйствовать не даем... Дадим хозяйствовать — будет шамовка. Не дадим — погибнем, и Троцкий не поможет... Плохо дело на местах, Шура, плохо!
— Потому что цацкаемся с народом! — опять разогрелся Кельбас, но Иванов перебил, не повышая голоса:
— Ты шашкой не махай... Как это — цацкаемся? Для кого мы это все затевали? Мир народам... Народы-то давно пошабашили, а мы все воюем... Хлеб голодным! Голодных — тьма, хлеба — нема... Ты, Шура, размышляй...
Кельбас опустил голову.
— Там есть кому размышлять... Всю пасху размышляли...— И, подумав, сказал нерешительно: — Хозяйствовать нельзя давать... Опять — богатые и бедные... Опять — эксплуатация...
Иванов глянул на него веселее:
— Мы-то с тобой вон в каком вагоне едем... Окно нам вымыли, как вождям... Паек дали.
— Зато — постреляют нас первыми! — огрызнулся Кельбас.— Политика... Какую тебе еще политику? Я за Троцкого ухватился почему? Знает, что хочет. И — понятно. А эти все — непонятно. Сказал бы кто — поумнее Троцкого, я бы послушал... Объединение, объединение. Профсоюзы под партию... Партия под советскую власть... А власть — своя... И опять — своя-то своя, а бюрократы — хуже царских! Егор! А ты — бюрократ?
— Конечно!
— Ну вот... Шутишь... А у меня душа саднит, стрелять их хуже контры... Надо народу дудки раздать... Придет в кабинет и — бух в него, в гада! А иначе — никак. Шляпников понятно говорит. Кормить семейство надо или нет? Надо. А кто накормит? Спецы накормят или красные директора? Советская власть накормит? Держи карман! Ее же саму обдирают как липку.
— Кто же? — улыбнулась Юлия Семеновна.
— Как — кто? Писаря! Новые эксплуататоры! Столько писарей выросло! В грибной год поганок столько не родится! И — давай кушать! Они, что ли, накормят рабочего человека? Им бы самим продержаться.
— А при чем товарищ Шляпников?
— Товарищ Шляпников говорит прямо — пролетарии, держись за профсоюз. В случае чего — бастуй, стой на своем, не давайся писарям! Гони их в шею! Вот как он говорит! А выйдет — по Троцкому! Иначе у нас никак нельзя. Народ не сознательный еще... Надо учить...
— И это все, что ты запомнил на съезде? — спросил Иванов.
— Зачем? Многое я запомнил — как ругались, как этот старичок товарища Рыкова лошадью обозвал... И как резолюции голосовали... Запутали они Ленина в дым... Наполеона приплел ни к селу ни к городу, как Маркса какого. Учит нас Наполеон ввязываться, мы и ввязываемся.
Юлия Семеновна с удовольствием увидела, что Кельбас был не так прост. Он все прекрасно запомнил. Она и сама не очень ясно представляла себе, зачем Ульянов цитировал Наполеона.
Егор Иннокентьевич вез своего человека. Он выпросил его у Кобы, это она тоже понимала. Кельбас состоял при Иванове еще тогда, в Царицыне. Это был матрос из думающих. Он был темен, но как и все эти удивительные люди, поражал Юлию Семеновну точностью рассуждений. «Берет суть»,— вспомнила она слова покойного товарища Кныша.
— Ну — ввязались,— сказал Кельбас,— и кто кого перекричит... А о чем крик? Ленин... И — бледный такой... Больной, что ли?
— Да, он много работает,— сказала Юлия Семеновна,— не жалеет себя...
— Не жалеет... Видишь как... Он себя не жалеет, они его не жалеют, друг дружку кусают, а зачем? Ну — ввязались, а дальше?
— А дальше,— бодро сказал Иванов,— возьмешь в руки губернскую партийную организацию — тысячу шестьсот сабель!
— Так кабы — сабель! — протянул Кельбас.— А то ведь — не сабель! С саблями-то дело ясное, а вот без них как? Как накормим людей, Егор, вот что ты мне скажи? Как загоним их в трудармию? Неужели опять — кровь?

Егор Иванов испытывал горькое предчувствие. Диктатура оборачивалась тем, чем должна была, в конце концов, обернуться.
Он понимал, что Ленин не допустит никого вровень с собою. Все эти обиженные — Сапронов, Лутовинов, Киселев — говорили дело. Даже молодой Каганович (Егор называл его про себя конокрадом) кричал против бюрократии. Но набольшие — Троцкий, Каменев, Преображенский — держались кучно. Крестинский спокойно, будто ничего не было, поблескивал круглыми очками: диктатура значит диктатура, нечего воду мутить...
И слово нашли подходящее — централизм.
Ленин не выдержал: потрудитесь избрать ЦК, чтобы управляло без обид. Как распределять кадры, чтобы всем нравилось? Оргбюро распределяет силы, а Политбюро ведает политикой. Как их разграничить? Где кончается политика и начинается ее практическое осуществление?
Но и не эта горячность удручила Егора Иннокентьевича, а старые слова, обретшие новую суть. Масса, вчера бывшая революционной, сегодня объявлена бессознательной, мещанской! Самодеятельность масс, вчера еще именовавшаяся основой революции, объявлена атаманщиной. Вчерашние активисты теперь — дезорганизаторские элементы...
Конечно, все так. Сколько людского барахла кинулось на новые революционные посты! Сколько горластых босяков пристало к власти! Конечно, надо их — к ногтю. Но в том-то и штука, размышлял Егор Иннокентьевич, что малая кучка коммунистов, тасуемая как неполная колода карт, взвалила на себя груз немыслимый, неподъемный. В том-то и штука, что, двинув в политику всех от мала до велика, перевернув вверх дном лежалую, тиходумную, нерастревоженную Россию, не приученную ни толком слушать, ни толком стрелять, кучка эта, к коей причислен был и он, Егор Иванов, освободила бывшее государство от государственного порядка, будто выбила зубья в шестеренках, и крутится теперь трансмиссия эта, то буксуя, то зацепившись невпопад, и оборачиваются ее вихляющие валы непредвиденно, несмазанно и страшновато. И один разговор — пуля, и одна забота — успеть первым.
Но самая суть, думал Егор Иннокентьевич, состояла в том, что развороченная страна отчаялась от безделья, кинулась в митинги среди заросших бурьяном полей. Как же вер-

нуть мужику плуг? Как же заставить его (опять — заставить!) пахать землю? Как же уговорить его не пулей, а добром, выгодой?

Ничего такого на съезде сказано не было. А только одно — кто главнее, кто главнее, кому — слушаться, кому — приказывать...

Будто в безумном главенстве этом — смысл бытия.

Декретами, реквизициями, пайками, уговорами, посрамлением, лестью, пророчествами, угрозами, обещаниями, расстрелами революция загоняла Россию в единое сословие.

Велеречивые правдолюбцы, клеймившие предпринимателя пауком, кровососом, разбойником, кулаком, возликовали, обретя железную власть, и наконец-то объявили торговлю жупелом — воровством, отступничеством от революции. И народ, исконно мелкоторговый, шебутной, пронырливый, оцепенел от ужаса — чем жить?

Господское высокомерие к купле-продаже приняло наконец беспощадную чугунную силу государственного запрета.

Барственное презрение к ремеслу, к делу рук ради пропитания, к суете ради прожитка, к молочишку ради детишек, к услужению ради куска хлеба обрело наконец беспощадную силу державной власти.

И слово — могущественное, непререкаемое, лютое и мстительное — встало вначале всего, и ничто без него не начинало быть, что пыталось быть.

И тогда народ — исконно мелкоторговый, шебутной, пронырливый, веками пребывавший в суете ради пожитка, в ремесле ради пропитания, в услужении ради куска хлеба,— от смертельного отчаянья уразумел суть небывалого, немыслимого бытия: ни крестом, ни мастерком, ни серпом, ни молотом, ни швайкою, ни аршином, ни честью, ни мерою не жить больше, а жить отныне — словом. Словом-наговором, словом-заклятием, словом-кистенем: смерть буржуям! На том и ставить нехитрый свой торговый оборот...

135

В ВСНХ, в Гомзе, то есть в Государственных объединенных машиностроительных заводах, служил старый знакомец Павла Кордина Михаил Александрович — тот самый товарищ Мишель, с которым встречались они еще в Кракове, а потом на коршуновском заводе. Бывший тамбовский помещик, искавший Плеханова, бывший патриот, проклявший брата-циммервальдца, бывший военпред, отрекшийся от юношеских увлечений, бывший штабс-капитан, поднявший свой батальон брататься с проклятым тевтоном, товарищ Мишель, как истинно русский человек, был искренен всегда, в любую данную минуту. Он был искренен, когда требовал возвести на престол Кирилла Владимировича и когда требовал отдать власть Думе, Петросовету, большевистскому органу этого Петросовета. Он был искренен всегда и всегда был готов отдать жизнь (и тоже искренне!) за свои сиюминутные убеждения. Мученическая смерть брата Вольдемара, от которого товарищ Мишель отрекался, ввергла Михаила Александровича в беспощадное отчаянье. Он добился до Дзержинского, и требовал от него неограниченных полномочий, и клялся ликвидировать банды лично, с особым, лично им подобранным отрядом. Он рыдал от ярости, от бессильной ненависти к врагам революции, и Дзержинский, держа медный чайник в белой кисти, поил его теплым чаем, как поят из урыльника больного.

— Вы инженер,— мягко, даже смущенно приговаривал страшный Дзержинский,— прошу вас... Революции нужны инженеры... Военные инженеры...

И товарищ Мишель искренне поверил, что в Высшем совете народного хозяйства он принесет больше пользы, чем на тачанке, гоняясь за бандитами...

Энергия товарища Мишеля вспыхивала подобно охапке соломы — ярко, жарко, но сгорая вмиг.

В дни, когда Юдифь оставила Павла Кордина и вышла замуж за Егора Иванова, товарищ Мишель яростно добивался слияния металлообрабатывающей и металлургической промышленности в единый отдел металла. Когда Павел Кордин сказал Михаилу Александровичу, что хочет ехать в провинцию, желательно в Евдокимовку на бывший коршуновский завод, товарищ Мишель не спросил о причине. Причина в его представлении была одна: революционный энтузиазм настоящих инженеров, ищущих настоящее дело.

Красным директором завода был назначен прокатчик с Гужона, бывший подпольщик, старый большевик Баранов. Баранов смотрел и на Михаила Александровича, и на этого подсунутого ему спеца неприязненно, глухо. И только благословение Власа Чубаря примирило Баранова с Павлом Кординым, не освободив, разумеется, от революционной бдительности.

Им предстояло пробираться к Донбассу на свой риск, поскольку на Украине все еще было неспокойно...

136

Евграф Лукич поднял книжечку, отнес на вытянутую руку (глаза стали сдавать), прочел и удивился. Это был календарь, месяцеслов на тысяча девятьсот семнадцатый год, сочинение госпожи Андринновой. Календарь именовался народным. Все теперь народное, куда ни глянь.

В прежние времена, а именно до семнадцатого года, Евграф Лукич таких книжиц в руки не брал — не дело было листать бабий вздор. Однако сейчас, на досуге листнул. Оказалось, календари-то учили народ уму-разуму! Вот не знал, не ведал, сколько жил! А поди ж ты! «Гусь, начиненный яблоками» — рецепт, стало быть. «Выбор молочной коровы». Как, значит, купить, чтоб не обмишуриться. «Вареная осетрина». Евграф Лукич вареную осетрину не любил, предпочитал балыки. Листнул далее. «Кормление кур». «Мочение яблок». «Как задавать овес лошадям».

Да-а-а. Стало быть — жили люди. Торговали коров, квасили капусту, потрошили гусей, овес в ясли сыпали. Вспомнил девчонку-комиссаршу, как на Измене — иноходью плыла, заглядишься, на английском седле, бочком, выпирая коленкой в черную шелковую юбку. Что с ней? Кур пасет? Капусту квасит? Буржуев расстреливает? Ах, пролетарии всех стран! Махновцы, зеленые, красные, белые, добровольцы, интервенты! Когда ж коров выбирать-то станем? Когда ж овес задавать? А может, уж — никогда? Ни козы на земле, ни цыпленка. Неужели конец?

Сложил книжечку, хотел бросить — не бросил, снова листнул, увидал списочек — что, когда было на земле.

Год тысяча девятьсот семнадцатый. От сотворения мира — семь тысяч четыреста двадцать пятый... Недолго простоял Божий мир, недолго. Не успел овса задать лошадям — семнадцатый год! Ну-с, что же еще когда случилось? От святого крещения девятьсот двадцать девять лет! Всего-то! Это ж мы и перекреститься как следует не успели! Беда...

Списочек был длинный — на всю страничку. Евграф Лукич снова глянул — кто сочинял, усмехнулся: откуда ж эта баба все знает? И как шить, и как варить, и как подковы гнуть, и когда Батый на святую Русь пожаловал. Шестьсот семьдесят девять лет от нашествия Батыя. От победы Дмитрия Донского — пятьсот тридцать семь... Евграф Лукич быстро смекнул — сто сорок два годочка гулял Батый. Долгонько... Огляделся в памяти — трупный смрад на Ясиноватой, нищие на разбитой станции, вспомнил зачем-то Троцкого (речь держал с крыши красного бронепоезда, высоко, как с неба, разил словами дикую толпу, метался, неистовствовал, крови жаждал). Сто сорок два года! Не пережить... От первой олимпиады — две тысячи шестьсот девяносто три года! Это еще зачем? Вспомнил — в одиннадцатом, что ли, году приходили в Зарядье в контору два усатых красавца, а с ними барышня — курсистка. Евграф Лукич ее сразу и окрестил Олимпиадой. Просили вспомоществования — ехать в Стокгольм русскую силу показывать. Ублажали словами, лестью. Ругали весьма непочтительно Воейкова (Евграф Лукич вспомнил, как обедал с остроумцем у царя, в Могилеве). Евграф Лукич дал денег — не жалко, показывайте русскую силу! Где они — красавцы-то?

Вы — прогрессивный промышленник, мы вам доверяем... Мы да вы — так-то в России. Вот он лежит на сеновале, хоронясь от доверявших и не доверявших. Кто мы, кто вы — разберись.

Длинный был списочек, что когда было, и каждая строка терзала сердце невозвратностью, нелепостью, пустым звоном небытия. Все знала ученая баба, ни в чем не сомневалась, ничего не упускала — и когда Америку открыли, и когда книжки печатать стали, и когда татарское иго кончилось, и когда раскрепостили русского мужика. Одного не знала — не умещалось, должно быть, в бабьих куриных мозгах,— на какой год месяцеслов-то сочиняешь!

А в чьих умещалось? Ни в чьих. Евграф Лукич сдержал себя насмешкой. Ни в чьих не умещалось, грянуло само собою, от Бога, стало быть... А может быть, кто и предвидел, предсказывал? Митька Коляба или Карл Маркс? Клочкастая обширная борода с непомерной гривою трепетала теперь с красных хоругвей. Нерукотворный лик намалеван был рукотворно, торопливой кистью: грива как венчик терновый, борода как епитрахиль. Неужто ведал наперед жизнь человеческую? Для чего это было? Америка, литеры, татары, крещение, соление, варение, сотворение мира... Для чего? Ну, соединились пролетарии всех стран — а для чего? Неужто для последней крови?

Одна тысяча пятьсот двадцать лет от падения Первого Рима, четыреста шестьдесят четыре года — от падения Второго. Вчера будто бы! А вот уже и Третий Рим пал, еще и трех лет не прошло, а уже ясно — нечего было и мир сотворять, прости, Господи, думаю, как умею...

Иванова поселили в двухэтажном мавританском особняке, поделенном на четыре квартиры — по две на этаж.

Красное дерево, оставшееся от хозяев, распределили по квартирам неравномерно. Ивановым досталась гостиная и спальня. Спальню свою хозяин обставил с фантазией богатого пожилого холостяка. Кровать была черная, квадратная — что вдоль, то и поперек. На спинке завивались золотые венки вокруг фарфоровых медальонов с немецкими розовыми девицами. Девицы были в прозрачных кринолинах, сквозь которые светилось все девичье добро. Один медальон треснул, верхняя часть его вывалилась вместе с головой, остались только пухлые ручки, придерживающие кринолин за широкие бока, будто девица отправлялась не то купаться, не то танцевать, не то еще для чего-то, поскольку в кустах у речки дожидался ее голубой кавалер со свирелью.

Стены были обтянуты малиновыми с золотом обоями, а на обоях остались темные квадраты — следы от картин. Высокие полукруглые окна, разделенные снаружи витыми колонками, были застеклены цветными витражами, из которых сохранился только один, изображавший, что было бы с пастушкой, если бы ее настиг голубой кавалер. Витраж запечатлел действие на грани приличия.

Остальные окна застеклили простым стеклом, а одно забили фанерой. При хозяине окна зашторивались специальными механизмами, которые теперь находились без дела, тускло поблескивая медными ручками у подоконников. Шторы сохранились на одном окне, но не разворачивались. Юлия Семеновна велела прибить на рамы занавески из ситца в крупный цветочек.

Перед средним окном Иванов поставил большой письменный стол мореного дуба, который перенесли из хозяйского кабинета. Кабинет остался в другой квартире, на первом этаже. Там все было под мореный дуб — и стены, и шкафы, и кресла. Но стены сожгли в печке, кресла тоже растащили неизвестно куда, и только одно, сбитое гвоздями, досталось Иванову. Ему сначала предложили квартиру с этим кабинетом, но он отказался. Както ему там стало не по себе среди ободранных стен. Мраморная облицовка камина была отбита, а у бородатых мраморных богов, стороживших камин, отсутствовали носы.

Камин был велик, в нем можно было жарить барана. Но он бездействовал, заложенный кирпичом, в который уходила вмазанная глиной труба буржуйки.

Иванов посмотрел на мраморную раму наспех сложенной кирпичной стенки и вздохнул. Ему было жаль камина, хотя он понимал, что камин есть признак буржуазной культуры и на всех трудящихся каминов не напасешься, по крайней мере в ближайшие годы восстановления хозяйства. А впрочем — как знать — может быть, когда-нибудь будут строить дома с каминами. Не такие, конечно, как этот особняк — с роскошью, совершенно чуждой трудящимся массам, но с удобствами, разумно продуманными.

Он отказался от кабинета и взял только дубовый письменный стол, необходимый для работы. И еще он взял кресло с высокой спинкой на рифленых затейливых колонках, таких же, как и на столе вдоль тумб.

— Юля,— сказал Иванов,— все же мы относимся к наследию прошлого не по-хозяйски... Жалко же, смотри. А ведь делали — люди.

Она удивилась:

— От тебя это странно слышать. Ты подумал, какой ценой создавалась эта роскошь для немногих?

— Разумеется,— ответил он.— Но ведь — красиво.

Он присел на корточки возле тумбы стола, стал двигать ящики.

— Из-под палки красиво не получится... Цена велика — верно, но и мастера были.

— Перестань, Егор! Откуда у тебя этот мелкобуржуазный налет?!

Он выпрямился:

— Ты так говоришь потому, что ни одной табуретки не сделала. А я нары в Туруханске делал и получал удовольствие. Хорошие были полати, из лиственницы, топором без рубанка тоже не каждый сладит... Тут уметь надо...

— Все это — рабство! — топнула она ногой.

— Ну будет тебе,— дружелюбно сказал он.— Кто тут главный класс — я или ты? Вот отстроимся, восстановим хозяйство, заведем школы мастеров! Чтобы лучшая мебель была — наша, лучшие квартиры — наши. И чтобы у всех — камины, а? У твоего папаши был камин?

Она пожала плечами:

— Какая чепуха! Я не люблю об этом вспоминать!

— Почему?

— Я тебе сказала уже, Егор, перестань... Я жила в роскоши, а ты был подмастерьем. Меня бонна по-французски учила, а тебя били, как Ваньку Жукова...

Иванов помолчал.

— Нет, не били. У меня хозяин хороший был. Всякий день пьяненький. Один раз кинул в меня ножкой точеной и то — не попал.

На необыкновенно тихой воде три военных корабля вспыхивали выстрелами. Звук добирался приглушенно. Павел Кордин бессознательно посчитал секунды от вспышки до долетавшего звука — получалось секунд пять-шесть — километра два.

Марья Степановна, маленькая, неприбранная и испуганная, увидав Павла Кордина, бросилась к нему:

— Макс там... Наверху... Они его убьют...

Моложавая старуха, тяжелая, как памятник, стояла внизу. Это была мать Волошина. Называли ее как-то вычурно, странно, нарочито: Пра. У кого это было — Пра? Кажется, у Бернарда Шоу. Она стояла отдельно ото всего — от сына, от моря, как часть первозданной коктебельской природы.

Стрелять из корабельной артиллерии по волошинскому дому было бессмысленно. Да и шелест несся справа: снаряды летели через Карадаг. Разрывы слышались далеко, в степном Крыму,— размытые расстоянием, как уходящий гром.

— Наверно, красные вошли в Крым,— сказал Павел Кордин Марье Степановне, но так, чтобы слышала и эта Пра (он ее побаивался).

Вспышки внезапно пропали. Грязно-седые корабли стояли на тяжелой зеленоватой воде какой-то совершенно лишней несуразицей. Смотреть на них было неприятно, и не потому, что любой из них мог снести вмиг этот странный дом, а потому, что в первозданном нетронутом покое берега, Карадага и моря они выглядели назойливым, безвкусным добавлением, оскорбляющим глаз.

Наверху дома, возле нелепой своей башни, на мостках, именуемых палубою, размахивал огромной простыней Максимилиан Волошин. Он стоял в своем шерстяном хитоне, подпоясанный вервием. Расчесанные на пробор волосы его были схвачены на лбу высохшим пучком полыни, густая борода вызывающе вытянулась вперед, в море, к эскадре...

— Вандалы! — зычно провозглашал Волошин.— Ордынцы!

И махал простыней.

И вдруг от ближнего корабля отделился катер. Волошин бросил простыню на перила, взял посох и, сердито стуча по скрипучим ступеням, спустился вниз. Он не шел — ступал, как, должно быть, ступали рассерженные глупостью подданных языческие цари. Но ступал он не как Ассурбанипал, для которого казнь была ответом на всякое огорчение,— он ступал как античный базилевс или, может быть, даже как сам Зевс Кронид, чье сокрушение глупостью смертных звало не казнить, а вразумлять.

Павел Кордин увидел странного своего приютителя — запоздавшего язычника, разгневанного не вавилонским, а каким-то олимпийским гневом. Гнев этот устрашал не смертью, а чем-то возвышенным, неземным, какой-то угрозой поразить не плоть, но — дух. Волошин был величествен и безопасен в своем хитоне Перикла, с посохом Серафима Саровского и со степной русской полынью вокруг гомеровских кудрей. Он был все-таки европеец, за которым виделись и фронда, и комеди де л'арт, и трагедии Софокла, и английский парламент, указавший место Чарльзу Второму...

Он стоял на мелкой полудрагоценной коктебельской гальке, море шелестело у его сандалий, надетых на грубошерстные носки пастуха...

Его взяли на корабль, и потом он рассказывал, как там, на корабле, он требовал от удивленного адмирала королевского флота прекратить стрельбу. Адмирал видал на своем веку немало. Но, должно быть, Агамемнона, говорящего на изысканном французском языке, адмирал еще не встречал в своих странствиях.

— С кем имею честь, сударь?

— Я — Максимилиан Волошин.

— Не имею чести,— пробормотал адмирал, стесняясь своего тяжеловатого французского языка.— Надо полагать, эта земля — есть ваша собственность?..

Собственность он сказал по-английски — прайвэт.

— Я — собственность этой земли! На этой земле природа изобразила мой профиль миллион лет назад. И, разумеется, не для того, чтобы ваши снаряды разрушили его!

Адмирал осторожно посмотрел в иллюминатор на сплюснутые, бесформенные камни, покосился на Волошина:

— Вы здесь обитаете?.. Ваш французский язык понуждает меня думать о том, что мне оказывает честь примечательный джентльмен...

Волошин морщился от неуклюжих словопостроений англичанина.

— Я — поэт!

— К моему несчастью... Я не знаток поэзии...

— От вас и не требуется знакомство со стихами, адмирал,— успокоил Волошин.— Но подобно Веллингтону, известность которого состоит лишь в том, что он разбил Бонапарта, вы рискуете прославиться разрушением древней Киммерии! Это колыбель человечества! Именно здесь праотец Ной сооружал свой ковчег.

Адмирал покосился на сероватую полоску берега.

— Чем же я могу быть вам полезен?

— Не стреляйте!
— Боюсь, я недостаточно точно выразился, дорогой поэт. Я хочу спросить — чем могу быть полезен вам?
— Тем, что не станете стрелять по древней Киммерии!
— Но жизнь в уединении, даже в таком восхитительном, сопряжена с трудностями... В такое неопределенное время вы удалены от цивилизации,— адмирал подыскивал слова,— насколько мне известно... продовольственной.
— Поэт живет подаянием,— перебил Волошин. — Не трудитесь, адмирал, подаяние не унижает поэта, оно возвышает дающего.
Адмирал повеселел, даже вздохнул облегченно:
— Вы меня избавили от затруднений, дорогой поэт! Я буду иметь и честь, и удовольствие рассказывать детям и внукам о счастливой встрече с вами...
Адмирал закончил выспренно, что заставило Волошина вновь поморщиться от безвкусицы:
— Вы носитель истинной величавости, дорогой поэт!..
Назад Максимилиана Волошина везли в том же катере, нагруженном ящиками. Катер ткнулся в гальку. Английские матросы спустили трап, спрыгнули в воду и раскатали по трапу и далее на берег мат, по которому предстояло пройти поэту. Волошин ступал к дому, за ним несли тяжелые ящики. Даа молодых офицера смотрели то на Волошина, то на Карадаг и переговаривались, как провинциалы в музее. Один из них робко проговорил по-французски:
— Извините, господин поэт, нашу неучтивость... Мы не хотим выглядеть невоспитанными зеваками... Нас поразило сходство этой горы... извините... с вашим лицом...
— Скажите об этом вашему адмиралу,— поднял бороду Максимилиан Волошин. Каменный Карадаг повторял его профиль.
— Непременно! — воскликнул юный англичанин.— Как жаль, что господин адмирал не увидит этот феномен своими глазами!
К полудню эскадра исчезла, как растаяла.
Потом прибежал из поселка Баранов, что-то кричал, но слушать его было неинтересно, как бывает неинтересно отрываться от чтения «Дон Кихота», чтобы завернуть назойливо капающий кран...

Кто может предугадать свою судьбу, кто может даже отдаленно, даже приблизительно предположить, как она поступит?
Павел Кордин рванулся в Евдокимовку, чтобы порвать с прошлым, чтобы вытеснить из сердца, из жизни Юдифь. Он не хотел ее знать, не хотел ее видеть, не хотел о ней думать, но думал только о ней, и в душе его теплилась надежда на чудо: авось он ее все-таки увидит. Он без труда выяснил, с кем она уехала, и даже узнал, что Иванов назначен председателем губисполкома в губернский город, в тот самый город, возле которого она впервые неумело поцеловала Павла Кордина.
Теперь он добирался с Барановым в Евдокимовку, в ту самую Евдокимовку, где когда-то, сто лет назад, Павел Кордин собирался стать на ноги и просить у надменного Берга руки его своенравной дочери.
— Большой завод? — спрашивал Баранов.
— Придется начинать сначала, Николай Степанович... Продукция завода еще не значится в планах ВСНХ...
— Обозначим...
Баранов рвался в дело. Назначение льстило ему.
Но кто может предвидеть судьбу?
Баранов рвался в дело, Пааел Кордин бежал от себя, а на юге Украины метались разбитые, но никак не сдающиеся Советам отряды батек.
Под Пологами поезд, в котором они ехали, обстреляли. Павел Кордин и Баранов ушли в степь, и тут им повезло: они попали в какую-то полупартизанскую часть, с которой добрались до Азовского моря.
Павел Кордин предложил Баранову ехать морем до Мариуполя. Это, конечно, была авантюра, но Баранов ждать не хотел. К Крыму стягивались красные войска — выбивать Врангеля. Война кончалась. Нужно было в Евдокимовку, на завод и — немедленно.
Но в Мариуполь они не попали.
Три дня они болтались по одичавшему морю, и когда шаланда ткнулась в берег — выяснилось, что они — в Крыму.
Так они попали к Волошину...

В Коктебель вошел отряд красных китайцев, разместился в поселке. Человек десять втащили на «палубу» волошинского дома пулемет — молча, ничего не говоря, будто в доме никого не было. Какой-то китаец, вдруг повернувшись к Павлу Кордину, сказал:

— Лу Ки-чай живая... Архангельска ходила...
Это был Пей-фу. Косу он отрезал и был на одно лицо со всей своей командой. Команда недолго побыла на «палубе». Сняли пулемет так же внезапно, как поставили.
Павел Кордин хотел было объяснить Пей-фу, как оказался в Крыму, но китаец, сказав про Коршунова, не обращал внимания на него.
К дому прискакал на небольшом коне какой-то картинный юноша в крагах, в кожанке, в красных суконных бриджах:
— Товарищи китайцы! Перед вами типический очаг буржуазного уединения! Награбив прибавочную стоимость, эксплуататоры строили из пота и крови трудящихся масс оазисы контрреволюции! Именем республики — обыщите тщательно помещение! Товарищ Пей-фу! Вы назначаетесь комендантом со всеми вытекающими последствиями!
И — ускакал.
— Большая дурака,— сказал Пей-фу.
У него были основания так считать.
Два года назад картинный юноша по фамилии Дунаев, служивший в Якиманской управе, а потом перешедший в чеку, собирал под красное знамя прислугу купеческих особняков. На одном митинге Дунаев потребовал, чтобы Пей-фу рассказал трудящимся массам, как его эксплуатировал буржуй Коршунов.
— Хазяйна халву давала,— сказал Пей-фу.
Дунаев закричал:
— Товарищи! Вот утонченная, садистическая эксплуатация! Капиталист заставляет своего голодного раба есть сладкое, отказывая ему в самой необходимой пище!
Пей-фу еще тогда понял, что Дунаев «большая дурака», но до поры терпел его. Он приставил к волошинскому дому свою команду, приказав в дом не входить и никого не впускать. Приказывал он по-китайски, но действия его были понятны. Он сказал Волошину:
— Хорошая очага... Всем дурака — чик-чик... Ленин будет...
Павел Кордин с Барановым отправились в Феодосию. Баранов пошел в штаб. Надо было срочно добираться в Донбасс, в Евдокимовку.

В Феодосии Дунаев арестовал Баранова как пролетария, оказавшегося в стане контрреволюции без соответствующих предписаний центра. Когда Мишка Гришин, начальник армейской чеки, увидел арестованного, он удивился:
— Ты чего тут, Николай?!
Баранов тоже узнал его, но озлился:
— Фертика своего спроси, кум...
— Да брось ты! Чего ты здесь?
Баранов вскочил было объяснять, но сверху донесся шум.
— Сейчас,— махнул рукой Гришин и выбежал из подвала.
Мишка Гришин увидел диковинного человека в синей хламиде какой-то, не то — в рясе, в руке здоровенный дрын, борода густая, окладистая, волосы длинные, повязаны сухой травой — юрод, каких теперь развелось видимо-невидимо, и у каждого своя вера, своя философия: ни белым, ни красным... А что значит — ни белым, ни красным? Это значит — одним белым, вот что это значит! Сколько их постреляли — уму непостижимо. И всякий раз (признавался потом Баранову) Гришин жалел: кабы не революция — ни за что не расстреливал бы! Идеи у этих юродов, конечно, завиральные, но (чувствовал) не каждый хитрованил, не каждый, факт. Даже жалко бывало. Тем более, сухарь и юроду нашелся бы... Но — революция! Тут главное — не обмишуриться. Пришить — спокойнее.
Но это Мишка Гришин потом так рассуждал, а покуда, пока Баранов сидел в подвале, решил попытать:
— А вы, папаша, откуда знаете, кто у нас сидит?
— Прежде всего, юноша, я вам не папаша, о нашем родстве не может быть и речи.
Мишка Гришин удивился: вот сейчас он его, юрода этого, из маузера — и все родство! А, с другой стороны, действительно, говорит, как дурачок какой-то. И, главное, нет в нем страха.
Вошел Дунаев.
— Это еще что за маскарад?
— Юноша,— сказал Волошин,— меня совершенно не удивляют ваши кожаные доспехи. Это вполне естественно для недавнего гимназиста. Вы ведь гимназист, не так ли?
— Здесь спрашиваем мы! — строго напомнил Дунаев.
Гришин прижал рукою его плечо:
— Да цыть ты... Вы кто такой,— хотел сказать «папаша», но передумал,— гражданин...
— Я Максимилиан Волошин! — не ответил, а как-то возвестил странный человек и припечатал сказанное дрыном по паркету.
— А откуда вы знаете Баранова?

4*

— Я не знаю, что он — Баранов. Я знаю, что он — болван! Он появился у меня месяц назад и стал проповедовать вздор.
— А откуда вы узнали, что он здесь? — сощурился Дунаев и перевел взгляд на Гришина.
— А где же ему быть? — отвел руку с дрыном Волошин.— Здесь была до вас контрразведка, теперь — вы, какая разница.
Дунаев приблизился, крадучись:
— А откуда вы знаете, что здесь была контрразведка?
Гришин тоже заинтересовался.
— Я был здесь! — ударил дрыном в паркет Волошин.— Здесь сидел другой болван — артист императорских театров Бессонов! Я просил за него у таких же ретивых молодых людей, как вы,— кивнул бородою в Дунаева.
— Озолин,— тихо приказал Гришин,— приведи Баранова.
Молчаливый латыш встал, как деревянный, вышел.
— И этого артиста, разумеется, выпустили? — язвительно сощурился Дунаев.
— Разумеется!
— Ну — и где же он сейчас?
— Откуда мне знать! — рассердился Волошин.— Какие глупости! Ну — бежал куда-нибудь: в Константинополь, в Москву, в Тьмутаракань! Вздор какой-то!
— Значит,— щурился Дунаев,— вы утверждаете, что Баранов — болван. Следовательно, вы не разделяете его политическую платформу. Как же объяснить тот факт, что вы скрывали его от Врангеля? Далее. Вы утверждаете, что артист Бессонов — тоже болван, значит, вы не разделяли и его политическую платформу... Следовательно, по вашей логике, политические платформы Баранова и Бессонова — идентичны. Но тогда объясните, как понять тот факт, что Бессонов был арестован белыми, а Баранов — красными? Как объяснить тот факт, что Бессонова вы пытались вырвать из кровавых лап врангелевской контрразведки и — вырвали, а Баранова хотите взять в Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией? Не вяжется!
— Молодой человек,— шумно вздохнул Волошин,— ваши рассуждения меня восхищают. Надеюсь, вас тоже.
— Я не нуждаюсь в ваших комплиментах,— строго сказал Дунаев.
— Разумеется. Но болвана этого — выпустите. Он — мой гость.
Баранов, уже на лестнице обогнав латыша, закричал с порога:
— Не трожьте его! Он английскую эскадру спровадил!
— Та-а-ак,— протянул Дунаев,— новые обстоятельства... Следовательно, вы связаны с Антантой? Товарищи, перед нами замаскированный классовый враг!
— Сам ты классовый враг, шкура! — заорал Баранов.— Гад! Все равно Дзержинский узнает, он тебя за ноги разорвет! Там завод стоит, а ты меня тут в подвале держишь? Бей телеграмму в Москву, сволочь! Я не посмотрю, что вы тут все с дудками! А его,— на Волошина,— только троньте его, гады! Луначарский из вас все кишки повытягивает по одной!
Мишка Гришин снова придавил плечо Дунаева:
— Да цыть ты!
— Не пугайте меня товарищами Дзержинским и Луначарским,— строго сказал Дунаев.
Баранов заорал исступленно, дико, отчаянно:
— Может, ты и Ленина не боишься?! Ребята! Братишки, что же это?! Михаил, друг! Пришей его, подлюку,— он же горя наделает на всю республику!
Волошин повернулся и медленно, будто в комнате никого не было, пошел к двери. Он шел мимо часовых, и они отступали от него. Он уходил, удалялся, как удаляются корабли, молча, бесповоротно, недосягаемо, оставаясь во взоре и оставляя необъяснимую сладкую печаль.
— Надо его на повозке бы,— облизнул губы Мишка Гришин,— сколько тут?
— Верст двадцать,— тихо сказал Баранов, глядя в окно.
— Я расцениваю это...— начал было Дунаев, но Гришин отмахнулся:
— Цыть! И — вот что... Дуй отседа к трепаной бабушке в Симферополь! Людей не видишь, интеллигент вонючий...

139

Утро ломилось сквозь витраж, сквозь неприкрытые стекла.
Лицо у нее было строгим, даже гневным. Черные брови в отчаянном изумлении вздрагивали и вдруг сбегали к переносице, как будто она решала непосильную задачу. Только щеки горячились и губы открывались не то от жажды, не то от гнева.
Она молчала, была беспощадной и непримиримой. Иванов устал и дрожа проговорил, трудно справляясь со словами:

— Ты не е..., а ровно массы ведешь...
Она немедленно отпихнула его от себя и стала кусать губы. Он засмеялся через силу, закашлялся:
— Юль...
Она отвернулась.
Слово, которое он сказал, было грязным, оно стыдило, унижало, но возбуждало до безрассудства.
— Юль,— примирительно произнес Иванов.
— Повтори,— глухо сказала она сквозь зубы, не поворачивая головы.
Он приподнялся на локте, сдерживая кашель, шершаво подпиравший глотку.
— Повтори,— приказала она и повернулась к нему. Влажные глаза ее сверкали.
Иванов смущенно молчал, пересиливая кашель, который уже не помещался в нем. Юлия Семеновна сдернула простыню, неловко присела, нетерпеливо стащила с себя рубашку и, отшвырнув ее, тяжело ухнулась навзничь. Утро разливалось сквозь витражи по ее животу, по ногам, она извивалась, упираясь затылком в подушку, и бормотала низким чужим голосом:
— Повтори... Научи меня... Как надо еще... Вот так?.. Так? Научи как... Как ты с другими?..
Юлия Семеновна произнесла то грязное слово непривычно, неумело, и в вопросе ее не было ревности, а только лютое бесстыдное любопытство. Она навалилась на него, сжимая ногами. Дикий кашель вырвался наконец наружу. Иванов упал с локтя. Кашель был хлюпающий, рвущий на части все на свете. Он ударял в мозг, ломился слезами через глаза, грохотал в ушах и останавливал сердце.
Юлия Семеновна испугалась, вскочила и, присев на колени, прикрыла руками грудь.
Иванов кашлял, хватая воздух ртом, руками, он беспомощно приспосабливал все тело к глотку воздуха.
Она смотрела на него со страхом, с изумлением, не отнимая рук от груди. Ей стало вдруг холодно, но она не смела пошевелиться. Наконец приступ отпустил Иванова. Не обращая на нее внимания, как тонущий, достигший берега, Иванов стал искать платок и, не найдя, сплюнул в простыню. Ему сделалось легче, и он посмотрел на Юлию Семеновну виновато и жалобно.
— Юль,— сказал он,— прости...
Теперь она встала, подняла с пола рубашку, надела ее и, обойдя постель, присела на корточки около мужа. На простые возле его потемневшего лица тлела кровь.
— Юль,— проговорил он,— не знал я, что опять она меня догонит... Думал — залечил... Знал бы — не взял бы тебя...
Брови Юлии Семеновны чуть сдвинулись к переносице:
— Почему ты молчал?
Он не знал, что ответить, на глазах его появились слезы, но сразу просохли.
— Юль, прости... Последний раз — в Туруханске... Мне товарищи говорили: если чахотка прошла — не вернется... Не знал я... Сколько работал и — ничего... Прости... Я тебя полюбил насмерть... А теперь вижу — виноват... Знал бы — не посмел...
— Дурак,— тихо и серьезно сказала она.— Если бы ты не был дураком и сказал раньше, я бы заставила тебя лечиться.
— От чего лечиться-то? — запротестовал он.
— От туберкулеза,— ответила Юлия Семеновна и пошла к телефону.
Он смотрел ей в спину из-под опущенных век. Утро пробивало насквозь ее рубашку, обтекая бедра, ноги, скользя по голым рукам, и ему почудилось, что она уходит. Черные волосы лились по спине, утро вспыхивало на них и гасло. Забытый детский плач запершил в горле Иванова предчувствием нового кашля...

140

Роман Горпиненко, красный конармеец непобедимой армии товарища Тухачевского, нарубавшись с белополяками, вернулся в Константиновку, в родительский дом. Папаша его, Григорий Семенович, хозяйствовал помалу, дожидаясь сынов. И — дождался. Сыны — Роман и Петро — прибыли к родительскому очагу почти что не раненые, к великой материнской радости Марии Романовны.
На чистой половине у Горпиненок висел портрет Ленина в широкой коричневой раме — ладонь ширины — под стеклом, отороченный льняным рушником с густой красной вышивкой крестиком на концах. Концы были еще промережены. Мария Романовна вышивала рушник лично, в приданое Верочке, но обошлось без приданого.
Вышло так, что приданое старшей дочери — и всем дочерям Горпиненки — дал Ленин.
Когда делили землю, мужики, конечно, первым делом замахнулись на экономию

статского советника Циммельгофа. Но комиссар сказал, что там будет советское хозяйство, невиданное в мире, и во главе его станут выбранные народом.

Слова были туманные, но все же понятные. Растащить имение не штука, мужики это понимали. Они знали, что у Циммельгофа и пшеница была выше, и скот крупнее, и машины невиданные, и хлеба он давал больше всего уезда.

Но все же и земля у него была лучшая. От этой земли мужики ополоумели, и на сходках доходило до драк — делить Циммельгофа или не делить? Особенно вспоминали убежавшему в Швейцарию статскому советнику, как у него стояли немцы и секли шомполами казаков. Гришка Гудзь задирал рубаху, показывая рубцы, плакал, кричал, что сам подпустит петуха в экономию. Гудзю сочувствовали, хотя и знали, что при немцах Гудзь отсутствовал, ибо находился (если не брехал) в Восьмой красной армии.

Кое-кто стал уже самовольно отрезать циммельгофовскую землю.

Комиссары распинались, били себя в грудь, стреляли в воздух из маузеров.

Особенно убивался один чернявый жидок, бледный, с горящими глазами.

— Сознательные граждане свободной Республики! — кричал жидок сипло от натуги.— Революция дала вам свободу и власть! Вашим неслыханным подневольным трудом созданы богатства эксплуататоров! Вы прогнали буржуев и помещиков, чтобы строить новую жизнь! Так неужели вы сами уничтожите то богатство, которое создали?

— Землю! — кричали мужики.— Землю!

И неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не пришел декрет, говорят, от самого Ленина — делить Циммельгофа немедленно!

Делили по едокам. Две десятины на едока. Говорят, Ленин велел по три, по комиссары скрыли.

И вышло Горпиненкам дополучить еще — десять десятин. Тут вышел шум — как считать Верку с Надией, которые были замужем, а у Верки уже и дочка в придачу.

— Ладно,— сказал Горпиненко,— нехай буде восемь.

Он понимал, что главное — не перечить сходу в горячий момент.

Двадцать первый год

141

В Колонном зале Дворянского собрания, в открытом гробу, на высокой черной подушке, подпиравшей главу так, что борода вминалась в грудь, лежал князь Кропоткин.

Лежал он в похоронном полумраке, и у ног его к покрытому черным сукном постаменту прислонился круглый хвойный венок, обернутый шелковой лентой. От Ленина.

Венков было много, но именно этот бросался в глаза, должно быть, тем, что был он прислан вождем пролетарской революции главному анархисту.

Люди шли мимо гроба, смотрели на венок, на угрюмых чекистов, на холеный, будто уснувший, никак не покойницкий лик красивого старика. Веки князя не были затянуты смертью, а как бы смежены в отдохновении. Он лежал вальяжно, барственно, словно даже и не в гробу, и длинные пальцы его, сложенные на животе последним сложением, как будто готовы были разняться.

Но князь лежал крепко, навеки, и венок у постамента при нем как печать.

Разный народ тянулся с Дмитровки, с Охотного ряда — кто знал, кого хоронят, кто и не слыхивал, а кто и удивлялся — к чему бы это большевикам хоронить князя под кумачовыми своими хоругвями.

Вечером с Садовой на Долгоруковскую обособленно поворачивала толпа небритых зеленолицых людей — все больше мужчин. Толпа шла по заледеневшей мостовой тяжело, угрюмо, плотно и несла перед собою черный флаг. Он висел печально, как неживой, по безветренному морозцу.

Пар изо ртов клубился над шествием. Не поднимая голов в картузах, в малахаях, в инженерских фуражках, в пуховых платках, толпа хрипловато гудела не по-походному, не в ногу, а как придется:

Мы сами, родимый, закрыли
Орливые очи твои...

Песня звучала неровно, нестройно, но упрямо и неперебиваемо. Ноги скользили, хрустели обтаявшим за день и подмерзшим ледком возле черных бревенчатых домов, осевших на каменных подклетях.

Мало кто замечал, что все флаги в этот день были красные, с черными бантами, флаг же перед толпою был черный, с бантом красным.

Это возвращались с Новодевичьего назад в Бутырки анархисты, выпущенные чекою под честное слово на день, с утра до вечера, ради последнего прощания с великим своим вождем...

142

Как ни пытались большевики убедить себя в том, что счастье России в их руках; как ни пытались они — лозунгами, митингами, маузерами, реквизициями, разверстками — втолковать упрямой стране, что авангардом ее является не кто иной, как пролетариат; как ни старались они обойти, обскакать, объехать незнаемую, неведомую, неожиданную, не соответствующую их понятиям, не имеющую права на бытие стопятидесятимиллионную препону — им пришлось оглядеться вокруг.

Красными от четырехлетней бессонницы, воспаленными от неусыпных бдений, изумленными от упрямого, тупого, угрюмого непонимания их затеи глазами увидели они наконец Россию.

Диктатура пролетариата, вычитанная из книг, выученная в эмигрантских рефератах, вымечтанная в тюрьмах, взлелеянная в подполье, явилась вдруг двадцать шестого октября семнадцатого года в ревнивой схватке с левыми эсерами, требовавшими всего ничего: прибавить к этой заморской идее исконный русский привесок — сто пятьдесят миллионов сирых мужиков. Эсеров прогнали, но довесок все же оставили, и новая власть стала именовать себя — до лучшей поры — диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства. Беднейшее крестьянство в прелых окопных шинелях стучало прикладами в Смольном, выстраивалось под началом своих выбранных командиров в новые роты, делило землю, втыкало штык в глину, браталось с ненавистным тевтоном.

Власть стерпела эсеровский привесок, она откинула разговоры. Ей было не до Михайловского и не до Спиридоновой. Власти нужна была армия. Власти нужны были когорты, которыми можно управлять. И пускай они состоят хоть из чертей, хоть из ангелов — лишь бы слушались.

Но неуправляемая, непредсказуемая Россия сумрачно и неясно жила как умела: ковырялась чем попало в земле, приторговывала, приворовывала, отбиваясь от рук. Мелкий хозяйчик, собственник, угрожал власти своим необузданным естеством.

И тогда закрепившаяся Декретами о мире и земле рабоче-крестьянская власть объявила мужика первым своим врагом — основою мелкобуржуазной стихии. Обуздывать его, смирять, душить реквизициями и разверсткой ринулись из городов продотряды: оголодавшие безработные пролетарии, матросы, комиссары — все, кому дороги революция и диктатура пролетариата.

Голод начался не сразу — страна еще доедала имеющееся, но голод уже грозил, голод уже располагался царствовать в стране. И тогда было изобретено слово «середняк». Заботясь о четком классовом делении народа, большевики нашли слово — не нашим и не вашим, середняк хоть и не пролетарий, но, конечно, не капиталист, хоть, слава богу, не нищий. Середняку — не нищему, кто сам себя не прокормит, а справному крестьянину, у кого есть хоть и малый, но излишек,— протянул руку для смычки пролетариат. Он протянул руку по справедливости: отдай хлеб! А как его отдать? За что его отдавать? Этого мужик, названный середняком, никак не понимал.

А голод уже грозил изо всех углов. Летели тачанки, убивая комиссаров, летели комиссары, убивая мужиков. И отбирали, жгли, гноили — хлеб, хлеб, хлеб...

И тогда было сказано: торговать! Торговля — единственная форма смычки между пролетариатом и крестьянством! Торговля, а не маузер! Четыре года не прошло с того крика в Смольном — присовокуплять ли к пролетариату крестьянство. Сперва присовокупили беднейшего мужика, потом — середняка и наконец кулачка — не так чтобы совсем кулака, а — так, справного трудового крестьянина, лучше бы кооперативного, но можно и арендатора с невыпяченным, незамечаемым правом небольшой эксплуатации наемного труда, против которой, собственно, и поднялся пролетариат в семнадцатом году.

После четырех лет оказалось, что пролетариев в стране всего трое на сотню, да и те расползлись промеж дворов в поисках пищи.

И Ленин крикнул Шляпникову:

— Какая рабочая оппозиция?! Вы — генерал без армии! Рабочего класса в России нет! Ваш рабочий класс делает зажигалки, питая мелкобуржуазную стихию!..

Начиналась Новая Экономическая Политика. Слова были исчерпаны. Нужно было выжить...

Егор Иннокентьевич хотел, чтобы была дочка. Чтобы была похожа на Юлю. Он вдруг поймал себя на том, что ревнует свою еще не родившуюся, но уже похожую на Юлю дочку к какому-то неведомому парню, который будет с нею вот так, как он, Егор Иванов, с Юлей. Эта ревность и удивляла его, и смешила, и саднила душу.

— Юль! А какой он будет, парень, который на ней женится?

Юлия Семеновна не поняла:

— О чем ты?

— Который возьмет в жены Юлию Вторую... Здорово, а? Как Екатерина Вторая... Факт!

— Егор, ты как ребенок... Будет мальчик, не девочка... Мне Павловна сказала...
— Твоя Павловна — представитель темных сил! Надо ориентироваться на плановое хозяйство, а не на мелкобуржуазную стихию!
И рассмеялся. Она испуганно напрягла брови — не закашляется ли. Но Егор Иннокентьевич не кашлял.
— Юль! Вот тебе и революция! Я — подпольщик, комиссар, красный бюрократ и вдруг — папа! Я — папа, а? Вот смеху! Эх, Юля, много мы крови пролили, можно было бы меньше, а конец один: дети! Дети рождаются даже у комиссаров! Титьку сосут, корью болеют, жить не дают — ясли им подавай, школы, шкрабов готовь и — шамовку! Шамовку, Юля, шамовку... Ну, допустим, шамовку в условиях новой экономической политики мужик им сделает. А пеленки? Мадеполам? Ситец, сукно? Уголь, печки им топить, железо — мосты им строить...
Юлия Семеновна прилегла. Она плохо слушала, что он говорит. Поясница разрывалась, распирала изнутри.
— Как нам приспособить нэпмана, Юля, чтобы не кусочничал, не рвал с республики, не тащил...
— Е-е-го-о-ор! — вдруг не вскрикнула, не простонала, а как-то взвыла Юлия Семеновна, ознобив страхом Иванова.
Он побелел, вскочил, раскинул руки, потерял на миг понятие, и кинулся крутить телефон:
— Барышня! Акушерку! С-под земли!
И оттуда, из трубки:
— Товарищ Иванов! Сейчас! Не волнуйтесь!
Юлия Семеновна отходила от первого своего воя, лежала тихо, крупные капли выросли на лбу...

143

А Евграф Лукич вернулся из Архангельска в Москву.
В Москве теперь было свободно, безопасно.
Евграф Лукич на Якиманку не пошел (все-таки от греха подальше), остановился в трактире на Маросейке и стал искать Семена Николаевича Ванкова, о котором еще в девятнадцатом году Пей-фу доложил:
— Генерала в Москве... Шибко хорошая человека... К Ленину пришла...
Семен Николаевич проживал в Денежном переулке на Арбате.
— Рад вас видеть, Евграф Лукич... А я уж думал, вы давно — там... В Париже...
На Бутырском хуторе намечался показ электрического плуга самому Ленину. Плуг сделали на Брянском заводе. Семен Николаевич как бывший начальник Брянского арсенала (когда это было!) считал себя причастным к затее, присутствовал при испытании, стоял рядышком с самим Лениным, Коршунова же привел с собою, поставил в сторонке — показать всероссийского вождя.
— Надо бы вам к Владимиру Ильичу, Евграф Лукич... Попробую устроить...

Опасливо косясь на узенькие щели, сверкающие умом, гневом, весельем — небывалой скрытностью, Семен Николаевич говорил складно, как по писаному:
— Стоя в стороне от чисто политической государственной жизни страны...
— А так бывает?! — весело перебил Ленин.
Семен Николаевич осекся, но продолжал далее, как бы поясняя интонацией, голосом, что — бывает:
— ...Евграф Лукич Коршунов своей практикой, созидательно-организационной кипучей деятельностью занял выдающееся положение в той отрасли жизни,— снова покосился на загадочное желтое лицо,— в торговле и промышленности, которая в современных условиях развития общества...— Подумал, добавил: — и государства является фундаментом для экономического преуспеяния страны, на чем и базируется политическая мощь государства...
— Политическая мощь государства,— четко сказал Ленин,— базируется на сознательности масс! А Коршунова приведите. Я о нем слышал... Должно быть, порядочный разбойник... Сколько у него было капитала?
— Трудно сказать, Владимир Ильич,— обрадовался дельному вопросу Ванков,— московские купцы скрытны. Миллионов тридцать в обороте было, а то и больше... Ничем не гнушался: на севере — лес, на юге — хлеб, металл... Целился на Сибирь, на железные дороги...
— И — не боялся Питера?
— Нет. Полагаю, питерские и сами его побаивались. У него была своя идея: выкупить страну у самодержавия...

Ванков помолчал, пошевелил усами — не знал, как воспримется сказанное.
— А к нам пойдет? — напрямик спросил Ленин.
Ванков вздохнул:
— Пока не убежал...
— А где он находился все эти годы?
— Бродил по России, Владимир Ильич.
— Как это — бродил?
— С клюкою, с котомкой...
— Ну,— резко махнул рукой Ленин,— это уже несерьезно! Почему четыре года и — цел?! Тут что-то не то! Как же он скрывался?
— У него всюду — свои люди.
— Как это — свои люди?
— Приказчики, факторы, арендаторы...
Ленин задрал голову, рассмеялся:
— Какой вздор! Зачем он им теперь нужен? Они ведь рисковали! Неужели надеялись, что нас прогонят?
— Не знаю, Владимир Ильич,— опустил голову Ванков.— На это уже никто не надеется... Коршунову помогали по-христиански...
Ленин щелкнул пальцами, вскрикнул:
— Рабы! Хозяин и — рабы! И — заметьте, любезнейший Семен Николаевич, рабство чисто расейское: он хозяин, и это сильнее страха! Они скрывали его от чрезвычайки!
И — всплеснул руками.
— От Деникина тоже,— мягко добавил Ванков.
Ленин удивился:
— А почему — от Деникина? Впрочем, понятно: зачем он нужен Деникину без капиталов?
— Да нет, Владимир Ильич... Генерал Лукомский имел с ним беседу весьма уважительную... Они ведь знакомы еще по старому Особому совещанию... Евграф Лукич рассказывал весьма едко... В девятнадцатом году Добрармия строила планы стратегические, хозяйственные...
— А он?
— А он — ушел в Москву.
— И все это время был в Москве?
— Нет. Проследовал далее. В Архангельск. На лесопилки свои...
— Странный человек! Мог удрать на юге, мог удрать на севере — не удрал! Чего же он хочет? В какой он был партии?
— Ни в какой, насколько мне известно.
— Хорошо! Пусть придет!

Когда он повернулся, указав, где присесть, Евграф Лукич увидел широкую длинную спину и короткие, будто от другого человека, ноги. Там, на Бутырском, на испытаниях электрического плуга, в длинном толстом пальто Ленин казался ему обыкновенным, как все. Стоял он, сунув руки в карманы,— большие пальцы торчали,— стоял, отклонясь назад, прямо, глядел из-под надвинутой кепки, выпятив бородку, весело, пытливо.
Здесь же, в кабинетике этом, Коршунов удивился необыкновенности его комплекции. Даже лицо его, желтоватое, калмыцкое, с запрятанными в узких щелях глазами, казалось теперь ни веселым, ни лукавым, а попросту сердитым. Однако же это не был гнев немилости, как подобало бы набольшему при такой его власти, а похоже было, что Ленин осерчал на кого-то виноватого, а подвернулся невинный, на коем и зла не сорвешь. Евграф Лукич отметил про себя, что робости гнев сей не нагоняет, и про себя же усмехнулся: тяжела власть с непривычки человеку без сана, без эполет, без отдувающихся бакенбардов.
Зазвонил телефон. Ленин досадливо поднял трубку. Три телефона стояли на столе. Евграф Лукич заметил их сразу и подумал: «Должно быть, хозяин различает их по голосам».
Возле стола находились подручные вертящиеся этажерки для книг — весьма знакомые: у адвоката его, Кербеля, были такие.
И еще увидел Евграф Лукич с краю стола игрушку — статуэтку: обезьяна разглядывает мертвую голову человеческую. Смотрит в пустые глазницы, лапу к морде прижала от изумления. Должно быть, смысл сей сценки был философский, но Евграф Лукич ощутил все же не философию, а неприятность: так-де и в мой череп глянет когда-нибудь мерзкая зверь...
— Вот посадите его на недельку в тюрьму — подумает! — крикнул Ленин в черный рожок и клацнул трубкой по рычагу.
И, странное дело, после этого будто повеселел. Засеменил к выходу, приоткрыл дверь, приказал барышне «не соединяйте!» и назад, в мягкие кресла. Сел, откинулся, блеснул запрятанными глазами с лукавством:

— Слушаю вас, Евграф Лукич.
Евграф Лукич слегка развел руками:
— Явился, как приказано...
Ленин наклонил голову к плечу:
— Кто ж это вам посмел приказывать?
Коршунов встретился глазами, не отводя, сощурился, вглядываясь, хмыкнул. Ленин тоже вглядывался в его глаза, не отводя, и тоже хмыкнул.
И вдруг Евграф Лукич отметил про себя, что, собственно, говорить с этим нежданным-негаданным повелителем России — и не о чем! Нету дела к нему, а без дела — какой разговор? Евграф Лукич опасливо словил себя на том, что никак не может сравнить этого крепкого, шустрого и, должно быть, весьма лукавого, стало быть, весьма опасного явленца с государем, хотя власть его была именно государская. Тот был как бы символ (вспомнил, как жевал огурчик в Могилеве), этот же отнюдь и не символ, что само по себе необыкновенно, а как бы человек безо всякого помазанья, в пиджаке, под коим — тело с людским духом, вселенский адвокат, который силен в хитросплетениях, как дьявол. И явился он не порядком вещей, а как бы ниоткуда, из шутейных дел, из витийских забав, как бес из табакерки. Был он забавен своим появлением, власть его была как бы потешной, играливой, но весь ужас состоял в том, что кровь она лила всамделишную, казнила незатейливо, обыкновенно, не ведая предела своей потехе.
Как же его величать-то? Правителем? Дентелем? Товарищем? Ныне «товарищ» — кромешное, опричное слово, тайное, воровское, компанейское — стало вдруг государственным, высоким, превосходительным, клеимым ко всякому, кто наг и благ и у кого наган в руке.
И так они смотрели друг в друга некоторое время, как бы оценивая и никак не скрывая этого. Но Коршунов, не забывая, кто хозяин, кто гость, посерьезнел первым:
— Надо полагать, господин Ленин, зван я сюда для дела...
— Надо полагать! — подтвердил Ленин, как брякнул, тряхнув головою резко и весело.
— А дело мое — торговое...
— Прекрасно! У нас — тоже! Вот вы нас и научите торговать!
Евграф Лукич опустил голову, легко прихлопнул коленку.
— Извините-с... Научить мудрено, ежели нет охоты... А коли охота — почему не научить? Чем торговать-то?
— Всем! — как выстрелил Ленин.— Хлебом, углем, металлом, лесом — всем! Но — чтоб не продешевить...
И вдруг сдвинул брови, как от головной боли, и приложил ладонь к правому глазу, отчего левый засверлил буравчиком.
Коршунов вздохнул:
— Господин Ленин, так ведь как торговать, когда все это теперь будто бы — казенное?
— Вот именно, что казенное! — подтвердил Ленин.
Коршунов слегка развел руками, посмотрел на свои сапоги и сказал:
— Так ведь кредиты вы, будто, аннулировали... Как же торговать?
— Военные кредиты! — кинул пальцем левой руки Ленин.— Трудящиеся не намерены платить долги, которых не делали! Они не намерены платить за войну, на которой погибли миллионы!
Коршунов поднял голову:
— Так-то оно так... Но ведь торговое дело — на книгах стоит... Дебет-кредит... Ведь сочтут неспособность к платежам... Не станут торговать...
— Не сочтут! — отмахнулся Ленин.— Не сочтут! Забудут! Станут!
Евграф Лукич читал в «Известиях» ноту новой власти, в коей объявлено было признание обязательств по займам царского правительства, однако только до четырнадцатого года. За войну Ленин платить никак не желал. А ведь были и в войну кредиты. И немалые.
— Как же — забыть, господин Ленин? — удивился Коршунов.
Боль, должно быть, отпустила Ленина, он даже брови приподнял от облегчения и отнял руку.
— Не мне вам объяснять природу капитализма, Евграф Лукич! Станут торговать! И уже торгуют! И продадут нам все, что мы пожелаем! Даже веревку, на которой мы их благополучно повесим!
Он рассмеялся не то от облегчения, не то от своей шутки, но вдруг снова приложил ладонь к глазу, обрывая смех.
— Вы нас научите, как внутри торговать... Там у нас монополия! А вот тут...
Коршунов снова посмотрел на свои сапоги:
— Казна, господин Ленин, всегда продешевляла в торговле не в пример хозяину...
— Это почему же?
— Соблазну больше-с... Сама по себе казна не торгует, а торгуют люди, к ней приказанные. А люди эти — не наживали, они к готовому приставлены. Им все само идет — подати, акцизы, подушные... Сами видите: не свое и — много... Кто не соблазнится? Казна

торговле помеха. Большому купцу она — гири на ногах... Мы ведь, промышленники то есть, революции хотели для чего? Чтобы казну усмирить...
Коршунов поднял голову и увидел озлившееся, заскучавшее скуластое лицо — хоть вставай и уходи, ежели выпустят. Ленин молчал хладно, глядел узкими щелками, не вникаясь, а будто скользя небрежно, гадливо, как на таракана.
Но Коршунов не сробел, продолжал разговор, как бы не видя неудовольствия:
— Считался я миллионщиком, а вы пришли и — подумать — нету меня? А меня ведь и не было! Капитал мой был, а не я... Вы что сделали? Вывеску с меня сбили «Коршунов и сын». Родитель мой, царствие ему небесное,— перекрестился мелко по груди,— приколотил вывеску, а матрос прикладом сшиб... А с чего сшиб-то? С хлебной ссыпки сшиб, с пароходов сшиб, с заводов сшиб...
— Нуте-с, нуте-с,— качнулся вперед Ленин, и узкие щелки его блеснули. Коршунов кашлянул.
— Вы не капитал у меня отобрали, а меня у капитала... Капитал, господин Ленин, сам по себе растет... Его и пропьешь, а он все равно есть — только под иной вывеской. Я состоял при капитале, а не капитал при мне...
Ленин неожиданно всплеснул руками, хлопнул по толстым, как лошадиные зады, кожаным подлокотникам, откинулся назад, рассмеялся, должно быть, веселее, чем желал.
— Евграф Лукич! Да вы — марксист!
Однако в смехе этом никак не слышалось насмешки, а как бы поощрение: говори, мол, Евграф Лукич, нету у меня на тебя сердца, ни государственного, ни иного. Уважил.
Коршунов подождал, пока отсмеется, и сказал:
— А это уж — вам виднее...
— Да-с! — подтвердил Ленин.— Нам — виднее!
Он оживился, хотел было встать из кресел, но вдруг — опять ладонь к глазу:
— Революция произошла, Евграф Лукич! Теперь казна, как вы выражаетесь, и будет сама по себе — большим купцом! Казна в руках трудящихся! Зачем же ее усмирять?
Евграф Лукич не счел возможным возражать, видя такое нездоровье. Подумал, сказал обиняком:
— Большой купец растет с малого... Русский человек, господин Ленин, покуда еще — не хозяин. Надо его хозяйствовать приучить, выгоду видеть в хозяйстве, а не в случае... Мой отец из крепости поднялся. А чем поднялся? Трудами...
Ленин сощурился:
— Это чьими же трудами?
— Своими-с...
— Так уж!
— Да уж как есть...
— Евграф Лукич! — звонко сказал Ленин, нетерпеливо хлопнув по подлокотнику.— Усмирить казну, как вы выразились, значит поставить ее под контроль определенного класса. Налог представлял собою политическую тайну царской власти. Трудящиеся не знали, не ведали, сколько шкур с них сдирают и для каких целей. А промышленники — знали! И в этом они были едины с властью!
Сказал — как выбранил.
Коршунов выслушал, посмотрел на книжные вертушки — вспомнил наконец: пятигорский князь Джорджадзе поставлял эти вертушки всем адвокатам России. Наложенным платежом. Подумал, сказал:
— Не знали, господин Ленин...
— Знали, Евграф Лукич, знали! И хотели отнять право на косвенный налог. Уж больно был заманчив! Оттого и желали революции! Ответственного министерства! Ответственного перед кем? Перед капиталистами! Перед тем же налогом с оборота! Вы изволили верно заметить, что не капитал состоял при вас, а вы — при капитале. А капитал — это результат эксплуатации трудящихся масс! Вот так! А теперь массы сами овладели результатом своего труда. Усмирять, как видите, некого... Кроме, разумеется, воров, прилипших к революции...
— То-то и оно,— вздохнул Коршунов.
— Но,— метнул пальцем Ленин,— с ними расправа короткая! Давайте о деле!
— Извольте... Теперь все в казну взято до последнего гвоздя... И при каждом гвозде — комиссар стоит... Он ведь сторожит гвоздь этот не от ржавчины, а от другого комиссара...
— Да,— посерьезнел Ленин,— комиссаров у нас больше, чем гвоздей.
— То-то и оно... Как тут — торговать? Пока один от другого стережет, третий и понес гвоздь тот на Сухаревку, пока не заржавел, то есть пока в нем хоть какая товарность имеется...
Ленин поморщился:
— Ну, положим, Сухаревку мы закрыли...
— Не прогневайтесь, господин Ленин, нельзя в России Сухаревку закрыть. На Трубной соберется... Пока есть казна, будет и Сухаревка... Русский человек по нутру своему — казнокрад. А теперь, когда все — в казне...

Ленин не дослушал, откинулся в креслах и сощурился на Евграфа Лукича:
— А у вас воровали?
— Нет-с, господин Ленин.
Ленин снова сдвинул брови.
— Ну так уж и нет?..
— С казенных заведений больше тащили...
Должно быть, боль не унималась. Коршунов посмотрел сочувственно. Ленин заметил это, однако ладонь от глаза не убрал.
— Но с казною имели дело подрядчики? Они, вероятно, и воровали?
— Делились, господин Ленин. С чиновниками делились. Иначе подряд как получишь?
— И вы делились? — напрямик спросил Ленин.
Коршунов вздохнул:
— Я, господин Ленин, откупался от мздоимцев, не скрою. Однако хлеба с ними не делил... Большой купец выгоды в казнокрадстве не искал. Его выгода была в ином — в обороте капитала, а казна обороту препятствует. Пожива казны — косвенный налог...
— Мудрено,— сказал Ленин,— мудрено...
Коршунов глянул в его лицо пытливо:
— С хозяином, господин Ленин, беда... У мужиков рядышком с моей фабрикой тридцать четвертей урожай был, а у владельцев — пятьдесят-с... На одной земле...
— Правильно! — дернулся к нему Ленин.— Правильно. У владельцев — машины, у мужиков — соха!..
— Плуг-с,— поправил Коршунов. Ленин пропустил поправку мимо, будто не слышал.
— Вот мы и дадим мужику машины!
— Примет ли? — усомнился Коршунов.
— Примет! Непременно примет! Нам нужны фабрики сельскохозяйственных машин! Много машин! Нам понадобится сто тысяч одних тракторов!
«Многовато,— подумал Коршунов.— Поломают, чай, тракторы эти... Разве что — сто тысяч не жалко... Да где возьмет?»
— Ничего вам пока сказать не смею, господин Ленин, надо приглядеться,— отвернулся к книгам Коршунов.— Сейчас эту нэпу вы затеяли, будто — дело... Общину рушить надо... Петр Аркадьевич, царствие ему небесное, затевал хутора... Понимал — основа государства в хозяине...— Вглядывался настороженно — не обидит ли сравнением? Ленин слушал с потаенной усмешкой.— В капиталисте, стало быть... Да ведь вот как обошлось... Не уважал царь-государь капиталистов... Мы ведь революции ой как желали...
Ленин неожиданно, не сгоняя усмешки, выпалил:
— Ваш Петр Аркадьевич — вешатель!
«Вы — ангелы»,— подумал Коршунов и сказал, разводя руками, как бы объясняя и прошлое, и настоящее:
— Россия-с... В рай не идет, упирается... Кто нетерпелив — на веревке тащат...
Сдавил для примера шею и спохватился — не сболтнул ли лишнего? Улыбнулся лукаво — мол, брякнул от глупости, тебя-то в виду не имел, боже упаси.
— Что было, то было, господин Ленин...
Ленин слушал хладно, тарабаня пальцами по подлокотнику. Пальцы клацали влажно, как бы прилипая к коже. Надо было выбираться из неловкости. Ждал — прикроет глаз или не прикроет. Должно быть, боль отпустила Ленина. Коршунов и сам почувствовал облегчение.
— Будет интерес, господин Ленин, будет и хозяин, будет хозяин — будет и богатство... Нэпа даст силу государству.— Хотел добавить — «ежели не передумаете», но воздержался.— Поживем — увидим... Надо приглядеться...
Ленин опять оживился:
— И хорошо! Поживите! Не торопитесь удирать... Я о вас много слышал, Евграф Лукич... Вы фигура примечательная в русской промышленности... А взгляды ваши мы перетерпим! Не такое терпели...
Евграф Лукич счел подходящим пошутить:
— Взгляды... А обозвали — марксистом... Что же, и Маркс этот — подкачал?
Ленин опять засмеялся, но уже не весело, а устало:
— Вы, дорогой мой, скорее синдикалист навыворот...
Коршунов взбодрился, подхватил мудреное слово:
— Вот как? Синдикалист? Не слыхал-с... Это же вроде кого?
— Вроде Евграфа Коршунова! — без улыбки отрезал Ленин и снова прикрыл глаз.— Вам дадут бумагу — чтоб комиссары вас не трогали. И — поживите... Может быть, вы придете к нам!

144

Евграф Лукич добрался с сильной бумагой до губернского города — посмотреть что к чему, как обещался в Москве.
Остановился он в гостинице «Версаль». Так она называлась в мирное время, так же и сейчас.
При гостинице имелся трактир. Евграф Лукич вошел в помещение, надымленное, разящее жареным, гремящее музыкой и пением артистов. Состояние едоков было такое, будто назавтра намечался конец света и надо было доесть-допить поскорее.
Среди едоков он узнал подрядчика своего, сапожного торговца Гурьянова, который был пьян вдребезги и по-пьяному подпевал артистам.
Прикормленные, подрумяненные, повеселевшие после голодухи лицедеи разили контру, распаляя безумство, будоража ярость. Дурачились, измывались над Россией, ликовали оттого, что топчут повергнутый старый режим. Все взяла на службу новая власть — и кривлянье, и чечетку, и злорадство скоморохов.
Гурьянов, красный от выпитого и съеденного, подпевал артисту истово, как диакону на обедне:

Народ возьмет всю власть на свой манер,
Как это, например, у нас в рэсэфэсэр!

«Неужто и ему — мировая революция позарез? — думал Евграф Лукич.— Очень может быть».
И так понимал Евграф Лукич, что не будет уж покоя русскому бедняге: заставят-таки его записаться в партийные.
В трактире, где, казалось бы, ешь, пей, на девок смотри, цыганок слушай, все одно — митинг. Все одно — агитация. Да ведь какан — въедливая, в рифму, с припевом. Испокон веку тщился русский грамотей учить уму-разуму, а тут как дорвался. И все у него недотепы, и все у него — дураки, и все у него — злодеи, а буржуи всех хуже.
«Символам молимся, символам ужасаемся,— думал Евграф Лукич,— было, есть и будет».
Неужто ничего не было в России? Бог был — дурачили его, но ведь был!
А на подмостках дива уже задирала пышную черную кружевную юбку ногою — белой и жирной, как вареный индюшачий полоток:

Денег у Джона хватит,
Джон Грей за все заплатит,
Джон Грей всегда таков!

— Джон Грей всегда таков! — подтвердил Гурьянов.— Человек! Зеленую ленту!

Наутро Коршунов решил зайти к Гурьянову, поглядеть нового скоробогатея.
Гурьянов пялил глаза по-собачьи. Евграф Лукич старался не глядеть в них.
— Стало быть, так и живешь?
— Так и живу-с,— торопливо отвечал Гурьянов, а Коршунову казалось, что хлопает он глазами в ожидании.
— Стало быть, нэпман ты теперь... Хозяин...
— Стало быть, так... Хозяйство наше, конечно, не в пример... Товарец, значит...
— Ты чего оглядываешься? — наконец-то посмотрел ему в дряблые глаза Коршунов.— За чекой послал?
Гурьянов не выдержал, сел:
— Чека, она — сама является... Нам бояться ни к чему... Они сами по себе... Как власть... Чайку, Евграф Лукич, а?
— Да будто — идти надо...
— Посидели бы,— заторопился Гурьянов,— куда вам идти? Путь-то вы куда держите?
Коршунов осматривал залу: первые следы богатства — скатерть рытого бархата, серебряная посуда в поставце, над сундуком — портреты семейства,— а выше всех, в окладной рамочке — Ленин. Коршунов кивнул на рамочку:
— Родич, что ли?
Гурьянов вспыхнул:
— Как же? Не признаете?
Вместо ответа Коршунов усмехнулся:
— Серебро любишь... Вон — семисвечник у тебя — не жидовский ли?
Гурьянов заблестел розовым потом:

— Распродавались...
— А... Ну-ну... А сапоги шьешь, как для царя, на картонке, стало быть?
— Да нет уж,— заторопился Гурьянов,— не старый режим-с... По совести.
— Жена-то где?
Гурьянов вытер лоб клетчатым платком: жену-то и послал в чеку. Не хотела идти — боялась. «В финотдел иди! — приказал Гурьянов.— Там разберутся». Но что-то долго разбираются. Гурьянов помирал от страха — а ну, уйдет буржуй? Где искать? Самого-то и посадят за укрывательство.
— А вы, Евграф Лукич, тоже — к нэпе прибиваться будете? Многие-с... Хозяева то есть... Большевики хозяйствовать дают... Вот Миргородский кустюмы шьет — хорошо идут... Стецько металлическое дело открыл... Говорят, ваш заводик прикупает...
Евграф Лукич слушал знакомые имена, как чужие. Вспоминать лица — ленился. Одно помнил — дал все-таки им заработать. Но Стецько вообразил все же в памяти. Заводик прикупает. С молотка, что ли? И единственное, о чем пожалел почему-то,— о конверторе, лом спекать. Хотел спросить — что там с конвертором, не спросил.
— Ну, пойду, Гурьянов...
Гурьянов вскочил:
— Не могу-с... Отобедайте прежде... Как благодетель... Отпустить невозможно...
— Как же это ты меня не пустишь? — усмехнулся Коршунов.
— А так-с! — вскрикнул Гурьянов, сам пугаясь своего вскрика.
И тут в залу вскочили двое в гимнастерках, в фуражках, глаза выпучены, у одного в руке наган:
— Документы!
Коршунов лениво глянул на дуло, улыбнулся Гурьянову:
— Молодец...
При чекистах Гурьянов осмелел:
— Я есть красный купец! Пролетарский. А ты — буржуй, кровопивец!
Коршунов вздохнул, поднялся, сказал, не глядя на наган:
— Документов я казать тебе не стану, боевой орел... А веди меня к старшому... Не знаешь ведь, как обернется... Тебе же и отвечать...
Второй чекист, белесый, не только молчавший все время, но и не шевелившийся, сказал глухим голосом, ломая русские слова, будто лед во рту держал:
— Кончайте бузу, гражданин... Будем разбираться в чека!
И, не глянув на Гурьянова, шагнул вслед за Коршуновым, пригнувшись в невысоких дверях залы.

Главный чекист против ожидания оказался не чухонцем и не иудеем, что и вовсе успокоило Евграфа Лукича. Он, разумеется, отдалял от себя тревогу, имея столь сильную бумагу — документ, как теперь говорили. Но отдаляй не отдаляй — мало ли как обернется...
Главный чекист оказался здоровенным детиной с обширным нижегородским лицом, с копною льняных волос, путаных, как желтая пакля. Поверх копны сидел, сдвинувшись назад, небольшой черный картуз с лакированным козырьком. Уперев ручищи в бока под накинутым на плечи синим цивильным пиджачком, главный чекист возвышался во весь рост над небольшим будуарным столиком с перламутровой отделкой, с резьбою по краю и гнутыми ножками. Копытца у ножек были как лебединые головки. В одной головке еще тускнел перламутровый глаз, из другой же — вывалился.
На главном чекисте под пиджаком (полы широко раздвинулись локтями) надета была выцветшая белесая сатиновая косоворотка, подпоясанная шелковым шнурком с кистями. А на правый бок с левого плеча тянулся узкий кожаный ремешок, тугой от тяжести деревянного футляра с маузером.
«Матрос»,— подумал Евграф Лукич, увидав под откинутым на три пуговицы воротом косоворотки голубые полоски нательной фуфайки.
Молодецкая комплекция главного чекиста, простецкая его рожа, пытающаяся грозно хмуриться, голубые безгрешные глаза даже обрадовали Евграфа Лукича. Он испытывал душевную слабость к верзилам... Ни злопамятства, ни коварства за великанами он не замечал. В гневе бывали они страшны, однако не мучительской душою, а естественной своей силищей, как разозленные медведи. Но бывали они и отходчивы, и даже простодушно терпеливы. Евграф Лукич дивился Божьему разуму: у кого избыток силы — тому поболее простодушия; у кого же силенок, как у скорпиона,— тому и душу ядовитую, скорпионью. Дивился, забывал, что сам — невелик, хоть и не злобен.
— Ну? — прогремел главный чекист, не глядя на неказистого буржуя в расстегнутой поддевочке и в богатейском суконном картузе с высокой тульей.
Евграф Лукич картуза не снял, а, ни слова не говоря, полез в кармашек кителя доставать сильную бумагу. Достал, не спеша, бережно развернул — только что не разгладил, не на чем было — и протянул лицевою стороной главному чекисту.

Главный чекист, соблюдая всеми мышцами лица — что бровями, что чистым, без морщин лбом, что тяжелыми мясистыми губами — приличную гневную строгость, посмотрел на Евграфа Лукича мимо бумаги:
— Ну — чего? Чего ты мне показываешь? Фамилие!
— Тут сказано,— тихо, но безбоязненно ответил Евграф Лукич, любуясь безопасным гневом главного чекиста.
— Сказано! — распалял себя главный чекист.— Что там сказано?
Евграф Лукич подумал, что детина, очень может быть, неграмотный, а посему, пряча усмешку, обернул к себе бумагу и, держа ее подальше от глаз, стал читать:
— Охранная грамота. На основании постановления Совета Народных Комиссаров от первого...
— Дай сюда! — громыхнул главный чекист и протянул ручищу, отчего пиджак соскользнул с косоворотки.
Коршунов протянул бумагу, но, прежде чем принять ее, главный чекист поправил пиджак и опустил руки, бросив стоять фертом. Бумагу он принял, придерживая лацкан левой рукою.
Прежде всего главный чекист посмотрел на штамп и увидел, что штамп правильный.
Бумага была отпечатана на машине, а внизу, подо всем напечатанным прописана была тонким пером снизу вверх, уменьшаясь буквами в два приема, хорошо знакомая подпись.
Главный чекист кашлянул и стал читать вслух, грамотно, бегло, не по складам, как ожидал Коршунов:
— Охранная грамота. На основании постановления Совета Народных Комиссаров от первого дробь одиннадцатого одна тысяча девятьсот двадцать первого года выдается эта охранная грамота гражданину Евграфу Лукину Коршунову пятидесяти двух лет, который, являясь долгие годы организатором производства в России, сочувственно относился к Революции и революционерам.
Здесь главный чекист посмотрел на Евграфа Лукича с некоторым удивлением, однако, ничего не сказав, продолжал читать бумагу:
— Гражданину Евграфу Лукину Коршунову предоставляется право посещения и ознакомления с деятельностью промышленных и торговых предприятий Республики. Всем советским властям предписывается оказывать гражданину Евграфу Лукину Коршунову содействие в деле охраны как его самого, так и его имущества. В случае передвижения его по Российской Социалистической Советской Республике всем железнодорожным и пароходным властям предписывается оказывать гражданину Евграфу Лукину Коршунову возможное содействие в деле получения билетов на поезд и предоставления места в поездах...
По мере чтения строгость покидала главного чекиста, лицо его обмягчалось добродушием. Подпись он уже не прочел, а как бы объявил звонко, оглядывая находившихся в комнате победительно.
— Отчего ж мы стоим? — спохватился главный чекист.— Присаживайтесь, гражданин!.. Конечно, нужно понять... Имя ваше небезызвестное... А вы — знакомы с товарищем Лениным?
Он еще раз осмотрел бумагу, почтительно сложил ее по потертым сгибам, отчего пиджак его снова полез с косоворотки, двинул здоровенными плечищами и, придерживая лацкан, протянул бумагу Евграфу Лукичу.
— Фабрику свою смотреть будете?
— Да уж не мою, народную,— поправил Евграф Лукич, присаживаясь на старый венский стул из своей конторы.
— А вы же — сочувствующий? — легко показал пальцем на карман коршуновского френчика главный чекист.
— А как же! — охотно откликнулся Евграф Лукич, застегивая гладкую железную пуговицу.
И тогда чухонец, растянув неживые губы в улыбку, сказал:
— Извиняемся за приставленное оружие...
— Пустяки,— отозвался Евграф Лукич, на что чухонец возразил:
— Пустяки, но — стреляет...
И — главному чекисту:
— Сведенья были чрезмерные... Как будто гражданин этот ворвался к гражданину Гурьянову и душил его... Ворвался с оружием.
— С каким оружием? — насторожился главный чекист.
— То-то, что ни с каким! У страха большие глаза!

Евграф Лукич ходил по губернскому городу, вспоминал бывшее, узнавал дома, в которые хаживал.

Возле ашугинского особняка (хлебные ссыпки, пароходное общество) Евграф Лукич увидел странную коляску — должно быть, с ребенком. Плетеная корзинка на велосипедных колесах. Колеса были велики, несуразны. Коляска была явно самодельная. Евграф Лукич подумал: «Пора бы заводить фабрику детских экипажей — страна утихомирилась, сейчас дети пойдут, природа не дремлет, надо же восполнить народные потери за семь лет беспощадной стрельбы, рубки, пожаров, голода. Колесики надо — поменьше, чтобы приятно было смотреть, а корзиночка — ничего, уютна». Он даже сощурил глаз, подсчитывая, сколько, к примеру, колясок можно выдать за месяц, какова цена (надо, чтобы доступна была). И вдруг усмехнулся: размечтался по-старому, а время-то новое. Какая еще такая фабрика...

Люди посмеивались над коляской — экая ерунда, придумают же несуразицу!

Коляску толкала молодая дама — должно быть, мамаша. Толкала гордо, не глядя на народ.

Евграф Лукич присмотрелся и ахнул — Юдифь!

Он подошел, заглянул в корзинку. Там посапывал младенец, закутанный так, что только соска торчала из одеяла, где личико.

— Ну вот,— сказал он,— вот и встретились...

— Евграф Лукич! — вскрикнула Юлия Семеновна и схватилась за щеки.

— Он самый... Ну — покажись, покажись... Как же ты живешь-то?..

— Я замужем! — сказала Юдифь, глядя в лицо Евграфа Лукича с вызовом. Евграф Лукич даже удивился, что вызов сей никакого неприятного чувства в нем не всколыхнул. Ни зависти, ни ревности, а одно снисхождение.

— Так догадываюсь,— усмехнулся Коршунов,— давно знаю...

— Нет,— сказала Юдифь и порозовела, не отводя глаз,— не знаете... Я — второй раз замужем.

— Неужто овдовела?! — испугался Евграф Лукич.

— Нет! Не овдовела.

Коршунов развел руками:

— Ну-у-у... Эк тебя свобода-то взбодрила! И по какой же линии ты теперь?

Юдифь почувствовала насмешку.

— Не важно.

— Ну что же,— согласился Коршунов,— изволь...

— Мой муж — председатель губисполкома.

— Комиссар! — крякнул Евграф Лукич.— Вот это — дело! Ну, а позволь спросить — Павел Михайлович где? Сказывали, жив он...

— Не знаю! Теперь это не имеет значения.

«Вот когда в тебе девчонка-то проклюнулась,— подумал Коршунов.— Будто ты наоборот росла! Сперва-то в девичье стыдливое время все умничала — философия, эмансипация... А как бабою стала — так снова в детство по разуму... Не имеет значения... Мать моя! Как же ты стыд-то миновала? Стыд-то — он между детством и женством — не так ли? А у тебя будто сперва было женство невинное, а теперь вот наступило детство бесстыжее...»

Юдифь смотрела на него, как на чужого. Да и Коршунов и не пытался вспомнить ее такою, какой охватила она его сердце давно-давно, еще в той жизни. А может, и это лишь привиделось, как и жизнь, нелепо застрявшая в памяти?

— А то оставайтесь, Евграф Лукич,— сказал Иванов, весело вглядываясь в Коршунова.

Коршунов глаз не отводил, только слегка сощурился, как всегда делал, обдумывая сделку.

— Красным директором,— улыбнулся Иванов,— на вашей же фабрике...

— Так будто ее — Стецьке отдаете?

— Какой там — Стецьке! — махнул рукою Иванов.— Стецьке — подковы ковать, а не локомобили делать...

— Локомобили, Егор Иннокентьевич, я еще только собирался ладить...

— Так вот вам! Ладьте!

— Да-а-а,— опустил голову Коршунов.— Красным директором... Честь немалая...

И — уже не скучно, не весело, а как о деле, его не касающемся,— тихо сказал:

— Красным директором фабрики сельскохозяйственных машин... Ну — что же... А скажите мне, Егор Иннокентьевич, кто при этом станет красным директором над моими пароходами? Над хлебной ссыпкою? Над астраханскими тонями? Над архангельскими лесопилками?

— Ну-ну-ну! — шутливо защитился рукою Иванов.— И это вы всем управлялись один?

— Зачем один? — поднял брови Коршунов.— Приказчики были...

— Сколько ж у вас было приказчиков?

— Да помене, чем у вас... Пальцев на руках хватит — разуваться не надо... Ну, еще инженеры были... Двух бельгийцев держал... Красный директор на фабрике — лестно... Да ведь — жаль: как с остальным-то? Кто, стало быть, воздиректорствует над сулинскими копями? Над химическим заводиком?

— Да вы, я вижу, ничего не забыли! — дружелюбно перебил Иванов.

— Как же-с! — улыбнулся Коршунов.— Покуда — при памяти! Я, Егор Иннокентьевич, плуги из чего делал? Из обрезков! Фабрика-то эта сама по себе встала. Что фабрика? Малое дело — фабрика! Еще война шла, а я уж подумал — не век ей быть, станем же и землю пахать, Бог даст... Я у Панкина обрезки выпросил...

— У какого Панкина?

— Ну как же-с! Генерального штаба гвардии полковник Панкин Александр Васильевич! Весь металл у него был. Мимо него — никак-с. Подряды давал... Снаряды делали на французский лад...

Коршунов сидел, едва откинувшись на высокую резную спинку стула. Сидел свободно, должно быть, так же сиживал он, когда стул этот, и кабинет, и весь дом принадлежали господину Ашугину. Иванов почувствовал необходимость кольнуть гостя, вернуть к действительности.

— Снаряды,— усмехнулся Иванов,— наверно, немало вы нажили на них, а? Евграф Лукич?

— Как же не нажить? — спокойно ответил Коршунов.— Дело — торговое...

— А думали вы — для чего эти снаряды?

— А я ведь не генерал, Егор Иннокентьевич. Мое дело, чтоб товарец был кондиционный...

Иванов почувствовал, что про снаряды спросил глупо.

— А почему — на французский лад? — нашелся Иванов.

Коршунов сощурился ехидно, лукаво:

— А бог его знает... Наше дело торговое. Генерал Ванков заказывал — я делал... А из стружки, стало быть,— плуги... Я фабрику в шестнадцатом году поставил... Как бы — шутя... Генерала Ванкова знаете, Семен Николаича?

— Нет.

— Как же-с? Ваш теперь. С Лениным за ручку...

— Вот видите! — схватился Иванов.— Наш! Все лучшие люди к нам идут!

— Идут,— согласился Коршунов.— Как не идти?..

— А вы? — напрямик вбил Иванов.

Коршунов будто ждал вопроса, вздохнул, сказал тихо, печально:

— Большой купец к вам не пойдет, Егор Иннокентьевич.

— Почему? — выпрямился Иванов.— Пожалуйста! Новая экономическая политика! Обрезки... Да надо будет — мы вам не обрезки — основной металл!

— Да,— кивнул Коршунов,— а коли не надо будет?.. Я ведь и господину Ленину говорил — не пойдет к вам большой купец.

— Как — Ленину? Вы были у товарища Ленина?

— Был-с...

— Ну и что?

— А ничего-с... Обещался присмотреться...

— Присмотрелись?

— Присмотрелся... Не пойдет к вам большой купец...

— Почему же? Даже генералы пошли! Вы же сами говорите! Царские генералы!

Коршунов вздохнул:

— Царские, пролетарские... Всего делов-то — погоны снять... Генералы, Егор Иннокентьевич, народ служивый... На жалованье, стало быть... А купец — на своем коште... Мы ведь революции — ой как хотели...

— Ну вот вам — революция!

— Да,— согласился Коршунов,— революция... Гурьянов меня благодетелем величал, а сам — супругу в чеку послал: буржуя ловить... Вы, Егор Иннокентьевич, поглядывайте за ним... Я ему рожу бил подошвой...

Иванов улыбнулся весело:

— Когда же это?

— В четырнадцатом году... Подрядился он тыщу пар солдатских сапог поставить... Поставил первые две сотни... А я для верности ноготком в подошву. А она — картонная... А он ведь аванец у меня взял... Ну, я его — в рожу сапогом... Вы бы его за это, чай, к стенке?

— К стенке! — уверенно тряхнул головою Иванов.

— Ну вот... А он теперь жену за чекистами шлет. Красный купец! А купец, Егор Иннокентьевич, цвета не имеет... Ваши-то комиссары все бранятся — буржуй, буржуй... Намалюют деревенского беса мерзкотелого, но непременно чтобы с брюхом,— буржуй... А для чего с брюхом? Много кушал-с... Голодному-то как не порадоваться? Народ суеверен, символам молится, символам ужасается... Мы ведь, большие купцы-то, и при государе императоре патриотов обходили. Право, обходили... Как патриот — непременно жди: заворуется...

Иванов рассмеялся раскатисто, хрипло, закашлялся, маша рукою, и — платок из брючного кармана — рот закрывать. Кашлял он нехорошо, мокро. Коршунов глядел на него участливо. Иванов харкнул в платок, посмотрел на Коршунова виноватыми заслезившимися глазами, спросил поспешно, как бы скрывая, что кашлял:

— Почему ж не пойдет к нам большой купец?

— Вам бы, Егор Иннокентьевич, на кумыс, в степь астраханскую... Приказчик у меня был — вылечился... Верблюжье молоко пил.

— Пройдет, Евграф Лукич...

— Нет, Егор Иннокентьевич... Она так не проходит...

— Вы еще скажите — в Ниццу...

— Зачем? Русскому человеку в Ницце делать нечего... Это — баловство... Когда приказчик мой окреп, задумал я лечебницу на нижней Ахтубе... Война помешала...

— А вам же — невыгодно было бы! Или брали бы плату порядочную?

— Я, Егор Иннокентьевич, крещеный,— печально посмотрел на него Коршунов.

147

Ударный паек, добытый красным директором бывшего коршуновского завода Барановым, взбудоражил завод: опять несправедливость. Одному — жри от пуза, другому — лапу соси.

В прокатном цехе на стыке двух смен — митинг: даешь Баранова!

Баранов поднялся на стан, посмотрел в тяжело дышавшую толпу. К стану пропускали — расступались отчужденно, сейчас же сплотились густо, иные залезли на рольганг. Павел Кордин полез вслед. Кто-то ругнул его снизу буржуем. Это ворчание поползло по толпе, и, когда они оба стояли над цехом, толпа уже закипала нехорошим предвестием ярости.

— Ну чего? — спросил Баранов.

Вопрос его как-то притишил всех. Баранов подождал — толпа молчала. Он видел знакомые лица, встречался взглядами, но лица были как чужие.

— Ну чего? — повторил Баранов.— Кто бузу начал?

И тогда кто-то крикнул:

— Всем паек дели! Всем!

— А это видел? — спросил Баранов, показав цеху кукиш на левой руке. Правую он держал в кармане телогрейки, как бы про запас.

— Ты дулю спрячь! — ненавистно закричал Ленька Гладышев, но Баранов враз, не дав ему откричаться, сам — жилы надул горлом:

— Я тебе спрячу, ракло! Я тебе башку разметаю и отвечать не буду! На кого хавало открыл, сволочь? На советскую власть? Я, что ли, пайки эти жру?

— Погоди, Баранов,— примирительно крикнули снизу,— погоди, не лайся! Надо по справедливости.

— Какая тебе справедливость? — орал Баранов.— Ты лекала умеешь делать? Ты шамать умеешь! А этого в период разрухи мало для победы мировой революции! Пайки определены мастерам первой руки, они золота стоят, а не тюльки с пшеном! А ты ни хрена не стоишь, бедолага!

Лучше бы он этого не говорил.

— Бедолага? — обрадовался Гладышев.— Мы Зимний брали! Буржуев на штык! Контру резали! А теперь — подыхать?

Теперь толпа уже гудела смело, яростно, ненавистно. Люди взбирались на рольганг — тяжелые валы покачивались. Баранов стоял надо всем спокойно, будто не он только что орал, вздувал донельзя жилы на горле.

— Петрович! — дружелюбно крикнул вниз Баранов.— Ногу в вальцах сломаешь!

— То — наше дело,— огрызнулся кто-то.

— Ваше-то ваше, а платить не будем! Не на работе сломал!

Баранов вытащил кисет, стал сворачивать цигарку, сказал вполголоса:

— Павел Михайлович, ты, брат, зря полез сюда... Ты же контра и буржуй... И паек жрешь... Уматывай, пока цел...— И — в толпу: — Тихо! Паек отымать не будем, хоть вы все перекусайтесь, раз! Не заткнетесь — позову чека, два! Будем шить саботаж и пришьем крепко, не отдерете, три! Всех сволочей пересажаю для справедливости!

— Первая сволочь рядом с тобой торчит! — закричал Гладышев.

И вмиг, будто найдена была истинная причина, которой кипела и ярилась толпа, закричали:

— Инженера на тачку!

— Долой!

— Бей контру!

— Ну вот,— тихо сказал Баранов,— сейчас они будут тебя кончать, Павел Михалыч... Но сперва я с них кишки повыпускаю...

— Дай мне слово,— неожиданно попросил Павел Кордин, и Баранов послушно провозгласил:

— Слово имеет красный спец, инженер товарищ Кордин! За этого товарища я любому из вас перекушу глотку и не побрезгую! Он с товарищем Лениным планы составлял, как электрификацию заводить! И вас, дураков, делу учит! Давай коротко, товарищ!

Странная, опасная игра, которую Павел Кордин принял несколько лет назад, в конце концов могла обернуться скверно. Разум давно уже оказался несостоятельным советчиком в этой игре чувств, безрассудства, бессмысленной преступной злобы и столь же бессмысленной детской доверчивости. И тот, кто пытается заранее определить свои действия, проигрывает в этой игре, то есть погибает,— иного в этой игре не дано.

Но Павел Кордин верил, хотел верить, что именно разум пересилит, образумит безрассудство. Разум и твердость. Он видел перед собою не массу, не толпу, а каждое отдельное лицо. Он верил, хотел верить, что можно столковаться.

— Можно коротко,— начал Павел Кордин.— Мы находимся здесь уже час. Этот час стоит заводу двенадцать миллионов рублей убытка. Мы сами сейчас вышвырнули двенадцать миллионов. Еще через час эта цифра удвоится...

— Ты скажи, за что тебе паек! — перебил Гладышев.

— Охотно,— спокойно отозвался Павел Кордин.— Технологический процесс требует постоянной работы. А вы, Алексей Васильевич, можете мне помочь?

Это «Алексей Васильевич» развеселило толпу. «Лёнь! — услышал Павел Кордин.— А ты — Васильич, оказывается?»

— Не можем, так сможем! — уже тише возразил Гладышев.

— Сможете, но, боюсь, нескоро,— негромко в тишине сказал Павел Кордин.— Вас работа мало интересует. Что же касается пайка,— я прошу тебя, Николай Степаныч,— пусть его получает товарищ Гладышев, если товарищи сочтут это более справедливым.

— Подавится! — крикнули снизу.

В закутке своем Баранов сказал Павлу Кордину:

— Хитер ты... Голова у тебя, как у Карла Маркса... Я бы их взял, но — плеткой... А ты — как детишек обосранных... Голова! Ну как тебе верить при такой твоей голове?

— Вот же — поверили.

— Поверили? Одна радость — не знаете вы нашего брата... Поверили! Ну — ладно, будем считать — поверили...

— Николай Степаныч, будет тебе... Ты-то мне — веришь?

— Я? Верю... Хотя и не должен...

— Почему ж не должен?

— Ну — белый ты, понимаешь? Белый! Алексей Васильич... Вы... Да ведь это же — насмешка, Павел Михайлович! Вот они разберутся, смекнут — ой, что они над тобой сделают!

— Ты ведь разобрался? Делай...

— И это — насмешка! Господа вы все-таки, господа! Я тебя в обиду не дам потому, что мы с тобою пуд соли съели... Так ведь с каждым не съешь! Вот оно в чем дело, Павел Михайлович! Народ насмешек не терпит... Шкуру с него дери, плеткой его — это он за милую душу, еще и спасибо скажет... А начни с ним балакать по-хорошему — разорвет самосудом. Подумает — насмешка.

— Почему? — удивился Павел Кордин.

— Непонятно и — не по его! Это и есть насмешка... Меня ты уже пообтер малость. А я ведь тебе не верил, ой, не верил! Когда тебя в комиссию записали, я подумал: обдурили советскую власть твои дружки!

Павел Кордин не понял:

— Какие дружки?

— Вроде тебя, которые... Сам понимаешь... А когда мы от батьки Махно бежали — я ж тебя пришить хотел! А уж когда в Крым попали — и подавно,— думал, ты меня к Врангелю заманил...

— Чего ж не пришил?

— Сказать? — Приблизился нос к носу.— Патроны в нагане отсырели, когда мы бултыхнулись! Вот как было дело...

Павел Кордин вздохнул:

— Ты дикий человек, Николай Степанович...
— Дикий,— мелко закивал головою Баранов,— дикий... На, закури... Я дикий, ладно... Хоть смекать начинаю, что — дикий... А которые не смекают? А которые и не смекнут никогда? Их же тьма! Тьма!..

Вечером того же дня Ленька Гладышев от обиды, при всем народе, напился самогону — хотел было по крайности выбить окно этому инженеру. Но Митрохин отговорил: мало ли как — с Лениным планы составлял, как бы Баранов и взаправду чеку не навел.
И тогда решили посчитаться за пайки. Сунулись к старику Панфилову. Семейство как раз сидело за столом — кашу жрали. Вошли — Гладышев, Митрохин, новенький этот из инструментального и бузоватый припадочный Сенька-матрос. Сенька был партийный с осени семнадцатого, служил он тогда на «Гангуте» в кочегарах. Припадки у Сеньки были натуральные — больной человек, да и только. Однако как-то выходило так, что в припадок он приходил всегда к месту. На митинге этом Сенька вздумал было взбеситься, но — передумал. Здесь же, у Панфиловых, разошелся сполна. Сперва скинул кашу на пол, бабы закричали, сам Панфилов онемел — не знал, как быть.
— Жрете?! — распалял себя Сенька.— А буржуазия шкуру дерет с пролетариев всех стран!
Федька Панфилов стукнул матроса ухватом, но попал плохо, слабо по малолетству. Матрос хорошо поддал ему — парень свалился, скрючился, выплевывая кровь. Бабы выскочили:
— Милиция! Караул! Рятуйте, люди добрые!
И тогда Сенька-матрос упал на мытый панфиловский пол и забился, исходя пеною.
Прибежали соседи, Митрохин к тому времени перекинул стол. Гладышев закричал, тыкая в Сеньку-матроса:
— Вот они как! Наших бьют, товарищи! Партейных бьют!
Панфилов залопотал:
— Братцы, так мы ж — ничего... Мы ж так... Семейственно... Обедали...
— Обедали? — заходился Гладышев.— А это что?
Сенька-матрос изгибался в падучей.
Прибежал Баранов. Он был страшен.
— Значит, добром не выходит, Леня,— пробормотал он.— Сядете. Все сядете...
Ленька, пьяный отчаянно, хотел было закричать, но, исказившись страхом, отгородился рукою от Баранова.
— Все сядете,— не сказал, задрожал телом Баранов. Гнев распирал его, как будто Баранова все время надували воздухом. Гнев не давал дышать, мешал соображать, выкатывал глаза изнутри.
А Сенька-матрос извивался змеею и выл. Бок его был вымазан мокрой кашей, лужа от разбитой миски текла под плечо. И вдруг Баранов изо всей силы, всем отчаяньем ухнул сапогом в мягкое. Будто треснуло что-то. Сенька-матрос ойкнул, захлебнулся воем, обмяк и вдруг закричал непритворно.
Баранов вытащил наган, выдохнул:
— Перестреляю подлецов... За ноги его отседа... Чтоб хату не пачкать поганой кровью...
Вид Баранова подтверждал его намеренья. Панфилов шагнул к нему из-за перевернутого стола:
— Степаныч... Ты — того... И так запомнят... А? Степаныч...
Баранов вздохнул, сунул наган в кожанку, ткнул в Панфилова пальцем:
— Спасибо ему скажите... Что живые... А с завода чтоб завтра же!..
Сенька-матрос кричал, боясь шевельнуться.
Бабы присели к нему:
— Ой, батюшки, печенку отбил... Фелшера, фелшера надо... Федя! Беги! Ой, батюшки!
Размазывая уже подгустевшую кровь по щеке, по углу губы, Федька побежал в открытую дверь. За фельдшером.
Баранов шумно вздохнул, приказал Митрохину и Леньке:
— В хате убрать...
И — ушел.

148

Егор Иннокентьевич Иванов сказал про Коршунова:
— Пусть уезжает... Что ему тут делать?.. Он на революцию деньги давал...
— И за эти подачки,— возразила жена,— ты готов все простить миллионеру?
— Поди донеси на меня в чеку,— пожевал желваками Иванов.
— Глупо, Егор!

— Почему — глупо? — тяжело посмотрел на нее.— Ради революции... Жаль, что этого буржуя все равно сцапают... Не убежит...
— Вот именно!
— Да,— усмехнулся Иванов,— надо его пристрелить. Во имя революции. Моя-то голова нужней революции, чем его, а?.. Вот что, Юля! Я — не бандит! Я — большевик!
Коршунов уехал благополучно.
Перед отъездом он сказал ей:
— Юдифь, матушка, граница не между Совдепией и Европой идет, а между тем и этим светом... Европа поминает вас как мертвецов, вы же Европу — как покойницу... Там за вас свечки ставят, тут — за них... Только там — явно, а тут — тайно... Поеду свечки ставить... Не умею тайно...
— А не доедете?
— Коль ловить не станешь — доеду... А станешь — ну что ж? Двум смертям не бывать...

Она уже, разумеется, не знала, что Коршунов вернулся в Москву и там, прежде чем следовать в Ригу — перевалочный пункт на тот свет,— пожил у бывшего царского генерала Семена Николаевича Ванкова. Генерал был теперь штатским насквозь, преподавал в каком-то институте и даже пописывал в газетках под именем «Синева» — Сэ Нэ Ванков.
Тихо было на прощальном обеде в арбатском переулке, где проживал Семен Николаевич с молодой женой. Тихо и грустно. Ванков сказал Коршунову про Ленина:
— Вы ему понравились, Евграф Лукич... Когда еще был здоров, сказал про вас — пускай уезжает... Вот так... Прощайте... Двум жизням не бывать — одну бы дожить...

Двадцать третий год

149

Иванов читал «Известия» быстро, как он выражался — «по диагонали», и пил чай. Это был его завтрак.
Вдруг он засмеялся:
— Ну молодец! Ну молодец! Юля, слушай... Значит, в пятидесяти верстах от Москвы... Деревню не указывают... Слышишь? Учительница разговаривает с мужиком... Слушай... «Я твоего Васятку буду учить грамоте». Мужик говорит: «Три рубля».— «За что?» — «За Васятку». Слышишь? Она поясняет: «Ведь я его грамоте учить буду. Человеком сделаю».— «Понимаю,— говорит.— Тебе антирес — ты и плати. А мне антиресу никакого!» Дальше написано: «И это — под Москвой, у самого кратера революции, на седьмом ее году». Молодец мужик!
Юлия Семеновна подлила ему чаю.
— Мужик свой антирес не упустит!
Она пожала плечами:
— Егор, порою ты меня удивляешь. Ты так искренне радуешься этому дикарскому антиресу, как ты говоришь...
— Не я! — засмеялся Иванов.— Мужик! Вот, написано!
— Ну что же здесь смешного? Это страшное наследие мешает нам...
— А я что говорю? — смеялся Иванов.— Мужик знает дело! Он свой антирес отовсюду возьмет! Жаль, у нас платить нечем, а то бы мы у него не только Васятку — душу бы выкупили!
Он задумался.
— Да, Юля, выкупили бы... А так — отбирать придется... Ох, нелегко это — у мужика что-нибудь отбирать!
— Почему отбирать? Наоборот, давать! Землю ему дали, разверстку отменили... Он пока получает...
— Вот видишь — сама ты говоришь — пока! А что после «пока» будет? — пробормотал Иванов, читая снова газету.— Мне принесли письмо из Ериков, слышишь? В соседнем селе во время лекции якобы окаменели все коммунисты... Просят проверить... Юля, крестьяне мечутся в нужде и панике. Они хватаются за любую руку... А вот за нашу почему-то не очень...

150

Самогон мутнел перламутровым отливом, и несло от него запаренным буряком.
Пища на столе Горпиненок была веселой на вид и весьма разнообразной для закуски. В глиняных мисках пухли соленые полосатые кавунчики, возвышалась шинкованная

капустка, синенькие, красненькие и, конечно, огурцы. Синенькие эти Марья Романовна солила по-особому, по книжке и удивлялась, что в книжке они называются баклажаны, в то время как баклажаны по-простому будут — красненькие, которые в книжках называются помидоры, или же томаты.

Марья Романовна любила научные разговоры, как и сам Горпиненко.

Представитель хлебозаготовительной конторы Исаак Лапидус посмотрел на граненый стакан с перламутровым самогоном, содрогаясь, как от внезапного мороза.

— Звиняйте,— сказал Горпиненко, наливая из четверти сынам и зятьям.

За столом, стесняясь гостя и полностью осознавая важность момента, сидели пятеро молодых мужиков, принаряженных и причесанных. Сидели смирно, как бы стараясь стать меньше, чем были на самом деле. Честь была велика, если разливал сам батько.

— Ну,— сказал Горпиненко, поднимая стакан,— за свиданьице, и чтобы все было хорошо, и чтобы совецька власть дожила до мировой революции, которую мы всем желаем! И то — давайте мы с вами чокнемся, дорогой наш товарищ представитель!

Сыны и зятья держали стаканы, как винтовки на караул, не смея шевельнуться. Батько чокнулся с представителем и крикнул, как скомандовал:

— Будьмо, хлопцы!

Лапидус пил страшное зелье, стараясь сосредоточиться на какой-нибудь мысли, которая увела бы его от омерзительного запаха. Но мыслей никаких не было. Он пивал неразбавленный спирт, и то, что самогон на вкус оказался значительно слабее спирта, придало ему сил. «Не так страшно»,— подбодрил он себя и выпил до конца.

— Капустки, капустки,— проговорил хозяин. Лапидус взял капустки щепотью, стремясь поскорее заесть выпитое.

Сыны и зятья поставили пустые стаканы перед собою и, виновато улыбаясь, жевали, глядя на гостя.

Против своего ожидания Лапидус не осрамился. Он крякнул — и это ему тоже удалось — и потянулся к блюду с колбасами.

— Ну как? — спросил Горпиненко.

— Превосходно! — ответил Лапидус почти искренно.

— Первая — колом! — сказал Горпиненко.

— Вторая — соколом? — улыбнулся Лапидус.

— А третья — мелкой пташечкой,— подхватил хозяин.— Ну-ка, сынок, послужи за столом!

Богдан вскочил с места, живо проглотив все, что было во рту, и взял четверть. Лапидус понял, что надо держаться, и радовался только тому, что все-таки самогон слабее спирта.

— Семен Григорьевич,— сказал он, дождавшись, когда отрок нацедит все семь стаканов,— поскольку мы с вами люди деловые, я бы хотел решить дело трезво, а потом уж...

Горпиненко вдруг сделался необычайно серьезным, даже хмурым.

— Правильно, Исак Израилович,— сказал он.— Дело у нас большое, хотя и короткое... Вот посмотрите в охотку перед собою... И вы увидите во всей комплекции пятерых казаков, что составляют мое семейство, не считая баб и малолетних детей, о каковых разговору нету.

Лапидус почтительно наклонил голову.

— И постольку, поскольку совецька власть в настоящий момент имеет нужду в хлебе и мы обязаны это понимать перед лицом мировой революции.

Сыны и зятья смотрели в свои стаканы, стараясь не дышать.

— Гуртом и батька легче быты,— сказал Горпиненко,— и мы имеем понимание, как нас учит товарищ Ленин.

Лапидус терпеливо слушал и думал, как бы вывести старика из витиеватой научности разговора.

— Правильно,— сказал Лапидус.

— Ну, а колы правильно — давайте нам «фордзон»,— вдруг сказал Горпиненко.— И буде у нас артель. Коллективное хозяйство. Тридцать шесть десятин, девять коров, не считая живности. Мы без трактора дали вам вагон пшеницы, с трактором, бог даст, дамо три...

— Что же вы — распашете межи? — улыбнулся Лапидус.

— А як же? — честно поднял брови Горпиненко.— Распашемо! Як учить наша совецька власть!

Старик наклонился к Лапидусу:

— Скажу вам, Израловичу, так: мы не милостыню просимо. Мы вам за «фордзон» заплатимо... Мы за вси машины, яки дастэ,— заплатимо.

— Нет у нас пока машин,— проговорил Лапидус, думая, где бы добыть трактор.

— Нема, так будуть! — повеселел Горпиненко и поднял стакан.— Ну, хлопци! Выпьемо за совецьку власть, каковую мы кормим с пониманием вперед, бо вона дасть козакам машины до трудовых рук! И за смычку с робитныками, каковые збудують нам тракторный завод, щоб мы имели свои «фордзоны», а не выпрошувалы у мировой гидры! Ну як? Будэ трактор?

Лапидус взял свой стакан, зная, что не уйти от него. Подержал в руке, посмотрел на свет, привыкая, и сказал тихо:

— Будет.

— Тогда, козаки, кончай разговоры и начинай приятную беседу. Ось вы, Израиловичу, кушаете свиную ковбасу, дай вам бог наздоровячко, а закон вам запрещает. Как это понимать?

— А никак не понимать,— усмехнулся Лапидус.— Вкусная колбаса — и все.

— Но все же я не имел видеть своими глазами с вашего верования, чтобы кушали свинину.

— У нас, Семен Григорьевич, с вами теперь одно вероисповедание,— сказал Лапидус.— У нас такое вероисповедание, чтобы все граждане республики имели на столе что жевать.

— Верно! — обрадовался Горпиненко.

— Школа у вас в Константиновке есть, больница есть — вот это наше вероисповедание.

Горпиненко прослезился:

— Правильно! И теперь я имею возможность беседовать из уст в уста с представителем совецькой власти, а не с приставом или же хабарником писарем. Ну, козаки, у кого голос чище?

Запевалой был младший зять — меднолицый, с черными бровями полоской. Глаза его сидели глубоко, не видно. Он вытянул руку, уперев ее в стол, и, не отрывая взора от тарелки, запел высоким, почти женским голосом. Не запел — закричал, переводя крик на песню:

Вып'емо, хлопци,
Добрі молодци,
Щоб через верхи лилося.
Щоб наша доля
Нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося!

И все сыны и зятья, уперев правые руки в стол и набычив головы, подхватили:

Щоб наша доля
Нас не цуралась,
Щоб краще в світі жилося!

— Споживайте, будь ласка! Кушайте...

Двадцать четвертый год

151

Павел Кордин приехал в Москву вечером двадцать первого января, в понедельник, в пропащий день, как он выражался.

Саратовский вокзал, засыпанный снегом, был тих и холоден. Неясные фонари поблескивали на несбитой наледи; два бородатых, в белых фартуках носильщика шли вдоль поезда медленно, без надежды. С площадок сходили люди простецкого вида — с сундучками, с мешками: такие пассажиры услугами носильщиков не пользуются.

Паровоз отдувался негромко. В захолустной тишине Саратовского, или — как теперь стали называть — Павелецкого, вокзала слышны были трамвайные звонки, долетавшие на перрон с площади. Пассажиры шли почему-то в обход помещения, как бы чуждаясь большой дубовой двери, над которой был приколочен лозунг на кумаче: «Пролетарский привет делегатам II съезда Советов СССР!». Лозунг читался легко — был освещен лампионом, прикрытым эмалированным рефлектором.

Павел Кордин приехал в ВСНХ по делам неотложным, лозунг смущал его. Небольшой, но прочный опыт новой жизни подсказывал главное: никто не станет заниматься делами — все будут отбояриваться, отлынивать, важничать, как будто все теперь делегаты и все заскочили в свои отделы на минуточку. Новые чиновники довольно быстро усвоили новую форму безделья. Форма эта была респектабельной, безнаказанность ее гарантировалась и обеспечивалась всем достоянием нового духа: митингами, собраниями, совещаниями и, разумеется, съездами, которые были превыше всего.

Павел Кордин, разумеется, знал, что едет в Москву в период Одиннадцатого съезда Советов РСФСР и накануне Второго съезда Советов СССР; он знал, что все эти завы, замзавы, отделы и подотделы, все эти секретари, референты, все барышни в блузках-рюмочках и все молодые люди в толстовках и крагах — все в один голос предложат

товарищу из Донбасса дождаться конца съезда, которым все они в данный момент чрезвычайно заняты. Они будут охотно звонить в телефоны и горделиво произносить на все голоса, чтобы приезжий товарищ слышал: «После съезда? Ах да! После съезда... Ну да — после съезда... После съезда непременно займемся! Вопрос давно назрел! Хорошо, товарищ, после съезда...» После съезда выслушают, после съезда займутся, после съезда дадут номер в гостинице.

Павел Кордин знал это все наизусть. Но возлагал надежду решить дело вовсе не на аппарат. Давно уже в Москве хозяйственные дела провинции решались особенным образом. Бывшие партизаны, сделавшиеся красными директорами заводов, показывали наганы трусливым юношам в нахальных крагах и, расталкивая барышень, добирались до Куйбышева или самого Дзержинского.

Высокое начальство жаловалось товарищам с мест на плохой кадр, распекало в дым аппаратчиков, метало громы на наследие дореволюционного верхоглядства, чистоплюйства, косности, призывало выжигать революционным пламенем волокиту. И — подписывало бумаги на сталь, чугун, на уголь, на хлеб, честно обещая к следующему приезду расправиться с пороками управленческого механизма.

Приказы о выговорах за бюрократизм и волокиту вылетали из ремингтонов и ундервудов как листовки. Барышни печатали их с суеверным страхом.

Красные директора решали дело по-революционному, пролагая путь восстановлению хозяйства оружием.

Спецы из бывших интеллигентов наганами не размахивали. Они налаживали связи. Они разыскивали гимназических приятелей, университетских однокашников, служивших теперь в наркоматах, в Совнархозе, в Госплане спецами же — инспекторами, инженерами, плановиками. И делали дела тихо, без шума, не сокрушаясь о засилии бюрократизма и волокиты и притворно соболезнуя честной неопытности ачерашних подпольщиков, ставших вдруг распорядителями явной жизни. Глаза спецов при этом светились взаимопониманием авгуров...

Дверь под лозунгом распахнулась, и на перрон выбежал полувоенный человек в бекеше, в смушковой папахе, в белых фетровых бурках с коричневыми союзками. Это был товарищ Мишель. Он бросился к Павлу Кордину радостно:

— Павел Михайлович!

— Михаил Александрович!

— Вы будете жить у меня! — закричал товарищ Мишель. — Гостиницы забиты... Я уже кое-что успел для вас сделать... Давайте ваш саквояж! Я взял мотор в гараже Совнаркома. Завтра нас ждет Пятаков. Между заседаниями съезда. Ровно в три.

— А почему Пятаков? — спросил Павел Кордин и посмотрел на перронные часы, освещенные тем же фонарем, что и лозунг над дверью.

Было шесть часов пятнадцать минут...

152

Товарищ Мишель жил у Покровских ворот, в бывшем доходном доме, сооруженном в начале века во вкусе морозовского барокко. Тяжелая входная дверь напоминала вход в Художественный театр в Камергерском.

Размашистые медные ветви со щедрыми литыми листьями, слабо освещенные пятнадцативаттной лампочкой, были погнуты на пустой решетке лифта. Вокруг шахты завивалась пологой, ленивой спиралью размашистая лестница, уходящая вверх, в темноту.

Лифта в шахте не было.

— Погодите...— предупредил товарищ Мишель.— Здесь не хватает ступени... Прекрасный фонарь презентовал мне Ломоносов... Карманный генератор...

Он извлек что-то из кармана бекеши, послышалось механическое жужжание, лестница осветилась.

— Не нужно никаких аккумуляторов или батарей, в условиях товарного кризиса — незаменимый предмет! Это — «сименс»! Вы знакомы с Ломоносовым?

Он отступал вверх по лестнице спиною, светя под ноги Павла Кордина.

— Слышал... Паровозы, что ли?

— Тепловозы! Они с Гаккелем убедили Ленина... А теперь — Дзержинский просто увлечен!

— Я читал где-то... Тепловоз — это грузовик, поставленный на рельсы...

Товарищ Мишель неожиданно хохотнул:

— Павел Михайлович! Это дилетанты! Им нужно объяснять как детям, чтобы добиться расположения. А дальше — дело спецов... Неужели, например, из трех-четырех лифтов нельзя соорудить шахтную клеть?

— Нельзя...

— Ну, а если и нельзя? — обрадовался товарищ Мишель, жужжа карманным «сименсом».— Это — революция! Нельзя же быть педантом!

Квартира была большой. Это особенно подчеркивалось огромным, каким-то накгаузным количеством сундуков и ларей, загромоздивших переднюю. Часть передней была отсечена не доходящей до потолка дощатой перегородкой, за которой громко строчили несколько швейных машин и раздавались женские голоса. Яркая лампа била из-за перегородки в небеленый лепной потолок, в пустой крюк, отбрасывающий резкую тень. В освещенной потолком передней ходили люди, дети выскакивали из-за сундуков — должно быть, играли в прятки, из глубины появилась дородная женщина, неся в тряпках немалую кастрюлю:

— Вечер добрый, Михаил Александрович! С гостем вас!

— Пелагея Ивановна, я вам помогу,— шагнул к ней товарищ Мишель.

— Чего уж! — рассмеялась она и ткнула ботинком в стенку. Там оказалась дверь.

— Давай, мать! — раздалось оттуда.

— Мой в ночную! — пояснила женщина, скрываясь с чугуном за самодельной дверью.

— Прекрасная семья,— пояснил товарищ Мишель, — настоящий рабочий... Пролетарий...

Небольшая, простоволосая, с пуговичным конопатым носиком бабенка тащила навстречу дымящийся чугун. Она была вызывающе брюхата: чугун как бы стоял на ее животе.

— Вечер добрый, Михаил Александрович! — крикнула бабенка.

— Здравствуйте, Капитолина Степановна,— отозвался товарищ Мишель.— Нельзя же вам, право, такие тяжести...

— И-и-и! Какие — такие тяжести? Картоха на всю артель!

И, ткнув ногою фанерную дверь, брызнувшую светом, скрылась за перегородкой, где стучали машинки.

— Швея,— тихо пояснил товарищ Мишель.— И — вот видите — какой-то негодяй бросил ее...

— Вы читали Чернышевского? — спросил Павел Кордин.

— Читал, читал,— недовольно ответил товарищ Мишель.— Это — совсем не то...

— Тишка! — раздалось вдруг откуда-то из-за сундука (Павел Кордин вздрогнул).— Тишка! Ступай, шельмец, урок учить! Выпорю!

Мимо ног прошмыгнул маленький мальчик в длинной черной рубахе. Большая ушастая белобрысая голова его покачивалась на тоненькой шее.

Дверь товарища Мишеля оказалась нетронутой переделками. Помещалась она возле кухни, из которой несло щами, кипяченым бельем, керосином и валил густой пар, вынося шипенье примусов и громкие женские голоса, впрочем, перемежающиеся с мужскими, которые и вовсе нельзя было разобрать.

— Вот так я живу! — объявил товарищ Мишель, снимая с себя бекешу.— Давайте пальто!

К двери приколочены были небольшие рожки козули, служившие вешалкой.

Товарищ Мишель оказался в суконной защитного цвета блузе, под которой находился белый воротничок, стянутый запонками под узлом темного в горошек галстука. Блуза была подпоясана узеньким кавказским пояском с висячими ремешками, с накладками черненого серебра. Синие диагоналевые галифе и белые новые бурки при блузе и воротничке придавали товарищу Мишелю вид завоевательский и вместе с тем глубоко штатский, забавный. Так одевались теперь многие ответственные. Павел Кордин называл их про себя новыми конкистадорами. Он скрыл улыбку, посмотрел на бекешу, вешая рядом свой вызывающе новый, скрипящий кожей реглан (продавали в Юзовке спецам), и подумал, что бекеша — одеяние комиссаров, батек и военспецов — была прекрасно описана Гоголем в обстоятельствах печально комических, но отнюдь не страшных.

Павел Кордин машинально оглядел свой бывалый, но еще весьма приличный пиджак, как бы сравнивая с блузой товарища Мишеля.

— У вас — прекрасно,— сказал Павел Кордин.

— Вот так я живу,— весело повторил товарищ Мишель.— Хотите помыть руки?

И указал на маленькую дверцу в углу.

За дверцей находился ватерклозет, стояли мраморный умывальник и два широких ведра с водою.

— Вода не всегда поднимается, но скоро пойдет,— глянул на часы.— Не опасайтесь, расходуйте!

— Как вам удалось соорудить это?

— А это было... Должно быть, здесь жила экономка... Вы знаете — это циничное отгораживание господ от прислуги... Отдельные ватерклозеты...

Павел Кордин улыбнулся:

— Вам повезло, Михаил Александрович... Вы — обладатель рая по нынешним временам.

— Знаете, это — спасение,— с опаскою покосился на входную дверь товарищ Мишель.— Цивилизация пока еще, знаете...

— Знаю, знаю...

Товарищ Мишель вспыхнул, как бы устыдившись минутной слабости, и бодро заявил:
— Но зато, когда рассосется жилищный кризис, когда, естественно, вырастет культура...
— А что с вашим имением? — перебил Павел Кордин.
— С имением? — удивился товарищ Мишель, и брови его взлетели на лоб.— То, что со всеми имениями! Там теперь госхоз... Мне говорили... Да полноте, Павел Михайлович!

Михаил Александрович получил свое жилище по мандату ВСНХ как спец. Получил со всей обстановкой, какая была,— с козеткою красного дерева, обитой синим репсом, с кожаным кабинетным креслом, с ломберным столиком светлого ореха, с палисандровой горкой и даже с остатками сервиза в этой горке. Занимался товарищ Мишель за большой гладильной доскою в маленькой комнате. Там же находились складная лазаретная койка, на которой он спал, и жесткий, черного дерева стул с подлокотниками в виде ощерившихся пантер. Загривки пантер были стерты, сполированы, высокая резная спинка поблескивала чешуйками невыщербленного, застрявшего в дереве перламутра.
Ореховый ломберный столик находился перед козеткой, на которой, должно быть, предстояло спать Павлу Кордину. Синяя стена темнела квадратами — следами фотографий. Посредине висел в черной рамке увеличенный портрет — военный в буденовке с очень длинным, до рамки, суконным шпилем. Лицо военного показалось знакомым Павлу Кордину. Он присматривался, стараясь угадать, и вдруг спросил:
— Владимир Александрович?
Товарищ Мишель кивнул. Павел Кордин увидел слезы на его глазах.
— Он погиб ужасно,— тихо сказал товарищ Мишель,— с Пятаковым... С братом этого...
Павел Кордин непроизвольно взял товарища Мишеля под локоть, как бы соболезнуя. Товарищ Мишель благодарно всхлипнул:
— Вы помните его?.. Они зарубили его... Боже... Я не могу вообразить...— И прикрыл лицо руками: — Анархия, Павел Михайлович... Сколько беспричинного зла... Не могу... Я стараюсь не думать... Неужели это — Россия?.. Жестокость, кровь...
«Да уж не Абиссиния»,— подумал Павел Кордин, вздохнул и сочувственно покивал.
— Однако,— согнал печаль товарищ Мишель,— слезами горю не поможешь! Прошу...
Ужин был холостяцкий, незатейливый. Ели толстую телячью колбасу — крупные круглые срезки лежали на погнутом серебряном подносе. Разорванную вдоль ноздристую французскую булку мазали желтым маслом. Старинная спиртовка грела небольшой серебряный чайник с вмятиной возле носика. В хрустальном графинчике, заткнутом обыкновенной пробкой, светилась крепкая влага.
Павел Кордин был голоден с дороги. Пил, ел, слушал. Товарищ Мишель после первого лафитничка сострил:
— Тридцать восемь градусов... А николаевская — сорок... Из-за двух градусов весь сыр-бор... Как быть с горькой при коммунизме, Павел Михайлович?
— Пить...
— Неужели народ не оставит свою роковую привычку?
И снова налил из графинчика.
— Думаю, что не оставит,— взял лафитник Павел Кордин.
— Но — почему?! Произошла революция! Произошли коренные перемены! Революция показала каждому мужику такие перспективы! Зачем ему пить горькую?!
Павел Кордин выпил, откусил от булки.
— Революция показала, что народу в России видимо-невидимо. Хоть отбавляй...
— Да-да! Вы правы! Необходимо народ занять делом! Делом, делом, делом, черт возьми! — И вдруг — неожиданно: — А что, Павел Михайлович, не желаете ли снова в электричество?
— Гоэлро?
— Какой черт, Гоэлро! План этот распался, не сложившись. Будем ставить гидроэлектрические станции просто так, по мере надобности! Например, на Днепре под Александровском! Проект возьмет два-три года, а там! Боже, Павел Михайлович, это вам не Волхов, это по меньшей мере полмильона килоуатов! Наймем лучших инженеров, Томпсона из Америки позовем, а что?
Павел Кордин молча жевал бледную телячью колбасу.
— А хотите в Харьков? — вдруг спросил товарищ Мишель.
— Погодите... Дайте подумать об Александровске...
— Некогда думать, некогда! Честно говоря, все эти старые развалениые заводы — к чертовой бабушке!
Павел Кордин взял из пиджака портсигар.
Товарищ Мишель оживился, отодвинул ящичек столика, достал коробок спичек.
— Курите, курите... Спички советские — бывшие шведские! Сначала вонь, потом огонь! Не хотите ли «Особые» — настоящий трапезунд!

И извлек из того же ящичка темно-зеленую коробку с золотой полоской.
— Видите? Тисненые буквы. Это первая проба. Моссельпром набирает темпы сказочно... Вы знаете, меня радует всякий пустяк!
Спичка загорелась сразу, вопреки прибаутке. Павел Кордин взял из коробки толстую папиросу. Дым был пряным и густым. Товарищ Мишель тоже закурил.
Они помолчали, но товарищ Мишель молчания не выносил.
— Ах да! Пепельница! — вскочил он и принес из малой комнатки тяжелый слиток меди с углублением, затертым пеплом. Поставил рядом с остатками колбасы, сказал негромко:
— Госплан прибирает все к рукам! Ленин требует для них законодательных функций... Но, вы сами понимаете,— наклонился поближе к подносу,— Ленин нездоров... Нельзя же, право, всерьез принять его записку...
— А что в Харькове? — спросил Павел Кордин, будто не слышал крамолы.
Товарищ Мишель выпрямился, ответил весело, бодро:
— Завод катерпиллеров!
— Ну уж — сразу...
— Не сразу! Проект возьмет три года... Я сторонник нового строительства! В Госплане подобралась сильная группа, настаивающая на новом строительстве. И у нас в ВСНХ — тоже... Зачем нам развалины, Павел Михайлович? Вздор! Огромный резерв рабочей силы! Мы ведь хозяева теперь, как вы не понимаете!
«Дали бы мне!» — вдруг вспомнил Павел Кордин насмешливую присказку генерала Ванкова и спросил:
— Семен Николаевича не встречаете?
— Кого?!
— Ванкова...
— Нет, не встречал! — беззаботно ответил Михаил Александрович.

Павел Кордин спал крепко. Ему приснился взрыв бесшумного снаряда; снаряд ранил всех в окопе, и все закричали, но кричали почему-то женщины, которых в окопе быть не могло. Он очнулся от несуразицы.
Из-за полуоткрытой двери неслись причитания, вопли и успокаивающее гудение мужских голосов.
— Вот гляди — в шесть часов пятьдесят минут... Я в ночную шел...
— А может, врут? Не может он, не может, Боже Праведный, Пресвятая Богородица!
Дверь распахнулась. Вбежал морозный напуганный Михаил Александрович в расстегнутой бекеше, с газетой в руке.
Павел Кордин поднялся на локоть. Неожиданно, по непонятной причине, вспыхнула догадка: умер Ленин! Павел Кордин ощутил что-то вроде испуга — но это был не испуг, нет, это был пугающий своей неуместностью интерес, в котором не было ни страха, ни жалости, ни обыкновенного при известии о смерти ощущения странной вины перед умершим, ни стыдного кощунственного облегчения: не я! Нет, ничего этого не было. Был яростный интерес — что будет? Так не воспринимают смерть человека. Так вскакивают от резкой перемены судьбы.
Товарищ Мишель метался по тесной комнате:
— Я не соглашался с ним в целом ряде позиций! Но что это теперь? Какое это имеет значение?! Я — колебался! Революция никогда не простит мне и — поделом! — Ударил себя кулаком в лоб.— Почему у нас нет столба позора? Я готов взойти на Лобное место!
— Да погодите вы! — перебил Павел Кордин.
— Нет! — закричал Михаил Александрович.— Тысячу раз — нет!
И, шагнув к Павлу Кордину, спросил его жестко, с беспощадным высокомерием:
— Почему я не в рядах его партии?!
Павел Кордин смотрел на товарища Мишеля как на страдающего ребенка, с виноватой нежностью.
— Потому что я — русский интеллигент! — закричал товарищ Мишель, выпучив голубые глаза.— Потому что я из тех, кого ОН,— взметнул к потолку палец,— справедливо крестил хлюпиками! Я — хлюпик! Да-да! Я — хлюпик! Так неужели для того, чтобы ничтожества вроде меня осознали это, должен был умереть величайший из людей, когда-либо появлявшихся на земле?!
— Ваши заслуги несомненны,— попробовал утешить Павел Кордин.— Дайте мне одеться... Закройте дверь.
Товарищ Мишель хлопнул дверью.
— Ложь! Где мои заслуги? Их нет! Я колебался
Павел Кордин сел, нашел голыми ногами свои шлепанцы (всегда возил с собою), Михаил Александрович смотрел на него непонимающими глазами:
— Я присматривался, как Фома к очевидным ранам Спасителя! Все видели эти раны! Лишь я один хотел их пощупать. Перстом в кровоточащую рану! Но теперь — баста!

И он, в бекеше, в бурках, резко сел рядом с неодетым Павлом Кординым, охватив голову руками.

Жидкая козетка скрипнула.

153

Поезд отошел от Саратовского вокзала как бы тайно. И садились делегаты Одиннадцатого Всероссийского и Второго Всесоюзного съездов в него, тоже оглядываясь, помалкивая, стараясь не глядеть друг на друга, чтоб не разговориться. Сидели на лавках выпрямленно, смотрели прямо перед собою, опасаясь зацепиться взглядом. А за черным окном находилось неподвижное непроглядное пространство, и казалось: вагон никуда не едет, а стоит на месте, нелепо подпрыгивая.

С Герасимовки ехали по санному пути. Егор Иннокентьевич лежал на дровнях в чужом тулупе (принесли ночью в «Метрополь»), от густой черной бараньей шерсти несло махоркой, керосином, невыветрившимися казенными щами.

Рядом с Егором Иннокентьевичем лежал ничком Ржанов. Вобравшись с ногами в тулуп, он говорил, всхлипывая:

— Не скроешь... Не скроешь такую смерть...

Полозья скрипели незвонко в следе предыдущих саней. Егор Иннокентьевич чувствовал разгорающийся жар проклятой болезни. Тулуп не грел, знобило. Голова была тяжелой, ясной, но ленивой на восприятие. «Не скроешь,— нехотя думал Егор Иннокентьевич.— А от кого скрывать? От народа, чтобы не тревожить?.. От врагов, чтобы не радовались?..»

Он лежал в сене шапкой к мужику, управлявшему конягой, и слышал робкое ласковое причмокивание. «Все скрываем, скрываем»,— думал Егор Иннокентьевич, ощущая не сон, а ясное забытье, когда мысль бодрствует в безучастном теле, горящем ознобом недуга, бодрствует сама по себе, без охоты.

Дровни скрипели по снегу.

— Зачем же скрывать? — через силу пробормотал Егор Иннокентьевич.

— Как же? — Ржанов высунул крупную голову в заячьем треухе из воротника.— Как же не скрывать? Мы — большевики...

Мужик впереди, почмокав на лошаденку, вдруг повернулся в толстом полушубке, неудобно отвалился на локоть, сказал тихо, еле слышно:

— А товарищ-то Ленин... Кончился...

И покрутил головою в ушанке с задранным ухом.

Он сказал это так, будто сообщал новость, будто не ради этой черной вести ждал он поезда на Герасимовке и не ради вести этой везет прибывших партейцев.

Егор Иннокентьевич хотел было похлопать его участливо, но не в силах был выбраться из знобящего тепла. А Ржанов все говорил, говорил, надо думать, боялся молчать.

— У нас весь мир — враги... Мы должны — тайно. Иначе нам — сам знаешь... Как же теперь будет?..

Егор Иннокентьевич ленился отвечать. Лежал, смотрел на темное небо.

«Как будет? — старался согреться в тулупе Егор Иннокентьевич.— Как будет? Как-нибудь да будет...»

Он еще утром, в Большом, почувствовал, что за слезами, рыданиями, за речами, за расплывчатостью неуемного горя — кто-то спокойной твердой рукой составляет списки почетного караула, отряжает людей, собирает моторы, розвальни, рисует маршруты, направляя необозримое горе в четкие рамки несчастья, бедствия, преодолеть которое надлежит в пять ночей и дней, не меньше и не больше...

Дровни заскользили быстрее, словно опаздывали, и это само по себе успокоило, согрело Егора Иннокентьевича, даже согнало озноб. Как будет? Жизнь идет, так вот и будет. И вдруг подумал — идет-то идет, да не для него, не для Егора Иванова. Не заживется Егор Иванов. Ну — год, ну — два. Как говорил тот купец? Лечебницу на Ахтубе хотел ставить купец. Верблюжье молоко, кумыс. И поставил бы. Война помешала. А нам что мешает? Все нам мешает, все. Интересно, что там в верблюжьем молоке? Вспомнил почему-то: под Царицыном облезлый в несуразных клочьях голенастый верблюд тащил шестидюймовую гаубицу, горб висел набок, как неживой...

Дровни бежали под светлеющим небом, торопились, а куда теперь спешить?

Ржанов все говорил, говорил. Как узнал, да как заплакал, да как не поверил... Боялся Ржанов молчать. Егор Иннокентьевич слушал и не слушал, лежал, смотрел на светлеющее небо.

Черные вершины сосен и елей поплыли над головой...

154

Белые колонны вставали из белого снежного бугра, неся на себе крышу, поддерживая балкон, отороченный белыми каменными перилами. Дом находился в сосняке, в самом что ни на есть крестьянском месте, но глядел гордо, барственно, недоступно. И вздорной показалась Егору Иннокентьевичу эта нарочитая спесивая белизна. Белыми литерами по кумачу, натянутому на древках, значилось: «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества!».

Там, за высокими окнами второго этажа, угадывалось не тепло — прохлада. Усадьба была великовата, размеры ее выглядели лишними, уже никому не нужными, словно умерла она вместе с той смертью. Люди стояли кучками, как дожидались чего-то, хотя ждать уже было нечего. Все уже кончилось. Оставался только этот, уже никому не нужный барский дом, темнеющий окнами.

Сани остались внизу, у ворот. Егор Иннокентьевич поднимался на взгорок, не чувствуя одышки, озноб оставил его.

Впереди по узкой нечищеной дачной дорожке шагал отряд с винтовками на плече.

Опустив голову, закутанную в башлык, грея руки в рукавах овчинного полушубка, шел согбенный Калинин. Каменев снял на морозе ушанку, обнажил седоватую голову, смотрел твердо, без слез, удерживая быстрый шаг, чтобы не наткнуться на шинель последнего красноармейца. Зиновьев, в черном пальто, оглядывался из наставленного воротника, вертел черной ушанкой, как бы проверяя — все ли идут, все ли на месте.

Отстав шагов на пять, шел Коба в громоздкой шинели на меху, неудобно заложив руки за спину, опустив голову в волчьем малахае. Уши малахая торчали шире плеч. Егор Иннокентьевич без труда поравнялся с ним. Коба как спиною увидел, прохрипел:

— Горе, Егор... Горе...

Не смея ступить на неширокую дорожку, из-за рыжих, черных, белых стволов смотрели на идущих мужики, бабы, ребятишки. Егор Иннокентьевич шел и слышал тихое, виноватое заупокойное бабье подвывание, как на слободских похоронах далекого детства. И вдруг спохватился: а как же там Юля с Ванечкой? Посмотрел на мальчонку, стоящего в сугробе в большой — не по росту,— надо думать, братней шубейке до пят: полы запахнуты, засупонены сыромятным ремнем, на головке старый меховой колпак, горло закутано скрученным платком, выпучился непонимающе. Егор Иннокентьевич сопоставил: нет, этот будет постарше. И почему-то сделалось легче.

Снег хрустел на дачной дорожке, и дом этот надвигался на идущих к нему возрастающими шестью колоннами, пустым балконом и треугольной крышей.

Суетились киносъемщики: трещали рукоятками, светили неприлично яркими лампами и шепотом ругались из-за какой-то тысячесвечовой лампы, которую кто-то забыл в Москве. Фотографы добела слепили тихими вспышками, сизые дымы витали, разнося запах не то пороха, не то еще чего-то. Запах смешивался со свежей могильной хвоей.

Черный креп припрятал неяркую люстру. Люстра не светила, притеняла помещение. Люди в шинелях, в поддевках, иные во френчах, толклись без толку, убито, отчаянно. Натыкались на ненужную барскую мебель — на столики, кресла, на высокую, до потолка, елку, еще не разобранную с красного комсомольского Рождества.

Тяжелый Демьян, еще более огромный рядом с Радеком, говорил тихо, неясно. Радек быстро кивал нечесаной головою, бакенбардами, толстыми очками в железной оправе. Шотман с Беленьким приказывали вполголоса, ходили быстро, деловито. Люди тянулись за ними, скучивались, останавливались, не зная, куда податься, что делать. Бухарин торопливо шагнул на скрипучую лестницу.

Там, наверху, обмытый золотошвейкой Смирновой, услужавшей здесь этот год, лежал на столе прибранный Ленин. Оттуда спускался вымазанный гипсом Меркулов — подмастерья его бережно несли слепки рук и лица...

Лестница скрипела под несмелыми шагами, будто люди пытались не касаться ступеней, а ступени выдавали их неуместную живую тяжесть. А у раскрытых дверей, сразу после лестницы, на жидком диванчике, под завешенным черной кисеею зеркалом обессиленно сидела Крупская, положив на колени повернутые кверху пустые ладони.

Егор Иннокентьевич (тулуп снял внизу) подошел было к Крупской, но не решился, передумал, ступил к распахнутой двери.

Белый высокий барский дом, встроенный в сосняк, стоял притихший, не виноватый ни в чем...

Небольшая крупноголовая лошаденка заиндевела по бокам, по беспородной шерсти, шла в оглоблях, отдыхая от непривычной легкости груза. Новые вожжи, нарочито новые при старом потертом хомуте, тянулись ненатянуто, вольно.

В розвальнях спиною к ходу стоял на коленях бородатый мужик. Вожжи накинуты

были на локоть его оачинной поддевки без воротника. Шарф некрашеного гаруса окутывал шею, задирая бороду. Мужик вминался коленями в пахучую мягкую зеленую хвою. Бережно вытаскивая за рыженький черенок еловую ветку, мужик кидал ее на дорогу, как бы накидывал, чтоб не повредить. Рукавицы его засунуты были за пазуху, а он хукал на темные заскорузлые руки и кидал, кидал ветки.

Гроб несли, ступая по хвое, по иголкам, по мелким шишечкам молодой ели. Небывалый гроб со стеклянною крышкой чистого, не затянутого морозом стекла. И дивно было смотреть на это чистое стекло — на морозе, где пар валил изо ртов, оседая на воротниках, на шапках студеным следом живого дыхания...

Лошаденка входила в бодрость, прибавляла шаг, но мужик, не оборачиваясь, дергал локтем, сдерживал ее, осаживая, и накидывал, накидывал молодую хвою на утреннюю, еще сокрытую под снегом лесную дорогу.

Лес был тесен.

155

На приземистом зеленовато-белом здании Саратовского (Павелецкого) вокзала тянулось красное полотнище: «Могила Ленина — колыбель свободы всего человечества!».

Площадь кипела народом.

Там, за вокзалом, остановился поезд (паровозный парок поплыл над стрельчатой крышей). На перрон не пускали, но никто и не пытался: понимали — тесно на перроне, тесно, как на этой площади, ох, как стало тесно и в Москве!

Возле здания стоял маслянисто-зеленый гаубичный лафет, запряженный восьмеркой вороных коней в белой сбруе. Лафет перевит был черным и красным с вплетенной в материю хвоей.

Десять катафалков губернского бюро похоронных процессий — десять затейливых старорежимных колесниц с витыми белыми столбиками, с белыми спицами — вытянулись за лафетом. Похоронщики возле колес, в черных длиннополых крылатках, с атласными красными лентами через плечо, в черных цилиндрах, держали, как свечи, коптящие факелы. Оркестр на перроне залился похоронным маршем, марш этот долетел сюда, на площадь. Народ сам собою стал отжиматься к краям площади, к домам, к застывшим трамваям, стал пятиться спинами, освобождая середину и не сводя глаз с открытого настежь портала.

Грянули оркестры на площади.

Из темноты портала появился Калинин — без шапки, бородка заседела инеем. Он шел неверным шагом, сунув руки в карманы длинного черного полушубка, отороченного серой овчиной. Полушубок застегнут был справа налево, по-бабьи. Калинин шел, ничего не видя, будто и не понимая, куда идти. А вслед за ним медленно, но неуклонно плыл красный гроб невиданных, нечеловеческих размеров.

Причитания, крики, несдерживаемый плач вырвался над площадью, пересиливая военную медь оркестров.

Томский, Каменев, Сталин, Дзержинский, Зиновьев, Енукидзе, Лашевич несли гроб.

Гроб плыл мимо лафета, мимо нелепых колесниц, приостанавливаясь и как бы ожидая, пока сменятся под ним несущие.

Гроб увлекал толпу за собою, трубы равняли ее, направляя, не давая отставать или отбиваться от общего хора.

Площадь пустела.

Возле пустого лафета стояли, неся службу, артиллеристы в коротких бекешках. Похоронщики в крылатках, в цилиндрах светили среди дня факелами.

Ленина несли на руках, на спинах через тесный город, придавленный морозом, запутавшийся переулками, вдоль изб, домов, флигелей, лавок, часовен, церквей, вдоль красно-черных флагов, мимо зияющих пустотою колоколен, мимо ржавых луковиц, с коих сбиты кресты...

Четыре аэроплана, как четыре птицы, потерявшие гнездо, кружили над городом.

Конец первой части



ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ
1956 год

Человек никак не мог согреться.
Выходил на долгий солнцепек,
понукал надорванное сердце,
ледяной поглаживал висок...
Где он был? В каком затменье света?
Из каких трясин не вылезал?
Сваленных друзей его скелеты
по каким разбросаны лесам?
Он раскинет новые романы,
запалит смолистые слова,
только бы «лошадка» дохромала...
лишь бы отогрелась голова...
Истины! Не будет тайной тайна!
Мщения! Собаке в горло кость!
За себя — воскресшего случайно,
и за всех, которым не пришлось...
...Человек сидел на солнцепеке,
от бесед подальше, от газет.
Долгие
 его студили сроки,
отогреться —
 сколько еще лет?

1957

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Нам хотелось, чтоб всё —
 честь по чести.
Чтобы
 трижды петух не кричал...
А когда бы...
Тогда бы уж — вместе,
под любой трибунал!

Времена
 времена изучали:
можно ль опытом не дорожить?
Обошлось. Никого не распяли.
Всем дозволили мирно дожить...

ПОРТРЕТ

Затменье добровольное
народу
аукается долго,
пострашней
опричнины, не слыханной от роду,
открытого разгула палачей...
Из пыльного угла котельной ЖЭКа —
кому — теперь-то! — писаная речь?
...Подрагивает над скелетом хека
в руке стакан. Кривится в угол веко
истопника: «Списали бы — и сжечь!»
...засиженное мухами надбровье,
в плетении научьем седину,
и ухо, мускулистое, как бройлер,
и тучного загривка целину,
скулу, несокрушимую, как дамба,
над челюстями... «Кировец» стальной!..
И мелом школьным —
 матерные ямбы,
заслуженный венец над головой...
Рубаху, галстук,
 подбородок жирный,
пиджак...
Пиджак!..
О, Русская земля!
Под этаким созвездием —
 и жили,
гасившим звезды Красного Кремля?..

ОБХОДЧИК

Памяти Глеба Семенова

Идет. Оглядывает шпалы.
И долговязым молотком
стучит по рельсам —
 слева, справа,
табачным тешится дымком...

Тревожно поезд мой нескорый
прополз двадцатый перегон.
Туманил иней семафоры,
туман давил со всех сторон.
Грузнея, поезд срезал стрелки
незастрахованных надежд,
смеялись
 буферов тарелки:
«Чего не ищешь — не найдешь!
Наддай! Рискуй! Смешон — кто робок,
вдвойне — на сверенном пути,
где человек в крылатой робе
заговоренно — впереди...»

Леонид Мартемьянович Агеев (р. 1935) — советский поэт. Печатается с 1958 года. Первая книга стихов — «Земля» — увидела свет в 1962 году. За ней последовали другие. Поэтический однотомник «Сорок сороков» вышел в 1989 году. Живет в Ленинграде.

...Идет и пробует железо,
и что-то русское поет,
медведь таращится из леса
и что-то вкусное жует...
И никакой в тебе тревоги,
и стаи мыслей
налегке —
о беспредельности дороги,
и ни одной — о тупике...

* * *

Гуляет утиная стая!
Бойцовский у селезней вид...
На Невке
с зонтом ожиданья
любовь под часами стоит.
На окна, что — настежь,
кривится
усталый вечерний народ:
на полную громкость —
певица
к околице дальней зовет...

А мы из «ковбойского» хлопка,
добытого хитрым путем,
советские джинсы
с нашлепкой
отнюдь не советскою
шьем.
Мы в сумраке видеозала
юнцам за рванину рублей
округлости титек и зада
«гоняем»: глазей и потей!
А там, где греховно богата
заброшенность нив и лугов,
на жесткой веревке подряда
растим и свиней и бычков...
Трудитесь, ребята!
Служите
тельцу и... во благо стране!

При общем сквозном дефиците
избыток заметней вдвойне:
все больше с годами за нами
долгов нерублевых, святых,
промокших зонтов под часами
России,
околиц пустых...

БУМЕРАНГ

Искупается собственной болью
причиненная ближнему боль...
Человек был наказан любовью,
отыграв застарелую роль,—
не к... которой по счету!.. гетере,
не... которой по счету!.. весне —
но и своей
обманувшейся в вере,
полосованной жизнью жене.
Полинявшая ветошь халата,
кос увядших воронье гнездо.
Горевая запущенность сада...
Что любить тут?
Глядеть-то — на что?!.
Но скрипели в дому половицы,
но смотрел человек за окно,
одиноко
не мог накуриться,
с тараканом играл в домино.
А в саду совершалось такое! —
из чудес зазеркальной страны:
на предзимней остуде покоя
распускались побеги весны...
Человек на растерзанной раме —
пригвожденный —
до ночи висел,
изъясняясь простыми словами
о сомнительной этой весне.
К самому себе позднюю жалость
убаюкивал, нестовал впрок
и поверить,
что все *совершалось*
для него одного лишь,
не мог...

* * *

«Такую горечь горьким и запить...»
«Толковый словарь» В. Даля

Эта горечь — не на троих...
Не поможет нам,
как бывало,
хватка градусов огневых,
емкость налитого бокала...
«Кто — по рваному? Кто гонец?..»
Далеко она начиналась...
горечь юных наших сердец,
крови горестная усталость!
«Кто, славяне, по трояку?..» —
продолжение по программе,
на сегодняшнем берегу,
в долговой всероссийской яме!
Как же нужно
во лжи и зле
закоснеть,
чтобы в час прозренья
по продажной спиртной шкале
отмерять отстойное время?!
Жизни
лучшую треть — в распыл,
и — на выходе ждать замену...

Эту горечь нам не распить,
не разбить, озлобясь, о стену.

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

28

Не принёс и Найденбург успокоения мыслям Самсонова, не принёс прямого участия в деле. Чужой потолок над утренним пробуждением, в окно — кровли и шпили старинного орденского города, необъяснимо-близкая канонада, потягивающие дымы недотушенных пожаров и смешение двух жизней в городе — немецкой гражданской и русской военной. Каждая из них текла по своим законам, бессмысленным для другой, но в одних и тех же каменных простенках им неизбежно было совместиться, и вот с утра, раньше штабных, добивались приёма у командующего вместе: русский комендант города и немецкий бургомистр. Из городских запасов пришлось взять муки, печь хлеб для войск — расчёты, возражения, оговорки. Полицейская служба, установленная комендантом, не принесёт ли ущерба жителям? Русскими взят под контроль хорошо оборудованный немецкий госпиталь — но там есть немецкие врачи и немецкие раненые. Реквизируется здание и транспорт для русских госпиталей — условия, основания?

Самсонов честно старался вникнуть и справедливо решить разногласия, впрочем взаимно благожелательные. Но — рассеян был он. Шевелилось в нём то невидимое, недосягаемое, что происходило в песках, лесах, в разбросе ста вёрст, и о чём с докладами не спешили прорваться к нему штабные.

Хотя по армейской иерархии высший начальник властен и волен над своими штабными, а те над ним — нет, но косным ходом событий чаще бывает наоборот: от штабных зависит, что́ высший начальник узнает и чего не узнает, в чём дано ему будет распорядиться, а в чём нет.

Вчерашний день, как и каждый, закончился рассылкою наиразумнейших из возможных приказаний всем корпусам, что делать им сегодня, и с этим сознанием наивозможного благополучия штаб армии лёг спать. К утру у некоторых чинов штаба накопились кое-какие противосказания ко вчерашнему, но обнаруженное могло пойти в противоречие тому, на чём они сами вчера настаивали,— итак, не с каждым же докладом было спешить к командующему. Некоторые вчерашние приказания и надо бы как будто изменить — да ведь уже завязались по ним утренние бои, всё равно поздно. И оставалось командующему проводить неторопливое утро, полагая, что с Божьей помощью всё развивается, как он хотел и распорядился, то есть к лучшему.

Только нельзя было от него утаить связанных с близкою канонадой событий в дивизии Мингина. Эта дивизия, из Новогеоргиевска во Млаву почему-то не перевезенная по железной дороге, а прошагавшая сто вёрст рядом с нею и ещё полсотни потом, с быстрого хода вчера пошла в наступление всеми полками,

---

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—4.

причём правые едва не взяли Мюлена, а левые — Ревельский и Эстляндский, тоже очень успешно продвигались, но были встречены сильным огнём и отошли. А Мингин, узнав об отходе левых полков, отошёл и правыми, оторвался от Мартоса, как бы фланг его не открыл. Но в остальном сведения не были точны: как именно велики потери? до какого именно рубежа отошли? Неточность сведений давала возможность истолковывать их пока и не столь тревожно, тем более, что и канонада сегодня с утра отдалилась, перенеслась правее, к Мартосу.

Внимательно рассмотрел Самсонов предложенную ему карту. Велел послать указание, дальше какой деревни, в десяти верстах от Найденбурга, полкам Мингина ни в коем случае не отступать. Теплилась надежда, что вот-вот начнёт подходить к Мингину гвардейская дивизия Сирелиуса. Его или корпусного Кондратовича очень ждал Самсонов в это утро к себе, но они не появлялись.

Может быть, не офицера посылать на выяснение, а самому командующему поехать и посмотреть? Но поедешь к дивизии Мингина, а тут с другого края подскочит что-нибудь важное.

Так, без верных сведений о событиях, без явного дела, Самсонов протомился всю первую половину дня: то опять с Ноксом (верхом проехались с ним на высоту и оттуда смотрели вдаль), то с интендантами, то с начальником госпиталя, то с Постовским, то над телеграммами Северо-Западного. И подходило уже время обедать, когда казачий разъезд привёз донесение Благовещенского, помеченное двумя часами минувшей ночи.

Донесение было так странно, что Самсонов моргал над ним, хмурился, пыхтел — а ничего понять не мог, вместе и со штабными. О том, что приказано было,— идти на выручку Клюеву, Благовещенский как будто не знал: он об этом не отчитывался, не оговаривал, почему не сделано. Ещё меньше он знал о немцах, была такая странная фраза: «Разведка не дала сведений о противнике». И тут же: что в утреннем бою под Гросс-Бессау (к а к о м утреннем бою? к о г д а он об этом доносил?!) потери комаровской дивизии — более 4 тысяч человек! То есть, четверть дивизии?! И при этом — о противнике нет сведений?! И вот уже пункт указывался на 20 вёрст южнее Гросс-Бессау, куда корпус отходит, явно бросив Бишофсбург, но об этом ни слова! И что ж за войска оказались там у немцев? Если б они бежали, на убеганьи боком зацепили Благовещенского — но как же четыре тысячи потерь?.. Но они не бежали, ибо Ренненкампф не подходит — и, значит, они держат его. И значит никаких серьёзных сил против Благовещенского быть не должно. Так откуда?

А если они — от Ренненкампфа, то что ж не идёт Ренненкампф? Ох, он себе на уме.

Кой-как укрывшись от Нокса, Самсонов с этим уклончивым, нет, лживым донесением ходил по тёмному залу ландрата, как растревоженный медведь, и над тёмным дубовым столом сжимал голову.

Как несчастливо изменился вид войны, превращая командующего в тряпичную куклу! То обозримое поле сражения, по которому можно доскакать до оробевшего командира или вызвать его к себе,— где оно? Уже в японскую оно заслонялось, отодвигалось — а где оно теперь? За 70 вёрст, по стране врага, под угрозой пуль и плена, полсуток везли казаки лживую, подлую, предательскую грамоту! А добиться понять, исправить, ободрить труса, переприказать — ничто невозможно, пока казаки не покормят лошадей, дадут им отдохнуть и ещё потом проскачут полсуток назад. Не нащупывали друг друга станции беспроволочного телеграфа, не взлетали или не возвращались летательные аппараты. И свой единственный автомобиль усылать с ответом Благовещенскому — тоже не гораздо, да и ему потребно конное сопровождение. И так на 70 вёрст, как при Кутузове на пять, оставались всё те же копыта таких же по размаху ног коней. И только завтра об эту пору можно будет узнать, исправится ли 6-й корпус, подтянется ли к своим, или вовсе отколется, затеряется, а самсоновская армия окажется с отрубленной правой рукой?

С этим ощущением отрубленной правой руки, подшибленного крыла, Самсонов и сел за обед, и есть ничего не мог, и уже был откровенно хмур с Ноксом, отвечал ему невпопад.

Но в середине же обеда настигла и нечаянная радость: прерванная с утра, восстановилась связь с 1-м корпусом, и передали донесение Артамонова: «С утра

атакован крупными силами противника под Уздау. Все атаки отбил. Держусь как скала. Выполню задачу до конца».

И высокое откидистое чело командующего помолодело, осветилось — и всё осветилось за столом. С живостью требовал объяснений и благорасположенный Нокс.

Правая рука была отшиблена, но силой наливалась левая, главная сейчас рука. А как несправедлив был командующий к Артамонову все эти дни, считая его и карьеристом, и глупым суетливым человеком! Теперь же он держал главное направление, всю армию, и не подумать, что преувеличивает, ибо тогда не родилось бы это сильное выразительное: к а к с к а л а.

В приятных минутах кончился обед. Захотелось Самсонову узнать ещё подробностей, позвать к аппарату Крымова или Воротынцева, кто там ближе,— однако провод опять прервался.

Тем более надлежало заняться центральными корпусами. И хотя только третий час дня, очевидно уже пора начать составлять приказ по армии на завтра: лучше рано, чем поздно. Конечно, разумней бы отдавать распоряжения не на сутки, а по часам, по обстановке, но уж так всеми принято, не нами так заведено: в сутки раз.

На овальном столе перед командующим разложили карту, и Самсонов с Филимоновым и двумя полковниками, приминая углы, наклонялись, переходили, водили пальцами, а полковник оперативной части для справки вычитывал вслух из прежних донесений и распоряжений.

К этой работе в несколько рук Самсонов всегда относился как к высокому обряду. От случайных причин — от освещения, от морга глазом, от стоянья или сиденья у стола, от толщины пальца, от тупого карандаша могла зависеть судьба батальонов и даже полков. Согласуя линии и стрелки, высшие приказы и свои соображения, Самсонов добросовестно, как только мог, старался вынести разумное решение. Даже пот капал на карту, Самсонов снимал его со лба платком,— то ли душно было в знойный день в зале ландрата при небольших узких окнах?

Приказ, как всегда, начинался с утверждения того, что уже достигнуто. Выходило неплохо: 1-й корпус отбил немецкие атаки под Уздау, дивизия Мингина во что бы то ни стало удержится, где ей сказано, 15-й занял Хохенштейн, вот-вот и Мюлен возьмёт, 13-й — в Алленштейне, а 6-й... да и 6-й ещё может исправиться.

Что же — завтра? Ясно, что центральными корпусами будем всё более поворачиваться налево, а неподвижный артамоновский будет как бы осью поворота армии. Ему так и напишем дипломатично, не предлагая наступления: «удерживаться *впереди* Сольдау», и воля Верховного ни в коем случае не будет нарушена. А Клюеву велеть идти форсированно к Мартосу. А Мартосу... тут Филимонов настоял на глубокой формулировке: «скользя вдоль себя налево, сбрасывать противника во фланг».

Только одного не могли они указать корпусам: как силён противник, как он расположен и из каких корпусов состоит.

И вот — почти готовый, лежал армейский приказ на завтра. Работа была — как продираться через кустарник в сумерках, а приказ лёг на бумагу без помарок, красивым наклонным почерком.

Но не уверен был Самсонов, что всё действительно готово. Да и нездорово себя почувствовал, дышать не хватало.

— Пожалуй, господа, пройдусь по свежему воздуху немного, потом подпишем, время есть.

Филимонов и полковник Вялов испросили разрешения идти вместе с ним. А начальник разведки с лысо-сверкающей тыквенной головой понёс проект приказа Постовскому в другой зал, и тот сразу заметил, как противоречит этот приказ последнему указанию Северо-Западного фронта наступать строго на север:

— Куда ж вы смотрите? Не Клюев должен идти к Мартосу, а Мартос к Клюеву. И так собрался бы большой *кулак*!

Был уже пятый час дня, жара спадала, но раскалены камни, и на улице тоже не хватало командующему воздуха. Он снимал фуражку, снова обтирал пот.

— Пройдёмте, господа, на край городка, там — рощица или кладбище.

Хотя и видено было вчера, хотя и на солнце сейчас — командующий задержался перед памятником Бисмарку. Обсаженный цветами, стоял на ребре скалистый необработанный коричневый камень, обломистым ребром вверх. А из него в треть плоти выступал в острых линиях и углах — чёрный Бисмарк, как чёрною думой затянутый.

Выбранная улица вела на северо-западную дорогу, к дивизии Мингина, может и не случайно сюда тянуло командующего. Как любил, он шёл с руками за спиной. Спереди это выглядело внушительно, а сзади — как бы по-арестантски, к тому ж и голова опущенная. Он не поддерживал разговора, и офицеры шли стороною.

Самсонов ощущал, что делает — не так. Верней — чего-то нужного не делает, а не мог схватить — чего, не мог прорваться через пелену. Хотелось ему скакать куда-нибудь, саблю выхватывать, но это бессмысленно было бы и не приличествовало его положению.

И сам собой он был недоволен. И Филимонов недоволен им всё время, явно. И вряд ли командиры корпусов довольны. И главнокомандование фронта называло его трусом. И неодобрительно думала о нём Ставка.

А — что делать, никто не мог ему сказать.

При последних домах улицы начиналась рощица. Хотели все в неё сворачивать, как с дороги загрохотали и показались на быстром прокате двуколка, вторая, потом двуконная телега. Возчики кнутами гнали, как спасаясь от близкого преследования,— катили с развязностью, неприличной в расположении штаба армии. Сопровождающие Самсонова бросились перехватить, и Филимонов, одёргивая аксельбант, со злым лицом вышел на середину дороги. А Самсонов ещё не придал значения, зашёл в рощу, сел на скамью.

Однако шум с улицы не умолкал. Колёса остановились, но подъехало ещё сколько-то. Слышался гул голосов, утишаемый по мере подхода. Слышался грозный голос Филимонова, как он допрашивал солдат и не отпускал. Самсонов попросил Вялова пойти узнать, что там. Вежливый Вялов вернулся с задержкой, смущённый, как доложить,— а голос Филимонова там набирал силы, резко распекая.

Вялов объяснил: это — очень расстроенные остатки Эстляндского полка и немного ревельцев (которые должны были *во что бы то ни стало* стоять в десятке вёрст отсюда), они стихийно отступали и вот докатились до Найденбурга, конечно, не зная, что здесь штаб армии. Они имели порыв откатываться и дальше.

Самсонов тревожно встал, дыша с недостаточностью, и, забывая надеть фуражку, потерянно неся её в руке, вышел на солнцепёк, на улицу.

Тут набрался как бы строй: несколько повозок, отдельно четверо офицеров, потом солдат сотни полторы, ещё подходили и новые. Им приказано было разбираться в четыре шеренги, но что это были за шеренги! — неостывшие кривые линии распалённых лиц, многие без фуражек, как на молитве, а не в строю, кто без шинельной скатки, у кого скатка в ногах, у всех ли ещё винтовки? А у правофлангового чёрного дядьки оттопырен на боку котелок, пробитый в донце осколком, но не покинутый. Десятка два было раненых, неперебинтованных кто фельдшерской рукой, кто саморучно, а и просто были с запекшимися открытыми пятнами. Уже остановясь, они как будто не остановились, их клонило, валило в ту сторону, куда они быстро шагали незадолго. Они дико смотрели, и ещё странно, что держали как-то строй.

При подходе командующего Филимонов рявкнул: «смирно!» (Самсонов отставил) и стал громко докладывать — да не докладывать, а позорить это трусливое стадо потерявших человеческий вид солдат... До сих пор командующий слышал своего генерал-квартирмейстера только в комнатах. Он не ожидал от него такой звучности, резкости, ярости. Филимонов кричал перед строем с неистраченным честолюбием штабного начальника и ещё с особым честолюбием генералов, низких ростом.

Самсонов слушал крик, обвиняющий весь Эстляндский полк в предательстве, трусости, дезертирстве, а сам оглядывал неостывшие лихие солдатские лица. То была лихость крайности — крайности конца жизни, когда никакой генеральский распёк уже не проникал в их уши, и это чудо ещё, что они позволили себя остановить: их и каменный забор уже мог бы не остановить.

Но эту лихость, эту крайность тут же отличил Самсонов от той бунтарской лихости, которую повидал в 905-м году на сибирской магистрали, где кипели солдатские митинги, распоряжались комитеты, где гудело «доло-ой!», «домо-ой!», громили вокзалы, буфеты, силой хватали паровозы для своих составов: «Мы первые! домой! долой!» Там — ничего не значили офицеры, и в сто глоток кричали бунтари «до-лой!» — долой вас, какие б вы ни были хорошие, мать вашу распеpетак, не надо нам вашего хорошего, отдайте нам кровное наше!

А здесь, на этих лицах перекажённых, на возврате уже ненадеянном от смерти к жизни, было с болью к офицерам: кровное наше, мать вашу так, мы же вам отдаём,— а вы?? а вы?!

И Самсонов, чувствуя, что краснеет, может быть и не видимо никому на солнце, выставил лапу ладони, остановил нависающий гам генерал-квартирмейстера и стал тихим голосом спрашивать — сперва офицеров, случайных, только один был ротный, потом и солдат.

А им — рассказывать непривычно, сбойно, нескладно, да и что они там поняли во всей этой свистящей смерти? Под снарядным накрывом от сотен орудий — да без единой канавки, в мелких бороздах свекловичного поля. А нашей артиллерии — не было, или не доставала в ответ, а какие несколько пушек выехали — тут же и разнесло их. И всё ж таки ружьями да пулемётами, дальней стрельбою — отвечали по пушкам. А ещё подымались в атаки и даже до немецких окопов дотягивали. И все патроны расстреляли. А тут пехота стала обходить их. А тут и конница сзади заворачивала (может, и не заворачивала). Да такого грохота и в Страшный Суд не будет, старые солдаты никогда не слышали. Тысяч до трёх из их полка разметало. А-а, этого не расскажешь...

Он. Он виноват. Он же слышал эту стрельбу вчера, и сегодня утром хотел к ним поехать — отчего не поехал? Уже в том его вина, что он з д е с ь их дожидался, а не т а м разыскал, в их беде. Да не в том, а прорезалось ясно, что никак не понималось в тёмном зале ландрата: ещё вчера и сегодня писал он им, под советы вот этого неуёмного генерала, какое шоссе у немцев перерезать; как ворона летает, и то бы им было туда двадцать вёрст. А посылал — по жаровне, по единственному месту, где немцы замечены были, стояли и бились. И ещё сегодня ошмёткам этих полков он велел «в о ч т о б ы т о н и с т а л о...»

Пока говорили — подбывало сзади, и знамя пришло на древке, с крестом георгиевским в навершной скобе и с юбилейными лентами. Подошло и стало знамя на левом фланге молча, и кучка солдат при нём — некомплектных, раненых, ободранных.

И к рассудительному тихому голосу, слышному однако тут всем, добавляя, чтоб и тем было слышно, Самсонов окликнул:

— Сколько вас, ревельцы?

И фельдфебель ответил отрубисто:

— Знамя. И взвод.

А из задней шеренги Эстляндского крикнул, спроса не дожидаясь, голос нетерпеливый, охрипший:

— Ваше высокопревосходительство! Мы ведь — третий день без сухарей!

— Как? — ещё затемнился, изумился, обернулся командующий.— Третий день?

Весь вчерашний день, наступая по жаровне, и вырубаемые снарядами, и в штыковые атаки ходя, и умерев на девять десятых,— без сухарей?..

— Без сухарей!! — подтверждали ему сбойным хором.

Командующий покачнулся вперёд высоким грузным телом, видели. Адъютант подбежал его поддержать, но не пришлось, он устоял.

(Да ему освободительней было бы рухнуть и крикнуть: «Каюсь, братцы, это я вас погубил!» Ему легче к сердцу было бы — взять всё на себя и подняться уже не командующим.)

Но — только распорядился тихим голосом:

— Всех накормить сейчас же. И поместить на отдых.

А тяжесть вся осталась в нём.

И он зашагал в город назад, окаянно перемещая ноги.

Как раз у глыбы Бисмарка из-за угла выехало навстречу командующему несколько конных, провожаемых штабным офицером. Тот показал. Увидели. Соскочили и пошли к Самсонову кривым кавалерийским шагом, наращивая его.

Это были: кавалерийский генерал, драгунский полковник и казачий полковник.

Генерал-майор Штемпель (так много в его армии генералов, Самсонов лоб наморщил, да, командир бригады у Роппа) доложил, что прибыл во главе сводного отряда из драгунского полка, трёх с половиной сотен 6-го Донского и конной батареи. Отряд сформирован полковником Крымовым властью командующего армией с задачей установить прерванную живую связь между 1-м армейским корпусом и 23-м.

Ещё видели глаза Самсонова эстляндцев и ревельцев, ещё через голову промешивалась их беда со своей виной, а в памяти наслоено было, что всякие временные отряды, расподчинения и переподчинения всегда истекают от худа,— но время настигало, и надо было врабатываться и понимать:

— Да? Хорошо, это хорошо... Между этими корпусами действительно...

Командующий здоровался за руку со всеми тремя — а казачьего полковника он знал! сразу вспомнил его скромно-грубоватое лицо, седой бобрик, седую бородку щёточкой, по Новочеркасску знал:

— Исаев? Алексей Николаич, кажется?

Лет уж под семьдесят, а безотказен:

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— А почему — три с половиной сотни? — слабо улыбнулся Самсонов.

И Исаев, рад случаю пожаловаться, может ещё полк соберёт назад,— объяснял. Но — странно смотрел на Самсонова.

И Штемпель тоже смотрел странно. Они переглянулись.

— Худая весть и гонцу не в честь,— поёжился простоватый Исаев.

Самсонова кольнуло:

— Что такое ещё?

Сухощавый Штемпель выпрямился и протянул пакет, как если б ждал себе за это казни:

— Нагнал нарочный от полковника Крымова. Велел передать.

— Что такое? — спрашивал Самсонов, будто устно легче было услышать. А пальцы уже разворачивали бумагу с крымовским замысловатым почерком:

«Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич!

Генерал Артамонов — глуп, трус и лгун. По его беспричинному приказу корпус с полудня отступает в беспорядке. От вас это скрывается. Потеряна прекрасная контратака петровцев, нейшлотцев и стрелков. Отдано Уздау, ещё удастся ли к вечеру удержать Сольдау...»

Если б это сказали на словах, хотя б и под клятвой,— нельзя было бы поверить. Но Крымов зря не напишет.

Самсонов вырос, побагровел, затрясся, как мех раздулась его грудь. Он брёл сюда ослабленным и виновным — но вот обнаружился злодей виновнее его! И с силою правоты он заревел на перекресток:

— От-ре-шаю мерзавца!

И поднятою рукой оперся о бисмаркову неровную глыбу:

— Кто здесь? Восстановить немедленно связь с Сольдау. Генерала Артамонова отрешаю от командования корпусом. Назначаю генерала Душкевича. Сообщить в 1-й корпус и в штаб фронта.

Он опирался как будто о скалу, как будто левою рукой — но не было у него больше левой руки.

Отрубили и её.

29

Ещё вчера, с ног сбивая, гнали Нарвский и Копорский полки на север, не давая у колодцев посидеть, и уже в вечерних сумерках всё на север, биваками стали в темноте. Слух был, что завтра в городе Алленштейне будут хлеб печь и выдавать. Но утром 14-го после обычной заминки, затяжки, когда приказы никак не рождались и не рассылались и батальоны цепенели в бездействии, впрочем зная, что их же ногами и расплачиваться за всё,— пришёл приказ Нарвскому и Копорскому полкам поворачивать налево назад, от Алленштейна прочь, и, с тем же спехом возвращая незримому немцу вёрсты, отшаганные у него вчера,— гнать на помощь соседу, как уже бегали три дня назад именно эти полки — и зря.

Может быть, командиру бригады было при этом какое-то пояснение. Может быть, и командирам полков перепало осведомления сколько-то. Но в батальоны офицерам ничего не было объяснено, и даже при добром доверии трудно было связать вчерашний марш и сегодняшний иначе, чем глупостью или злой насмешкой. А что могли думать солдаты? Перед солдатами Ярославу Харитонову было так стыдно за эти метанья, вымученные у их тел, как будто сам он и был тот злобный штабной предатель, кого солдаты во всём подозревали.

Но — и награда неожиданная за весь двухнедельный голодный мотальный марш ожидала их полки: в полдень, при ярком солнце, при ровном ветерке, при весёлых пучных белых облаках открылся им с обзорных грислиненских высот — первый город, а через час уже и входили они в него без препятствия, небольшой городок Хохенштейн, так, саженей четыреста на четыреста, поразительный не только уёмистой теснотой крутоскатных кровель, но — полной безлюдностью, этим даже страшен в первую минуту: вовсе пуст! — ни военного русского, ни мирного жителя, ни старика, ни женщины, ни ребёнка, ни даже собаки, только редкие осмотрительные кошки. Где — забитые ставни, а где — рамы сорваны с петель, стёкла вдребезг. Передний полк не сразу поверил, предполагался за город бой, они принимали резервный порядок, высылали разведку. Невдалеке, по тому ж направлению, громыхала артиллерия, стучали пулемёты,— но сам островерхий город по прихоти войны был совершенно пуст — и цел! — видно, никто не бился за город и перед ними, и если брал — то так же пустым, без боя, и так же бросил.

Полки втекли с алленштейновского шоссе ещё с порывом к бою, ещё с готовностью пройти город насквозь и идти дальше, куда было им велено,— но, как в сказке, на первых шагах в зачарованной черте истекают из героя силы, и роняет он меч, копьё и щит, и вот уже весь во власти волшебства, так и здесь первые кварталы чем-то обдали входящие батальоны — и расстроился их шаг, свертелись головы в разные стороны, смягчился, сбился порыв двигаться на шум боя, и бригадная и полковая воля над ними почему-то перестала существовать, никто не понукал, не прискакивали ординарцы с новыми приказами. И батальоны почему-то стали сворачивать — направо, налево, ища себе в городе отдельного простора, да единая батальонная воля тоже парализовалась, и зажили роты отдельно каждая, а там и они распались на взводы,— и удивительно, что это никого не удивляло, а повеяло заколдованным обессиливающим воздухом.

Вопреки тому старался Ярослав хранить сознание, что — не должно так быть! что их помощи дальше ждут! Но не шире взвода действовала его власть. Однако вот и взводы беззвучно, неприметно растекались, рассасывались, как вода, сама себе ища свободный сток и незанятые объёмы. И взводу Харитонова, из лучших, добропорядочных солдат составленному, не стоять же было одному под ружьём на солнце, заслужили они право на привал.

А — на еду? После стольких изнурительных дней при ущербном пайке — так ли уж дурно было, что неотклонной голодной надобностью по одному, по два, по три стало утягивать и его солдат,— кто спросом, как благородный Крамчаткин, подошёл, печатая шаг, и глазами вращая, весь живот во власти командира: — «Разрешите обратиться, ваше благородие? Разрешите отлучиться за продовольственной поддержкой?»,— а кто за стену винть, и вот уже сахар несёт, и печенье в цветных пачках, из рук второпях обранивая и прячась от взводного командира. Дурно? Наказать? Да ведь голодны, да ведь это — потребность, от которой и бой зависит. Почему уж так надо считаться с покинутым захватным имуществом? Посоветоваться бы с другими офицерами, но что-то не видно их, и с кем советоваться? — ты взрослый, ты офицер, ты решаешь сам.

А вот — макароны несут, мужиками отроду не виданные! А ещё чудней: в стеклянных банках — телятина, жаренная по-домашнему. Наберкин — маленький, юлкий, с сияющими глазами несёт своему подпоручику, радый угодить:

— Ваше благородие! Не погнушайтесь отведать! До чего же хитро сработано!

Здесь — нет преступленья, чиста солдатская душа, они — заслужили. Да ведь что-то и сварить, и разогреть — в доме, или на дворе, свой огонь разведя между кирпичами. А вот ещё занятней, даже офицерам вдиво — как немцы хранят яйца: кладут их в беловатую, видимо известковую воду, и оттуда они как свеженькие, сколько ж месяцев?

На кладовках у немцев замки не тяжкие, у немца ведь какое глупое понимание: раз замок — значит нельзя, никто не возьмёт. А слух — что в городе есть большие склады, и уже другие батальоны до них добрались, нас опередили.

Нет, что-то не то... Нет, так нехорошо! Надо запретить! Надо сейчас построить всех и объяснить...

Но тут расторопный служивый унтер, опора Ярослава во взводе, доложил ему, что на краю города стоят казармы, а в канцелярии — много карт! И — зажглось Ярославу эти карты посмотреть, пока не выступили дальше! Да в конце концов у него-то во взводе солдаты хорошие. И оставив унтера со строгим наказом, Харитонов захватил неохочего солдатика и поспешил с ним в казармы.

По казармам бродило немного добытчиков, но никому не приглядывалось немецкое обмундирование и фельдфебельское имущество. А в распахнутой канцелярии действительно сложены были карты Восточной Пруссии, в километровом измерении, на немецком языке и очень чёткой печати, гораздо разборчивее тех, что Нарвский полк выдавал на батальон одну карту. Приловчив солдата подавать ему и убирать просмотренное, Ярослав отыскивал карты тех мест, где прошли они и куда могли попасть. Совсем ведь другая война, когда имеешь полный набор карт! И карты к Висле горячо смотрел — захватывающее очарование топографической карты тех мест, где никогда ты не был, а *будешь* скоро! Составил Харитонов один большой набор, с переходом через Вислу, и три комплекта по ближним местам (один непременно Грохольцу подарить!).

Но при хватком, быстром, деловом отборе ещё быстрей что-то опустошалось внутри Ярика: радость от карт была какая-то неполная, ненастоящая, а по-настоящему тоска серая разливалась или даже страх,— страх опоздать к полку, полк уйдёт? нет, другой страх — предчувствие беды, что ли? И хотя дело было самое нужное, а скорей бросай его и беги к полку назад, нет покоя! — уж некогда рассматривать и обстановку немецких казарм для нижних чинов, пожалуй, лучше наших юнкерских. Внутри натягивалась тревожная пустая протяжённость, и не хотелось уже отбирать, брать, смотреть — а только вернуться скорей к своим.

Понёс солдат перевязанную кипу карт, Ярослав спешил ко взводу — и видел, как сильно изменился город за этот только час: из чужого заколдованного уже свойский нам. Туда-сюда сновали разлапистые солдаты, как у себя по деревне, хорошо зная места,— и свои офицеры не кричали на них, не Харитонову было вмешиваться. Бочку пива катили. Нашли в городе и птицу, и уже перья нащипанные окровавленные завевало ветерком по мостовой, и шевелило цветные обёртки, пустые коробки. Хрустело под сапогами от насыпанного и выбитого. Вот в оконном проломе — развороченная квартира, ещё не вся нарушена недавняя любовная опрятность, а комоды вывернуты, а по полу — скатерти, шляпки, бельё.

И натягивалась тревога: а как *его* взвод? неужели и его взвод?..

Вроде бы часовыми стояли два нижних чина у двери магазина, солдат не пускали, а перед офицерами расступались,— и вошёл знакомый офицер, и Харитонов за ним почему-то тоже завернул. Это был магазин одежды, в его первом торговом помещении при витрине сновали нижние чины, Ярослав узнал денщика Козеки, в заднем же помещении офицеры переодевались, примеряли — дождевые накидки, вязаные фуфайки, нижнее тёплое бельё, гетры, перчатки, всё это без шума, деловито, в тесноте, с помощью стульев и денщиков, а то — вертели, рассматривали коврики, дамские пальто.

Козеко оказался рядом, в жёлто-коричневых тёплых кальсонах. Обрадоаался:

— Харитонов, Харитонов! Пользуйтесь случаем, выбирайте тёплые вещи! Ведь вот-вот похолодает, какие ночи уже! Человек не может постоянно думвть только о смерти, надо и позаботиться...

Ярослав не различал, кто тут ещё, может и знакомые. Загороженный от

единственного окна, он полуслепо стоял и видел даже не Козеку, не столько лицо его или поджарую фигуру, как эти жёлтые ворсистые тёплые кальсоны. И сказал — ему, но может быть громче, может быть и другим слышно:

— Стыдно.

Козеко оживился, сразу подступил, со своей обычной цепкостью несдаваемых аргументов, и ещё ухватил Ярослава за грудной ремень, чтоб он не ушёл, дослушал:

— Почему ж это может быть стыдно, Харитонов? Давайте рассуждать. У нас с вами тёплых вещей нет, и когда нам повернутся выдать? Сами знаете российское интендантство. А мы с вами зябнем, мы с вами спим в шинелях прямо на земле. Долго ли простудиться? А ночи холодают. Это даже не нам с вами лично нужно, это — армии нужно, мы будем лучше воевать. И фуфайку берите!

Не раздражение, не торопливость, с которою он гнался исправлять,— овладела Харитоновым музейная усталость ног, глаз, души: больше бы не ходить, не видеть, провалился бы этот богатый город, лучше б месили пески, как все эти дни. Отвратительны стали всякие *вещи*. И как легко жить без вещей!..

— Но — не таким образом...— вяло, устало отклонил Харитонов. Он пытался ремень освободить, да не так легко было отцепить его от Козеки.

— А — каким же образом? А каким? Купить? Мы и зашли — купить, но кому платить? Хозяин бежал. Пожалуйста, можете оставить деньги, но кому они достанутся? А кстати, мы с вами получаем — много не накупишься.

— Ну, не знаю,— Ярослав не находил что сказать, но затопляло его отвращение. Он освободился, повернулся к выходу, Козеко шагнул за ним и ещё держал за плечо. Лицом сморщен, как плача, он тихо договаривал, почти на ухо:

— Ну я согласен, это нехорошо. Если подумать, что фронт может откатиться и до Вильны, и ворвётся враг в наше гнёздышко с моим солнышком, и разорит, как здешние очаровательные квартирки. Да ведь я ничего не хочу, я никаких наград не хочу, вы же знаете! — Он почти слёзно упрашивал.— Но ведь не отпустят, пока хоть руки́ не оторвут. Или ноги́. Так я советую: оденьтесь потеплей, ведь будет зимняя кампания, Харитонов! Возьмите бельё! И фуфаечку!..

Скорей к своему взводу. Всё-таки нёс ещё веру Ярослав, что *его* взвод... Не только вещей, даже пить-есть ему перехотелось.

Росло предчувствие беды.

Где-то в городе горело — крупно, высоко, упорно. Немудрено было заняться и другим пожарам: там и здесь дымили солдатские костры, печки, между ними, как цыгане, бродили солдаты, тащили что-то. За два часа так изменился Нарвский полк!

На телегу, сверх другого добра и ящика с парфюмерией, вязали велосипед.

Таковы нашлись и офицеры в их полку! Но в солдатах — нравственная сила народной жизни, они сейчас поймут, им никто не объяснил, Ярослав сам виноват — пробовал консервы и похваливал, с этого началось. Он и бессильным себя чувствовал, он и не в праве себя чувствовал, безусый, поучать мужицких отцов самым основам жизни, он и обязан был — к чему ж тогда его погоны?

Он заблудился, дал крюк, и ещё места своего не узнал, а увидел первого Вьюшкова, долгого, а с узкой спиной, как он узел из простыни тащил через плечо.

Да Вьюшков ли? Может ещё не он?.. Нагнал, крикнул:

— Вьюшков!!

Вырвалось надорванно, а — резко, и Вьюшков уронил узел, и сделал шаг бежать, но не побежал, а избычась повернулся. И не смотрел, лицо воротил.

И это-то был его заливистый вагонный рассказчик, такой улыбчивый, симпатичный, душа смоленских мест?! Какое у него уклончивое, непрямое, замкнутое лицо! Какой, оказывается, нехороший человек...

— Ты — что?? — со всей силой внушения вталкивал ему Ярослав.— Ты — куда? Ты — кому? Ведь мы сейчас под пули пойдём, может, завтра в живых не будем, ты — озверел, ошалел? — Но ещё с надеждой, страдательно: — Что с тобой, Вьюшков?

Всё так же закрыто, не глядя, косо-потупленно:

— Простите, ваше благородие. Лукавый попутал.

— Ну пойдём со мной, пойдём!

А ноги Вьюшкова — как вросли, от узла не идут.

А навстречу — Крамчаткин, лучшая служба взвода,— нет, не Крамчаткин! — что он красный такой, он шатается на ходу, он поёт, не то бормочет? — нет, Крамчаткин, он увидел своего офицера — и приструнивается, и берёт шаг, и даже печатает по гладким плитам,— но почему ноги забирают одна за другую, почему глаза такие вылупленные дико — а рука взброшена точно по форме:

— Ваше... пре... благородие, разрешите доложить? Рядовой Крамчаткин Иван Феофанович из отлучки...

Но — косая сила завернула его по дуге вместе с честью — и безжалостно шлёпнулся он на тротуар, и фуражка откатилась.

Младший брат! Гордость моя, Иван Феофанович!

С ужасом, но, кажется, уже и с гневом, Ярослав спешил дальше. Ведь предупреждали: мародёров — пороть нещадно, наказывать телесно! Но мародёры представлялись далёкими чужими злодеями, не своими же нарвцами, не из своего же взвода!

Сейчас — с оружием и с полной амуницией поставить их на солнцепёке в строй! И — разнести их, прочесть им та-кое внушение! И каждого разобрать — кто что взял! И — каждого заставить бросить...

Вот тот дом! Ворота были нараспашку, и видно, как во дворике обмывался в жарком токе углей закопченный котёл, пристроенный на шестиках. А вокруг сидели на кирпичах, на ящиках и как попало человек пятнадцать из харитоновского взвода. На земле и возле ног стояли у них консервные банки, лежала еда разная, уж ею особенно и не потчевались, а больше — пили, котелками и кружками черпая из котла.

Сразу мелькнуло: перепились! из котла черпают хмельное!?.. Но тогда зачем костёр?..

Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная,— доброжелательность пасхального розговенья. С застольной мирной неторопливостью улыбались друг другу, беседовали, рассказывали. В стороне, в пирамидках по несколько, стояли ненужные винтовки.

Увидели своего подпоручика — не испугались, а оживились, обрадовались, место расчищали:

— Ваше благородие!.. Ваше благородие, сюда, к нам извольте! — а двое с кружками засуетились, один полоскать, один и так, наперегонки зачерпнули, наперегонки понесли ему, горячие и полные всклень, с улыбками пасхальными:

— Ваше благородие, кака́ва какая!

А Наберкин — маленький, кругленький — да на ножках быстрых, всё-таки выпередил, и голоском писклявым:

— Испейте какаву, ваше благородие! Вот ведь чем немец подкрепляется, стервец!

И...— не кричать. Не распекать. Не строить в наказание. Даже не отклонить протянутое от изумлённого сердца.

Булькнул Харитонов горлом пустым. Потом уж и глотком какао.

Задняя стена двора была невысока, за ней — незастроенное место, а дальше — горел двухэтажный дом с мансардой. Мелкими выстрелами лопалась черепица в огне. Сперва густо-чёрный дым вываливал из мансарды, а там прорвалось сразу в несколько языков сильное ровное пламя.

Видели, но никто не бежал тушить.

Дым и пламена с треском выбрасывали, выносили вверх чужой ненужный материал, чужой ненужный труд — и огненными голосами шуршали, стонали, что всё теперь кончено, что ни примирения, ни жизни не будет больше.

30

За ночь отступя от Бишофсбурга на 25 вёрст, отгородясь от немцев обновлённым арьергардом всё того же Нечволодова,— потрясённый Благовещенский с утра 14 августа остановился в местечке Менсгут, и ни он, ни его штаб за весь день не отдали никаких распоряжений по корпусу. Арьергард стоял на позициях, покуда считал нужным. Части дивизий пехотных и

кавалерийской отходили, поелику им было удобно так, без спросу и без оповещения корпусного командования. Генерал-от-инфантерии Благовещенский никогда не командовал на войне даже ротой — и вот сразу корпусом. Он бывал заведующим передвижением войск по железным дорогам, начальником военных сообщений, а в японскую войну дежурным генералом при штабе, где выписывал литеры на проезд по железным дорогам и составлял научное руководство, как, в каких случаях и кому эти литеры выписывать. А вчера его жизни был нанесен крушащий удар — и душа генерала нуждалась теперь в покое, собирать и склеивать осколки.

Да весь день было и тихо: отошли за ночь так далеко, что немцы не притесняли. Но военный покой недолог, и суток не дали отдохнуть! В шестом часу вечера послышались звуки боя с севера, со стороны арьергарда. От дальних немецких орудий стали перелетать фугасы и в сторону Менсгута. Снова взмутилась тревога в груди генерала Благовещенского, и помрачнел его штаб.

А тут — не хватало! — совсем с другой стороны, от выставленной в боковое охранение донской сотни, прискакал в Менсгут казак с донесением. В донесении-то у него всё написано было правильно: что его сотня имела столкновение с противником за 15 вёрст отсюда,— но его самого распирало: рассказать, что и он там был! и он вот, даве, с немцами дрался! И на окраине Менсгута увидя другую сотню своего же полка,

---

э к р а н

позамедлил ход коня, лихой казачок,
и тряся донесением,
и за плечо себе показывая — мол, бились! — радостно крикнул землякам:

— *Немцы!.. немцы!..*

И поскакал, ему мешкать нельзя, ему в штаб донесение сдавать.
= Но земляки, на просторном дворе, за огорожей, так и окинулись: немцы?!.. вот они — немцы?! Батюшки, а у нас не сёдлано!
Заметались, заседлали,
из конюшни выводят бегом,
в торока вяжут,
вскакивают —
да уж и со двора! со двора!
Конский топот.
= Эх! сотня едва ль не вся — галопом по улице!
Топот
по улице!
= А с поперечной, издалека
подъесаул (их же полка, погоны те ж) как увидел:
= проносится, проносится конница!
= да бежать назад, да бежать!
Тут недалеко — штаб.
И — к драгунскому полковнику. Тот читает как раз
донесенье от первого казачка.
Подъесаул:

—...сподин ...овник, разрешите доложить?..
На соседней улице — немецкая конница, силой до эскадрона!

И нисколько же не напуган подъесаул:

— *Разрешите охрану штаба развернуть на отраженье кавалерии!?*

Драгунский полковник не медля, полноголосой командой:

— *Дежурный по штабу! охрану — в ружьё-о!!*

= И дежурный капитан, на ходу:
— *В ружьё-о-о!!.. в ружьё-о-о!!!..*
= Да какая готовность! — уже выбегает пехота из своих помещений, винтовки в руках!
Да сколько их! тут две роты!
Свои ж командиры-молодцы неоплошно командуют:
— *Взводной колонной... ста-новись!.. Раз-берись!..*
Не до разбору. Вот уже выбегают трусцой
в ворота распахнутые, и сразу заворачивают,
как показывает подъесаул: вон туда! вон туда!
= А в комнате драгунский полковник докладывает генералу седому, измученному, расслабленному, с каждым словом оседающему в бессилии:
— *Ваше высокопревосходительство! кавалерия противника прорвалась в селение Менсгут! мною приняты...*
О, как это тяжело больному старику! Этого ужаса он и ожидал! Ведь он — болен! он — изболелся, страдалец-генерал!.. к врачам его!.. в больничный покой!.. даже губы его разваливаются, не удерживая формы рта:
— *В Ортельсбург... в Ортельсбург...*
= Драгунский полковник энергично распоряжается.
Грузимся! уезжаем!
= Чины штаба собирались карту развесить на стене — вот и хорошо, что не успели, сворачиваем!
Штабу — недолго собираться! Несут бегом, каждый знает, что.
= А автомобиль уже готов, подан!
Да и генерал поспешает, как может, его под руку ведут.
И уже — полный автомобиль! И — тронулись!
в сопровождении верховых казаков, конечно,
а там — экипажи, двуколки, кто на чём —
за ворота! ехать! ехать! скорей!
= Шоссе.
Не шоссе, а поток бегущих,
не бегущих (слишком тесно) — а льющихся. Каждому, каждому хоц-ца жить, хоц-ца в плен не попасть —
и пехоте-матушке;
и на зарядных ящиках;
и на пушках самих — все отступают, а мы хуже, что ль?
и повару при походной кухне, трубное колено на бок;
и обозникам! и обозникам-то больше всего! им первым и положено отступать, а им дорогу перебивают!
Смешанный гул движения.
И в этой реке человеческой
как проплыть автомобилю корпусного командира, да чтобы всех быстрей, обгоняя? — ему-то особенно быстро надо, его-то жизнь — самая дорогая!
Гудеть?
Не помогает.
А вот как: передние казаки
расчищают дорогу,
ну, хоть в обочину, что тебе, морда?! —
а на пустое место вплывает автомобиль,
и сзади замыкается сразу.
Самого-то генерала голова почти не держится, ему уже всё равно, везите, везите.
= А солнце садится.
И вдаль
плоховато уже видно. Течёт серая масса.
Впрочем, там, впереди — огонь.
Крупней.
Большой огонь.

Ещё крупней, ближе.
Это — Ортельсбург. Он горит.
Он — в едином пожаре.
Часто и непрерывно трескается взрывками черепица.
Как видно от головы колонны:
= да просто ехать туда нельзя, через город.
= Колонна останавливается, останавливается.
Только автомобиль корпусного с казачьим содействием, взмахами шашек:
— *Ну что, бараны? Па-теснись!* —
одолевает последние сажени дорожного затора, сворачивает в сторону, в объезд.
Покачался на бугорках, поехал,
дорогу показал, мимо города. Трогаются и за ним
(в освещеньи от городского пожара).
А назад — уже темно.
Но там, вдали, позади — движение какое-то. Тревожное, быстрое движение — сюда!
Продирающие вскрики!
— *Кава-ле-рия!..*
— *Об-хо-о-дят!*
= Переполох! Куда с шоссе? Пробка!
Страх и ужас на лицах (при пожаренном свете).
Эх, была не была! Свернула двуколка в сторону —
через канаву, по ухабам! —
перевернулась!
= Ничего! Сворачивают, кто может!
Ружейные выстрелы.
Это — наши, из колонны. Бьют — туда, назад, в кавалерию!
Её и не видно. Тени какие-то, исчезли.
= А тут — лошадь понесла,
сшибло кого-то, да под копыта:
— *А-а-а!..*
А подале слышится «ура-а-а!». Гуще выстрелы.
Не поймёшь, кто и бьёт. Вон, в воздух садят.
— *Ро-та! в це-епь! залегай!*
Фигурки залегают по обе стороны шоссе. Вспыхивают при земле огоньки их выстрелов.
= Лошадей ранило! Зарядный ящик — понесли!
понесли!
да на людей! да давят!
— *ра-а-а?.. а-а-а!..*
Обезумевший обоз! люди в сторону прыгают, с дороги бегут. Что несли, что держали — всё кидают.
= Ох, пушку покатило! Сшибла телегу!
другую!
Трещат, ломаются оглобли.
= А тут — постромки рубят! Телегу — в канаву, сами — на лошадей!
Всё это видно то в отсветах городского пожара, то на фоне его.
= Раскатился зарядный ящик — люди прыгают прочь.
Чистая стала дорога от людей,
только набросанное топчут лошади,
перепрыгивают, переваливаются колёса...
И лазаретная линейка — во весь дух!
и вдруг — колесо от неё отскочило! отскочило на ходу —
и само! обгоняя! покатило вперёд!
колесо! всё больше почему-то делается,
Оно всё больше!!
Оно во весь экран!!!
КОЛЕСО! — катится, озарённое пожаром!

самостийное!
неудержимое!
всё давящее!

Безумная, надрывная ружейная пальба! пулемётная!! пушечные выстрелы!!

Катится колесо, окрашенное пожаром!
Радостным пожаром!!
Багряное колесо!!

= И — лица маленьких испуганных людей: почему оно катится само? почему такое большое?

= Нет, уже нет. Оно уменьшается.
Вот, оно уменьшается.
Это — нормальное колесо от лазаретной линейки, и вот оно уже на издохе. Свалилось.

= А лазаретная линейка — несётся без одного колеса, осью чертит по земле...
а за ней — кухня походная, труба переломленная, будто отваливается.

Стрельба.

= Цепь лежит и стреляет — туда, назад.
= А оттуда, из мрака, с дорогою рядом — скачут!
да, скачет конница на нас сюда!
ну, пропали, нет нам спасенья! — и кричат,
кричат нам драгуны:
— *Да мы же с в о и! Да мы же свои, лети вашу мать! В к о г о с т р е л я е т е ?!*

31

Сквозь пелену и погуживание, мешавшие Самсонову соображать все эти дни, а сегодня особенно, вдруг прорвалось и выплыло не нужное что-нибудь, а — гимназическое, из немецкой хрестоматии, фраза одна: «Es war die höchste Zeit sich zu retten».*

Статья была о Наполеоне в горящей Москве, но ничего из неё не запомнилось, а эта фраза всегда была в памяти из-за странного сочетания «die höchste Zeit» — высшее время. Будто время могло быть пиком, и на этом пике миг один, чтобы спастись.

Так ли опасно было Наполеону в Москве, и мгновенье ли крайнее одно было у него на выход,— но сейчас пасмурная тревога обложила сердце командующего, что эти часы у него как раз и есть «die höchste Zeit».

Только не понимал он, где этот пик торчит, и в какую сторону толчок надо делать. Не мог он ясно охватить всё положение армии и указать решительное действие.

Из-за артамоновской измены опал, обнажился весь левый бок армии — так надо ли было менять приказ корпусам, приготовленный днём? И что же менять? Центральными корпусами удар с поворотом налево — очевидно это и надо как раз? Что же менять? Вообще задержать наступление центральных? Но это больше всего поставится ему в вину. Клеймо *труса* от Жилинского казнило Самсонова четвёртый день. Понудить к наступлению фланговые корпуса? Очень бы хорошо, но это невыполнимо сейчас.

И никто из штабных не приходил просить решительных изменений.

И вспомнилось ему из японской войны, как сам он с казачьей дивизией, с уссурийцами и сибирцами, двое суток цепко держался у Янтайских копей, упорно прикрывая левый фланг куропаткинской армии (а Ренненкампф так же был справа),— и предлагал Куропаткину даже охватывать фланг японцев. Но Куропаткин сробел, и без надобности скомандовал отступать, и так проиграл битву под Ляояном. А — зря, не надо робеть. Один отважный удар может спасти и безнадёжное положение, в этом военная история.

* Было крайнее время спасаться.

Так не повторить сейчас куропаткинских колебаний — а смело, решительно бить центральными корпусами!

А телеграф — снова работал. Разминувшись с телеграммою о снятии Артамонова, пришло его запоздалое донесение: «После тяжёлых боёв под сильным натиском противника отошёл к Сольдау». По лживости характера генерала можно было допустить, что и Сольдау уже сдали. Но нет, телеграф через Сольдау продолжал работать весь вечер.

Доложили оттуда, что генерал Душкевич на передовых позициях, а командование корпусом принял пока инспектор артиллерии генерал князь Масальский.

Не сразу и отсюда послали в штаб фронта телеграмму об отрешении Артамонова. Корпус был придан армии условно, отрешения могли не подтвердить. Однако Жилинский-Ораповский молчали. Вообще молчали, как будто сегодня не происходило и завтра не предполагалось важных значительных боёв.

Командующий с потемневшим, мрачным, натруженным лицом покинул штабные комнаты, пошёл отдохнуть к себе. По его лицу ещё никто бы не догадался снаружи, один он чуял: какой-то пласт его души с какого-то пласта как будто сшибся и стал помаленьку, медленно-медленно сползать.

И Самсонов всё время прислушивался к этому неслышному движению.

В его комнате днём было прохладно, а сейчас к вечеру душно, хотя пол-окна открыто на тонкую сетку.

Самсонов снял лишь сапоги и лёг.

Пока ещё не смерклось, была видна ему с подушки крупная гравюра на стене, как в насмешку: Фридрих Великий в окружении своих генералов, все молодец к молодцу, жгутоусые и непобедимые.

Странно. Прошло всего несколько часов, и вот уже не держал он сердца ни против Благовещенского, ни против Артамонова за их ложь и за их отступление. Ведь только от стесненья, от худа, от пекла могло у них так получиться. Гнев на них был отводной, обводной, неправый. Что ж гневаться на них, если и сам уже виноват довольно? Перенося на них своё, даже оправдывал их Самсонов: и командиру корпуса плохо подчиняется ход событий в этой войне, рассеянной по пространству.

Но если оправдывать ошибки подчинённых — что тогда остаётся от генерала?..

За всю свою военную службу не предполагал Самсонов, что может так сразу сойтись тяжело, как ему сейчас.

Как бутыль с подсолнечным маслом, взмученная тряской, нуждается остояться до прозрачно-солнечного цвета, муть книзу, а пустые пузырьки вверх,— так тянулась очиститься и душа командующего. А нужна была для того, он ясно понял: молитва.

Молитва ежедневная, утренняя и вечерняя, бормотомая по привычке и наспех, между мыслями, забегающими на дела, это как умыванье одетому и одною горстью: толика чистоты, а почти и неощутимо. Но молитва сосредоточенная, отданная, молитва как жажда, когда невыносимо без неё и ничем нельзя её заменить,— такая молитва, помнил Самсонов, преображает и укрепляет всегда.

Не зовя своего вестового Купчика, он встал, нашарил спички, зажёг на малый фитиль гранёную настольную лампу, заложил крючок на двери. А окна не задёргивал — напротив не было второго этажа.

Он раскрыл нагрудный походный казачий складень белого металла и тремя створками утвердил его на столе. Тяжёлыми коленями опустился на пол, не справляясь, чисто ли там. И так, грузной тяжестью на коленях, от боли в них испытывая удовлетворение, уставился в распятие и две иконки складня — Георгия Победоносца и Николая Угодника, вошёл в молитву.

Сперва это были две-три цельных известных молитвы — «Да воскреснет Бог!», «Живый в помощи», а там дальше потекла молебная немота, что-то бессознательно составляемое, незвучащее, изредка опёртое на крепко сложенные, удержанные памятью опоры: ...«всепресветлое Твое лице, о Жизноподателю!», «боголюбивая и щедромилостивая Богоматерь»...— и опять без слов, в дымных тучах, в тумане, перепрыгивая с пласта на пласт, пошевеленные, как льдины в ледоход.

То, что больше всего бременило, то цельней и верней выражалось не готовыми молитвами и не своими даже словами, а — стоньем на ломящих, а вот уже и забытых коленях, смотреньем пристальным и отдающейся немотой. Поставить перед Богом всю жизнь свою и всю сегодняшнюю боль охватнее было — вот так. А Бог и сам ведь знал, что не для почестей личных, не для власти служил Самсонов и орденами изувешивался не для них. И сегодня успеха своим войскам просил не для спасения своего имени, но для могущества России, ибо эта начальная битва много могла определить в судьбе её.

Он молился — о ненапрасности жертв. О ненапрасности гибели тех, кто по внезапности свинца и железа, вошедшего в тело, не успел даже перекреститься на смерть. Он молился о ниспослании ясности своему замученному уму, чтобы на пике высшего времени мог бы сложить он верное решение — и так воплотить ненапрасность жертв.

Он стоял коленно, всей тяжестью вдавливаясь в пол, смотрел на складень вровень глаз своих, шептал, молчал, крестился — и тяжесть крестящейся руки с каждым разом становилась как будто менее, и тело не так грузно, и душа не так темна: всё тяжкое и тёмное беззвучно и невидимо отпадало от него, отделялось, возгонялось,— это Бог на себя принимал от него тяготу — Ему ведь всё посильно перенять.

И — чин как будто отлетел от командующего, и сознание города Найденбурга, и армейского штаба в двух шагах отсюда,— молящийся всплывал, чтобы прикоснуться вышних сил и отдаться их воле. Ибо вся стратегия и тактика, снабжение, связь, разведка — разве не было копошение муравьиное перед волею Божьей? И если благоволил бы Господь вмешаться в ход сраженья, как по преданиям бывало в старину не раз, то чудодейственно выигралось бы оно при всех огрехах.

В мелкую сетку снаружи уже давно билась ярко-тёмная ночная бабочка, такая крупная и слышная, как не бабочка, а птица.

Может быть, её необычная крупность и зловещая расцветка были дурным предзнаменованием?..

Вытирая душный пот, Самсонов поднялся с молитвы. Так никто и не пришёл за ним — ни с нуждою вопроса, ни с радостным, ни с худым донесением. Разбросанные бои десятков тысяч людей как-то шли сами собою, не зацепляя командующего. А, быть может, щадят его отдых. Пригоже пойти узнать самому.

Сперва вышел наружу, мимо часовых. Там было приятно-прохладно, темно (от повреждения электростанции не освещались улицы). Шум боя — глухой, далёкий, как если б наши войска отбросили и отбросили неприятеля. (А если чудо уже начало совершаться?..)

В штаб снесли много керосиновых ламп и свечей, тем душнее и жарче было в комнатах. Все были на местах, все заняты делом. Готовилось за истекший день донесение в штаб фронта.

Принесли, в опасении обнесли командующего, но всё же поднесли ему свежую предвечернюю телеграмму Артамонова:

... После тяжкого боя корпус удержал Сольдау...

Как умеют писать! Что за изворотливые перья! Он бы ещё написал, что у д е р ж а л В а р ш а в у, и можно было бы его представить к Андрею Первозванному.

... Связи все нарушены. Потери огромны, особенно офицерами. Настроение войск хорошее (... ??). Войска послушны...

А недолго им и сорваться.

... Удерживаю город авангардом из остатков разных полков...

И арьергард у него — *авангард*. Умеет выражаться.

... Для перехода в наступление необходим прилив новых сил, все прибывшие уже понесли большие потери. Приведу все части корпуса в порядок ночью и перейду в наступление...

Уже без «прилива новых сил»? Умопомрачительный прохвост. А почему вообще он подписал эту телеграмму? Как он смеет не принять смещения? Надеется на высшие связи...

Однако мешало Самсонову разгневаться отошедшее сердце. А работа в штабе отлично варилась. И вот уже было дважды начисто переписано и начальником

штаба мягкой иноходью поднесено суточное телеграфное донесение в штаб фронта:

... Сегодня второй день армия ведёт бой на всём фронте. По опросу пленных оказалось... (Может быть так, может быть и не так...) На левом фланге 1-й корпус удерживал свои позиции, затем отведен без достаточных оснований (и выругаться-то вволюшку нельзя), за что я удалил генерала Артамонова от командования корпусом. В центре дивизия Мингина понесла большие потери, но доблестный Либавский полк удержал свои позиции. Ревельский полк почти уничтожен.

— Допишите,— показал Самсонов.— О с т а л и с ь з н а м я и в з в о д.

...Эстляндский полк в большом беспорядке отошёл к Найденбургу... 15-й корпус... атака увенчалась успехом... 13-й взял Алленштейн... Последние сведения о 6-м... выдержав упорные бои у Бишофсбурга...

И получилось совсем не унылое донесение. Получилось даже победное донесение. И как будто ведь... как будто всё верно. Благовещенский? — не так уж сильно и отступил. он держит Менсгут, вот будет переходить к Алленштейну. Так, может, и правда, не так плохи дела?

Хоть узнает завтра утром Жилинский, что немцы отнюдь не бегут за Вислу, но всем туловищем навалились на Вторую армию.

Была половина двенадцатого ночи. Оставалось подписать и, пожалуй, пойти уснуть.

Ещё бы только... Ещё бы только одно какое-то важное исправление в приказе на завтра. Какого-то одного главного распоряжения не хватало — и будет разрублена тягучая путаница, и наступит спокойствие духа.

Но голова как запелената была.

И, опустив её, пошёл командующий спать.

Перед тем как Купчик, трубач казачьей конной батареи, задул огонь, ещё раз мелькнули на стене гордые молодчики Фридриха.

Думал Самсонов, что сразу уснёт: темно, тихо, дела возможные свершены, и так ведь, так ведь устал. Пока он вынужден был двигаться и действовать, его клонило лечь и окаменеть. Теперь, когда он лёг, раздевшись в покойной постели,— стала камнем подушка под головой, и потягота к действию стала тянуть ему руки и ноги, ворочать его.

Невыносимо столько дней подряд затруживать голову до отупения. Да нервничать над телеграфным аппаратом, когда выползает белой змейкою немая лента, и не знаешь, чем ещё тебя укусит, каким оскорблением унизит. Кажется, больше всего сейчас ненавидел Самсонов — телеграфный аппарат. Прямая телеграфная связь с Жилинским — вот была ему верёвка на шею.

Как всегда в бессоннице, очень быстро, беспощадно утекало время. А запоминалось и словно не двигалось до следующего посмотрения — то, которое ты последний раз видел. Отщёлкивая ногтем двойную крышку часов, с тоской углядывал Самсонов на светящемся циферблате: четверть второго... без пяти два... половина третьего...

А в четыре уже будет светать.

Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы — много раз «Отче наш» и «Богородицу».

Не виделось ничего. Но возле уха — ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты — успишь...

И повторялось.

Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять смысл не удавалось.

— Я — у с н е ю? — спрашивал он с надеждой.

— Нет, успишь,— отклонял непреклонный голос.

— Я — у с н у? — догадывалась лежащая душа.

— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадёрнутом окне. И от света сразу прояснился смысл: у с п и ш ь — это от Успения, это значит: умрёшь.

Прилил пот холодный наяву. Ещё струною дозвучивал пророческий голос. А — когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — август, сегодня — пятнадцатое.

И — холодом, и — льдом, и — мурашками: Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.

В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами босыми, с руками скрещенными.

Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады.

И этот гул канонады возвращал Самсонову бодрость. И — ясность!

Солдаты уже умирали — а командующий боялся!

Куда ночь, туда и сон!

Густым свежим голосом кликнул Самсонов Купчику в первую комнату — вставать!

И тот, в минуту оклемавшись и одевшись, уже нёс кувшин и таз умываться.

От холодной воды к лицу, от полного белого света в окно, от настойчивой канонады прояснилось командующему одним ударом: ехать надо! уезжать отсюда! перевезти штаб ещё ближе к войскам! Самому — туда, в пекло! На коня, по-солдатски! Атаман донских казаков, атаман семиреченских — что ж он не на коне?! Да в кавалерийскую атаку поскакал бы сейчас сам! Взять бы налётом батарею врага! — разве такая кровь пойдёт по жилам? разве такая война! Ах, турец-кая!..

Это был — медведь, встающий из берлоги! Без рубахи, телесный, волосатый, он подошёл к окну и настежь его растворил. Потянуло радостной прохладой. Городок был в праздничном тумане, как в подвенечной фате, и отдельно, навстречу восходному солнцу, вытянулись и плавали, ни с чем не связанные: головки, башенки, шпили, коньки отвесных крыш.

Как ещё могло всё хорошо повернуться! Какое освобождение! — не сидеть пленником штабных комнат и телеграфного аппарата,— а ехать вперёд, действовать! Ещё вчера это надо было! Такая простая мысль! Заодно и от Нокса избавиться.

Командующий велел поднимать штаб. В Белостоке долго спят. Пока *Живой труп* проснётся, хвать,— а связи уже нет, нет Самсонова, некого поучать.

Освобождение!!!..

Но прособирались как бабы — ещё два часа. Чины штаба поднимались медленней командующего, проразумевали трудней его.

Штаб делился надвое. Вся канцелярская, штабная и управленческая часть отправлялась за двадцать пять вёрст назад, за русскую границу, в безопасный Янув. Оперативная часть — семь офицеров, ехала с командующим вперёд.

Кому надлежало отступать — приняли решение, не сопротивляясь. Кому надлежало ехать вперёд — были мрачно недовольны. Самсонов, почти натощак, бодримый этим радостным утром, расхаживал быстро и всех торопил. Ещё особенную радость, лёгкость — и примиренье с недоброжелателями — добавила телеграмма, только что поданная ему, а из Белостока в час ночи:

«Генералу Самсонову. Доблестные части вверенной вам армии с честью выполнили трудную задачу в боях 12-го, 13-го и 14-го августа. Приказал генералу Ренненкампфу войти с вами в связь своей конницей. Надеюсь, что сегодня совокупными действиями центральных корпусов вы отбросите противника. Жилинский.»

Было тут — из исполнения молитвы. Все мы — русские, мы можем и помириться. Мы можем и простить прежние обиды. Вот ведь правильно — к центральным корпусам! И Ренненкампф сегодня подскачет. Объединённо, соборно — неужто не одолеем?!

Тем обидней было и задерживало сплочённое недовольство семерых, кого брал с собою. И он созвал их на совещание, стоя:

— Есть соображения, господа офицеры? Прошу высказывать.

Постовский — не посмел. Конечно, ему разумнее было бы ехать в Янув и там руководить. Но он не имел воли спорить с командующим. Да всех офицеров позиция была слаба, потому что под наименованием штаба они предлагали себе самим ехать назад, а не вперёд. И они мялись. Всех мрачней выглядел Филимонов, и всегда непримиримый к любому суждению, кроме своего:

— Разрешите сказать, Александр Васильич. Найденбург сейчас не менее передовая, чем Надрау, куда вы хотите ехать. Противник непосредственно близок к Найденбургу. Но тогда и всему штабу надо переезжать в Янув. Мартос отлично справляется, какой смысл ехать к нему?

И один из полковников:

— Ваше высокопревосходительство! Вы отвечаете за в с е корпуса армии, а не только за те, которым сейчас тяжелее. Выезжая вперёд, вы пренебрегаете обязанностями командующего в с е й армией. Снимая связь со штабом фронта, вы снимаете связь и с корпусами.

Как умеют запутать любую ясную, простую вещь, обосновать любую уклончивость. Впервые за неделю Самсонов был трезв умом, чист душой, наполнен сильным смелым решением — и сразу же хотели его опетлить и обессилить. Но поздно! Иначе он уже не мог:

— Благодарю, господа офицеры. Через десять минут мы выезжаем верхами в Надрау. Автомобиль повезёт полковника Нокса в Янув.

А полковник Нокс как раз хотел ехать с командующим вперёд! Полковник Нокс сделал гимнастику, позавтракал и, походно одетый, спортивным шагом пришёл, чтобы ехать вперёд. Свой саквояжик он соглашался отправить в тыл. Но Самсонов указал ему на автомобиль. «Что-нибудь плохое?» — удивился Нокс. Отведя его в сторону без переводчика, Самсонов с усилием строил английские фразы:

— Положение армии — критическое. Я не могу предвидеть, что принесут ближайшие часы. Моё место при войсках, а вам следует вернуться, пока не поздно.

Восьмеро казаков передало своих лошадей восьмерым офицерам. Ещё полторы сотни сопровождало их эскортом, ибо впереди ожидалось неспокойно.

В пять минут восьмого медленною рысью, цокая по гладким камешкам найденбургских мостовых, кавалькада тронулась на северный выезд. В радостном солнце оглянулись на старый орденский замок.

По желанию командующего лишь после его отъезда, в 7.15, перед самым снятием аппарата, была отправлена последняя телеграмма в штаб фронта:

«... Переезжаю в штаб 15-го корпуса, Надрау, для руководства наступающими корпусами. Аппарат Юза снимаю, временно буду без связи с вами. Самсонов.»

* * *

НЕ РОК ГОЛОВЫ ИЩЕТ —
САМА ГОЛОВА НА РОК ИДЕТ

* * *

32

(14 августа)

День за днём германцы вели цельное армейское сражение, и перерыв связи с дальним корпусом Макензена даже на несколько часов ощущался как чрезвычайный изъян: тотчас посылали авиаторов, тотчас искали окольные звенья восстановить телефонную цепь. Армейская же операция русских день ото дня разваливалась на корпусные: каждый корпусной командир, потеряв ощущение армейского целого, вёл (или даже не вёл) свою отдельную войну. А под Сольдау развал пошёл и дальше: защищал город уже и не корпус, а только те части, кто сами не хотели отойти.

И всё же германцы дали русским лишние сутки очнуться. Хотя генерал Франсуа ещё до полудня занял неожиданно покинутое Уздау и уже была ему открыта дорога на Найденбург, он не почувствовал себя оперативно свободным и не решился ограничиться против Сольдау лёгким заслоном, ещё вечером окапывался, ожидая контрудара. На то ж направлял его и армейский приказ на завтра: отказаться от движенья на Найденбург, отбрасывать русских за Сольдау.

Гинденбург особенно потому настроился так тревожно к своему южному флангу, что 14-го вечером, вернувшись в штаб армии от невесёлых дел в корпусе Шольца, получил известие, будто корпус Франсуа вообще разбит, а остатки его прибывают на железнодорожную станцию за 25 километров от Уздау. Гинденбург тотчас по телефону запросил станционного коменданта, и тот подтвердил. (Лишь ночью объяснилось, что это отскочил один гренадерский батальон, панически испуганный атакою петровцев,— по дороге же захватывал паникой обозы, и обозы докатились до самого штаба армии.)

А усиленный корпус Шольца, лишь на полдивизии меньше всех вместе центральных корпусов Самсонова, батареями же и сильней их,— весь этот день оборонялся на мюленской линии от сильного нажима Мартоса. То казалось, что Мартос обходит через Хохенштейн, то — уже взял Мюлен,— и туда, сорвавши с контрнаступления и даже приказав сбросить ранцы для лёгкости, срочно погнали дивизию — а не понадобилась.

Среди дня узналось и о занятии русскими Алленштейна, отчего германцам приходилось круто повернуть сюда корпус фон-Бёлова, уже стоявший на другой клешне, и Макензена, уже шагавшего на окружение распахнутую улицей, открытой ему Благовещенским,— коридором, двойнёй, чем требовалось.

Слепота осторожности охватила командоаание прусской армии: уже сквозил на юг от Шольца провал, уже распался там фронт, еле держалась четвертушка несобранного 23-го корпуса да рысила завесой конная бригада Штемпеля,— а Гинденбург предполагал тут два русских корпуса и не видел пути окружения. День выглядел неудачным, и не только на классические полные Канны не мог быть дан приказ, но даже на глубокий охват флангов русской армии. Мысли прусского командования были — собрать поближе свои разбросанные тринадцать дивизий. В ночном приказе на 15 августа план окружения был ещё умельчен: охватывать единственный только корпус Мартоса, самый помешный и самый успешный.

В генералах помпезной Российской империи всё ж не дерзали германцы предположить такое закостенение, такое полное отсутствие смысла в водительстве стотысячных масс! Вероятно же был какой-то план в этом странном выдвижении корпусов Самсонова пальцами разбросанной пятерни. Вероятно же был какой-то план и в таинственной неподвижности Ренненкампфа, чей молот был занесен и висел над затылком завозившейся прусской армии. Ещё и сегодня успевал бы Ренненкампф вмешаться в армейское сражение своею мощной конницей — и смять германский замысел. Но не использовал он потерянных германцами суток.

Чтобы окружить Мартоса, намечался удар на Хохенштейн с трёх сторон, а дивизией Зонтага, наицелой пока у Шольца, обходить Мартоса с юга, с рассвета обогнуть Мюленское озеро, взять деревню Ваплиц и её высоты.

Этот приказ пришёл в дивизию в двенадцатом часу ночи. Перед тем она несколько часов окапывалась, предполагая оборону, с опозданием получила дневной хлеб, и сейчас её солдаты только что ложились спать. Командир дивизии генерал Зонтаг решил опередить рассвет и наступать в темноте, используя внезапность. Тут же, перед полуночью, дивизию подняли и стали готовить к движению. Холмистая местность и неторёные песчаные тропы затрудняли ориентировку. Ощупью отыскивали сборные пункты, путались. Авангард сбился правей назначенной линии, голова главных сил — левей, туловище — средней колонной. А драгуны без ведома дивизии и без помех от русских ночью же въехали в Ваплиц и остановились там в расположении Полтавского пехотного полка. Затем русские патрули распознали их — и под стихийным обстрелом немецкая конница карьером ушла. Ещё в темноте русский полевой караул перед Ваплицем заметил приближение головной походной заставы немцев и, отстреливаясь, отступил. Перед рассветом, но в непроглядном молочном тумане, на Ваплиц пошёл в атаку развёрнутый немецкий полк, однако встретил отчаянный ружейно-пулемётный огонь русских, всегда особенно тревожный и злой на рассветном пробуждении.

Тут принялась и артиллерия обеих сторон.

33

К счастью, а больше к несчастью, характер Мартоса был — легко возбуждаться, долго успокаиваться. И все эти дни вскрутили его, а последний особенно: переменным характером целодневного боя; препирательствами с Постовским; и вместо помощи от присланной Клюевым бригады — хаосом в Хохенштейне; и напряженьем предугадать немецкие действия.

Обычно он всё-таки с вечера поддавался усталости, а просыпался позже, и гибла ночь. Но тут расколебало его так, что он и с вечера заснуть не мог. И из хуторского дома он уже в полной темноте вышел посидеть-покурить на скамье, как на Полтавщине любят сидеть на завалинках тёмными вечерами. Только там

они и в сентябре тёплые, а здесь уже зябковато. Мартос накинул шинель, но без фуражки сидел, холодил голову и от висков поглаживал назад, угоняя болевые точки. Принял и пилюлю. Ещё часок посидеть вот так, успокаиваясь,— тогда свалиться заснуть.

Он ждал корпуса Клюева, теперь ему подчинённого. Невозможно было надеяться, чтобы тот подоспел ночью,— но если бы к рассвету! Бой завтрашнего дня предвещал быть крепче всех этих, главный бой всей Восточной Пруссии сосредоточился теперь здесь — и как же надо было удвоиться силами к утру!

К полуночи стрельба вся стихла, уже не отблескивали вспышки. Слабые, беззвучные, изредка засвечивались огоньки и гасли. Звёздное небо обещало и назавтра погожий день. Да при разбросанности их армии это и лучше.

Все эти дни Мартос, по сути, одерживал одни только победы: он не оставлял противнику поля боя, непрерывно и повсюду атаковал его и теснил, хотя артиллерии у него было заметно меньше, и не всегда подвезены снаряды, а тем более продовольствие и фураж. Но никак не видел Мартос, чтоб из этих его непрерывных побед складывалась одна большая. Все его победы оказывались какими-то тщетными.

Нужно было сейчас удвоиться! — и все победы сольются в одну окончательную!

Но корпус Клюева — не шёл, не шёл. Ни даже посланец от него.

И наконец в ночной темноте прискакал казачий разъезд.

Кажется из рук хорунжего взял Мартос письмо — и нервно пошёл с ним к свету, внутрь.

Нет, это было не на войне!! Нет, это было не от генерала!! Это старый подагрик писал своему знакомому за два квартала, что не может придти поиграть в карты. А Мартос надеялся, что Клюев сам пойдёт на помощь! Нет!!! Уже *подчинённый* Мартосу, он отвечал, что *нет возможности* поднять корпус ночью! Что корпус выступит с утра 15 августа, но и это имеет смысл лишь в том случае, если генерал Мартос берётся и гарантирует сохранить своё расположение ещё сутки, до утра 16-го.

Убийственно!! Жбан с квашнёй, а не генерал!

И что ж оставалось?

Воевать...

В Куликовскую битву витязь Мартос из дружины брянского князя — отбил от группы татар великого князя Дмитрия Иоанновича.

Отходить? Выйти из боя теперь ещё трудней, чем наступать.

Значит, продолжать напористо, как продолжает играть опытный актёр, всё равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнёры его сбились и несут околесицу, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что скнозняком несёт, что публика громко шепчется и почему-то жмётся к дверям. Продолжать играть-воевать с отчаянной лёгкостью: пусть только не от него провалится спектакль, а может ещё и вытянем.

Всё тяжёлое — и войну, и бой, трудно начинать. Но когда уже влез в хомут — какое-то время воспринимаешь его как свой естественный воротник, уже тебе не странно в нём.

Снова — наружу, в темноту.

Нет, всё-таки постреливали слева. За Ваплицем.

Да, там не успокаивались.

Завтра было пятнадцатое число, всегда важное в жизни Мартоса, как и удвоенное, тридцатое. Много роковых и просто заметных, плохих и хороших событий случалось с ним в эти числа. И когда он дивизией командовал — то 15-й, и теперь корпусом — 15-м, а в нём был 30-й полк — и конечно Полтавский, по родине Мартоса. Так что завтра надо было особенно не моргать.

Постреливали, не унимались. Да, это между Ваплицем и Витмансдорфом. Там идёт глубокий овраг. Серьёзное место.

Сколько убитых за эти дни! А как устали те, кто не убит и не ранен! И какие офицеры погибли! — всех их Мартос знал. Годами знал, в неделю слизнуло. Нескоро будет им замена. Какая будет замена настоящим строевым офицерам, если их не делят между фронтом и запасными полками, а с первых же дней всех на фронт? Так можно два-три месяца провоевать. А если больше?

Стреляли и стреляли. Для неопытного уха — ну, просто не угомонятся, чудится им что-нибудь ночью. Но ухо Мартоса отличало: это не случайность. Так бывает, когда в темноте шевелятся массы. Стреляют, может быть, и наши, а готовят что-то немцы.

Он поставил себя на место Шольца, перебирая обстановку прошедшего дня. Да, удобное направление для охвата фланга. И время удобное. Мартос как *увидел* ночное наступление немцев оттуда.

И как раз уже организм генерала подготовлен был рухнуть спать. Но — предупредительный огонёк загорелся в нём. И он пошёл в комнаты, поднимая от сна неохотливых и ленивых, звоня по телефону и рассылая ординарцев.

Он велел поднять корпусной резерв, вести в ту лощину и ставить поперёк, обещал и сам быть скоро. Он дал распоряжение по артиллерии: двум батареям сменить позиции, другим приготовить новое направление стрельбы. Налево, двум оставшимся, хотя и ослабленным, полкам Мингина — Калужскому и Либавскому, он послал предупрежденье о ситуации, в сам Ваплиц командиру Полтавского — приказание подготовиться к возможной ночной атаке.

И вот уже были на ногах штабные, ненавидя своего генерала-зуду с осиной талией. И тем более где-то в темноте чертыхались поднимаемые и перемещаемые полки и батареи. Только бессмысленной дерготнёй и могли показаться измученным сонным людям эти ночные приказы.

А Мартос снова курил, пружинно расхаживал по засвеченным комнатам, пренебрегая недоброжелательством, принимая доклады о предпринятых действиях. Конечно, всё могло быть подозрительностью его ушей и вкрадчивостью рельефа под Ваплицем,— но не для того корпус шёл сюда десять дней и бился пять, чтобы теперь проспать поражение. И уже, кажется, генерал больше желал немецкой атаки, чем мирного рассвета.

И вдруг — в самом Ваплице загремело заливисто в сотни ружей. Мартос кинулся на свой чердак — и ещё застал багровое мелкое переблескивание у Ваплица, постепенно однако стихавшее.

Так! Он не ошибся! Велел подать коня и поскакал к резерву, в тот овраг.

Рота, в которой был взводным Саша Ленартович, входила в Найденбург одной из первых, с пальбой и манёвром,— а боя не было. Затем неся в Найденбурге комендантскую службу, они пропустили и бой под Орлау, лишь хоронили трупы там. Только 14-го после обеда они догнали свой Черниговский полк, но их бригаду как раз отвели в корпусной резерв. Однако до вечера гудело со всех сторон, нескончаемо брели и ехали раненые, и видно было, что в следующий день не миновать им мясорубки. А чтоб извермишелить роту, взвод, покалечить отдельного человека — совсем и не надо целой войны, кампании, месяца, недели, даже суток, довольно четверти часа.

Холодную ночь на 15-е взвод Ленартовича спал в сенном сарае, и, если в сено закопаться, было даже жарко. Солдаты спали как будто крепко, с удовольствием, не травя себя завтрашним днём. Теоретически и Саше должна была бы нравиться такая демократическая форма ночлега, но за эти дни неумываний, нераздеваний и возни с быстро гниющими трупами, ему нечистота и неудобства опротивели, вся его кожа зудела и как бы нервами изнывала. И он ворочался в жарком сене и выходил наружу охладиться.

А больше всего не спалось не от близости возможной смерти, нет, но — от неуместности её. За светлое великое дело Саша готов был бы умереть в любую минуту! Не то что с отрочества, но с детства колотилось его сердце от ожидания, что вот-вот произойдёт необыкновенно важное, счастливое н е ч т о, вспыхнет, озарит и преобразит всю жизнь и в нашей стране и по всей земле. И не совсем маленьким был Саша, когда уже вспыхивало, уже озаряло, вот кажется дождались! — а погасло, затоптали. Так вот: цепи железные Саша готов был разбивать не то что голым кулаком, но — собственной головой. А что передёргивало ему сейчас кожу хуже грязной одежды, что изгрызало его тоской,— это что он попал *не туда*, и теперь с бессмысленной лёгкостью мог умереть *не за то*. Нельзя было влипнуть хуже: в двадцать четыре года погибнуть за самодержавие! После того, что так рано удалось тебе узнать истину, и стать на верную дорогу, и значит остальная жизнь уже пошла бы не на слепые поиски, не на гамлетовские сомнения, а на д е л о, — погибнуть в кровавом чужом пиру, жалкою пешкой держиморд!..

И как это вышло несчастно, что Саша не попал ни в тюрьму, ни в ссылку,— там среди своих, там цель ясна, там наверняка б он сохранился и для будущей революции! все порядочные революционеры — там, если не в эмиграции. А его три раза задерживали — за студенческую сходку, за митинг, за листовки, и всякий раз отпускали, так легко отпускали по юности, не давая возмужать! Конечно, ещё не потеряно. Если вот эти ближайшие дни, когда рубят и месят, рубят и месят, проскочить, то надо искать надёжный уход из армии, лучше всего — под суд, только не по военно-уголовному делу, а — за агитацию.

Да в агитации и был бы истинный смысл его пребывания в армии, он пытался, но всё зря. Солдаты его взвода оказались, как на подбор, далёкие не то что от пролетарской идеологии, не то что от зародыша классового самосознания, но даже простейшие экономические лозунги, которые в их прямую пользу идут,— долдонными своими головами не могли освоить. Своей тупостью и покорностью — отчаяние вызывают они!

Как же сложно-петлиста история! Вместо того чтобы прямо идти к революции, заворачивает вот на такую войну — и ты бессилен, и все бессильны.

Поздно ночью стало утихать, но когда Саша наконец задрёмывал — пробивало сон выстрелами, как гвоздями. Потом какие-то крики близко, топот, кто-то кого-то искал, и как же хотелось, чтоб их не коснулось! — улежаться, вжаться, пусть хоть пули сверху свистят, не вставать! — и всё равно подкатило их роте: «в ружьё-о-о!».

Проклятые военные порядки! Какой-нибудь же дурак придумал, и всё зря, а подчиняйся. Из тёплого милого сена выбираться, выпиваться наружу, в сырость, во тьму, а там и под пули, и не только самому выходить, путаясь шашкой никчемушней, но ещё делать бодрый голос перед солдатами, притворяться, что тебе очень важно вывести и построить взвод во всей амуниции и слышать от унтера и от солдат омерзительные рабские «никак нет» и «так точно»!..

А там — «напра́-во́! ша-га́м...» — покинули они свой тёплый сарай и в полной темноте, спотыкаясь, натыкаясь, едва не за руки держась, побрели куда-то.

Говорили, что идут на выручку Полтавскому. Чёрт бы с ней и с выручкой, не лезьте первые, не надо б и выручать.

По ощупи ног они перешли железнодорожную линию, зацеплялись за стрелки, отводы рельсов, упирались в стену — тут была станция Ваплиц, бездействующая, видели её днём. Спотыкались по неровному, шли по кривому — и выбрались на гладкое шоссе, где команда была перестраиваться по четыре, и Саша повторял и перестраивал своих. Тут на шоссе собрался весь их батальон, и больше,— и всем скопом пошли они дальше в темноту, но хоть по гладкому.

Перешли мост. Потом передавали по цепочке: «Осторожно, слева обрыв!» А тьма, ничего не видно.

И вдруг — стали сильно, отчаянно, надрывно, гулко палить впереди! Такая стрельба, что и по дню была бы страшная, а тут — ночью! По ним? Нет, не по ним, никто не падал, и пули не свистели, и даже вспышек не было видно почему-то, но очень близко впереди, совсем рядом, вот-вот предстояло столкнуться.

Странно задрожали коленные чашечки, только они одни, крупно запрыгали, запрыгали отдельно от ноги, как никогда не бывает. При свете могло бы стыдно быть, но в темноте и самому не видно.

Стали голосно, зазывисто командовать разворачиваться в цепь, кому вправо, кому влево. Спотыкались с крутой дорожной насыпи, наугад чавкали по болотистому месту, холодную воду напуская в сапоги, там по бугоркам, да по ямкам, да по огородной посадке, что ли,— а пока дошло ложиться, вся стрельба впереди начисто утихла. И раздались команды опять собираться на шоссе и строиться резервным порядком. И опять спотыкались, в канаву попадали, чавкали по тому же мокрому месту, лезли опять на шоссе.

А коленки всё прыгали, скакали, не унимаясь. Сами по себе.

Снова долго окликались, разбирались, строились. Опять пошли. Как ни было темно, но различили, что шоссе вступило в лес. Прошли его. Вот что, из-за леса и не было тогда вспышек видно.

Дальше все батальоны пошли по шоссе, а их опять спустили по откосу — теперь на мельничную плотину, через речку. А там — полезли и полезли вверх, открытым полем, твёрдой землёй.

Стрельбы большой опять не было, и опять решил Саша, что водят их зря, только ноги ломать. Коленки успокаивались. Да это не от страха, он вовсе не боялся. Он только чувствовал, что это *не то, не там*, и уж здесь-то голову складывать никак не надо.

Как будто светало, но видимость нисколько не лучшела: ночная мгла заменялась даже и тут, на возвышенности, густой, туманной.

Дальше погнали их не то без дороги, не то плохой полевой, об сапоги цеплялось, что там росло, но главное — местность вся была в буераках, в каких-то провалах, ямах, буграх, камнях, и говорили солдаты, что здесь черти в свайку играли, они и наворотили.

И тут — совсем уже близко от них, правей на версту, опять залилась стрельба, в несколько сот ружейных стволов. И пулемёты! Но всё ещё не сюда летело: справа и ниже был бой, а им надо было вéрхом идти, и — скорей, скорей! А вот стала толкать и рвать, толкать и рвать со мглисто-огненными вспышками — артиллерия! Наша! Перелетало через головы и — нá тебе! на тебе! Шрапнель поблескивала в молочном тумане мутно. Стала и немецкая отвечать, невдалеке направо её разрывы.

Нисколько не желая и не добиваясь победы, всё ж с отрадою отметил Ленартович, что наша артиллерия перевешивает. Это противоречило принципу «чем хуже, тем лучше», но обещало, что осколком не просверлит. В таком грохоте именно *нашей* артиллерии была какая-то жуткая несомненная красота.

Всё светлело, но молочнело, уже в трёх шагах — только туман, и вспышки видны всё хуже. И в этом густом молоке, по этим ломоногим буеракам их уже гнали, ружья наизготове,— бегом, они не успевали куда-то! Они взбегали, задыхаясь, и тут же вниз, и опять вверх, и опять вниз. Безопасней было бежать нагнувшись, но при такой беготне подкашивались ноги. И бежали в рост. Несколько шрапнелей разорвалось над ними, но, видно, так высоко, и в сторону, что пули падали безобидным горохом.

Велено было развернуться в цепь и стрелять навскидку. Стали стрелять, а в кого, куда — ничего не видно, и бежали дальше. (А уж прицелы переставлять — этого Саша не командовал, да и сам не помнил.) Наших убитых и раненых не падало. Бежали каким-то обходом, что ли. И всё больше местность забирала вверх. В груди колотилось, сжималось, сил нет бежать, ещё в этой сырой мгле.

Совсем уже стало светло, уже и солнце могло бы взойти, но в сплошном на весь мир тумане не виделось даже мутным кругом.

А как стала местность чуть спускаться — тут навстречу им, невидимым, невидимый ударил и противник. Вспышки его лишь чуть мельтешили, но близко свистели пули, а одна ударилась о камень и взбила яркий огонёк.

Давно была забыта нéспанная ночь, нехотные блужданья, мокрота ног, и даже грудь заложенная от задоха,— теперь пошло на минуты — сшибём или не сшибём? успеем или не успеем? Или мы их — или они нас! Все солдаты поняли и вошли во вкус, и Саша с ними. Подсумки полные у всех, стреляли охотно, азартно, самим же уши разрывало от своей стрельбы, в своей же гари нечем было дышать — а рвало и рвало огонь в молоке. И — чтоб не по своим! Саша поправлял, кого мог. И заметил, что сам из револьвера стреляет, хоть это было и бесполезно. И через канаву прыгали, и через изгородь перескакивали, а вот уже и через убитых — не наших, немцев! И жуть разбирала, и гордость: ах, здорово идём! ах, всё-таки сила мы, сила ...битская!

Это уже они в деревне бились, за домами прятались, высовывались, обходили. Несло солдат с выставленными штыками, не удержать, и Саша со странным удовольствием тоже стрелял, и одного-то немца точно он ранил, тут же его и в плен забрали.

А за всё это время накалился слева от них красный шар — и через белую мглу прорвал наконец: солнце! Ещё весь мир качался в тумане, но вот уже начало отделяться и проясняться. Теперь видна была крупная роса на затворах и на штыках, у кого окровенелых. С их высоты туман уже утягивало клочьями — и хорошо были лица видны: с запыханной радостью злой. И то же чувствовал Ленартович. И бисерилась трава синими, красными, оранжевыми вспышками, и уже пригревало победителей желтеющее солнце нового дня.

Как-то легко всё к концу получилось. Не похвальба, не наслышка, а вот их собственного батальона конвой проводил через деревню назад пленных человек триста, и с дюжину офицеров, мрачно нащуренных против солнца, кто егерскую шапочку потеряв, кто без карабина. А у нас, после разбору, на весь батальон — трое убитых да десяток раненых, в их взводе — один, и в строю остался, весело расхаживал и рассказывал.

А за это время выступала и выступала из тумана как бы театральная декорация на эффект, набиралась высота, глубина и перспектива, точными линиями до дна оврага очертились все предметы, живые существа, и мёртвые, легли солнечные светы, и долинные тени, и проступили цвета посадок и зелени,— и с их высоты Витмансдорфской, с откоса, хорошо было видно, как по овражному дну ведут колонну остроконечных касок в несколько сот, а глубже того — набито нашей картечью трупов.

Всё это наблюдал Ленартович, уже никуда не спеша, никуда не бежа, уже ничего не боясь, со скамейки за садом, куда сел отдыхать. Странное торжество распирало его — победы не в диспуте, но телом своим, руками и ногами. Он так сидел, как будто и был тот главный полководец, перед которым внизу проводили его триумф. Солдатам не дали отдохнуть, им крикнуто было окапываться на краю деревни, и Ленартович вынужден был это приказанье им передать, но сам-то он не должен был копать, а мог на скамье посидеть, смотреть на этот завоёванный вид театральный, на тёмноголубую долину, и в замолчавшем мире — никто уже поблизости не стрелял — ещё и ещё перебирать свою радость, анализировать внезапные чувства свои.

Вот сейчас было — легко! Сейчас надежда через край переливала: переживёт он эту войну! И как дорого — жить! Вот на такое утро хотя бы сидеть и смотреть. Или — бежать по холодку. Или — на велосипеде катиться вон той дорогой обсаженной, чтобы ветер свистел. Или — в рот забирать оранжевые мягко тающие южные абрикосы. А — книг ещё не читанных! А — дел даже не начатых! Нет!! — черезо всю груду книг, конспектов и даже *литературы* (насущной, нелегальной), лет, месяцев и часов, иссиженных в Публичной библиотеке,— выворошилось, выдвинулось и в небо взнеслось обелиском сожаление острое — а женщины?! А женщин — как мог он эти годы миновать? Разве не они — самое главное, для чего мы все остаёмся жить?

Это была не высокая мысль — но вот именно так она была. Полчаса назад Саша мигом мог потерять всё — и набранные званья, и убежденья, и кровообращенье. А память о женской любви как будто оставалась бы на земле чем-то вещным, не пропащим. Её как будто пуля не брала.

Сейчас это радостно проявилось, что — будет. А последние дни Саша был как с открытой горящей раной, задевало её всё, где не ожидаешь. Увлечённо спорил с врачом на ступеньках госпиталя — вышла сестра милосердия — рослая! крупные груди — с ним не сказала слова, и никогда он её не увидит,— а как полотенцем хлестнула по открытой ране, ушла. И разные такие воспоминания прошлых лет в эти дни подступали и щипали всё ту же рану.

А захватистей всего — вот совсем же в Петербурге недавно, в последний приезд,— Еля, сокурсница Вероники. Всего-то видел её несколько раз — приходила к сестре, да компанией ездили на лодках, да на студенческой вечеринке, а отдельно, особо — ни вечера. На лодках он был сердит, надоело это смакование белых ночей, отвечал всем резко, а Еля, молчаливая и тоненькая, сидела на носу лодки, как та женская фигурка, которыми скандинавы украшают носы кораблей. А на вечеринке Саша разошёлся — тогда бывает он остроумен, быстр, неотразим, все его слушают, и Еля слушала пристально, однако с необычной в их компании манерой: все их девушки смело говорят, имеют мнения и отстаивают их, а Еля смотрит тёмными глазами, загадочно промалчивает все рассказы, все споры, нельзя понять — соглашается или протестует, только разжигает к аргументам. На узко-маленьком её лице губы детско-подушечные, но очень запоминаемые — один раз мимоходом, в шутку, они поцеловались.

Однако в Петербурге он ничего не дочувствовал, и не искал побыть с ней

вдвоём: петербургские дни были наполнены, и не предполагалась же война, а скорый конец его службы. Ещё за её воззрения, не принятые в их круге, он был мало внимателен к ней.

Но с первых же дней войны вдруг как омытая выступила перед ним — Еля! Еленька! — Ёлочка! И он изводился от упущенного сладкого жала, от собственной глупости в Петербурге в июне, как же мог он тогда не разглядеть и не притянуться этим: она вся — колеблемая. Самое порочное, что может быть в мужчине, колебания, в ней было — самое женственное. Недоумённые колебания бровей. Колебания головы. Колебания шеи. Колебания плеча. А особенно — колебания всей узкой маленькой точёной фигуры её, когда, убыстряя ходьбу, она смешно переходила в бежок.

Как скромно-коварная зыбь, дошедшая, начинает качать, кидать корабли,— так Сашу и, более того, его будущую важную жизнь — Еленька этими колебаниями уводила, увлекала за собой. Сейчас-то он понял: ему своими руками надо, необходимо, невозможно не — остановить эти колебания! в своих руках успокоить её — и только тем успокоиться самому.

Но даже её фотографической карточки он тогда не догадался попросить, а теперь взывал в письмах, письма ползли черепахами через цензуру, и только шутливую двухстрочную приписку от Ёлочки он получил в вероцином письме.

Теперь — теперь надо было защищать это чёртово о т е ч е с т в о.

34

Русский комендант Найденбурга полковник Доватур только случайно, от телеграфиста, узнал, что армейский штаб из города уехал, последние уезжают сейчас, телеграф снят. А ему — никто не оставил распоряжений. За делами стратегическими о нём забыли. Он кинулся к оставшимся штабным, но те только плечами пожимали, они свои последние ящики торопились укладывать на подводы в Янув.

А тут хорунжий из 6-го Донского привёз командующему донесение от командира сводной конной бригады — и комендант не знал, куда его посылать, а принять донесение тоже не мог. Он слышал ночью краем уха, что бригаду подчинили генералу Кондратовичу, но где этот Кондратович, где его штаб — и вовсе никто не знал. Тут же вынырнул и другой курьер: всю ночь скакал из Млавы, вёз варшавскую почту и в том числе, настаивал, письмо генералу Самсонову от его жены. И обоим этим курьерам, не отнесенным к коменданту, он так же мало мог посоветовать, как ему самому — штабные, к которым он не был отнесен.

Только вчера к вечеру дотушили все пожары, хорошо убрали улицы, только бы сейчас, на шестые сутки, начать городу нормально выглядеть, магазинам торговать,— но уехал штаб и, словно того дожидавшись, с севера на юг потянулись по улицам обозы, и пехота, да не строем, а малыми группами, разбродом, даже и в одиночку, и все спрашивали «дорогу в Россию».

А улицы Найденбурга — две подводы в ряд, и вот уже забита; останови передних на ратушной площади — и вот уже весь городок забит; и нижние чины без офицеров друг другу кричат осадить, подводы сцепляются ба́рками, рвут упряжь, солдаты дерутся, а подошедшему вежливому офицеру дерзят. А в окна со внимательным злорадством поглядывают немки. И надо выдержать в городе порядок силами комендантской неполной роты, расставленной ещё и на караулы, да любезным содействием вальяжного бургомистра.

Своими малыми силами комендант заставил два северных въезда в город и велел напрввлять все части в объезд. И это б ещё пошло, но сбегав в дивизионный лазарет и в госпиталь, комендант изменил своё распоряжение так: подъезжающие обозы просматривать, все маловажные грузы выбрасывать, а телеги подавать под эвакуацию раненых. И сам отправился на заставу, подготовляя взвод к возможному применению оружия против непокорных.

А в госпитале врачи совещались. За час-другой после отъезда штаба армии в воздухе города уже потянуло сдачей. Война только начиналась, и ещё нельзя было точно знать, как твёрдо будет соблюдаться женевская конвенция о раненых 1864 года: что госпитали считаются нейтральными, не могут быть ни обстреляны, ни взяты в плен и обязаны принимать раненых от обеих сторон; что персонал их неприкосновенен и во всякое время волен хоть остаться, хоть уйти; что после оправки от ран отпускают на родину и самих раненых под честное слово больше не касаться оружия; что частный дом, принявший раненого, тоже попадает под охрану конвенции. Нельзя было предположить, почему бы через полвека после подписания конвенции война могла бы ожесточиться, но газеты уверяли о немцах так, а сами врачи тоже заметили, что при обилии раненых и недостатке коек невозможно совсем равно относиться к своим и чужим. Итак, готовя госпиталь к эвакуации, нельзя было предсказать, что ждёт остающихся. Разделили врачей, кто едет, кто остаётся. Делили сестёр. Оставляли пожилых из общин Красного Креста, с хорошим опытом ухода. Молодых же добровolок, прошмыгнувших на передовую в суматохе мобилизации, отправляли в тыл. При разной степени переимчивости, ничего путного они ещё не умели, только хихикали, одна забавница в коридоре на велосипеде сбила провизора. А вот Таню Белобрагину, всегда безрадостную, Федонин просил старшего врача непременно оставить: хотя не было у неё настоящей подготовки, но очень серьёзно она взялась и кроме общих дежурств сосредоточилась на лицевых и шейных ранениях. Она и не попросится уехать.

Вообще, работа вся скашивалась: ожидая команды на снятие и при многих сотнях уже лежащих раненых, нельзя было оперировать, а только перевязывать. Шли начинать отбор для эвакуации. Но как делить? Даже в неподвижном госпитале не было верных средств борьбы с гангреной, а в тяжёлом пути?

Раненым старались прежде времени не объявлять, но они сами почувствовали необычность обхода, забеспокоились. Каждый, кто в сознании и малом движении, просился ехать. Потому ли что вместе лежали и на виду было, все ощущали как нечестность: остаться отдыхать, когда земляки воюют.

Санитар доложил, что какой-то полковник шибко добивается врачей.

— Валерьян Акимыч, схо́дите?

Федонин быстро пошёл к выходу. На треугольную площадь уже стягивались пустые подводы, почти забив её всю. На каменном крыльце, раскрыв планшетку с картой, допрашивал раненого ходячего унтера запалённый помятый полковник с надорванным кителем на приподнятом плече. Порывисто повернулся к Федонину:

— Вы врач? Здравствуйте. Полковник Воротынцев, из Ставки.— Как побыстрей, пожал руку.— Скажите, есть у вас свежие раненые с передовых позиций и в сознании? Разрешите расспросить их? Офицеры?

Кажется, и врачи не засиживались, но темп этого полковника, плотного, а очень подвижного, сильно превосходил. Федонин поддался ему, быстро вспоминал:

— Есть. Ночные. И утренние. Есть подпоручик из 13-го корпуса. Был изрядно контужен, но отошёл, сейчас в полном сознании.

— Из 13-го?? Интересно! — удивился, насторожился, ещё убыстрился полковник. И уже сам вёл Федонина за локоть сильной рукой.— Вы же — 15-го, откуда 13-го?

Лестницей, коридором, через две палаты — идти им было немного, и Федонин тоже заспешил:

— Скажите, что будет с городом?

Полковник метнул ясным взглядом на Федонина, только сейчас рассмотрел его не как дателя справок, покосился вправо, влево, и — тихо:

— Если удастся построить оборону — ещё подержимся.

— *Построить?* — сразу схватил Федонин.— Так неужели... ? И штаб армии?..

Полковник только губами тпрукнул.

— Тут с западной стороны...

Но уже входили в палату — и полковника, со всей его готовностью, как ударило, откинуло, он омрачился, сморщился — на рубеже сгущённого запаха лекарств, крови и гноя.

В первой палате, у самого прохода, батюшка напутствовал отходившего, епитрахилью накрыв его лицо.

— Верую, Господи, и исповедую...— который, который, который раз за эти

дни произносил он глуховато, заученным распевом, а как будто всвеже, не соскучась.

Во второй палате у окна нашли того подпоручика, и как раз Таня Белобрагина сидела на его кровати, поднялась при подходе их, в межоконьи стала к стене, руки опущенные за спиной, и в глубоком тёмном взгляде застыла.

А подпоручик, обмотанный по лобной полосе головы, но уже с возвратом мальчишески-быстрого зоркого взгляда, ещё стараясь для пришедших, готовно встретил их.

Федонин попробовал его щёки, пульс:

— Вам легче намного, да?

— Да! да! — радостно уверял веснушчатый подпоручик, и подтягивался в кровати выше, не зная, как быть полезнее.

— Вам говорить, отвечать не трудно?

Таня покраснела:

— Мы — немного, он земляк оказался.

Её и не заподозрить, чтобы много.

— Вы какого полка? — уже сидел на кровати полковник и разворачивал карту.— Вы разве при 15-м корпусе?.. А когда вы к нему пришли?.. Где вы стояли? Где ранило вас?.. А какие там части рядом?..

Подпоручик полусидел на подушках, светло-влюблённо смотрел на полковника и отвечал ему как радостный экзамен, гордый, что знает и все билеты и на дополнительные вразброс. Тем невидимым юношеским светом жертвы он был освещён, который зарождается ещё до женщины и без неё. Он слышал через шум, голова слабая, затруднялся в речи, но старался преодолеть и как можно чётче отвечать. Он уверенно показывал по карте, как из Хохенштейна их вчера вечером водили на запад в сторону близкого боя (а про себя: чего стоило всех собрать, дозваться, дослаться, из города вывести), и как опять отозвали (в который раз, никогда не доводя их полка до боя!) и по бездорожью петлёй вернули зачем-то снова в Хохенштейн (и ещё была вечером паника, стрельба по своим, но это не к делу), а из Хохенштейна (опять не без труда) вывели на окраину в боевой порядок и вот тут-то... (Дальше маме можно рассказывать, не полковнику: разрыв до того близкий, что выразить нельзя, и только успеваешь: смерть! — перекреститься! — мама, прости! — а следующего разрыва уже не слышишь...)

— Да, а что у вас с плечом? — вернулся Федонин.

Вспомнил и полковник:

— Вы посмотрите? Меня вчера, видимо, осколком зацепило.

— Трудно ворочать? — щупал хирург.

— С затруднением.

— Зайдёте ко мне, на этом этаже. Вот, сестра проведёт.— А Тане: — Старший врач согласен вас оставить. Не возражаете? Можно застрять надолго.

Уставленный грустный взгляд сестры нисколько не переменился, не тронулся даже интересом. Кивнула:

— А кому же? Конечно.

И ждала теперь провести полковника. Когда он быстро водил головой, вся его решительность, кажется, была в короткой, но широкой дуговой бороде. При ней усы и не замечались: они не торчали, не висели, не закручивались — лишь потому осеняли верхнюю губу, что без усов офицеру не полагается.

А у подпоручика — ни усов, ни бороды, и даже никакого ещё характера в губах,— самая ранняя юность и добрые чувства, такой чистенький и вежливый, какие бывают при женском воспитании. Нич-чего он ещё не знает о жизни. Всего на год была Таня старше его, а умудрённей себе казалась — на десять.

... Плен?.. На всё была согласна Таня. Нечувствительно было бы сейчас — пленение, ранение. Ещё бы лучше — убило её поскорей. С надеждою, что убьёт без греха, руки самой не накладывать, она и спешила на фронт. Всё равно не могло с ней произойти хуже того, что случилось. Легче в пучине, чем в кручине.

Под окном, внизу, на узкой улочке виделась толчея, сумятица. Сновали солдаты разбродными группами и в одиночку, не строем. В тени остановилось несколько, обтирали пот, выбрасывали лишнее из мешков, лопатки, топорики, ящички с патронами — и пошли быстро опять. Никто их не останавливал. А два казака, наоборот, торочили что-то к сёдлам.

... Вместе читали. Вместе гуляли, за руки держась. И постепенными разговорами проходили путь, где каждый вершок незаменим, неупустим, остаётся потом на всю жизнь. Росло как растение, всему своя пора: листочкам, завязи, расцвету. Разве Таня не могла бы ускорить? — но не женская это доля, так нельзя. А *та* — ничем не лучше, не красивее, не добрей, не верней — налетела, схватила и увела. И нет того суда, где эту нечестность разбирают. А мужчины? — только разве и тверды на войне, больше нигде, ни в чём.

Каких толковых офицеров можно воспитать за два года — и как их умеют потом загубить за двадцать. Это движение всеготовности, эта боль за армейскую операцию на мальчишеском лбу!

— Господин полковник! — за рукав удерживал подпоручик, смотрел с надеждой и пересиливал затруднения речи,— я слышал, будет частичная эвакуация. А я — никак не могу остаться, это позор! Я не могу начинать жизнь с плена!! — заблесты слёз смочили ему глаза.— Попросите, чтобы меня вывезли непременно!

— Хорошо! — и полковник с силой пожал ему руку. С быстротой: — Сестра!

Таня круто повернулась от окна, всё оставив окну, о чём думала там, а сюда — внимание, старание неизнеженного, некапризного лица, так частого среди русских девушек.

Что за тёмный пламень взгляда, и твёрдость какая в лице — ещё не сегодняшняя — возможная! Или это от глубокого обхвата косынкой, когда скрыты и лоб, и шея, и уши?

— Сестра, я очень попрошу доктора, а вы уж тогда проследите, чтобы подпоручика Харитонова не оставили.— И, вот уж не легкомыслие было в её лице, вот уж не нуждалась в угрозе! — почему-то пальцем ей погрозил, сам не ожидал, а губы улыбнулись: — Смотрите, везде вас найду! Вы — откуда родом?

— Из Новочеркасска.

— И там найду! — кивнул. Быстро пошёл между кроватями.

А на каждой — замкнутый мир, единственная борьба в единственном каждом теле: буду жив или не буду? оставят руку или не оставят? И вся война с операциями армий и корпусов отступает как ничтожная. Пожилой, но развитой мужичок, может быть запасной унтер, умно-подозрительно поглядывает на всех из-под простыни. Другой катается, катается по подушке головой и хрипло выкрикивает.

Из шибающего, густого смрада палаты — скорее выйти, вздохнуть! Сестра провожала.

Когда вернулась, не сразу к тому окну, подпоручик уже осел, ослабел, побледнел, но ещё нашёл улыбку для Тани:

— А вы остаётесь, землячка? А вы напишите письмо своим, я возьму, аккуратно отправлю. Кто у вас там?

Лицо Тани стянуло как яичным белком. Суровой головой качнула вправо, влево. Не напишет она. Никому.

Никого.

После войны — куда угодно, только не в Новочеркасск.

Воротынцев успел бы рано утром в Найденбург и мог бы ещё захватить Самсонова, да сворачивал смотреть по пути, кто же держит фронт,— и не нашёл никого. Ещё гонялся за беглым Кондратовичем — и не нашёл. И к Самсонову опоздал.

Во фронте слева сквозил свищ, боля как в собственном боку, но никто не посылал войск туда, и войск-то не было, кроме Кексгольмского полка, заменившего Эстляндский и Ревельский, а распоряжался им генерал Сирелиус, но тоже кружил где-то непонятно, ни разу не доехав до фронта.

Изумленье вызвал и отъезд Самсонова: почему не велел укреплять Найденбург с северо-запада? почему не стягивал фронта, а уехал вдоль растянутого?

Остатки Эстляндского и Ревельского полков и их обозы едва не бесчинствовали в Найденбурге, но не ими мог заниматься Воротынцев. Он оставил Арсению коней и за полтора часа здесь, в нескольких кварталах мечась, выяснил, что произошло с армейским штабом; и убедил курьера-хорунжего познакомить его с донесением конной бригады, самому же подождать, пока не ехать; и от разных

людей, а больше от раненых, неплохо прочертил положение армейского центра; от Харитонова понял, как идёт у Хохенштейна, но что с остальным 13-м корпусом — тёмная молчаливая была загадка; ещё меньше можно было понять, есть ли надежда на вспомогающий удар Благовещенского и Ренненкампфа. И сам бы туда полетел-поскакал, да близкая левая дыра сквозила, звала. И из госпиталя выскакивая, кажется Воротынцев уже имел план.

Ещё и вчерашнее отступление к Сольдау не было последней катастрофой, если исправить его в этих часах.

У приметной скалы Бисмарка условился он встретиться с хорунжим.

Был при Бисмарке союз трёх императоров, и полвека жила спокойно Восточная Европа. Русско-германский мир полезней был этих манифестаций с парижскими циркачами.

Кони стояли там, привязанные к дереву. А в холодке за скалою, за клумбой, Арсений сидел. Он поднялся поспешно, но в полроста, и приглушённо, приклонённо, заветно:

— Ваше выскродие, перекусить надо!

Что-то было в котелке.

— Ты мне и вчера сухарём чуть дело не испортил... А коней покормил?

— А ка-ак же! — обиделся Арсений. И без того большой рот ещё распялил: — На кладбище попас, ха-рошая травка.

Позади скалы стояли два камешка скамеечкой и торчал под руку черенок ложки.

— А ты?

— А я после вас,— отсказался Арсений быстрым заученным почтением.

— Нет уж, давай сразу.

— Ну, ин сразу,— легко согласился Благодарёв, бухнулся перед котелком на колени и стал таскать себе.

Таскал левой рукой и Воротынцев, то жадно, то рассеянно, так и не вникнув, что там. А правой тут же на приподнятом колене, на твёрдой гладкой коже планшетки, торопился писать, чтобы хорунжего не задерживать:

«Ваше высокопревосходительство!

На левом фланге, потеснённом, но нисколько не разбитом (выиграли бой и отступили по глупому недоразумению!), находится треть вашей армии. Но там сейчас т р и командира корпуса (Артамонов — Масальский — Душкевич) и никакой единой воли. Если бы Вы сами сочли возможным приехать туда (6-й Донской полк сопроводит Вас в безопасности за 2—3 часа), Вы бы энергичным наступлением могли бы выправить всё положение армии: Вы бы связали и опрокинули генерала Франсуа, намеренного сейчас о т р е з а т ь Вас.

Мы вместе с Крымовым настоятельно просим Вас избрать этот шаг. Полковник Крымов сейчас заменил начальника штаба 1-го корпуса.

Я буду западнее Найденбурга, здесь почти никакой обороны, дыра.

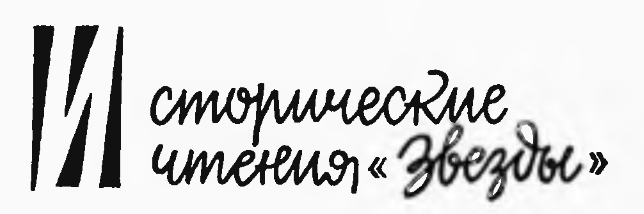
Полковник Воротынцев.»

А ещё надо было советовать: отступать центральными корпусами. Но прямо так он не смел, должен был догадаться Самсонов.

Подъехал и хорунжий. Воротынцев предупредил: донесение сжечь, съесть, только не противнику в руки.

А варшавский курьер потерялся куда-то. И письмо жены получить командующему была не судьба.

Продолжение следует



Я. Гордин

«ДОНОС НА ВСЮ РОССИЮ», ИЛИ МИФ О МАСОНСКОМ ЗАГОВОРЕ

25 декабря 1830 года во время рождественского молебна в Зимнем дворце произошла неприличная сцена. Генерал-майор князь Андрей Борисович Голицын, впав в истерическое состояние, стал выкрикивать нечто невразумительное. Вследствие сего он получил резкий выговор от Бенкендорфа, а затем генерал-майору Голицыну предписано было немедленно выехать к месту службы на Кавказ.

Этот скандал в неподобающее время и в неподобающем месте стал началом поразительных событий.

4 января 1831 года военный министр Чернышев передал императору Николаю Павловичу письмо, полученное им в свою очередь от дежурного генерала Главного штаба Потапова. Письмо было писано вышеупомянутым генерал-майором.

«Секретно.
3-го января 1831 года.

Всемилостивейший Государь!

Получив 28-го декабря от г. управляющего Главным штабом Вашего императорского величества повеление отправиться в Тифлис, я в ту же ночь собрался и выехал поутру из столицы, но совесть моя и долг священной присяги не позволили мне удалиться, не открыв пред Вашим императорским величеством весь ужасный, тайный, злоумышленный 25-летний заговор против Престола, Самодержавия и Славы России, заговор тем опаснее, что он имеет свои корни и отрасли не в России и приводится в исполнение медленно, безнасильственно, целым обществом, действующим с неимоверным согласием по всем правилам ужасной системы иллюминатства Вейстгаупта [1]. Многие иностранцы и, к несчастию, много русских из первых сановников находятся в сем обществе и состоят под непосредственным влиянием Парижской и Гамбургской пропаганд.

Я имею все акты, доказательства, свидетельства живых людей, которые готовы подтвердить истину присягою пред крестом и над евангелием, и я столь уповаю на благодать Божию, озаряющую сердце Вашего императорского величества, что Россия прославится под благословенною державою Вашею и те самые виновные поражены будут силою истины, из уст Ваших исходящей, и падут с повинною головою к стопам своего Монарха, прося пощады за тяжкие их прегрешения, и сами откроют весь свиток неслыханных беззаконий.

---

[1] Орден иллюминатов — подобие неканонической масонской организации — основан был в 1781 году баварским профессором Вейстгауптом для борьбы с обскурантизмом и иезуитским влиянием. При этом руководители ордена признавали в практической деятельности иезуитский принцип — «цель оправдывает средства» и вообще не скупились на грозные декларации. Собственно, приступить и какой-либо деятельности орден не успел. Два года ушли на создание структуры и поиски адептов, а затем — в 1784 году — орден был разгромлен баварским правительством. Ренегаты, выступавшие на суде над схваченными членами ордена, не пожалели мрачных красок. С того времени все политические катаклизмы в мире, включая Великую французскую революцию, приписывались козням иллюминатов.

Яков Аркадьевич Гордин (род. в 1935 г.) — поэт, литератор, историк. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета. Работал на Крайнем Севере в геологической экспедиции. Профессионально литературной работой занимается с начала 60-х годов. Основные работы: «Гибель Пушкина», «Мятеж реформаторов», «Право на поединок» и др. Живет в Ленинграде.

Дерзаю, Государь, принести мою глубочайшую признательность за то, что Вы благоволили не отринуть моих показаний и дали мне способы служить Вам как Русский вернейший подданный. Я не прошу у Вашего императорского величества снисхождения, мне минуло 39 лет. В 1812 году я был принят в масонские ложи; масонство научило меня познавать все ужасы иллюминатства, за которым оно имело всегда бдительный надсмотр.

Одна преданность мои к престолу и любовь к отечеству побуждают меня, я не боюсь строгого исследования, опасаюсь только преследования; но для полного успеха я должен убедительнейше просить Ваше императорское величество о соблюдении глубочайшей тайны ⟨...⟩

Моя надежда на Бога и на восхитительный, твердый и откровенный характер Вашего императорского величества, в сердце моем впечатлены слова умирающего дяди моего, наставника Вашего Н. И. Ахвердова: «Если Николай вступит на Всероссийский престол, он будет царствовать с твердостию Петра и мудростию Екатерины».

Позвольте, Государь, пламенеющему сердцу Русского заранее ликовать, видя подымающееся над главою Вашей новое зарево славы вторично спасаемой России от неслыханных козней врагов наших» [1].

Нетрудно представить себе, что почувствовал Николай, прочитав это послание. Всего 5 лет и 3 недели прошли с того страшного утра 12 декабря 1825 года, когда полковник Фредерикс, прискакавший из Таганрога от начальника Главного штаба Дибича, вручил ему пакет с подробными известиями о разветвленном заговоре, пронизавшем гвардию и армию. Неизбежно вспомнил он и юного подпоручика Ростовцева, сообщившего ему в тот же день о смертельной опасности в случае вступления на престол.

Разумеется, положение императора Николая в тридцать первом году по устойчивости не сравнить было с катастрофическим положением великого князя Николая пять лет назад. И однако же...

1830 год был тяжелым годом для империи и императора — революция в Бельгии, революция во Франции, восстание в Польше, чреватое распадом империи. При этом в России — неурожай, холера, сопровождаемая волнениями, грозившими перейти в массовые бунты.

В это апокалиптическое время страшно было получить донесение о существовании обширного заговора. Особенно должны были взволновать Николая слова о «первых сановниках». Со времени следствия двадцать шестого года у Николая и Константина сохранилось тягостное ощущение, что срезаны верхушки, разгромлены застрельщики, а стоявшие за ними «сильные персоны» остались в тени. И царь, и цесаревич слишком помнили историю убийства собственного их отца, организованного именно генералами и министрами, то бишь первыми сановниками.

Трудно сказать, сколь близко император Николай знал генерал-майора князя Голицына 4-го как человека. Скорее всего он представлял себе князя лишь как деятельного и энергичного офицера.

Бенкендорф же знал князя Андрея Борисовича прекрасно. Именно он ограждал в свое время императора Александра от страстного желания князя предлагать царю всякого рода универсальные советы. Неприязнь между ними существовала еще с тех пор. Отчасти из-за этого, но, как мы увидим, не только из-за этого Голицын отправил свой донос царю Николаю мимо шефа жандармов.

Тут надо оговориться. Я обратился к истории доноса князя Голицына отнюдь не из-за самого доноса. Но чрезвычайно характерна и вечно актуальна ситуация, вызвавшая к жизни этот текст и сложившаяся вокруг него. Ситуация еще по существу не проанализированная, хотя данный комплекс документов не мною первым был прочитан. На него обратил внимание в конце прошлого века Н. К. Шильдер. Но почтенный историк из обширного архивного дела выбрал, собственно, один только и не самый принципиальный сюжет — разоблачение Голицына отставным полицейским деятелем александровского царствования де Санглепом. Политический механизм возникновения доноса не заинтересовал Шильдера. Он считал, что интрига направлена была против одного человека — Сперанского. А это не совсем так.

В 1931 году несколько отрывков из этого дела процитированы были в замечательной книге «Жизнь Шервуда-Верного» талантливым историком И. М. Троцким, погибшим во время репрессий тридцатых годов. Но Троцкого интересовало только то, что касалось судьбы авантюриста, предавшего декабристов-южан. А это, опять-таки, лишь один и отнюдь не главный пласт материала.

Здесь я снова хочу оговориться: все, что будет рассказано, лишь один сюжет из многосложной, запутанной, ожесточенной борьбы общественных, политических, религиозных группировок в России первой половины XIX века. Немалую роль в этой борьбе последекабристского периода играли прошлые масонские связи, симпатии и антипатии, равно как и положение тех или иных деятелей относительно декабристских организаций [1].

Князь Голицын снесся с Потаповым и Чернышевым ранее 3 января. Его письмо, переданное Потапову в этот день, свидетельствует о подробных переговорах: «Прошу Вас о любезности передать его превосходительству графу Чернышеву, что я еще не готов и смогу вручить Вам бумаги, которые готовлю сейчас, не ранее чем к 7 часам вечера. Большая часть других бумаг находится в Петербурге, в надежном месте, и потребуется разрешение, чтобы совершенно секретно увидеть нынче вечером Шервуда». Из этого уже ясно, что свой выход на политическую сцену Голицын задумал не сию минуту, а куда ранее, и готовился к нему основательно и не один.

Затем князь потребовал соблюдения максимальной осторожности: «1. Чтобы каждая бумага, поступающая к Вам от меня, передавалась в запечатанном виде в Ваши собственные руки; 2. Чтобы эта бумага пересылалась кому следует Вашим адъютантом Чашниковым — он честный малый и настоящий русский; 3. Чтобы, если граф Чернышев не окажется дома, эта бумага ни под каким предлогом не оставалась в его домашней канцелярии; 4. Чтобы все мои бумаги со временем оказались на хранении у графа Орлова, ибо он еще не принадлежит к категории министров, следовательно, не имеет своей канцелярии с агентами иллюминатов; кроме того, я прошу в письме к Государю, чтобы Безобразов был назначен помощником Вашему превосходительству, а по части делопроизводства — секретарь Сената Лапашин, который был в Варшаве и знает все уловки иллюминатов ⟨...⟩ 6. Чтобы графу Орлову была поручена исполнительная часть и чтобы ни одна бумага не составлялась секретарем его превосходительства Ушаковым.

Попросите графа не обижаться на мое настойчивое требование удалить человека, против которого я ничего не имею, но я слишком хорошо знаю образ действий иллюминатов, и так же как я верую в то, что есть один Бог, я верую, что каждый министр, который не принадлежит к этой секте, не остался бы и на две недели министром, если бы его секретарь не был заодно с ними. Средства, которыми владеют эти господа, и возведенный в систему шпионаж столь ужасны, что, я полагаю, уже через несколько дней не будет ни одного портфеля, к которому они не подобрали бы ключа...»

Такова была прелюдия к обращению на высочайшее имя.

После письма от 3 января, которое было воспринято императором с тревожным любопытством, князь Андрей Борисович принялся усердно готовить основной текст доноса. Судя по объему документа, представленного им Николаю, по обилию сведений, выписок из книг и лекций университетских профессоров, донос не мог быть написан за десять дней. Он начат был задолго до января тридцать первого года.

14 января Николаю через того же Чернышеаа вручено было следующее послание:

«Великий Государь!

Я исполнил долг верноподданного, сложил с себя бремя тяжкое и повергаю весь труд мой, изложенный в скорби, к подножию престола Вашего императорского величества; счастлив, если он удостоится глубокого внимания Вашего, я готов дать всякое пояснение в случае какой-нибудь неясности в моей записке.

Всевышний, держащий в длани своей сердца земных царей, расположит и Ваше, Государь,— он дал и мне, недостойному, узел столь важных событий для представления Вашему императорскому величеству.

Развязка всего зависит от обстоятельства, столь ничтожного, что я стыжусь помыслить, чтобы все меры не были устроены свыше невидимою благодатною рукою Всеведующего для представления в ясность весь круг бедствия и спасения России...

Повергнется рыдающий к стопам Монарха виновник столь великого государственного преступления, припадут и соучастники его; вложенные к сему документы сделаются приступом ко всему делу.

Здесь ни капли не прольется крови человеческой, прольются в изобилии теплые и сладкие слезы и благодарность подданных Ваших, которые аознесут к престолу Всевышнего молебствия свои за благодать иметь иа престоле Монарха, христианина, одаренного столь великою силою и глубокою премудростию.

Августейший Монарх
В. И. В.
верноподданный князь Андрей Голицын,
состоящий по кавалерии генерал-майор».

Прочитав этот диковинный текст, император нимало не усомнился в здравости ума состоящего по кавалерии генерал-майора и внимательнейшим образом проштудировал толстую брошюру, которую являл собою донос. Содержание доноса столь интриговало императора, что он все эти десятки страниц прочитал в тот же день. Хотя время его было строго распределено.

Теперь и нам надо познакомиться с основными положениями голицынского сочинения, речь в коем шла о материи и сегодня животрепещущей.

---

[1] Тщательная писарская копия «Дела о доносе князя А. Б. Голицына» хранится в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина — ф. 859, к. 5, № 6.

[1] Этой проблематикой успешно занимается московский историк А. И. Серков.

«Я просил во всеподданнейшем моем письме Государя Императора допустить меня до открытия величайшего заговора иллуминатов в России против христианской веры, против самодвржавия и против народа Русского!..

В первой части доказывается существование секты иллуминатов. Из публикованных для охранения всех государств Баварским Правительством Актов, схваченных в бумагах иллумината Цваха, достойного сотрудника Вейстгаупта, в оных очевидно явствует, что ужасный сей заговор ведется против всех Престолов Божиих и Царских, против всех народов и что цель секты состоит в том, чтобы вкрадываться самым воровским и нечувствительным образом в Правления Государств, окружать Престолы легионами неутомимых членов секты, которые все должны стремиться к одной цели и самым тайным и нечувствительным образом овладеть воспитанием юношества и Духовных Академий; стараться истребить предрассудки, в числе коих поставлена вера христианская, повиновение к законным Царям и обязанности Гражданина к Человечеству, ибо нет у нее ничего святого. Мечтательная же окончательная цель Вейстгаупта состоит в том, чтобы водворить моральное всемирное Царствование и Патриархальное какое-то время по всему земному Шару и для сего блаженства должны прежде исчезнуть все Цари и все народы и тогда каждый, не требуя законов, руководствоваться своим разумом!!!

Во второй обнаруживается существование иллуминатов в России и по уставу секты сильное влияние их на воспитание юношества, которому внушаются все иллуминатские правила, противные христианской вере, противные обязанностям верноподданного, и самые опасные для самостоятельного всякого Государства, а тем паче самодержавного. Много статей, взятых целиком из Вейстгаупта, доказано, как хотят исказить грекороссийскую веру, заводить ереси, убивать в сердце Русских всякую любовь к отечеству, лишать народ своей национальности, нравов, здоровья, обычаев, портить язык введением иностранных слов, которые можно по произволу толковать, разорить финансы и благосостояние народное, все изменять, все переводить в недоумение, в смятении стараться помещать на Государственные места своих Адептов, чтобы иметь способ всеми силами день и ночь потрясать древние постановления, заменить крепкие учреждения самыми лукавосплетенными уставами, отягощать весь ход Правительства бумажными формами, под которыми кряхтит вся Россия, вынуждать от Вышнего Правительства беспрестанно меры, противные духу Русскому, клонящиеся единственно к ропоту и восстанию всех сословий против Государя, и, все перепутав, с каждым днем прибавлять систематически хаосную глыбу, уже всякому видимую в России, угрожающую все задавить падением своим и увлечь Церковь, Монарха, Все!»

В этом прологе видны уже основные идеи доноса и тактика, выбранная непосредственным автором и его вдохновителями. Но пока что обратим внимание на одну только черту — нелепые вымыслы перемешаны с совершенно реальными пороками системы.

Князю Андрею Борисовичу нельзя отказать ни в общественной страсти, ни в убежденности, ни в стилистическом темпераменте. И можно с уверенностью утверждать, что пролог император читал не без волнения. «Хаосная глыба», готовая рухнуть на империю и похоронить ее, мерещилась и ему, Николаю. При всей его внешней самоуверенности и бодрости он сознавал глубокое неблагополучие ситуации. Особенно в этот момент...

Но первая часть должна была привести его в недоумение. Ибо в ней, собственно, разворачивались декларированные в прологе идеи — и не более: Голицын продолжал пугать царя ужасными намерениями «иллуминатов». «Виды его (Вейстгаупта.— *Я. Г.*) простирались на всю вселенную, в цель клонилась к низвержению христианской веры и к отнятию власти от всех земных царей и правителей, что должно было произойти безнасильственно, в тайне и нечувствительным образом...» через полвека.

Тут Николай должен был вздрогнуть, ибо только что минуло ровно 50 лет с 1780 года, и, стало быть, сроки наступили. И рухнул трон законной династии во Франции,— а с Франции всегда все начиналось,— изгнан законный монарх из Бельгии, польский сейм низложил Николая с королевского престола.

Голицын и те, кто стоял за ним, прекрасно понимали магическую силу подобных совпадений. И все дальнейшие старания автора доноса на то и были направлены, чтобы убедить императора — Россия на краю пропасти. Во что сам Голицын верил свято.

В первом пункте первого раздела он писал, что сейчас главная цель российских иллюминатов «овладеть воспитанием юношества, а особливо *царских детей*, и посеять в молодых сердцах пагубные и развратительные правила».

Это чрезвычайно важный пункт.

Во-первых, Николая с двадцать шестого года крайне заботила проблема воспитания и обучения молодых поколений. Он усиленно собирал мнения самых разных людей. В том числе запросил, как известно, и мнение освобожденного из ссылки Пушкина. Николай с враждебной настороженностью относился к студенчеству, особенно московскому. Мысль о том, что на студенчество оказывается исподволь разлагающее чуждое влияние, его не оставляла. И то, что Голицын начал именно с этого, свидетельствует о понимании обстановки и настроений царя. Николая более всего пугало проникновение в студенческую среду европейских либеральных идей — Голицын о том и толковал.

Далее Голицын писал: «Все у него (Вейстгаупта.— *Я. Г.*) основано на мечтании ввести между людей владычество морали, которое все должно заменить в свете. А что такое мораль? Послушаем.

Мораль есть искусство, научающее людей выйти из малолетства, вырваться из-под опеки, вступить в мужалый возраст и обходиться без царей».

Все это выглядело убедительно, но предстояло совершить главное — доказать существование иллюминатской организации в России. И тут Голицын нашел остроумный и нетривиальный вариант доказательств: «Предосторожности, взятые сектою для обережения себя от нескромности своих членов, суть такого рода, что нельзя ей опасаться быть обнаруженною. Общество сие богомерзкое не есть особенное сословие, оно не собирается, как делали масоны, в ложах. Кабинет начальника департамента, дружеская трапеза у правителя канцелярии, беседа братская — вот и вся ложа. Кто может найти странным, что может полиция заключить, видя 5 и 6 друзей, собранных вместе,— решительно ничего. Иллюминатское учение есть ядовитое питие, питие, разносимое в склянках, в банках, в бутылках, в пузырьках, в бочках, они не смотрят на сосуды и на форму, пей только лишь из нашего ядовитого источника, и вот почему иллюминаты являются под всеми возможными названиями...» И далее князь Андрей Борисович перечисляет якобинцев, либералов, республиканцев во Франции, радикалов в Англии, кортесы в Испании, карбонариев в Италии.

Тут стоит остановиться, ибо перед нами ключевая для охранительного сознания идея. Охранительное сознание инстинктивно стремится к предельному упрощению ситуации за счет сведения многочисленных и разнородных факторов к одному и однородному явлению. Для российских охранителей это всегда была идея иностранного проникновения, желание найти вовне причину внутренних неустройств.

Мысль о том, что может, в принципе, существовать некий подрывной центр, который и будоражит все законопослушные народы, вовсе не казалась Николаю абсурдной. Напротив, она вполне соответствовала его представлениям и давала уверенность как в собственной правоте, так и в возможности быстрого истребления крамолы. Ведь если причиной заговоров, мятежей, волнений являются не коренные процессы, а происки кучки злоумышленников, то есть все основания для политического оптимизма.

Николаевское правительство и само искало эту «единую теорию политического поля». В 1834 году управляющий Министерством народного просвещения Уваров адресовался к императору: «Корреспондент Министерства народного просвещения в Париже князь Мещерский доносит мне, что известный писатель Лоранти в течение многих лет собирал любопытную коллекцию печатных книг и рукописей касательно *тайных обществ* вообще! Сие собрание содержит много, по словам собирателя, неизвестных документов и важных сведений, относящихся до подобных обществ во Франции, Германии и Италии и проливающих свет на ход политических событий в Европе» [1].

Несгибаемый легитимист Лоранти, разоблачитель подрывной деятельности в европейских странах, предлагал русскому правительству купить у него коллекцию за 5 000 франков. Император немедленно изъявил согласие, коллекция доставлена была в Петербург, в канцелярию Уварова в ноябре 1834 года, а передана в Публичную библиотеку только в начале 1837 года. Двадцать пять месяцев сотрудники Уварова изучали содержимое книг и документов о тайных обществах, надеясь найти в них разгадку политических потрясений...

Это было через несколько лет после голицынской эскапады. Но и в тридцать первом году идея единой причины, единого всемирного заговора, единого и, следовательно, единственного врага была актуальна и соблазнительна.

Голицын именно это и декларировал.

Но почему же по сию пору никто не обнаружил и не разгромил этот ужасный заговор, пронизавший все государство? Да потому, что фактически все звенья государственного аппарата есть орудия иллюминатов и из них же и состоят!

«Нет довольно святого предмета, нет довольно ничтожной вещи, чтоб ускользнула из их круга и не была бы на что-нибудь употреблена. Мысль сия ужасна, когда подумаешь, что по всей России решительно не менее 40 000 [2] неутомимых иллюминатов, рассеянных по всему пространству ее, облаченных доверенностью правительства, которые принятые как дети, употребляют все способности дьявольски настроенного ума на то, чтобы впускать во все поры России ядовитое зародыше будущего разрушения состава государственного тела».

Откуда взялась эта устрашающая цифра — 40 000? Это приблизительное число чиновников в России...

Но, более того, Голицын раскрывает и структуру, и принцип действия зловещей организации: «Всякий член этой секты обязан все записывать и ежемесячные свои наблю-

[1] Центральный гос. ист. архив СССР. Ф. 735, оп. 1, ед. хр. 527, л. 2.

[2] «Но из них не более пяти человек знают настоящую цель, а 38 000 и не слыхивали о Вейстгаупте и о ордене, а все иллюминаты *учением*».

дения, называемые quibus licet, т. е. кому следует Soli или Primo, одному или старшему,— все это переходит на рассмотрение через 50 или 100 инстанций, везде общипываются листочки, отбирается, что полезно обществу, и передается выше и выше, прочие поступают к сведению или истребляются в средних инстанциях».

Нет надобности приводить здесь весь текст обширного сочинения князя Андрея Борисовича. Несмотря на его обещания «сильных и ясных», а иногда и «математических» доказательств, донос весьма хаотичен, и к нему очень подходит замечательное выражение самого Голицына — «хаосная глыба». А потому я постараюсь выделить главные идеи и составляющие доноса.

Первый удар наносится по университетской профессуре. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, важностью проблемы грядущего поколения, воспитание которого, по мнению Голицына, уже узурпировано иллюминатами, а во-вторых, положением соратников князя. Но об этом — позже.

Здесь главная задача Голицына убедить царя, что зло, взращенное в предшествующее царствование, отнюдь не истреблено, но пышно цветет на университетских кафедрах. Начинает он с 1821 года, когда по доносам обскурантов Магницкого и Рунича разгромлен был Петербургский университет, а затем переходит к 1830 году: «Какое ужасное согласие между сими профессорами! Какая наглость и бешенство, и хотя из них трех отрешили, но они вскоре опять свое взяли и опять влезли с новою злобою на кафедры и обучают детей разве только с некоторою прибавкою в осторожности...»

В чем же вина профессоров? В том, что они следуют немецким философским доктринам, а немецкие философы, начиная с Канта, все — иллюминаты.

Причем для захвата российского государственного аппарата профессорами-иллюминатами придумана поистине дьявольская система: «Преподаваемое в России учение есть не что иное, как приготовительная степень в минервалы (одна из степеней ордена иллюминатов.— *Я. Г.*). Теперь кинем беспристрастный взгляд на преимущества, которые студент, напоенный сим чудесным и полезным для государства просвещением, получает при выпуске из университета. Профессора, каковы Герман и комп., подписывают ему диплом или пропускной билет для определения на службу в асессоры, и он проходит через заставу, у которой Сперанский остановил 20 тыс. титулярных советников... (Имеется в виду подготовленный Сперанским и одобренный Александром указ о необходимости чиновникам выше титулярного иметь университетское образование или же аттестат о сдаче соответствующих экзаменов.— *Я. Г.*) Какое же достоинство аттестованного студента? *Его учение* (т. е. иллюминатская доктрина.— *Я. Г.*), которое немедленно присоединяет его к ополчению людей добродетельных и приобщает к одному с ними действию, цель же, как известно, клонится к низвержению веры, царя, к революциям. Наш студент, получив свидетельство, что он на все сии предметы способен, вступает в службу уже в числе обученных рекрутов с 15-летнего возраста, по статутам Вейстгаупта и для усовершенствования на будущий предстоящий бой и усилие в добродетели необходимой молчании и притворства отдается на трехлетнее самое инквизиционное испытание под наблюдением двух друзей, пред которыми он не имеет никакой тайны, что видно из инструкции в тетради об иллуминатстве».

Это прекрасный образец логики доноса. Прежде всего принимается за данность, не требующую доказательств, что университетские профессора — иллюминаты. Из этого следует, что студентов они готовят по иллюминатской доктрине. Раз так, то по окончании университета выходит в службу адепт разрушительного учения. Затем происходит некий логический кульбит: поскольку считается доказанным, что все выпускники университетов есть иллюминаты степени минервалов, то само собой разумеется, что они должны далее вести себя по статуту Вейстгаупта. Отсюда трехлетнее испытание под строгим присмотром двух старших «братьев». Никаких конкретных примеров у Голицына нет, но если принять основные посылки, то дальнейшее вытекает само собой. И теперь князь Андрей Борисович уверенно называет выпускников университетов минервалами: «Выдержавший все испытания, определенный в должность, минервал уже бежит в гору, по службе ему открыты все дороги, все департаменты в Министерствах, прославляется его репутация, он награждается крестами, чинами и проч.». И тут информаторы князя его подвели: пример, который он, наконец, привел, оказался не совсем удачным. «В сей категории, между прочим, состоит г. Корф, которому дано еще недавно место вице-директора Департамента податей и сборов, по причине, что Департамент имеет право подтверждать предписания министра насчет взыскания сборов, податей и недоимок, понуждение крестьян при бедственном положении России произведет частые бунты и революции, а им того и нужно, и он верный Брат Ордена».

Тут та же замечательная логика шиворот-навыворот. Раз Корф назначен на место, на котором при наличии злого умысла можно принести вред государству, значит, он «иллуминат». В «бедственном положении России» Голицын не видит вины режима, по неизбежные следствия этого положения — волнения ограбленных и истязаемых крестьян — он приписывает коварным интригам.

Но если до этого места Николай, внимательно читая голицынский текст, не сделал ни одной пометки, то имя Корфа его смутило. Он написал на полях: «Корф слыл всегда отличным чиновником, и я им весьма доволен был; ныне он поступил в Комитет министров». С одной стороны, царь явно засомневался в Корфе — отсюда прошедшее время «слыл», «доволен был», с другой — столь тяжкое обвинение лично ему известного и доверенного лица возбуждало сомнение и в достоверности голицынских сведений.

Чудовищное коварство профессоров-иллюминатов заключается еще и в том, что они лишают честных, но невежественных чиновников возможности выполнить свой патриотический долг — долг доносительства: «Если бы какой-нибудь неученый Русский чиновник увидел бы сие действие, он бы не утерпел n'étant pas dans le secret de la science [1], и сказал бы: что вы делаете? Мой долг есть доложить Государю, здесь измена, исказитель всеобщий поневоле должен был бы остановиться, и вот помеха, и по сему-то требовалось ему во всех Министерствах людей своих вымуштрованных, верных системе, молчаливых, исполнителей слепых и непрекословных к воле начальства; избираемых преимущественно из поповичей, семинаристов, личных дворян и проч., способных на службу, и кто же лучше Германа мог наставить и приготовить столь способных ко всему людей?»

Профессор Герман, основатель науки статистики в России, автор основополагающих трудов по истории и теории статистики, имел и в самом деле влияние на своих учеников.

За всей коварной системой подготовки подрывных кадров стоит Сперанский: «Для чего нужно было Сперанскому людей с новым воспитанием? По той же причине, по которой они нужны были Вейстгаупту. Сказано — все делать тихо, нечувствительно, с величайшей осторожностию окружать Царей и связывать им руки, опрокидывать старые постановления, ослабить, что крепко, везде впихнуть потихоньку клинья для разрушения связей прочного строения и раскачивать постоянно во все стороны медленно, пока все обрушится».

Мысль и «математические доказательства» Голицына идут кругами — он постоянно возвращается к одним и тем же предметам.

Это должно было раздражать императора, но в то же время и оказывать на него некое влияние. Так князь Андрей Борисович постоянно, из любого положения приходит к идее «нечувствительных», потаенных способов захвата иллюминатами ключевых позиций. Вряд ли это был продуманный прием. Голицын подсознательно ощущал недостаточность конкретной аргументации именно в этом вопросе и восполнял ее настойчивыми повторениями, создавая — столь же подсознательно — гипнотическое давление на читающего. «Теперь разберем важность дипломов, подписанных Германом и комп. Сии свидетельства о чумной нравственности искривленного ума втолкнули студента в Департамент, через два года он удостаивается креста Св. Анны 3-й степени, который дает ему все преимущества дворянства!!! Итак, несколько подлых немецких безбожников вступили в права Царя Самодержавного Российского и жалуют в дворянство, ибо у нас уже более не Государь дает дворянское достоинство, а профессоры, правители канцелярий и проч. Следовательно, согласно правилам Вейстгаупта, отнята нечувствительно у Царей сильная пружина наград и власть перешла в руки к нам, т. е. к иллуминатам».

Автору доноса нельзя отказать в своеобразной логике. Действительно, по существующей системе получение дворянства фактически зависело не от царской милости, а от действий бюрократического аппарата. Но виноваты в том были вовсе не иллюминаты. И тут Голицын удивительным образом смыкается с Пушкиным, хотя позиции и мнения их были противоположны. В разговоре с великим князем Михаилом Павловичем, четыре года спустя, Пушкин сказал: «...Или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя. Если в дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством». А еще через два года, в черновике знаменитого письма к Чаадаеву: «Вот уже 140 лет Табель о рангах сметает дворянство».

У истоков явления стоял не коварный Вейстгаупт, а император Петр Великий. Голицын считал, что разоблачает козни иллюминатов, а на деле протестовал против принципа самовоспроизведения бюрократии...

Увлекшись разоблачением профессоров, Голицын понял, однако, что слишком ушел в прошлое. И решительно вернулся в настоящее. «Если на все вышеизложенное смотреть разборчивым оком, положение России самое опасное. Теперь мне скажут: это так было при покойном Императоре, но при Государе Николае Павловиче за всем строго наблюдают и тому уже не обучают. Я надеюсь математически доказать, что учение преподавалось тогда и ныне все одно и теми же людьми, с прибавкою, может быть, еще яснее наставления к революции, которая сближается. Для сего рассуждения предварительно о силе Секты. Германа, Арсеньева, Раупаха удалили, Секта до того раскричалась, что принудила их взять обратно, и они пользуются 3-х тысячными квартирами и милостями Государя Императора и довершают растление и искривление умов юношества»

И опять-таки здесь Голицына подвела конкретика. Николай написал на полях: «Ар-

[1] будучи непосвященным в тайны этой науки (*франц.*).

сеньева я знаю давно и всегда был им совершенно доволен; а Герман кроме женских институтов, в которых он посмешище девиц, насколько знаю, нигде не употреблен». Вряд ли благородные девицы могли оценить заслуги Германа и, вполне возможно, не принимали старого ученого всерьез. Николай, как видим, с ними солидарен. Но нелепость обвинений была императору понятна.

Чем далее, тем чаще появляются на полях доноса его раздраженные пометки: «Где доказательства?»

С доказательствами оказалось худо. Их попросту не было. Те симптомы общего неблагополучия, которые наивному Голицыну казались несомненным признаком чьей-то подрывной работы, не давали оснований для безусловного вывода о существовании ужасного заговора.

Император и хотел бы в это верить. Но — не мог.

Голицын знал, что неизбежно встанет главный вопрос — почему то, что столь очевидно для князя Голицына, оказалось скрыто для тех, кто по долгу службы должен следить за безопасностью государства?

И Голицын, и те, кто стоял за ним, понимали: чтобы убедить царя в своей правоте, необходимо скомпрометировать III отделение...

Еще объясняя дьявольски тонкую структуру иллюминатской организации — ее всепроникновение, систему подачи и отбора сведений, наводнение молодыми адептами страшного учения всех звеньев государственного аппарата,— Голицын восклицал: «Вот ключ удивительный к деятельности полиции 3-го отделения Собственной канцелярии Е. В., которая *все знает*, но *не все передает*». И обещал: «В следующем разряде я коснусь снова до струны полиции, как до чрезвычайно важного предмета в нынешнем положении вещей». Еще бы не важного! Если политическая полиция в руках заговорщиков, кто — кроме Голицына и его друзей! — защитит Россию? «Теперь можно рассудить, какой Государь, какою бы премудростию ни был одарен, и какое государство может устоять от подобного соединения усилий *целого разрушительного общества, вкравшегося в правление*. Я изложил, кажется, довольно убедительно существование иллуминатства, которое уже нельзя оспорить».

Николай, однако, считал, что оспорить можно. «Где доказательства?»

Любому политическому интригану в России того времени известно было, что скомпрометировать крупное должностное лицо проще всего через компрометацию близких к нему людей. Нанося удар по III отделению и, соответственно, по Бенкендорфу, Голицын этим путем и пошел. И выбрал фигуру, для нас неожиданную. «Преданный Российскому престолу журналист Булгарин,— саркастически сообщил князь Андрей Борисович императору,— который Русских в романе Дмитрия Самозванца научает цареубийствам! смеется над покойным Государем, consultant M-lle Le Normant et la femme asasinée en Septembre[1] 1824 в лице Бориса Годунова у ворожейки, получил дозволение поднести Государю Императору, вероятно, весьма важный по нынешним обстоятельствам роман «Петр Выжигин», *в котором мы найдем свод всех способов приводить народные возмущения, почерпнутые из многолетних трудов и революционных теорий* высшего капитула Вейстгаупта, верный сей Булгарин прошлого года писал письмо к одному из своих друзей поляков следующего содержания: «La rage me consume, l'enfer est dans mon coeur[2], да будь проклята та минута, в которую я переехал через Рейн и поехал в Россию. Да будь проклята моя мать, отдавшая меня в юных летах на воспитание в России; о Россы!» и проч. Письмо сие было представлено в подлиннике генералу Бенкендорфу, но, вероятно, *не поднесено Государю*. Я имел копию с него от Шервуда *истинно верного*, за скрепою чиновника из канцелярии Бенкендорфа, но документ сей затерялся в моих бумагах. (Стало быть, компрометирующий материал на шефа жандармов собирался уже давно! — *Я. Г.*)[3] И на полях Голицын написал: «См. письмо к нему (Булгарину.— *Я. Г.*) генерала Бенкендорфа, напечатанное в № 2 „Северной Пчелы"».

Бенкендорф действительно написал Булгарину поощрительное письмо, а хитрый и беспардонный Булгарин тиснул его к неудовольствию генерала в своей газете. Связь шефа жандармов и журналиста была несомненна. И сведения, которые далее сообщает Голицын, в случае их истинности смели бы Бенкендорфа с его поста, как вихрь пушинку. «Верный Престолу Булгарин составляет в канцелярии генерала Бенкендорфа отчеты о состоянии России, и везде ему позволяют черпать и рыться, сей верный распространитель света посылает чрез ту же канцелярию еженедельные груды газет, новостей и разных брошюр к государственным преступникам в Сибирь, которые также из Москвы получают всевозможные книги политические, возмутительные, статистические и проч.».

---

[1] прибегавшего к советам м-ль Ленорман и женщины, убитой в сентябре *(франц.)*.

[2] Ярость меня снедает, в сердце моем — ад *(франц.)*.

[3] Судя по стилю, письмо действительно принадлежало Булгарину, а ежели так — Булгарин был в руках у шефа жандармов, и это многое объясняет в поведении Фаддея Бенедиктовича. Но, разумеется, подтверждение нужно искать в бумагах III отделения.

Тут Николай начертал какую-то двойственную маргиналию: «Где тому доказательства? Я Булгарина в лицо не знаю и никогда ему не доверял». Есть здесь некая странность. Сам император с Булгариным никаких дел не имеет — так и было: «никогда ему не доверял», то есть не использовал его ни для каких ответственных дел, не доверял никаких поручений. Но, с другой стороны, Николай и не возмущен самой идеей как нелепой и невозможной, он требует доказательств, допуская, что такое может быть. Между тем, сама по себе мысль, что через III отделение декабристам отправляют в Сибирь литературу, в том числе и «возмутительную», должна была вызвать у него смех. Ан нет...

Таким образом, и Булгарин иллюминат, а уж государственные преступники — тем более. И 14 декабря включается в общую систему.

Наконец, Голицын подносит решающий аргумент в пользу принадлежности Булгарина к Ордену Вейстгаупта: «Булгарин прошлого года превозносил до небес профессора Левеля (разумеется, Лелевеля.— *Я. Г.*), члена правления в Варшаве (правда, когда Булгарин его „превозносил", польское восстание еще не началось, и Лелевель был почтенным ученым.— *Я. Г.*), я представлю выписку; ныне же он в № 2 „Северной Пчелы" превозносит наше просвещение, говоря: „наше время по всей справедливости может назваться просвещенным, ибо феория физических наук, бывшая прежде в состоянии незрелого зародыша, родилась в оное и развилась теперь до значительного образования. Таковым светом одолжены Германским философам, коих пламенеющий факел зажжен от лампы Вильгельма Шеллинга".

Господи Боже мой! Можно ли так во зло употреблять ум и слова».

Для Голицына все немецкие философы — иллюминаты. А кто же может хвалить иллюминатов, кроме их сподвижников?

А кто может покровительствовать явному иллюминату и врагу России, проповеднику цареубийства и революции Булгарину? Вот и думайте — кто есть генерал Бенкендорф, чьи подчиненные «все знают, но не все передают».

Однако этим «касание струны полиции» не кончилось. Через несколько дней Голицыну пришлось давать объяснения по высочайшим пометкам на полях. Против слов князя о том, что III отделение скрывает от государя важные сведения, Николай написал: «Совершенная и наглая ложь». Ярость императора, конечно, вызвана была прежде всего тем, что доносчик пытался бросить тень на Бенкендорфа. Голицын понял, что зарвался, и попытался выйти из положения: «Собственная канцелярия все знает, но г-н Бенкендорф и Государь не все. Они (сотрудники III отделения.— *Я. Г.*), например, доводят до сведения всевозможные фальшивые отношения, все любовные интриги, все наговоры на монахов, на монахинь, на старое духовенство, отношения господ с крестьянами и взаимно, клевещут на раскольников, всячески смущают и уверили Бенкендорфа, что они одни все держат и если нить у них из рук ускользнет, все пропало. Он (Бенкендорф.— *Я. Г.*) даже жалок, бедный. Ф.-Фок кричит на него, как на мальчика. Шервуд Верный все сии отношения знает совершенно, а особенно Константинов, тоже Санглен о Ф.-Фоке известен. Но все, что могло бы обнаружить цель иллуминатства в чем-либо, было решительно утаено. Немцы и поляки также у них святые люди. Одни только Русские бунтовщики. Каков состав канцелярии у Фока: Оржинский поляк секретарь, еще какой-то немец, а самое доверенное лицо — изгнанный из полиции за негодность и воровство квартальный».

Маневр Голицына трудно признать очень удачным. Хотя царь не любил фон Фока, но нарисованная князем картина унижения Бенкендорфа и попытка все свалить на начальника канцелярии III отделения, то есть фактического руководителя тайного сыска, показалась и самому Николаю чрезвычайно обидной. И прямое утверждение Голицына, что Фок «всю цепь держит и самое важное по своему посту лицо», то есть оспаривает у Сперанского честь быть главой иллюминатского заговора, император отнюдь не склонен был принять на веру...

Теперь же надо сделать некоторое отступление и постараться понять, что за человек был генерал-майор князь Голицын и с кем он непосредственно блокировался в своей рискованной авантюре, которую сам искренне считал подвигом спасения России, а быть может, и всего мира.

Возвращаясь в очередной раз к делу профессоров 1821 года, Голицын пишет: «Дело было отдано Государем Сперанскому, софизмами предано забвению, а Рунича отдали под суд, но не за то, что хотел обнаружить секту, а она любит подкапываться и выпутываться тихо и неприметно. У Рунича недочеты вышли в кирпичах строения университета. Рунич сделан вором, негодяем и отец десятерых детей судится в Сенате, может быть обвинен и лишен всего».

И далее: «Магницкий хотел также остановить противхристианское и противмонархическое учение, его до того обнесли, до того обмарали и истаскали разными известиями, что и самые благонамеренные люди опасаются его имени. Но для такого против Магницкого действия была еще другая военная причина, а именно: он прежде был с ними, действовал заодно и работал в том же духе. Следовательно, разве можно такого человека допустить до какого-нибудь объяснения, разумеется, никогда. Он знает все подробности и обличитель слишком опасный...»

(Николай на полях написал: «Князь Голицын забыл, видно, что Магницкий под судом».)

Оба эти борца против иллюминатства были людьми печально знаменитыми — бешеные обскуранты, доносчики и душители любой живой мысли, они оказались слишком реакционны даже для Александра последних лет и Николая первых лет царствования.

Магницкий, близкий сотрудник Сперанского во времена реформ, раскалил свое ренегатство до температуры, способной конкурировать с адским пламенем. Идеи ему приходили самые необыкновенные. В сочинении «Судьба России», написанном в интересующую нас эпоху, он возглашал: «Философия о Христе не тоскует о том, что был татарский период, удаливший Россию от Европы. Она *радуется тому*, ибо видит, что угнетатели ея, татары, были спасителями ея от Европы». Или: «Угнетение татар и удаление от Западной Европы были, быть может, величайшими благодеяниями для России...»

Еще в самом начале истории, в письме от 3-го января, адресованном дежурному генералу Главного штаба Потапову, Голицын писал: «...Потребуется разрешение, чтобы совершенно секретно увидеть ныне вечером Шервуда». Это был момент, когда князь Андрей Борисович собирал воедино все имеющиеся у него данные для чистового варианта доноса. И появление Шервуда на этом этапе говорит о многом.

Шервуд, напомню, был тот самый унтер-офицер, состоявший в тайных агентах графа Вита, начальника Южных военных поселений, который первым донес на тайное общество, получив сведения от неопытного прапорщика Вадковского. В дальнейшем Шервуд, которому император Николай велел называться Шервуд-Верный (что обыгрывает Голицын), развил энергичную шпионско-провокаторскую деятельность, работая уже не столько на III отделение, сколько на себя самого. Бенкендорф этого терпеть не пожелал, и когда в 1829 году после головоломной провокации Шервуд подал донос, задевающий личного друга как императора Александра, так и Николая — князя Александра Николаевича Голицына, члена Государственного совета,— шеф жандармов резюмировал свое отношение к недавнему герою: «Точная чума этот Шервуд». Затем Верный стремительно спланировал в заурядную уголовщину — денежные махинации, сомнительные векселя, обманы, шантаж — и оказался в крепости. Но это было позже.

(Удивительное дело — как часто обскуранты и провокаторы с комплексом спасителя отечества оказываются замешанными в самую пошлую уголовщину! Заподозренные в воровстве Рунич и Магницкий, мошенничавший Шервуд...)

В 1830 году обиженный на III отделение и оказавшийся не у дел Шервуд охотно информировал князя Андрея Борисовича, не смущаясь, по своему обыкновению, явной ложью. Известия о том, что Булгарин при содействии Бенкендорфа снабжает ссыльных декабристов возмутительной литературой, шли явно от него.

С Магницким и Руничем князь Андрей Борисович связан был по своим старым масонским и служебным делам еще с 1810 годов. У них были общие противники, общие союзники.

С презираемым в гвардии плебеем Шервудом его свели, полагаю, чисто прагматический интерес и общая ненависть к Бенкендорфу и его ведомству. Помимо всего прочего князь Андрей Борисович и сам, очевидно, претендовал на то, чтобы стать учредителем некоей особой политической полиции.

Шильдер и И. Троцкий полагали, что полубезумный Голицын оказался игрушкой в руках двух этих энергичных интриганов. На самом же деле это не совсем так. Скорее — наоборот. Голицын использовал предоставленные ему сведения для своих целей, а реализация желаний Магницкого и Шервуда оказывалась побочным эффектом.

Для того чтобы понять эту довольно запутанную ситуацию, необходимо представить, что же являл собою кавалерийский генерал князь Андрей Борисович Голицын.

Окончание следует



А. Нинов

МИХАИЛ БУЛГАКОВ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Конец минувшего года отмечен сенсационной литературной находкой: обнаружены дневники Булгакова, которые он на протяжении нескольких лет вел в Москве, пока однажды, 7 мая 1926 года, они не были изъяты у него при домашнем обыске сотрудниками ОГПУ вместе с «крамольной», как им показалось, повестью «Собачье сердце»... Булгаков немедленно опротестовал это грубое вторжение в его личную жизнь и профессиональную деятельность.

В Архиве А. М. Горького сохранились рукописные копии нескольких важных документов, имеющих отношение к этому инциденту. Первый документ — заявление литератора Михаила Афанасьевича Булгакова Председателю Совета Народных Комиссаров А. И. Рыкову следующего содержания:

«7-го мая с. г. представителями ОГПУ у меня был произведен обыск (ордер № 2287, дело 45), во время которого у меня были отобраны с соответствующим занесением в протокол следующие мои, имеющие для меня громадную интимную ценность рукописи:

Повесть «Собачье сердце» в 2-х экземплярах

и «Мой дневник» (3 тетради).

Убедительно прошу о возвращении мне их.

Михаил Булгаков

Адрес: Москва, Малый Левшинский, 4, кв. 1.

24 июня 1926 года» (Архив А. М. Горького. Птл — 5—71-1).

Заявление Булгакова было оставлено без ответа, но он упорно продолжал добиваться своего. Летом 1928 года к хлопотам о возвращении изъятых рукописей был подключен Горький, приехавший в СССР из-за границы. Практически этим делом занималась Е. П. Пешкова, возглавлявшая в Москве Политический Красный Крест и имевшая прямые выходы в высокие правительственные сферы.

В мае 1928 года Булгаков написал повторное заявление на имя заместителя председателя коллегии ОГПУ т. Ягоды: «Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники, взятые у меня при обыске в мае 1926 года, я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы (1921—1925).

Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось и рукописи я получу.

Но вопрос о возвращении почему-то затянулся.

Я прошу ОГПУ дать ход этому моему заявлению и дневники мои мне возвратить» (там же).

Булгаков не упомянул в новом заявлении о «Собачьем сердце», так как рукопись повести ему уже была возвращена, а с дневниками, несмотря на обещание, дело затянулось. Затянулось потому, что в ведомстве Ягоды, прежде чем вернуть чужое, решили

Нинов Александр Алексеевич (р. 1931), доктор филологических наук, автор книг «Современный рассказ» (1969), «М. Горький и Ив. Бунин» (1973), «Вера Панова. Жизнь. Творчество. Современники» (1980), «Сквозь тридцать лет» (1987), член СП, живет в Ленинграде.

снять с булгаковских дневников машинописную копию. Поступили предусмотрительно, так как три тетради дневников, отданных при посредничестве Е. П. Пешковой лишь в октябре 1929 года, Булгаков тогда же сжег и кочергой яростно добил пепел. А копия в ведомстве осталась. И пролежала на своей полке до наших дней, чтобы появиться через шестьдесят лет после того, как рукописи сгорели. Так снова подтвердилось пророчество Булгакова, что рукописи не горят,— по крайней мере те, насчет которых от Воланда есть особое распоряжение.

Опубликованные дневники Булгакова непременно будут теперь изучены самым тщательным образом как важнейшее документальное свидетельство, отразившее не только личные настроения писателя, но и некоторые стороны его исторических и общественно-политических взглядов. Дневники Булгакова подтверждают, что он скептически, без иллюзий оценивал историческую ситуацию начала 1920-х годов, когда с перспективой «мировой революции» — по крайней мере в европейских пределах — практически было покончено.

30 сентября 1923 года Булгаков записал в дневнике:

«Вероятно, потому, что я консерватор до... мозга костей, хотел написать, но это шаблонно, но, словом, консерватор, всегда в старые праздники (17 сентября ст. стиля.— *А. Н.*) меня влечет к дневнику. Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву. Два года. Многое ли изменилось за это время? Конечно, многое. Но все же вторая годовщина меня застает все в той же комнате и все таким же внутри...

Во-первых, о политике, все о той же гнусной и неестественной политике. В Германии идет все еще кутерьма. Марка, однако, начала повышаться в связи с тем, что немцы прекратили пассивное сопротивление в Руре, но зато в Болгарии идет междоусобица. Идут бои с коммунистами. Врангелевцы участвуют, защищая правительство. Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма. Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно мир раскалывается на две части — коммунизм и фашизм.

Что будет — никому неизвестно» [1].

Эволюцию фашизма в Европе, начиная с первых его шагов в Италии и Германии, Булгаков не имел возможности непосредственно наблюдать — за границу его не пустили ни разу. Зато превращения коммунизма в отсталой, разоренной, обескровленной войнами и гражданскими междоусобицами стране Булгаков видел воочию — от голодных времен «военного коммунизма» до предвоенной политической сделки Сталина с Гитлером в 1939 году, имевшей для всеобщего мира самые тяжелые и роковые последствия. Только в начале литературной деятельности Булгакова перед ним и его поколением сохранялась еще другая историческая альтернатива.

Публицистика и ранняя проза Булгакова, его статьи в газетах «Гудок» и «Накануне» доказывают, что он поддержал всеми средствами, какие были в его распоряжении, идею экономического и духовного возрождения России, выходившей с великими муками после революции из разорения, голода и отсталости. Демократический выход из этих бедствий был в нэпе, в грамотном и терпеливом сотрудничестве всех социальных слоев многоукладного советского общества, в развитии материальной и духовной культуры всех народов великой страны по всем направлениям и на всех уровнях. Только через десятилетия новой экономической политики и правильных взаимоотношений рабочего класса с крестьянством и интеллигенцией, утверждал Ленин, отсталая Россия может стать Россией социалистической.

Сталин и поддержавшая его партийно-государственная бюрократия вернули Россию назад, к изжившим себя методам «военного коммунизма» и унаследованному от монархии единовластию в форме личной политической диктатуры одного «вождя». Через несколько лет после смерти Ленина Сталин приступил к политике ускоренной индустриализации через насилие и террор, через ущемление и разорение крестьянства, а затем и всеобщие массовые репрессии, залившие кровью и безмерно ослабившие страну. Последствия этих шагов раньше и сильнее других показали в советской литературе Е. Замятин, Б. Пильняк, А. Платонов, М. Булгаков, О. Мандельштам, А. Ахматова. Они же первыми испытали на себе идеологическую нетерпимость или прямые политические репрессии сталинского режима.

Смерть Ленина усугубила тревожные опасения и предчувствия Булгакова, которые он не считал нужным скрывать. 27 января 1924 года Булгаков напечатал в «Гудке» короткую зарисовку с натуры — «Часы жизни и смерти», о том, как рабочая Москва идет поклониться праху Ильича.

«Как словом своим из слова и дела подвинул бессчетные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовку к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

...Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

— Батюшки? Откуда зайтить-то?!

— Нельзя здесь!

— Порядочек, граждане!

— Только выход. Только выход.

— Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке! Не дождусь я, замерзну. Пустите? А?

— Не могу, очередь!

Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо — погаснет.

— Эй! Эгей! Берегись! Берегись! Машина раздавит. Берегись!

Горит огненные часы».

Непроизвольно вырвавшееся предостережение: «Берегись! Машина раздавит»,— на протяжении каких-нибудь пяти лет приобрело гораздо более многозначный и расширительный смысл, чем мог помыслить в дни всенародного прощания с Лениным начинающий писатель Михаил Булгаков.

1929 год — год писательской катастрофы автора «Дьяволиады», «Белой гвардии», «Дней Турбиных», «Зойкиной квартиры», «Бега» и «Багрового острова». Все пьесы Булгакова в этом году были сняты со сцены. Ни одна строка Булгакова-прозаика и драматурга с этих пор не была напечатана в СССР при жизни писателя. Будущий историк советского общества должен будет отметить, что «год великого перелома», как определял этот год Сталин, год сплошной коллективизации деревни и уничтожения кулачества как класса стал также годом ликвидации основных литературных свобод, которыми до того еще могли пользоваться на свой страх и риск наиболее независимые и смелые авторы. Речь идет, конечно, в первую очередь о тех писателях, чье творчество почему-либо оказывалось неугодным для сталинского абсолютизма, лицемерно скрытого под советским революционным флагом и коммунистическими лозунгами.

Булгаков не был единственной жертвой того разгрома в культуре, который произошел на рубеже двадцатых и тридцатых годов при активном содействии рапповской критики, вульгаризаторов марксистской философии и истории, а также государственных органов Главлита и Главреперткома, завернувших до отказа цензурный пресс. На протяжении нескольких лет из текущей литературы были практически вытолкнуты Е. Замятин, А. Платонов, Б. Пильняк, П. Романов, Н. Клюев, О. Мандельштам, А. Чаянов и другие. Для многих из них дело не кончилось литературными ограничениями и запретами — провинившийся язык, по восточному обычаю, отрубали вместе с неповинной головой.

В июле 1929 года, когда литературная травля в печати достигла особенного накала, Булгаков обратился с первым письмом к правительству, адресовав его И. В. Сталину, М. И. Калинину, А. И. Свидерскому и М. Горькому.

«В этом году исполняется десять лет с тех пор,— писал Булгаков,— как я начал заниматься литературной работой в СССР. Из этих десяти лет последние четыре года я посвятил драматургии, причем мною были написаны 4 пьесы. Из них три («Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров») были поставлены на сценах государственных театров в Москве, а четвертая — «Бег» — была принята МХАТ'ом к постановке и в процессе работы театра над нею к представлению запрещена.

В настоящее время я узнал о запрещении к представлению «Дней Турбиных» и «Багрового острова». «Зойкина квартира» была снята после 200-го представления в прошлом сезоне по распоряжению властей. Таким образом, к настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещенными, в том числе и выдержавшие около 300 представлений «Дни Турбиных».

В 1926 году в день генеральной репетиции «Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ отправлен в ОГПУ, где подвергался допросу.

Несколькими месяцами раньше представителями ОГПУ у меня был произведен обыск, причем отобраны были у меня «Мой дневник» в 3-х тетрадях и единственный экземпляр сатирической повести моей «Собачье сердце».

Ранее этого подверглись запрещению: повесть моя «Записки на манжетах». Запрещен к переизданию сборник сатирических рассказов «Дьяволиада», запрещен к изданию сборник фельетонов, запрещены в публичном выступлении «Похождения Чичикова».

Роман «Белая гвардия» был прерван печатанием в журнале «Россия», т. к. запрещен был самый журнал.

По мере того как я выпускал в свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все большее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса, не только никогда и нигде не получило ни одного одобрительного отзыва, но, напротив, чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростней становились отзывы прессы, принявшие, наконец, характер неистовой брани.

Все мои произведения получили чудовищные, неблагоприятные отзывы, мое имя было ошельмовано не только в периодической прессе, но и в таких изданиях, как

[1] Булгаков М. А. Под пятой. Мой дневник. Подготовка текста и комментарии К. Н. Кирилейко и Г. С. Файмана.— «Огонек», 1989, № 51, с. 16—17. Полный текст дневника: «Театр», 1990, № 2.

Б. Сов. Энциклопедия и Лит. энциклопедия» [1].

Не получив ответа на свое письмо, где Булгаков просил *изгнать* его вместе с женой Л. Е. Белозерской из страны в качестве гуманной альтернативы литературной смерти заживо, в марте 1930 года он написал второе письмо Правительству СССР. Этот важнейший документ литературной и гражданской биографии Булгакова тщательно прокомментирован М. Чудаковой в ее новой большой книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» (1988). Тем не менее, подробности этого документа еще долго будут оставаться в центре внимания исследователей булгаковского творчества.

В письме к правительству Булгаков не ограничился изложением фактических обстоятельств литературной катастрофы, постигшей его в 1929 году. С замечательной смелостью и откровенностью он проанализировал также общие условия и причины, в силу которых естественное полнокровное развитие художественной литературы и театрального искусства в нашей стране было поставлено под удар. Собственный пример Булгакова в этом отношении был достаточно типичным и характерным.

В первое десятилетие своего творчества Булгаков оставался на тернистом пути писателя современного, занятого настоящим, притом что настоящее, по словам Гоголя, «слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя *нечувствительно переходит в сатиру*». Эти гоголевские слова Булгаков и напомнит в письме к Сталину 30 мая 1931 года, так и не дождавшись повторного личного разговора с Генеральным секретарем [2].

Собственное перо Булгакова, действительно, на каждом шагу переходило в сатиру, причем не только в ранних газетных фельетонах, но и во многих рассказах, в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце», в современных комедиях «Зойкина квартира» и «Багровый остров».

Чем, например, так задела власти фантастико-сатирическая повесть Булгакова «Собачье сердце», изъятая у него при домашнем обыске и более полувека затем остававшаяся под запретом для публикации в СССР?

Известно, что по просьбе издателя альманаха «Недра» Н. С. Ангарского с рукописью «Собачьего сердца» в предварительном порядке ознакомился влиятельный член Политбюро ЦК ВКП(б) Л. Б. Каменев, вынесший о прочитанной в 1925 году булгаковской повести следующий приговор: «Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя» [1].

[1] Цит. по кн.: Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1989, с. 30—31.

[2] Михаил Булгаков. Письма. Жизнеописание в документах. М., 1989, с. 194—198.

Первые официальные читатели «наверху», таким образом, верно поняли заключенный в повести критический смысл. Суть сюжета этой злой социальной сатиры отнюдь не в осмеянии модных тогда идей и опытов по «омоложению», по улучшению искусственным медицинским путем биологической природы человека и т. д. Дитя искусственного хирургического эксперимента, Полиграф Полиграфович Шариков обнаружил в своем поведении и характере такой запас агрессивности, злобы, зависти, готовности уничтожения себе подобных, что его просвещенные создатели не могли не ужаснуться последствиями — возникновением новой особи, нового нравственного монстра, унаследовавшего все худшее и от зверя, и от человека.

У профессора Преображенского и его ассистента не остается другого выхода, как сделать все возможное для исправления фундаментальной нравственной ошибки, допущенной ими в увлечении сугубо научной стороной эксперимента при неумении предвидеть его ближайшие социальные результаты.

Условность решения, вполне возможного в жанре художественной фантастики, отнюдь не гарантировала в действительности от тяжелейших последствий других массовых экспериментов, которые осуществлялись в реальной общественной практике. Булгаков поставил под сомнение одну из главных официальных идей того времени, основанную на фетише «пролетарского происхождения» и послужившую основанием для нового раскола общества по социальному признаку. Трезвый аналитик действительности, Булгаков высмеивал эти фетиши и новую форму неравенства, которая во многих случаях стала такой же незаслуженной общественной привилегией, как когда-то столбовое дворянство. А всякие привилегии влекут за собой ущемления — и не случайно именно интеллигенция, люди культуры, стали первым объектом и первыми жертвами агрессивности со стороны всевозможных Шариковых.

Затем наступила очередь деревни, в которой также оказалось немало Шариковых. Деревенская беднота, как и городской люмпен, была натравлена сверху на своих же односельчан, обладавших более высокой культурой ведения хозяйства, и основная идея Шарикова — «все разделить», или, что то же самое, сделать все коллективным — привела здесь к еще более тяжелым конечным результатам — захвату чужого имущества, развалу налаженных форм хозяйства и гибели миллионов крестьян, умевших трудиться и жить на земле несколько лучше, чем остальные.

[1] Цит. по кн.: Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с. 326.

Обнаружив в обществе «феномен Шарикова», Булгаков угадал, собственно, наиболее массовую типовую фигуру, адекватную старому пушкинскому понятию «черни», которая была необходима сталинской бюрократии для осуществления ее власти над всеми без исключения социальными группами, слоями и классами нового государства. Без Шарикова и ему подобных в России были бы невозможны под вывеской «социализма» массовые раскулачивания, «расказачивания», организованные доносы, бессудные расстрелы, бездушные истязания миллионов людей по лагерям и тюрьмам, что, в свою очередь, требовало огромного исполнительного аппарата, состоящего из элементарных полулюдей с «собачьим сердцем», а точнее, без всякого сердца, без стыда и без совести. И нет ничего удивительного, что жесткая художественная анатомия этого весьма реального, хотя, может быть, не вполне еще развернувшегося в двадцатые годы социального типа, предложенная Булгаковым в его фантастической повести, оказалась совершенно не по нутру для высших начальников Шарикова.

Только перестройка, начавшаяся в СССР, освободила повесть Булгакова «Собачье сердце» из-под домашнего и архивного ареста, продолжавшегося шестьдесят лет, а новый театральный успех этой повести, прозвучавшей со сцены ряда театров Москвы и Ленинграда и показанной по телевидению, доказывает, что актуальность этой сатиры еще далеко не исчерпана [1].

В новых конкретно-исторических обстоятельствах возродилась к жизни и другая сатира Булгакова, его драматический памфлет «Багровый остров» (премьера в Московском камерном театре 11 декабря 1928 года). Эта остроумная пародия на советскую ультрареволюционную пьесу двадцатых годов имела своей главной мишенью омертвляющую систему административно-бюрократического управления искусством, уже успевшую сформироваться в основных чертах к году «великого перелома».

Пародируя привычные общие места современного «идеологического» спектакля, сатира «Багрового острова» в постановке Александра Таирова преследовала не театр как таковой и даже не лицедеев, вынужденных играть что угодно, а те внешние, чуждые театру силы, которые мешали ему в настоящем и грозили упадком в будущем. Отразилась в сюжете пьесы и собственная судьба драматурга, те кризисные моменты изнуряющих «генеральных репетиций», через которые прошел сам Булгаков, участвуя в постановочных мытарствах «Дней Турбиных», «Зойкиной квартиры» и «Бега». Ему самому были слишком хорошо знакомы и мучительные переживания по поводу вынужденных переделок текста, и разногласия с бесцеремонной режиссурой, не склонной считаться с правами автора, и томящие колебания судьбы, связанные с очередным официальным «разрешеньицем» пьесы или же ее «запрещеньицем». Все это на протяжении 1925—1929 годов Булгаков видел не раз и за кулисами МХАТа, и в Театре имени Евгения Вахтангова, и в самом «левом» революционном Театре имени Всеволода Мейерхольда, давшем ему разнообразный материал для пародии.

[1] См.: Виолетта Гудкова. Осторожно: Шариков. Булгаков на сцене 1980-х.— «Лит. обозрение», 1988, № 4, с. 84—90. См. также публицистические реплики: Дети Шарикова.— «Огонек», 1989, № 3; Дети Шарикова год спустя.— «Огонек», 1990, № 5.

Зловещая фигура театрального чиновника Саввы Лукича, представлявшего Главреперткомом с его запретительной политикой, угрожала театрам всех направлений — от Мейерхольда до Михаила Чехова. Среди современников Булгакова нашелся критик, Павел Новицкий, который верно понял истинный предмет и масштаб сатиры «Багрового острова». Он подтвердил, что за казенной фигурой Саввы Лукича «встает зловещая тень Великого инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские, подхалимски нелепые драматургические штампы, стирающего личность актера и писателя».

Критик уклонился от признания полной реальности «зловещей и мрачной силы», воспитывающей в художественной среде «илотов, подхалимов и панегиристов»: «Если такая мрачная сила существует,— рассуждал надвое относительно «Багрового острова» П. Новицкий,— негодование и злое остроумие прославленного буржуазией драматурга оправдано. Если ее нет, то драматург снова оказывается в роли клевещущего врага, ловко маскирующего свои удары» («Репертуарный бюллетень», 1928, № 12, с. 10).

Роль «клевещущего врага» слишком долго и с разных сторон навязывалась Булгакову, пока реальность запечатленного им явления не разрослась до размеров огромной злокачественной опухоли, явственной, наконец, для всех. Что касается самого писателя, то у него не было причин сомневаться в реальном существовании объектов своей сатиры, равно как и в обязанностях писателя-сатирика по отношению к ним, воспринятых от русской художественной школы Гоголя, Сухово-Кобылина и Щедрина.

Одним из первых в советской литературе Булгаков отверг притязания бюрократии и ее органов на автоматическое тождество с революцией и социализмом. Между тем такое отождествление стало важнейшим краеугольным принципом идеологии сталинизма, последовательно утверждавшего бесправие человека, безгласность общества,

послушность партии и неправомочность в конце концов целых народов перед лицом всесильной и безответственной государственной машины.

Берегись! Машина раздавит... Этот сигнал тревоги, прозвучавший в дни похорон Ленина, стал после 1929 года уже свершившимся фактом политической, общественной и культурной жизни. В один из решающих моментов ликвидации гласности, когда неокрепшие демократические институты в нашей стране были надолго раздавлены, Булгаков заявил в письме к правительству СССР: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода» [1].

Письмо Булгакова правительству СССР 1930 года — один из самых выразительных документов демократической мысли и демократической альтернативы развития советского искусства в то время, когда уже мало кто осмеливался открыто защищать моральные преимущества и политическую необходимость гласности и свободы печати в первой социалистической стране. Можно предположить, что именно необычная гражданская смелость, чтобы не сказать политическая дерзость, опального писателя произвела определенное впечатление на Сталина и вызвала ту реакцию, которая проявилась в его телефонном звонке к Булгакову 18 апреля 1930 года.

Несмотря на удовлетворение личной просьбы писателя — при невозможности продолжения литературной деятельности поступить на штатную работу режиссером в Московский Художественный театр,— ни один из общих вопросов развития литературы и искусства в СССР, поставленных тогда Булгаковым, так и не был позитивно решен. Литературно-общественный остракизм по отношению к его литературному творчеству еще долго оставался в силе и после смерти Сталина, и только теперь нам открывается во всем объеме творчество Булгакова и многих его современников.

Второе десятилетие творчества Булгакова, развернувшееся в 1930-е годы, ставит перед исследователями особенно сложные проблемы: какими внутренними путями духа идет художник, где он черпает силы души, когда ничто в окружающей жизни и в моральном состоянии общества не благоприятствует его творческим замыслам?

Невозможность писать о настоящем с той мерой свободы, которая необходима писателю сатирического направления, побудила Булгакова стать писателем *историческим*, а также продолжить прежние свои опыты в художественно-фантастическом духе. Это новое направление, открытое драмой «Кабала святош» («Мольер»), соответствовало важнейшим внутренним устремлениям художественного таланта Булгакова. Почти все его произведения тридцатых годов — это своеобразные опыты со временем, в котором настоящее, прошлое и будущее изменили привычные соотношения и старые рациональные границы.

Не один Булгаков ощущал этот странный разлад времен, при котором героические прорывы в будущее, характерные для революционной эпохи, вдруг сменялись ощущением попятного движения, сносом жизни в прошлые времена или даже в средневековье. Характерно размышление Бориса Пастернака о будущем:

«Будущее — это худшая из абстракций. Будущее никогда не приходит, каким его ждешь. Не вернее ли сказать, что оно вообще никогда не приходит? Если ждешь А., а приходит Б., то можно ли сказать, что пришло то, чего ждал? Все, что реально существует, существует в рамках настоящего».

Представление о будущем как ожидаемой реальности претерпело в тридцатые годы жестокий кризис. Пора мировых социальных утопий заканчивалась. Наступала пора для жестоких антиутопий. Признав себя «мистическим писателем», Булгаков подтвердил, что черные и мистические краски его сатирических повестей отразили «бесчисленные уродства нашего быта». Он не отрицал, что испытывает «глубокий скептицизм» в отношении революционного процесса, происходящего в его «отсталой стране», и противопоставлял этому процессу излюбленную им Великую Эволюцию. Он не считал для себя возможным отказываться от изображения «страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина» [1].

По поводу этой откровенной и важной самооценки Булгакова следует заметить, что революция по-сталински была в сущности не чем иным, как нетерпеливой деспотической попыткой еще раз «подстегнуть историю», ввести в практику декретированное коммунистическое будущее в самый короткий исторический срок. Безграничная политическая власть деспота, умноженная на большой экономический авантюризм, закономерно привела к чудовищному общему результату — большому террору в стиле Ивана Грозного, к личности которого Сталин не зря проявлял благосклонный и повышенный интерес...

Новый политический фон, на котором развернулось творчество Булгакова в тридцатые годы, позволяет лучше понять логику его фантастических и исторических пьес, написанных после «Мольера». В двух пьесах — «Блаженство» (1934) и «Иван Васильевич» (1935) — уже испытанная в литературе уэллсовская «машина времени» была использована Булгаковым-драматургом для выяснения важных исторических и моральных истин для самого себя.

Главный герой «Блаженства», инженер-изобретатель Евгений Рейн, погружен мыслью в будущее и замышляет перелет из современной Москвы, где его соседом по коммунальной квартире является домоуправ Бунша-Корецкий, опустившийся отпрыск княжеского рода, мелкий советский служащий, сочетающий обязанности управдома с обыкновенным надзором за своими жильцами. Из-за страха Бунша умоляет изобретателя хотя бы заявить о непонятной машине в милицию: «Ее зарегистрировать надо, а то в четырнадцатой квартире уже говорили, что вы такой аппарат строите, чтобы на нем из-под советской власти улететь. А это, знаете, я вы погибнете, и я с вами за компанию».

Странные опыты со временем, увлекшие инженера Рейна, занимали и самого Булгакова, но только совсем по другим причинам, чем полагал бдительный домоуправ. «Да, впрочем, как я вам объясню,— отвечает Рейн испуганному собеседнику,— что время есть фикция, что не существует прошедшего и будущего... Как я вам объясню идею о пространстве, которое, например, может иметь пять измерений?.. Одним словом, вдолбите себе в голову только одно, что это совершенно безобидно, невредно, ничего не взорвется и вообще никого не касается!»

Тот вариант будущего, который открылся герою в XXIII веке на примере Института Гармонии, представлялся Булгакову вариантом комфортабельной тюрьмы. При внешне облагороженных формах общения несвобода человека в этом царстве Блаженства, вознесенном над современной Москвой, еще более увеличилась. Тотальный надзор за человеком тут превратился в высокоорганизованную и отлаженную систему. Булгаков в «Блаженстве» подтвердил опасения, высказанные некогда Евгением Замятиным в романе «Мы», и решительно разошелся с Маяковским, автором «Клопа» и «Бани», видевшим «коммуну у ворот» и мечтавшим об ускоренном перелете в гармонизированное царство свободы без Главначпупса Победоносикова и алчной мадам Мезальянсовой.

Для глубоких сомнений относительно будущего у Булгакова были самые серьезные основания, коренившиеся в настоящем. Проекция настоящего, собственно, повторяется в будущем, а в пьесе «Иван Васильевич» она опрокинута в прошлое, в XVI век, и с тем же примерно нравственно-психологическим результатом. Ни урбанизированное будущее, которое открылось в «Блаженстве» (героиня пьесы Аврора готова бежать из своего времени в XX век), ни, тем более, самодержавное прошлое, представленное в «Иване Васильевиче» трагикомическими эпизодами эпохи Ивана Грозного, не могли развеять глубокого исторического скептицизма Булгаковв, сформированного его собственным личным опытом.

Путаница времен, в которую попадают герои пьес «Блаженстао» и «Иван Васильевич», родившихся из одного общего комедийного замысла, помогает лучше высветить настоящее историческое время — основную реальность произведений Булгакова. Ведь не то фантастика, что изобретатель Тимофеев со своими спутникачи из московского дома залетели по ошибке на четыре века назад, в эпоху Ивана Грозного. Куда фантастичнее, что тень Ивана Грозного, подобно гамлетовскому Призраку, появилась вдруг в Банном переулке булгаковской Москвы 1930-х годов.

Сатирическая шутка Булгакова, остроумно и последовательно развитая, накладывалась на реальности гораздо более серьезные, чем представлялось поначалу самому аатору. Москва была накануне новой опричнины, и не случайно «Иван Васильевич», уже поставленный в Московском театре сатиры, был без долгих объяснений снят со сцены после первой же генеральной репетиции в 1936 году...

«Удар очень серьезен,— писал Булгаков Вересаеву в марте 1936 года.— По вчерашним моим сведениям, кроме «Мольера» у меня снимут совсем готовую к выпуску в Театре сатиры комедию «Иван Васильевич».

Дальнейшее мне неясно» [1].

Обдумывая собственную судьбу, Булгаков мыслил как художник-историк европейского и мирового масштаба. Он исследовал разные формы и разные модели абсолютной власти, разные случаи отношения художника к власти и власти к художнику. Вполне закономерно при этом, что Булгаков выбрал в одном случае эпоху Мольера и Людовика XIV — классическую историю гибели гения и его театра в условиях просвещенного абсолютизма; следующим шагом был национальный сюжет — последние дни Пушкина в его столкновении с чернью и с государственной машиной Николая I.

Примечательно, что в концепции обеих пьес особенно аелика роль именно этой придворной черни, фанатиков и святош, завистников, соглядатаев, доносчиков, добровольных и штатных шпионов, сановных охранников и потенциальных убийц. Оните и входят в явный и тайный механизм власти и составляют опору всякого абсолютизма, гибельного в принципе для художника, потому что художник — это свобода.

[1] Михаил Булгаков. Письма. М., 1989, с. 174.

[1] М. Булгаков. Письма, с. 175.

[1] М. Булгаков. Письма, с. 364.

Мольер и Пушкин для Булгакова — командоры совсем другой, творческой силы, противоположной власти кесаря на земле, и служат они лишь одному богу, богу правды собственного искусства. Булгаков любил заразительный саркастический смех Мольера, притом что в жизнеописании, им составленном, Мольер отнюдь не весел, а уязвлен, раздражен, унижен, поставлен обстоятельствами на край гибели и умирает до срока, не осуществив самых заветных своих желаний и замыслов.

Когда в Ленинградском Большом драматическом театре после разносной рецензии Всеволода Вишневского был снят со сцены официально разрешенный к постановке «Мольер», Булгаков попросил П. С. Попова прислать газетную вырезку: «Зачем? Не знаю сам,— писал Булгаков.— Вероятно, просто горькое удовольствие еще раз взглянуть в глаза подколовшему.

Когда сто лет назад командора нашего русского ордена писателей пристрелили, на теле его нашли тяжелую пистолетную рану. Когда через сто лет будут раздевать одного из потомков перед отправкой в дальний путь, найдут несколько шрамов от финских ножей. И все на спине.

Меняется оружие!»[1]

Сегодня мы лучше, чем прежде, представляем владельцев этого оружия, от которого остались шрамы на спине: Всеволод Вишневский не был первым; до него отличились А. Безыменский, В. Билль-Белоцерковский, Л. Авербах, В. Киршон, О. Литовский и еще многие, кто, не довольствуясь собственными литературными занятиями, мог бы претендовать на свое место в черной кабале, затравившей писателя при его жизни. Некоторые из них сами потом оказались среди пострадавших от нетерпимости и клеветы, что, однако, не делает шрамы от финских ножей на спине более привлекательными...

В последнем романе «Мастер и Маргарита» Булгаков раньше и глубже, чем кто-либо из его современников, проник в индивидуальное состояние своей эпохи, определил ее своеобразные обстоятельства и черты. Для этого ему пришлось свести в одном условном художественном времени и пространстве начала и концы целой эры, древний Иерусалим в год казни Христа и современную Москву в дни правления Сталина.

Судьба художника, Мастера, представлена в булгаковском романе и как вечная общечеловеческая драма, восходящая по своему архетипу к жизненному подвигу, к страданиям и смерти Иисуса Христа, и как индивидуальная трагедия современного обыденного человека (человека «эпохи Москвошвея», пользуясь определением Осипа Мандельштама). Подробности этой индивидуальной судьбы Булгаков в полном смысле слова выстрадал всей своею жизнью.

К концу 1930-х годов у Булгакова не оставалось никаких надежд увидеть свой роман напечатанным. Такого беспощадно-правдивого оттиска целой эпохи, таких бесконечно печальных переживаний человека, потрясенного торжеством мирового зла, наша литература еще не знала. Да ведь и роман этот дописывался из последних сил в те времена, когда казалось, что Великий бал у Сатаны никогда не кончится.

По воспоминаниям Паустовского, Булгаков в конце жизни любил выдумывать и рассказывать близким друзьям шутливые рассказы о Сталине. Один рассказ с трагикомическим благополучным концом был посвящен тому, как самого драматурга, автора анонимных писем к Сталину, подписанных одним словом «Тарзан», изловили и доставили в Кремль. Здесь наконец-то состоялась дружеская личная беседа, которой Булгаков дожидался много лет.

«— Так, значит, это вы — Булгаков?

— Да, это я, Иосиф Виссарионович.

— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.

Сталин поворачивается к наркому снабжения.

Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:

— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя»[1].

В отличие от шутливой интонации устного булгаковского рассказа, в котором по закону утопии все совершается не так, как было на самом деле, а как хотелось бы в мечте, в романе «Мастер и Маргарита» господствует совсем другой тон — трезво-саркастический и печальный, соответствующий настроению всевидящего человека, безмерно уставшего от наваждения торжествующего в жизни зла и карающего это зло неподкупно-правдивым словом.

В те же годы, когда Булгаков дописывал свой роман, Анна Ахматова приступила к созданию горестного «Венка мертвым» — цикла прощальных стихотворений, состоящего из двенадцати эпитафий, занявших свое место в ее последней книге «Нечет». Все они посвящены близким ей людям — Иннокентию Анненскому, Михаилу Булгакову, Борису Пильняку, Осипу Мандельштаму, Марине Цветаевой, Борису Пастернаку, Михаилу Зощенко, Николаю Пунину и своей близкой подруге Анте (Антонине Михайловне Аранжерееевой-Розен).

К ним, к их светлой памяти и нравственному примеру обращалась Ахматова, осознавая мучительно тяжкие обстоятельства русской истории XX века, трагические судьбы замечательных художников и простых людей своего поколения, так много сделавших для цветения «великой весны» русской культуры, но не доживших до плодоносных времен, загубленных у «вершины», к которой они страстно стремились:

De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет

Булгакову в этом «Венке мертвым», возложенном «взамен могильных роз» к памяти об ушедших, оставлено особое место мужественного, твердого и перед лицом смерти не павшего духом художника, выполнившего свое предназначение до конца:

Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.

Сквозь все противоречия и конфликты первой мировой, а затем и гражданской войны, все разногласия политических и социальных интересов, расколовших надвое поколенье, воспетое Владимиром Маяковским и оплаканное Анной Ахматовой, Булгаков выбрал свой крестный путь — вместе с Россией в тяжелейшую для нее пору, на стороне многовековой культуры в лице Пушкина, Гоголя и Толстого, на стороне лучшей части русской интеллигенции против ее гонителей и палачей.

Прощаясь с Булгаковым, Анна Ахматова назвала важнейшие душевные свойства, которые так или иначе остаются в «заветной лире» каждого великого художника и после его смерти:

И нет тебя, и все вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Все потерявшей, всех забывшей,—
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

1940

10 марта 1990 года исполнилось ровно пятьдесят лет со дня смерти Михаила Афанасьевича Булгакова и прошло целых полвека с тех пор, как были написаны эти очень личные ахматовские строки. Их смысл открывается потомкам гораздо более явственно, чем участникам «безмолвной тризны» 1940 года, когда только самые близкие друзья и родные провожали в последний путь опального автора еще не известного читателям романа «Мастер и Маргарита» и многих других неведомых современникам произведений.

Сегодня Булгаков продолжает говорить с нами, и голос его слышен далеко во все концы света. Мы начинаем лучше сознавать настоящие размеры и значение этой литературной Галактики, стремительно расширяющейся во времени и пространстве.

Чем же особенно близок Булгаков современному миру, все еще глубоко разделенному социально-политическими, национальными, религиозными и психологическими барьерами?

Близок своей высокой и скорбной жизнью, прожитой мужественно и достойно в самые тяжелые, трагичные времена для России, для многострадального Отечества.

Близок своими светлыми замыслами, сохраняющими не только национальное, но и общечеловеческое значение, потому что великие мировые вопросы, мучившие Булгакова, не стали в конце XX века менее острыми.

Близок, наконец, силой таланта, полнотой жизни и блеском мысли, одушевляющими его прозу, драматургию и театр.

Михаил Булгаков не отступал от творческого завета: писать, как дышать, свободно и свободно. Он учит не терять воли, быть готовым идти на жертвы, на Голгофу ради сохранения священного дара художника.

[1] М. Булгаков. Письма, с. 225—226.

[1] Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988, с. 107—108.

Михаил Золотоносов

ЯИЦАТУПЕР

Из заметок о советской культуре

Хулой омыт ты, мой олух.
В. К.

Как утверждал Ж.-П. Сартр, «другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь. Он дает мне бытие и тем самым владеет мною...» («Проблема человека в западной философии». М., 1988, с. 207). Если попытаться приложить эти формулы западного философа к русской (в том числе и советского периода) культуре, то выявится примечательное отличие. Сартр имел в виду человека, несвобода которого определяется только зависимостью от другого человека. В русской культуре эта зависимость несущественна (о чем с ужасом писал еще Достоевский): «он» есть надличная сущность, Государство, а «тайна того, чем я являюсь» оказывается репутацией, трансформированной в ЯИЦАТУПЕР, которая в необходимых случаях искусственно создается и предъявляется человеку внезапно, как ордер на арест (часто ее функция именно такова). Иными словами, экзистенциализм в чистом виде в русской культуре (из-за доминирующего этатизма, рождающего, например, такие химеры, как любовь к государству) невозможен, он пребывает в особой *социальной* разновидности, что бросается в глаза людям, воспитанным иной культурой.

«Счастье представлено в романе в традиционно русской манере — как нечто украденное у государства,— пишет Дж. Апдайк о «Детях Арбата»,— как род духовного бегства, акт открытого неповиновения индивидуума и его личной свободы» (Апдайк Дж. Размышления о двух романах.— «Литературная газета», 1989, 5 июля, № 27, с. 4).

Сравнение двух экзистенциализмов — западного и русского — необходимо здесь для того, чтобы понять, какую функцию выполняет в нашей культуре ЯИЦАТУПЕР, какую ответственную роль играет: это не просто механизм, посредством которого Государство творит «я» и обладает им. Это форма типично русской экзистенции.

Вопрос в том, коснулись ли реформистские процессы (представляющие собой попытку нарушить целостность русского культурного архетипа) феномена ЯИЦАТУПЕР и его экзистенциальной функции или нет? А если затронули, то а каком объеме? А если нет, то по какой причине?

Размышления об этом, не претендующие на полноту и систематичность, приводятся в статье. Исходя из специфики постоянных занятий автора, он предполагает держаться в основном литературной сферы, а с учетом темы сразу переходит «на личности».

«Когда и почему спихнулся Галич? По времени это случилось в начале шестидесятых годов, когда он практически бросил литературную работу и занялся сочинительством и исполнением под гитару полублатных, а чаще клеветнических песен. Причины? Может быть, творческий кризис? Заниматься сомнительным стихоплетством, конечно, легче, чем писать драмы, а клеветать, разумеется, проще, чем критиковать... Или кризис моральный? Пьянки, дебоши...» (Григорьев С., Шубин Ф. Это случилось на «Свободе».— «Неделя», 1978, № 16, с. 6).

А. Галич ныне уже реабилитирован, приведенные суждения оказались злостным бредом. Меня же в данном случае интересуют другие фигуры: С. Григорьев и Ф. Шубин. Где сейчас эти соавторы, как поживают, что делают и под какими псевдонимами?

Есть глубокая закономерность в том, что строки: «На Галича, словно мухи на навоз, налетели американские и иные западные корреспонденты...» — появились в печати в том же году, что и мемуары «президента Брежнева» (как называет его Юз Алешковский) «Малая земля», «Возрождение»... Современники предсказывали им блестящую будущность, популярный исполнитель роли Ленина с романтической приподнятостью писал: «Велико значение произведений Леонида Ильича, как и факта присуждения ему Ленинской премии. Уверен, понимание этого будет расти с каждым годом» (Каюров Ю. Подвиг.— «Театр», 1979, № 6, с. 8). Но не менее глубокая закономерность и в происшедшей в конце концов инверсии: репутация удачливого политрука, добившегося высшего государственного поста и занявшегося ресталинизацией, навсегда испорчена; репутация А. Галича — восстановлена. Хочется верить, что тоже навсегда.

Но опять же: что с Григорьевым и Шубиным? Какова вообще судьба подобных «чернильных кули»? Не мешает ли прошлое их настоящему? Ведь в отличие от бывших сексотов и вохровцев они всегда стараются быть на виду, на поверхности, у газетно-журнальной кормушки. Сразу оговорюсь: речь не идет о репрессиях — речь о репутации. Сегодняшняя реакция писателей, подписавших в 1969 г. доносительское письмо (см.: «Огонек», 1969, № 30), направленное против А. Твардовского и «Нового мира», на сегодняшнюю же оценку этого письма в прогрессивной прессе примечательна не только абсолютным цинизмом, но и полным отсутствием того социального механизма, который именуется репутацией. Прямое и неопровержимое уличение в доносительстве не действует — настолько деформировались представления об общественной морали, точнее, так далеко разошлись эти представления у разных социальных групп. Целостного общества у нас нет, ибо нет объединяющего его, единого для всех групп мнения на общий предмет, единого этоса и морального кодекса.

Когда в начале 1989 г. в советской открытой печати легализовали имя изгнанника Андрея Синявского и стало понятно, что открылась дорога к публикации сочинений Абрама Терца (в 1966 г. крамольного не только «антисоветизмом», но и еврейским псевдонимом, который выбрал русский человек, таким способом осквернивший не только «советское», но и «русское» тоже), сразу у многих возникло опасение: не начнут ли теперь одновременно и, может быть, в одних и тех же изданиях печатать и Синявского, и людей, которые в свое время публиковали восторженные статьи и реляции о позорном процессе над Синявским и Даниэлем?

Вот, скажем, один из них — журналист Юрий Васильевич Феофанов, работающий в «Известиях». Ведь, как и 23 года назад, он по-прежнему пишет о правосудии, о демократии, о служителях Фемиды, призывает, обличает, как бы не замечая, что за 23 года практически все слова, неизменно употребляемые им, превратились в омонимы, а постоянство его «демократического гнева» — в чистый абсурд. И тем не менее Юрий Васильевич — автор уже более двадцати книг и брошюр, причем последние из них — «Юридические диалоги» и «Версии и судьбы» — выпущены в 1987 и 1988 гг. (Никак не хочу изобразить Ю. Феофанова самым худшим образцом; в данном случае беру его как пример, прекрасно понимая, что есть и множество других подобных примеров.)

Есть неприятная, тревожащая странность в том, что почти одновременно «Знамя» печатает статью Ю. Феофанова, а «Октябрь» и «Юность» — сочинения А. Синявского. Выходит, хулитель неаиновного А. Синявского, человека, который на четверть века раньше писал то, что мы теперь дружно трубим хором, наказан непечатанием не будет? То есть не получит моральной оценки за безнравственное поведение? Я готов зафиксировать в этом вопросе проявление «либерального террора», но важно и объяснить его, пойдя от следствий к причинам. Ибо стоят за призывом подвергнуть остракизму, прежде всего, полное отсутствие в нашей литературной и общественной жизни такого феномена, как *репутация*, и такой ее разновидности, как *испорченная репутация*.

«Общественное мнение, слава о ком- или о чем-либо» — простодушно объясняет словарь. Отсутствие феномена — результат несуществования общественного мнения (и общества). Такого мнения, которое оказывало бы на индивида даавление, но давление не прямое, а опосредоаанное. В норме индивид должен чувствоаать мнение о нем в общности или обществе и поступать, сообразуясь с этим. Но вот этого-то в социально-политической жизни как раз и нет. А отсутствует общественное мнение (а заодно и общество) по той причине, что все получилось именно так, как описал Е. Замятин, наблюдавший советскую реальность 1918—1920-х гг.: общество состоит из корпускул, «человеческих частиц», дифференциалов, проинтегрированных не Единой Моралью, а Единым Государством, Скрижалью (Законом). Каждая такая «частица» пытается сохранять «вертикальную» лояльность лишь по отношению к Государству, но не «по горизонтали» — по отношению к себе подобным «частицам», согражданам [1]. При этом императивы типа кантовских бездействуют, мнение сограждан значения не имеет, а есть лишь интеграция в плотное «мы», которая — и в этом ее функция — всякие связи устраняет. В результате — от безнадежности — и возника-

---

Золотоносов Михаил Анатольевич (р. 1954), литературный критик, автор статей о Михаиле Булгакове, Андрее Платонове, Юрии Трифонове, Владимире Маканине, Татьяне Толстой и др. Член СП, живет в Ленинграде.

[1] Характерно, что распад гражданского общества, сцепленного «горизонтальными» связями, Е. Замятин увидел и описал в досталинские времена.

ет желание (это я уже говорю о себе) заменить отсутствующий механизм самоустранения скомпрометировавшего себя индивида «внешним», «прокурорским» устранением. Саморегуляция не действует, стыда как морального регулятора нет, все атрофировалось — следовательно, надо отсутствие саморегуляции каким-то образом компенсировать.

Многие считают, что главное — это представить поименный список «отрицательных персонажей» истории. Но что он даст, если любой фигурант с легкостью проигнорирует обвинения, по традиции переложив вину на обстоятельства или вовсе не обратив внимания на предъявленные факты? Ведь репутация — это общественный договор, а у нас нет ни общества, ни договора.

Кроме Бога, все имеет свою причину. Репутация атрофировалась из-за длительного проникновения административных методов в общественную жизнь, из-за полного разрушения гражданского общества как саморегулирующегося механизма под губительными ударами со стороны власти, того «нового класса», о котором еще в конце 1950-х гг. писал Милован Джилас, а в начале 1989 г. напомнил С. Андреев (правда, без ссылки на первоисточник). В результате общественная жизнь стала сферой приложения возбуждающих импульсов централизованного управления.

Полное отсутствие всякой естественности разного рода культурных процессов: от книгоиздания (тиражная политика) до действия механизма (а это в принципе именно социальный механизм) репутации — феномен и сегодняшнего дня. Центр волевым порядком определяет тиражи, таким же порядком присваивает и репутации.

В примерах недостатка нет: можно взять и Андрея Синявского — классический образец принудительно созданной «антирепутации». Назначенный в «злодеи» (социальная роль исключительной важности во всех системах, где общественная жизнь не протекает естественно, а искусственно регулируется «сверху»), он был закономерным образом обречен и на то, чтобы быть объявленным «неписателем»: суд доказывал низкое качество его произведений, выводившее их за пределы художественности. В этом была своя неопровержимая логика: «советский писатель» — чиновник в мундире с чернильницами в петлицах — социальный персонаж однозначно положительный. «В противном случае его зовут иначе»: писатель просто перестает существовать, когда становится эмигрантом или уголовником (как правило, сначала уголовником, затем эмигрантом); с семиотической точки зрения тоталитарного режима это понятия идентичные, и оба означают несуществование, поэтому смерти — А. Кузнецова, А. Галича — казались естественными и вызывали удовлетворение подчинением «предустановленной гармонии» [1].

Эпитет «плохой» подразумевает сразу и «плохой человек», и «плохой писатель»; для «плохих» зарезервированы особые зоны антиповедения: котельные, тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы тюремного типа, заграница, Запад в широком смысле слова, который в официальной идеологии до самого последнего времени означал именно «дурную» зону. Высылка из СССР А. Солженицына, вынужденный отъезд А. Синявского после лагеря, В. Некрасова после травли в Киеве, работа в литературе Ю. Даниэля под псевдонимом после освобождения — все это результаты действия семиотических механизмов культуры тоталитарного общества, которая работает по жесткому алгоритму, в частности искусственно присваивает и отнимает репутации. Самопостроение личности, биография-миф, которую человек создает не только для того, чтобы полнее реализовать себя, но и затем, чтобы подать миру некий знак,— все это было отменено и запрещено как «частная инициатива». Концепция *человека для государства* подразумевала, что биография (включая и такой важный ее момент, как конец жизни) находится в ведении сил, управляющих человеком (отсюда и резко негативное отношение к суициду как факту несанкционированного поведения). Переписывание большой истории сопровождалось переписыванием — часто «по живому» — историй индивидуальных, малых. Естественным образом это сочеталось с абсурдными по своей подробности и временной глубине анкетами: право на мистификации и фальсификаты Система оставила только за собой, человеку же доверять перестала полностью. И своим правом Система пользовалась с исключительным размахом. Множество людей были искусственно «сделаны» по проекту или прихоти кабинетов Центра, и репутация как проекция биографии на плоскость общественного мнения не избежала общей участи.

В тот год, когда советское общество травило академика Андрея Сахарова, рассказывали анекдот: для тех, кто пишет справа налево, семьдесят третий — все равно, что тридцать седьмой (ср. с названием статьи).

---

[1] Характерна ирония рассказа Владимира Алексеева «Один день за границей»: «Должен сказать, что первое, что бросается вам в глаза, попадая за границу, это то, что вас при въезде раздевают и заставляют отправиться в баню... Тут же, в предбаннике, вас стригут... Некто, знаменитый географ и первооткрыватель нового архипелага, составил огромный труд, где тема заграницы рассматривается со всех сторон...» («Родник» (Рига), 1989, № 6, с. 24). Семиотика тоталитаризма, действительно, уравнивает заграницу и лагерь как зоны несуществования, зоны «вне закона».

Но «тридцать седьмой» повторялся не только для пишущих справа налево и не только в 1973-м. В том, что касается общественного мнения, образования репутаций, он во многом действует и сегодня, во всяком случае, старые механизмы целы (взять хотя бы такой элементарный пример, как имидж Демократического союза: аббревиатура ДС звучит в официальных устах как СС, дээсовец — эсэсовец).

Мне, правда, могут возразить, что долгие годы страна жила в условиях «двоемыслия», что казенным шельмованиям *мало кто верил*. Думаю, однако, что абсолютное большинство, даже несмотря на передачи западных радиостанций, было склонно считать, что дыма без огня не бывает. А это уже, по крайней мере, подмоченная репутация. В целом же Министерство правды потрудилось в годы правления «президента Брежнева» неплохо, доведя искусство клеветы и оговора (включая принудительный самооговор) до известного совершенства (публичные покаяния диссидентов в обмен на жизнь, нещадная эксплуатация патриотических и национальных чувств замороченных граждан, инстинктивное стремление «простого человека» к простоте и ясности и боязнь запутаться в «парадоксе лжеца» — все заработало), а мышление людей — до двоемыслия в точном оруэлловском смысле.

Л. Гудков и Б. Дубин эпиграфом к статье «Литературная культура: процесс и рацион» не случайно поставили отрывок «из кабинетной прозы»: «Ну и что ж из того, что, по вашим данным, все хотят это купить? Дать надо взвешенный список. Пастернак, Пастернак... Нужно еще подумать, и очень подумать, стоит ли делать его классиком, может быть, лучше сделать классиком Симонова? Наука — это, конечно, хорошо, но мы-то власть, а власть лучше!» («Дружба народов», 1988, № 2, с. 168).

Власть над средствами массовой информации превращается в период сталинщины в ничем не ограниченную власть над репутациями и над историей. Скудный информационный паек советского читателя (скудный до сих перестроечных пор, несмотря на информационный взрыв) позволяет поддерживать искусственно созданные репутации. Главная и первая в этом ряду исторических условностей — репутация В. И. Ленина. Неизменные констатации, что «мы идем ленинским курсом», что «мы родом из Октября», что, наконец, контуры новой модели социализма будущего обрисованы в последних работах В. И. Ленина (см.: К современной концепции социализма.— «Правда», 1989, 14 июля),— все это призвано еще крепче законсервировать искажение истины во имя сохранения многих сегодняшних общественных институтов и явлений: от партии ленинского типа, непримиримой к инакомыслящим, до социализма как ценности, якобы имеющей для народа непреходящее значение.

Я избегаю здесь подробного разговора на эту тему. Но в связи с ленинской ЯИЦАТУПЕР нельзя все же не отметить двух моментов. Во-первых, эта ЯИЦАТУПЕР — главный трофей, доставшийся в наследство от сталинского периода, начавшегося в 1923 году.

Во-вторых, ленинская ЯИЦАТУПЕР обладает особой отмеченностью в нашей культуре и повышенной, мистической значимостью; это норма норм, порождающий принцип курсов истории. И метаморфоза *здесь* важна не как фигура высшего эпатажа, но как основа для восстановления феномена репутации вообще, для честного восстановления любых больших и малых исторических истин, независимых от конъюнктуры. Работа эта по существу только лишь начата. Впрочем, необходимо описание всех экспонатов нашего исторического «бестиария», в том числе и куда более мелких. Вот несколько «простых историй», переключающих в литературную сферу и на иной социальный уровень: важен не только анализ «в принципе», но и конкретные примеры и примерчики.

«И я, и Елена Мих[айловн]а [Тагер] когда-то близко знали В. А. [Рождественского] и даже любили его. Но примерно с начала 30-х годов В. А. стал вести себя так, что от него отшатнулись все те, кто его когда-то знал. Он стал выступать официальным обвинителем многих ленинград[ск]их поэтов и литераторов на закрытых процессах. Разумеется, этим он спас свою жизнь...»

Это отрывок из письма Юлиана Григорьевича Оксмана, видного пушкиниста и текстолога, к Г. П. Струве, написанного 20 ноября 1962 г. Письма Оксмана опубликованы недавно в Трудах Стэнфордского университета (см.: Флейшман Л. Из архива Гуверовского института. Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве.— Stanford Slavic Studies. Stanford, 1987. V. 1), но сколько людей в СССР имели возможность эти письма прочесть? А ведь письма очень важны не только как документ по истории борьбы с инакомыслием в стране в 1960-е годы, но и фактами, иначе раскрывающими уже сложившиеся репутации. Ю. Оксман знал, о чем писал: с 1936 по 1946 г. он находился в лагере на Колыме. Пострадал он и в послеоттепельный период: вслед за безрезультатным обыском на московской квартире 5 августа 1964 г. (искали Абрама Терца) был превентивно уволен из ИМЛИ и исключен из СП СССР, а некий циркуляр Комитета по делам печати запретил упоминание Оксмана даже в научных изданиях.

Еще из писем Оксмана: «На перевыборах правления ССП, если они состоятся в феврале, я надеюсь выступить с мотивированным заявлением об отстранении от ответственных должностей в Союзе всех тех

писателей, которые выступали лжесвидетелями на закрытых процессах в 1936—1952 гг. в Москве и в Ленинграде. [...] Так, напр., проф. Р. М. Самарин, будучи деканом филологического факультета Моск[овского] гос. унив[ерситета], в числе многих других отправил в лагерь на 5 лет доцента А. И. Старцева, обвинив последнего в том, что его «История Северо-Американской литературы», т. 1, написана по заданию Пентагона. Так, директор издат[ельств]а «Совет[ский] писатель», главный распорядитель бумаги и денег, отпускаемых на совет[скую] литературу, в бытность свою в Ленинграде отправил в лагеря Николая Заболоцкого, Е. М. Тагер, а на тот свет — поэта Бориса Корнилова. Сверх того, по его донесениям было репрессировано еще не менее 10 литераторов [...] Самое страшное, что ни Самарин, ни Лесючевский не опровергали разоблачений, но ссылались на то, что они искренно считали всех оклеветанных ими писателей антисоветскими людьми. На костях погибшего в застенке Г. А. Гуковского сделал карьеру Д. Д. Благой. А укреплял эту карьеру присуждением ученых степеней и званий всем явным и тайным заплечных дел мастерам (именно Благой был председ[ателем] Экспертной комиссии при Мин. высшего образования в 1947—1954 гг.)».

Это отрывок из письма от 21 декабря 1962 г. Любопытная деталь: о Д. Благом в «Четвертой прозе» (1929—1930) писал еще О. Мандельштам: «...Некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина». Можно догадаться, что это за «специальный музей», где хранятся вещественные доказательства...

Разумеется, не о том речь, чтобы памяти о Р. Самарине, Д. Благом или Н. Лесючевском (директор издательства «Советский писатель») не сохранилось. Но память должна быть адекватной, что потребует коренного пересмотра типовой энциклопедической статьи о литераторе советского периода. Настоятельно требуются соответствующие коррективы в статьи энциклопедий; может быть, с учетом частого употребления, просто использовать в таких случаях помету (курсивом): «сикофант»?

Все-таки, несмотря на глухое сопротивление скомпрометировавших себя лиц и их потомства, механизмы создания и поддержания искусственных репутаций — «за заслуги» — в последнее время начали разрушаться. Обнадеживающие примеры — статья С. Королева «Человек на вышке» об академике М. Митине («Советская культура», 1988, 17 сентября, с. 6), «Охота» В. Тендрякова («Знамя», 1988, № 9), очерк Р. Медведева о сыне Я. Свердлова — следователе НКВД («Волга», 1988, № 12), статьи о деле И. Бродского в «Огоньке», «Неве», «Юности», статья Б. Егорова и К. Азадовского «О низкопоклонстве и космополитизме: 1948—1949» («Звезда», 1989, № 6)... Важно только, чтобы материалы такого рода затем обязательно попадали в энциклопедические статьи и не интерпретировались как «осквернение праха».

Я написал о «разрушении механизма». Корректнее пока говорить об остановке хода некоторых шестерен, в частности шестерни «отлучения от церкви». Особенный интерес с этой точки зрения представляет фигура академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Еще не так давно в центральных советских газетах Сахарова объединяли с Солженицыным и формулировали: «продавшийся и простак» («простак» — это о Сахарове); об академике писали: «Сахаров встал на путь прямого предательства интересов нашей Родины», стал диверсантом, заменившим фашистских карателей и убийц, пошел «на службу иностранным хозяевам» (см.: Батманов К. Справедливое решение.— «Известия» (моск. вечерний вып.), 1980, 23 января).

Со временем, когда их прагматический статус будет забыт и окажется современникам непонятным, эти статьи будут переиздавать в антологиях с другими текстами, характеризующими период тоталитаризма: «У Пушкина было четыре сына, и все идиоты...»

Но по закону 1980 года за указанные в Государственной Газете уголовные преступления полагается если не расстрел, то длительное тюремное заключение. Сахаров, однако, был выслан в г. Горький, то есть целью разнузданной государственной кампании против академика оказалось «всего лишь» искусственное разрушение репутации. Действию уголовного законодательства Сахаров оказался неподверженным: суд над ним был судом не гражданским, а идеологическим, духовным, «синодальным», а то, что произошло, являлось хорошо знакомым по русской истории отлучением от церкви (хотя и было проведено в государстве воинствующего атеизма).

Уже было: «...все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира... Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся...»

«Вместе и молимся...» При этом люди, разыгравшие «сахаровскую карту» (М. А. Суслов, М. В. Зимянин), не забыли об имитации «общественного мнения», без которого репутации как социальный феномен не существует, не забыли о «совместной молитве», которая в условиях «религиозного атеизма» разрушила синодальное благообразие и превратилась в социалистическую «неделю ненависти». Будущего историка культуры наверняка позабавит публичные ложные доносы — письма в центральные газеты, в которых — по-

взводно и соревнуясь друг с другом — *академики* (сорок человек), *члены ВАСХНИЛ* (тридцать три человека), *писатели* (тридцать один человек), *кинематографисты* (двадцать восемь человек), *художники* (двадцать один человек), *члены Академии художеств* (двадцать один человек), *ученые Сибирского отделения АН* (двадцать человек, среди них нынешний президент Академии), *музыканты* (семь человек) дружно выражали возмущение Сахаровым (все письма были опубликованы за короткий промежуток времени: с 29 августа по 8 сентября 1973 года; видимо, торопились завершить шельмование к началу учебного года в сети политпросвета).

Впрочем, приведенный список, хотя и подавляет магией чисел, далек от полноты, ибо множество писем пришло от отдельных лиц и малочисленных компаний, видимо, озабоченных тем, что их обошли центральные разнарядки. Так, из Ленинграда поступили письма от токаря «Электросилы», четырех рабочих Кировского завода и пяти писателей: В. Азарова, М. Дудина, Е. Серебровской, Г. Холопова, А. Чепурова [1].

И опять возникают те же вопросы: как сегодня относиться к многочисленным «подписантам» (в одних центральных газетах —более двухсот фамилий)? Существует ли у нас феномен репутации или его нет, и эти письма подпадают под амнезию? «Хуже всякого разврата — оболгать родного брата. Бог! Лиши клеветников их поганых языков»,— распевали еще в X веке пьяные ваганты. В культуре Нового времени последняя инвектива в норме реализуется путем удаления от печатного станка [2]. Но советская культура так же далека от нормы, как мы — от десятого века (едва ли не единственный случай — разоблачение Б. Дьякова). Что же касается нужды в доносительских письмах, то в той игровой реальности, в которой существовала центральная печать и все общество в целом, по условиям игры необходима была имитация и общественного мнения: тоталитарный режим таким, чисто знаковым, образом компенсировал отсутствие естественных механизмов образования репутации. То, что в лице некоторых людей (несомненно, таковы следователи Т. Гдлян и Н. Иванов с харизмой героев-заступников и героев-мстителей) реализуются (причем вопреки желанию властей) мифологические архетипы весьма древнего происхождения (а они, между прочим, заставляют реальных людей, спонтанно ставших мифологическими героями, дорабатывать свое поведение в соответствии с общественным запросом и ожиданием) [1], свидетельствует о начавшихся в общественной жизни и сознании спонтанных процессах, которые замещают прежние искусственные кампании по созданию и разрушению репутаций и сами эти искусственные репутации. Это впервые в советской истории коснулось и писательских репутаций: люди, старательно скомпрометированные в прошлом (от Е. Замятина до В. Гроссмана, А. Синявского, А. Солженицына), оказываются реабилитированными, писательская самодеятельность, «демарши энтузиастов» (так называется книга В. Бахчаняна, С. Довлатова, Н. Сагаловского, изданная за границей в 1985 г.) не запрещаются, писатели обретают «право писать плохо», отнятое соцреализмом.

Реализм избавляется от искажающих его прилагательных, а литература в целом — как часть общественной жизни — медленно освобождается от жесткого диктата Центра, так что сегодня уже можно обнаружить отдельные отличия нашей реальности от кошмаров Дж. Оруэлла. Впрочем, мы сильно отстаем в информированности от западного мира и еще далеки от того, чтобы свободно прочитать, скажем, книгу В. Корчного «Антишахматы» (1981) с предисловием В. Буковского, которого некогда обменяли на Л. Корвалана, книги самого В. Буковского или «Дело Твердохлебова» (1976), «Дело Орлова» (1980), «Суд» В. Красина (1983)...

Еще бо́льшим прогрессом можно было бы посчитать предъявление обвинения «рыцарю щита и меча» К. Батманову (автор газетного доноса на Сахарова) и ему подобным в заведомо ложном доносе, за который наступает ответственность по ст. 180 УК РСФСР. Однако соответствующей традиции нет — и это главное, ибо наша культура, как убедительно показал Ю. Лотман, есть культура прецедента, но не закона [2]. Вследствие

---

[1] Видимо, *пять человек* — ленинградская писательская норма представительства в недалеком прошлом. Когда в 1974 г. травили А. Солженицына, то 15—16 февраля «Ленинградская правда» опубликовала письма Е. Воеводина, Г. Холопова (тогда — главный редактор «Звезды»), Е. Серебровской, А. Хватова, А. Попова (тогда — главный редактор «Невы»). Е. Воеводин прославился также как лжесвидетель и доносчик в связи с «делом Бродского».

[2] Хотя еще в конце XVIII века возникло предание, согласно которому капитан-лейтенанту Акимову вырезали язык за невинную эпиграмму на строительство Исаакиевского собора: «Се памятник двух царств, // Обоим им приличный, // На мраморном низу // Воздвигнут верх кирпичный» (см.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982, с. 168).

---

[1] Ср. с мыслью французского социолога Э. Морена о том, что интеллигенты «оказывают двоякое духовное воздействие: с одной стороны, ведут активную критику, рассеивая мифы и иллюзии; с другой стороны, вырабатывают идеологии и мифы современных обществ» (Морен Э. Что может интеллигенция? — «Литературная газета», 1989, 2 августа, № 31, с. 15).

[2] Лотман Ю. М. Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1. Типология культуры. Тарту, 1970, с. 36—48.

этого остаются постоянно действующие факторы, которые не дают произойти качественным изменениям. Во-первых, в современном мире общественное мнение не может возникать и функционировать без участия средств массовой коммуникации. Древняя площадь, агора, на которой могли собраться *все* граждане (она присутствует в «Мы» в виде площади Куба), безвозвратно вытеснена «галактикой Гутенберга» и ТВ, монопольное владение которыми власти упускать не намерены и будут удерживать дольше всего остального. Характерно, что в недавнем прошлом, да и сегодня все превращенные формы агоры, сохранившиеся в современной культуре, контролировались особенно тщательно: *демонстрации* и *митинги* устраивались «сверху», проводились под жестким контролем с использованием «активистов»; особо важные *судебные процессы* (скажем, над А. Синявским или К. Азадовским) при декларированном открытом характере были фактически закрытыми: залы заполнялись специально подобранными людьми, которые не распространят правду (исключение делалось только для самых близких родственников). Сюда же надо отнести и борьбу с прямыми телетрансляциями. С допущением минимальных свобод в устройстве митингов началась борьба за центральные площади: власти пытались и пытаются вытеснить неприятные для них митинги (к их числу не относятся митинги «Памяти») демократического характера на периферию городов, чтобы уменьшить число митингующих. Впрочем, устное общение при любом количестве присутствующих на подобном мероприятии сегодня неэффективно. Именно поэтому основная борьба идет за свободную прессу, независимую от партийных комитетов и предварительной цензуры, пока еще тесно с этими комитетами связанной (хотя бы едиными партийными циркулярами). Пока такой прессы нет, а судя по выступлениям ряда участников совещания в ЦК КПСС 18 июля 1989 г. (особенно характерны в этом отношении речи Н. Рыжкова и В. Медведева), такая пресса не скоро появится. «...Партия от своего политического влияния на деятельность прессы никак отказываться не может. Это сильнейшее оружие, и кто владеет им, тот и делает погоду, тот владеет ключевыми позициями формирования общественного мнения» («Правда», 1989, 21 июля, с. 4),— заявил на совещании секретарь ЦК В. Медведев. Это означает, что Центр и в дальнейшем сможет в случае необходимости искусственно формировать общественное мнение, в частности и репутации. Стало быть, никаких гарантий от повторения прошлого в этой сфере пока нет и по-прежнему миллионы издерживают на то, чтобы их не возникло (см.: Гозман Л., Эткинд А. От культа власти к власти людей.— «Нева», 1989, № 7, с. 157). Мнение Ж. Медведева: «...партийный аппарат утерял полный контроль над формированием политического, общественного и любого другого мнения» (В поисках здравого смысла: Интервью с Жоресом Медведевым.— «Известия», 1989, 21 июля) — означает, что бывший диссидент выдает желаемое за действительное, что вообще свойственно иностранцам и шестидесятникам (в данном случае это совпадает). По этому вопросу верить приходится Медведеву Вадиму, а не Жоресу или Рою.

Во-вторых, по-прежнему для русской культуры значимо представление о писателе как учителе жизни и в связи с этим — о высокой нравственности писателя как его непременном атрибуте, вытекающем из импликации: *если* писатель, *то* человек высоконравственный и порядочный, политически благонадежный. Если человек «плохой», то он и не писатель. Именно отсюда берет начало сокрытие компрометирующих данных относительно тех, кто произведен в «писатели», и исключение из числа писателей (в советское время это равносильно исключению из Союза писателей) тех, кто скомпрометировал себя, по мнению властей. «Плохой человек» не может быть писателем, писатель должен быть «хорошим человеком» (поэтому, например, Сталин прощал А. Фадееву его хронический алкоголизм; поэтому А. Жданов настаивал на том, что А. Ахматова — в буквальном смысле слова «блудница» [1]).

Интересный пример — писатель Ю. Бондарев, автор многотиражных «душеполезных» книг, переиздававшихся аномальными количествами: ложное представление о высокой порядочности и нравственности этого «трудника слова» (ныне ставшего внелитературной одиозной фигурой) не случайно начало рушиться только после того, как необратимый ущерб понесла его репутация как «художника слова».

В-третьих, надо учитывать степень проникновения политических структур в общественную жизнь, традиционную для нашей культуры. «...Диффузия качеств,— формулирует В. Пьецух старую мысль в своем новом романе,— породила удивительную соединенность русского человека со своей государственностью, чем он опять же отличается от среднего европейца, как правило, напрочь отчуждающего себя от властей...» (Пьецух В. Роммат: романтический материализм.— «Волга», 1989, № 5, с. 87).

Однако, несмотря на тайную и интимно-духовную *соединенность* россиянина со своим государством (а может быть, вследствие ее идеализации и недовольства «статус кво»), значимыми для России являлись два вида *отторжения*, прекрасно осознанные уже в конце XVIII века: отторжение политики и власти от базовых культурных и нравственных ценностей («...доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости...» — Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву, глава «Хотилов») и отторжение частного, «отдельного» человека от политики. Оба вида отторжения рождали борьбу: литература концентрировала базовые ценности в себе (то есть выполняла функции религии, рано подавленной и расколотой в России государством) и учила политику и церковь нравственности и красоте; частный человек настойчиво (вплоть до бомб, метаемых в царя) добивался возможности заниматься политикой, оспаривая старейшую государственную монополию. Борьба эта ощутима и в сегодняшней жизни, в сегодняшней литературе (до предела политизированной), ибо главная причина, лежащая в основе отторжений, давно работает как исторический синдром: слишком сильное «государство-для-себя». Это рождает сходные явления и структуры, в частности, такую стойкую русскую традицию, как «поучение государя»: от С. Полоцкого и К. Истомина через В. Соловьева и Л. Толстого к Л. Баткину, автору статьи в книге «Иного не дано».

Октябрьская революция не осталась безразличной к обоим видам отторжения, попытавшись по-своему их преодолеть. В политику пришли вчерашние частные люди («кухарка может научиться управлять государством»), которые, однако, так и не смогли преодолеть психологический комплекс отторженности от управления обществом, почему в их действиях даже после завоевания власти всегда ощущалась ущербность недавних изгоев, а главной партийной («частичной») идеей стала не объединяющая все общество, а разъединяющая идея классового превосходства (о котором упорно говорится и сегодня) и классовой мести.

Отторжение политики от базовых ценностей, от культуры, традиционное для России, большевики попытались преодолеть путем выращивания культуры и нравственности «ин витро» на основе своей политической теории (классовая мораль, «пролетарская культура», соцреализм). Это был мощный и XIX веку неведомый импульс внедрения политики в культуру, нравственность и всю общественную жизнь и мысль, не исчерпавший своей силы до сих пор. Одним из проявлений такого внедрения (а необходимость его в процессе перестройки регулярно подчеркивается высокопоставленными партийцами, включая и М. С. Горбачева) и оказывается искусственное воздействие на общественное мнение и, следовательно, на репутации людей и организаций. По существу, действует подмена естественного установления «по природе» искусственным установлением «по обычаю», по произволу (это противопоставление было известно еще греческой мысли V века до н. з.).

С точки зрения культурологии в развитии феномена ЯИЦАТУПЕР можно выделить четыре периода: сталинский, хрущевский, брежневский и горбачевский. В изучение этих периодов активно включились литература и искусство в целом, поэтому имеет смысл хотя бы кратко их проанализировать: безусловно, персонажи, которыми эти периоды заполнены,— продукты скоропортящиеся; тем не менее сегодня их знаковость позволяет показывать некоторые общие черты ЯИЦАТУПЕР, привольно раскинувшегося на безбрежном историческом ложе.

Первый и третий — периоды стабильности, второй и четвертый — резкой динамики. Это прежде всего относится к феномену репутации и конкретно — к репутации тех лиц, которые дали периодам названия. При сравнении периодов друг с другом обнаруживается попарный изоморфизм первого и третьего, второго и четвертого. Последнее сходство проявляется в возрождении идей «шестидесятничества» и выдвижении на первые роли «шестидесятников». Кстати, не случайно в их действиях четко обозначился дефицит радикализма: родом они именно из хрущевского периода, а не из Октября (как многие — от М. С. Горбачева до М. Шатрова — считают сами). Автохарактеристику Н. Шмелева: «Считаю себя человеком глубоко консервативным по убеждениям и не помню за свою жизнь ни одной новой идеи, которая возникла бы у меня в голове» («Литературная газета», 1989, 26 июля, № 30, с. 12) — можно с малой долей погрешности распространить на все поколение.

И хрущевский, и брежневский, и горбачевский периоды характерны резким, идеологически оформленным отторжением от периода предыдущего и идентификацией с периодом «позавчерашним». Практически обязательна и идентификация с идеологемами «Ленин» и «Октябрь», которые каждый из периодов (включая и сталинский) транскрибировал удобным для себя образом. Горбачевский период мифологизировал нэп, создав конструкцию, имеющую не слишком много общего с реальностью 1920-х гг.

Резко отличаются семиотические характеристики периодов. Скажем, в третьем периоде нынешнее культурное сознание все более уверенно отмечает сильнейшую карнавализацию, игру, шутовство — в отличие от кровавой «серьезности» первого

[1] Ср. с серией пародий под общим названием «В гостях у литераторов» А. Бартова («В гостях...» у Горького, Шолохова, Катаева, Кочетова, Михалкова). Помимо подбора имен характерна кода каждой пародии, произносимая пьяным гостем: «Хороший человек, наш...» («Родник», 1989, № 5, с. 28—29).

периода — сталинщины [1]. «Покаяние» Т. Абуладзе — пример осмысления сталинского периода в терминах кодовой системы брежневского со свойственной ему осцилляцией между Игрой и Преступлением. Именно эти два начала были выделены в качестве доминирующих в фильме С. Соловьева «Асса» (подробнее об этом см. в рецензии автора «Роквием» в ленинградской газете «Смена», 1988, 27 августа) и в повести В. Пьецуха «Новая московская философия» (модернизированный сюжет «Преступления и наказания»: второй компонент был заменен именно игрой), в то время как в «Душе патриота, или Различных посланиях к Ферфичкину» Е. Попова преступление как одно из важнейших миро- и жизнеустроительных начал брежневского социума практически отсутствует, а Игра безраздельно доминирует, что определяет общее благодушное отношение к периоду в целом (включая иронию по отношению к Брежневу, милиции и милиционерам). В свою очередь, отсюда берет начало своеобразное отражение ЯИЦАТУПЕР: прямое называние практически всегда подавлено поэтикой намека (фамилия Д. Пригова, фигурирующая в тексте, в момент создания текста была культурно незначима).

«Вчера вечером речь по ТВ товарища Ч., редактора. Он сказал, что покойный ездил за сотни тысяч километров, чтобы бороться за мир, и теперь ему осталось немногим менее 2-ух км от Колонного зала Дома Союзов до могилы...» (Попов Е. Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину.— «Волга», 1989, № 2, с. 72).

«Журналист К. (он вскоре умер, возвратившись из Афганистана): „Он оставляет нам драгоценное наследие — 15-миллионную партию...“» (там же, с. 73).

Фамилии «Чаковский» и «Каверзнев» довольно надежно скрыты под аббревиатурами — очевидно, для того, чтобы массовый читатель и сегодня не знал никаких компрометирующих черт на портретах этих людей. Так же, между прочим, поступает А. Битов в «Близком ретро, или Комментарии к общеизвестному» (обращает внимание и структурное сходство заглавий произведений Е. Попова и А. Битова), где зашифровывает (возможно, в игровых целях) фамилии видных сексотов периода сталинщины, переживших своего патрона: М. и Э. (М.— это М. Б. Маклярский, Э.— это Я. Е. Эльсберг), а также директора ИМЛИ Б. Л. Сучкова и его заместителя А. Л. Дымшица (характеристику, которую дает им А. Битов, см.: «Новый мир», 1989, № 4, с. 142—143).

А. Битов подчеркивает: «Репутация и есть репутация — она живет сама, независимо от носителя». Однако стоит ли отделять репутацию от носителя, превращая ее в подобие социальной маски, подходящей многим, а с самих сексотов снимая личную вину? Преодоление такого рода тенденции — задача ближайшего будущего. Как представляется, в дальнейшем мотив личной вины в концепции личности, существующей в тоталитарном государстве, будет акцентироваться значительно сильнее (ср. с размышлениями В. Гроссмана в повести «Все течет»: «Кого же судить? Природу человека!»), а биография (как и грехи) вновь будет однозначно интерпретироваться как результат собственных усилий человека. Фоном для этого послужит отказ от культа «славной истории» — предмета всенародной и национальной гордости — и уже начавшаяся переоценка роли личности в истории, приниженной в марксистской мысли еще Г. Плехановым. Первые робкие симптомы начавшейся переоценки — «Дети Арбата» А. Рыбакова и «Роммат» В. Пьецуха, насыщенный тонким юмором, почерпнутым в исторических анекдотах. Безусловно, переоценке способствует появление на политической авансцене М. С. Горбачева как живого примера и одновременно как человека, без которого период реформизма вряд ли бы состоялся. Вообще горбачевский период дает новый интересный материал, и именно сквозь призму феномена ЯИЦАТУПЕР можно увидеть некоторые существенные черты периода в целом. Прежде всего его противоречивость, идеологическую «турбулентность».

С одной стороны, имеет место явная тенденция к возрождению общественной жизни и независимого общественного мнения, многие (хотя и далеко не все) репутации приводятся в соответствие с исторической правдой. В то же время процесс продолжает идти под контролем: на вентиле, регулирующем подачу правды, по-прежнему застыла жилистая партийная рука с наколкой и бриллиантовым перстнем [1]. Иными словами, по-прежнему действуют описанные выше контрпроцессы. Культурный процесс, однако, неумолимо течет в прямо противоположную сторону, и происходит беспрецедентное превращение живой личности члена Политбюро в пародическую (ср. с графом Хвостовым и князем Шаликовым в литературе начала XIX века) — явление для советского общества

[1] Это касается и хрущевского периода; см. например: «Демонтаж» А. Злобина («Нева», 1989, № 5—7; «Огонек», 1989, № 20, с. 28—31), «Псалом» Ф. Горенштейна (München, 1986, с. 316, 320).

[1] Во избежание обвинения в клевете: «...Где брался меч, усыпанный бриллиантами, который был подарен Брежневу во время пребывания в Баку в 1981 году? Или на чьи деньги сделан перстень, символизирующий Советский Союз (большой бриллиант посредине и 15 помельче вокруг), подаренный опять-таки Брежневу и показанный телезрителям всей страны» (Щепоткин В. К диктатуре закона! — «Известия», 1990, 24 января, с. 1).

необычное и чрезвычайно сложное по своему генезису. В его основе традиционные для русской культуры прямые контакты политики и литературы: литература вмешивается в политику, литераторы учат политиков.

В начале века поэт Иван Каляев убил великого князя Сергея Александровича.

Сегодня идет поиск новых подходов, результатом чего стал своеобразный несанкционированный «импичмент»: выведение личности Е. К. Лигачева из сакрально-таинственной, анонимной политической системы и включение ее в десакрализованную литературно-смеховую систему: образование *пародической личности*, как писал Ю. Тынянов в 1929 г. (см. «О пародии»), происходит автоматически. Можно даже указать момент, когда было положено начало образованию пародической личности,—1 июля 1988 г., выступление Е. К. Лигачева на XIX конференции КПСС, включившее в себя навязчивый повтор:

«...А ты, Борис, работал 9 лет секретарем обкома и прочно посадил область на талоны».

«Молчал и выжидал. Чудовищно, но это факт. Разве это означает партийное товарищество, Борис?»

«По-видимому, хотелось т. Ельцину напомнить о себе, понравиться. О таких людях говорят: никак не могут пройти мимо трибуны. Любишь же ты, Борис, чтоб все флаги к тебе ехали!» («Правда», 1988, 2 июля, с. 11).

Политическая норма была превышена ровно настолько, чтобы человек перешел в иной — литературный — ряд. Сработала и ближайшая для литературного сознания ассоциация: «Когда Борис хитрить не перестанет...»; «Да сжалится над сирою Москвою//И на венец благословит Бориса»; «Борис, Борис! все пред тобой трепещет...», которая своей «литературностью» обратилась против того, кто на нее вывел. Он-то и превратился в пародическую личность [1].

Безусловно, предварительно были созданы все необходимые условия для ее возникновения (невозможно представить в этой роли, например, М. А. Суслова), необходим был только подходящий объект, способный реализовать выкристаллизовавшееся отношение общества к фигуре политика, отставшего от времени. В дальнейшем же все происходило по прогнозам теории пародии: вокруг именно этой личности стали концентрироваться разного рода истории и анекдоты, на ней сомкнулись Игра и Преступление (заявления Гдляна — Иванова о криминогенности личности Лигачева можно было предвидеть). Пример интересен принципиально новыми для «эпохи базиса и надстройки» отношениями власти (в лице одного из ее представителей) и общественного мнения, вышедшего из-под строгого контроля (правда, нечто подобное наблюдалось в двадцатых годах, когда частушки смело оценивали политические реалии дня): происходит чрезвычайно опасное для бюрократии спонтанное прорастание низовой смеховой народной культуры в официальную печать (ср. с публикацией даже анекдотов типа «Куй железо, пока Горбачев»), что лишний раз свидетельствует о трещинах в монолите.

[1] Ср.: «Даже дети и те в перестройку играют. Сам видел, как один на другом верхом ездил. Нижний плачет: „Не хочу, не хочу больше быть Ельциным!“ А верхний отвечает: „Борис, ты не прав!“» (Задорнов М. Хромосомный набор.— «Огонек», 1989, № 28, с. 32).

В речи Е. К. Лигачева был еще один эффект, возможно, не предусмотренный автором. В финале оратор сказал: «Пишут и о нас. В том числе разное пишут за рубежом о Лигачеве. Иногда спрашивают, как я к этому отношусь? Перефразировав слова великого русского поэта, скажу: в диком крике озлобленья я слышу звуки одобренья. (*Аплодисменты*)». Но именно этой цитатой закончил проработочную речь Н. С. Хрущев 8 марта 1963 г. на встрече с деятелями литературы и искусства: «Буржуазная печать нередко хвалит иных наших работников искусства... Обидна такая похвала для советского человека. Владимир Ильич Ленин любил приводить прекрасные слова поэта Некрасова:

Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

Это написал товарищ Некрасов, но не этот Некрасов, а тот Некрасов, которого все знают. (*Смех в зале. Аплодисменты*)».

Совпали по смыслу и высказывания Н. С. Хрущева периода упадка, и Е. К. Лигачева о литературе, посвященной «культу личности»: у обоих она вызвала крайне настороженное отношение. Впрочем, это лишь беглые замечания — научное изучение только начинается.

ГОДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Андрей Жданович. Холодное утро. Повесть. «Советский писатель». Л., 1990.

«Холодное утро» — первая книга Андрея Ждановича. Писал он ее долго — восемнадцать лет. А еще дольше — более двух десятилетий — безуспешно пытался пробиться с нею к читателю.

Среди причин, столь тяжело повлиявших на ее судьбу, пожалуй, лишь одну можно отнести к числу тех, что принято называть объективными. На нее в кратком предисловии к книге указывает генерал Ф. П. Батурин, руководивший в свое время подготовкой разведывательно-диверсионных групп, тех самых, с одной из которых в 1941—1942 гг. дважды ходил в глубокий вражеский тыл семнадцатилетний московский доброволец Андрей Жданович. Рассказывая о мало кому известной в то время воинской части особого назначения, в которую входили все эти группы, Ф. П. Батурин свидетельствует, что все, так или иначе касавшееся этой части, «долго, очень долго оглашению не подлежало». Подпадало, стало быть, под этот специальный запрет и все то, о чем рассказывал в своей повести А. Жданович. Ибо рассказ его был как раз о бойцах этой самой части, о трудной и опасной их работе в тылу врага в тяжелые дни первого года Великой Отечественной войны.

Военная тайна есть военная тайна, и тут уже, понятно, ничего не поделаешь. Однако вот что примечательно. Пришло время, когда запрет был наконец снят, во всяком случае, значительно ослаблен, а автор повести «Холодное утро», как и прежде, продолжал получать из редакций отказ за отказом. К повести проявляли искренний интерес, за нею признавали всякого рода достоинства, но... В общем, как писали в эпилогах старого доброго времени, «прошло двадцать лет»...

Впрочем, иначе вряд ли могло и быть. Потому что о том, о чем писал Жданович, принято было писать совсем не так, как написал он. Больше того: так, как написал он, писать было не принято.

В обширной и многообразной литературе о войне довольно резко, на мой взгляд, выделяется одна ее разновидность — простоты ради назовем ее «партизанской литературой». За то время, что она существует, в ней сложились и утвердились свои традиции, свой подход к теме, своя, я бы даже сказал, «поэтика». Произведения этого жанра отличал острый драматизм экстремальных, почти невероятных ситуаций, напряженный пафос постоянного, непрерывного подвига, какой-то особый дух, делающий их в чем-то созвучными героическим легендам. С годами эти черты обретали все большую литературную обязательность, сложившись в конце концов в некий канон, с точки зрения которого, собственно, и оценивалось каждое новое произведение на «партизанскую» тему.

Повесть А. Ждановича под этот канон явно не подходила. В ней не было ни крупномасштабных боевых операций, подобных, скажем, тем, что описываются в широко известных книгах С. Ковпака и П. Вершигоры, ни увлекательных приключений, какими изобилуют, например, «Крымские тетради» И. Вергасова,— вообще ничего из того, что предписывалось каноном. Был же простой и непритязательный рассказ о том, что автору довелось испытать и пережить на войне, рассказ правдивый, искренний, исполненный глубоких раздумий о жизни, о судьбе своего поколения, о трудных поисках своего пути. «Батальные» сцены, драматические ситуации здесь тоже были. Однако вот что сразу же обращало на себя внимание: то, что в произведениях этого жанра, как правило, было главным, а чаще всего и единственным предметом повествования (во всяком случае, именно так воспринималось читателем) — всевозможные перипетии партизанской жизни, здесь, в повести Ждановича, ставилось в тесную и едва ли не подчиненную связь с весьма широким кругом общих нравственно-социальных проблем. Молодого автора, собственно говоря, интересовали не только и, быть может, даже не столько сами события, составившие одну из самых ярких страниц его биографии, сколько нравственно-психологические их истоки, уходящие в самые глубины этой биографии, в сложное и противоречивое переплетение тех реальных обстоятельств, в которых происходило становление характера героя, формирование его личности.

«Один лес, и все деревья в нем с рождения на этой почве, как и те, что стояли тут до них, а затем легли в землю, освободив место молодой поросли. И к вёдру привычны, и к лиху разному, главное, чтобы корни — поглубже... Коль попадет семечко из леса на опушку — не беда, прорастет, да с годами вымахает... Но если из теплицы — в грунт, под открытое небо, да еще на тот край, что первым северный ветер встречает, то чем раньше, тем лучше — тогда приживется, и шуметь ему кроной вместе со всеми.

Не приобщись я в детстве ко всему, что меня окружало, что было нормой для моих сверстников, не выдержать бы мне военных испытаний».

Из этой вот предпосылки и исходит Жданович в своей повести. Она в конечном счете определяет в книге и отбор материала, и его осмысление, и саму композицию. Отсюда же и название повести. Ибо «Холодное утро» — это и есть история того самого «семечка», которое вовремя (т. е. очень рано) было высажено «в грунт, под открытое небо, да еще на тот край, что первым северный ветер встречает», и которое затем проросло, дало всход столь крепкий, что ему не страшны оказались и настоящие бури. По всему этому самые важные, самые проникновенные страницы повести — о детстве. К нему как к началу всех начал обращается Жданович на протяжении всего повествования, как бы проецируя на него, поверяя им все, с чем столкнула героя война.

Нет, он не идеализирует детство. И та норма, к которой он тогда приобщался, отнюдь не представляется ему этаким «юности честным зерцалом». Было в ней, этой норме, все. Был дух товарищества, коллективизма и тут же — безраздельное, никем не оспариваемое право сильного, простодушное варварство уличного, дворового обычая. Была и прямая жестокость. Воспитанному в традициях патриархально-интеллигентной семьи, Ждановичу пришлось пережить немало горьких обид, тяжелых нравственных потрясений вроде той расправы, которую учинили ему юные варвары, когда он попытался заступиться за страдающую под их ножами березу; уничижительное прозвище «Березе больно» так и осталось за ним с тех пор.

Все это было.

И все же... И все же он благодарен детству. Благодарен за те самые первые и, быть может, самые наглядные уроки, которые преподала ему жизнь. Ибо это были и первые уроки жизни, давшие ему начальные представления о том, с чем впоследствии, только в несравненно более сложной и острой форме, придется столкнуться ему, уже взрослому человеку. А важнее-то всего было, пожалуй, то, что из многочисленных испытаний, выпавших на его долю в детские годы, он, как оказалось, вышел все-таки с честью.

Да, ему случалось иногда сносить обиды. Уступать силе. Подчиняться суровым требованиям уличного обычая. Но делал он это не из малодушия, не из страха перед силой, а единственно из некоего инстинктивного опасения оказаться в одиночестве, не таким, «как все», а паче того — неспособным на «подвиги», доступные большинству. В детстве — это просто инстинкт, в лучшем случае «лыцарский» предрассудок. Осознанное же и окрепшее с годами, чувство это становится убеждением, высоким чувством человеческого долга. Именно в нем, этом убеждении, будет находить Жданович самую надежную нравственно-психологическую опору, когда жизнь поставит перед ним многие, кажущиеся подчас неразрешимыми проблемы; оно же ляжет в основу того критерия, той меры вещей, которая определит его взаимоотношения с окружающими. Огромные тяготы, выпавшие на его долю во время первого рейда во вражеский тыл, он перенесет без особых переживаний. Но для него окажется истинным потрясением случай, когда его товарищ, посланный с ним в разведку, малодушно бросит свой пост. Да и вообще причину неудачи этого первого рейда он увидит не только и, может быть, даже не столько во всякого рода организационных неувязках, сколько в определенных моральных обстоятельствах, сопутствовавших этому рейду. «Если разобраться,— вспоминает он,— нам не доверяли ничего и не посвящали ни во что. Мы шли и ждали, что прикажут. Обидно такое отношение. Будто мы без головы и ничего не понимаем...»

«Да,— заключает Жданович,— чувства единства и ответственности каждого за дело, на которое мы были посланы, нам на этот раз не хватало».

Книга Андрея Ждановича повествует о делах и днях давно минувших и с этой точки зрения как будто может быть отнесена к мемуарному жанру. Однако это не совсем так. Сохраняя, конечно, все значение правдивого документального свидетельства, она при всем том заключает в себе гораздо более сложную и существенную литературную задачу. Это не просто воспоминания, не просто рассказ о событиях, о которых уже никто, кроме очевидца и участника их, не расскажет; это еще, а лучше сказать — прежде всего духовно-нравственная биография целого поколения, биография нашего старшего современника, написанная строго, искренне, взыскующе-честно. Конечно, это лишь часть биографии, сравнительно краткий ее эпизод. Однако вместил он, этот эпизод, столько событий, столько существеннейших и поучительнейших поворотов нравственной истории человека, что по праву стал для Ждановича «своего рода точкой отсчета не только на период войны, но и на всю последующую жизнь».

Хотелось бы выразить надежду, что и повесть «Холодное утро», эта честная, талантливая книга, тоже станет для ее автора своеобразной точкой отсчета — на этот раз в его литературной биографии. Биографии, начинавшейся так трудно и начавшейся наконец так хорошо...

Л. Емельянов

«НУЖНО БЫТЬ ЖЕСТОКИМ...»?

В. Кобрин. Иван Грозный. М., «Московский рабочий», 1989.

Фраза, вынесенная в заголовок, была произнесена Сталиным 25 февраля 1947 года. Поздним вечером, почти ночью, он вместе с Молотовым и Ждановым наставлял в Кремле всемирно известного режиссера, постановщика фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна и исполнителя главной роли Николая Черкасова.

И эта беседа, и вся история, связанная с запретом второй серии картины, производит впечатление какой-то мрачной фантасмагории. Подумать только: не прошло и полутора лет со дня окончания войны, страна лежит в развалинах, деревня голодает, а ЦК ВКП(б) принимает 4 сентября 1946 г. постановление, осуждающее в числе прочих фильмов и эту кинокартину о царе, правившем в далеком XVI веке. Сталин озабочен тем, чтобы этот царь, отличавшийся свирепым нравом, патологической жестокостью и установивший тоталитарный террористический режим, был показан средствами самого массового искусства в качестве великого, мудрого и прогрессивного государственного деятеля.

Запись беседы со Сталиным, сделанная Эйзенштейном и Черкасовым, свидетельствует не только о поразительной исторической безграмотности «великого корифея всех наук», но и показывает его до предела идеологизированный, сугубо прагматический подход к науке, к искусству, к историческому прошлому.

Конечно, говорил Сталин, «Иван Грозный был очень жестоким». Но задача художников и ученых в том и состоит, чтобы «показать, почему нужно быть жестоким». Впрочем, по его убеждению, царю «нужно было быть еще решительнее». Его ошибка состояла в том, что «он недорезал пять крупных феодальных семейств», а «если он эти пять семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени». Не будем сейчас останавливаться на том, откуда взял Сталин эту фантастическую цифру — пять семейств. Главное состоит в методе решения политической задачи — вырезать всех до одного потенциальных политических оппонентов.

Мудрость Ивана Грозного в сталинской интерпретации заключалась, в частности, в том, что «он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния». Это смехотворное, противоречащее широко известным фактам утверждение весьма симптоматично. Сталин начал идеологическую подготовку к политике возведения железного занавеса между страной и остальным миром. Научный и культурный изоляционизм, внешним проявлением которого была печально памятная борьба с низкопоклонством перед Западом, с «растленной» буржуазной культурой, с космополитизмом, за признание мифических приоритетов, отбросил наше общество на много десятков лет назад и стал одной из основных причин нашей нынешней отсталости.

И все же главная цель Сталина состоила в том, чтобы внедрить в общественное сознание идею универсальности, исторической закономерности, прогрессивности сильной власти, сконцентрированной в руках царя или вождя, опирающегося на народ и проводящего беспощадную репрессивную политику против внутренних врагов, поддержанных врагами внешними. Таким образом, исторический опыт, содержание которого было извращено в угоду политической конъюнктуре, становился идеологическим обоснованием неизбежности, оправданности и необходимости террора как средства политической борьбы. Известные «открытые» политические суды над «шпионами и диверсантами» обретали исторический прецедент в период царствования «великого государя», каравшего своих политических противников, шпионов и предателей жестоко, но справедливо.

Стоит ли удивляться тому, что тенденция возвеличивать царей, князей, полководцев прошлого и вообще сильных личностей проявилась именно на рубеже 1930—1940-х годов и именно тогда на первое место выдвинулась фигура Ивана Грозного?

Не следует недооценивать того обстоятельства, что произведения известных писателей и кинематографистов (В. Костылева, А. Толстого, В. Соловьева, С. Эйзенштейна), труды маститых ученых (Р. Виппера, С. Бахрушина, И. Смирнова и др.) подготавливали общественное мнение для окончательного директивного закрепления постановлением ЦК ВКП(б) идеи прогрессивности царствования Ивана IV, высочайшего одобрения его террористического правления. Фраза же из этого постановления о прогрессивном войске опричников, надолго ставшая программной, перекликалась с постулатами, провозглашенными ранее учеными и деятелями культуры.

Такая массированная пропагандистская атака имела далеко идущие последствия. Обыденное историческое мышление даже в отношении столь далеких от наших дней проблем, какими являются те или иные аспекты русской истории второй половины XVI в., оказалось деформированным концепциями сталинского периода глубоко и для целых поколений советских людей, по-видимому, необратимо.

Приведу только один, но весьма показательный пример. Сравнительно недавно я получил письмо от жителя одной из деревень Курганской области с возражениями против основных положений моей рецензии на изданную в серии «Литературные памятники» переписку Ивана Грозного с Андреем Курбским.

Настаивая на том, что политика Ивана Грозного, в том числе и опричнина, «была исторической необходимостью», поскольку была направлена на утверждение в России объективно необходимого абсолютизма, мой корреспондент противопоставляет царю русских феодалов, которые «пытались сдать Россию и разделить ее между Крымом, Польшей и Швецией». Конечно же, «Иван Грозный был жесток в политике», но только «со своими врагами, которые мешали его реформам, его политике, его делу». Все, сотворенное им, служило лишь целям «усиления могущества России». Кто спорит, в то время «текли реки крови», но «вопрос в том, во имя чего это делалось — личной корысти или по необходимости, во имя, к примеру, государственных интересов». Так что «мораль в политике» всего только «средство агитации и пропаганды, чтобы опорочить Россию, русских». Ведь «великий государь» «жег бояр публично, то есть совершал казнь за политические преступления».

Вот так человек, убежденный в том, что мораль и политика несовместимы, что цель оправдывает средства, ищет опору в историческом прошлом.

Здесь мы обнаруживаем отчетливый отпечаток сталинских клише — и отрицание нравственного начала в политике, и «понимание» того, «почему нужно быть жестоким», и болезненную ксенофобию. Правда, обнаруживаются отголоски воззрений и нынешних сторонников общества «Память», выискивающих признаки так называемой русофобии всюду и везде, в том числе и довольно своеобразные: порочит Россию и русских, оказывается, отрицательная характеристика российского царя и признание его политики аморальной.

Преодоление сталинизма в сфере идеологии — процесс достаточно сложный и, по-видимому, длительный. Многое для этого сейчас делается в публицистике, в художественной литературе, в обществоведении. Что касается исторической науки, то она сконцентрировала свое основное внимание на советском периоде. Пересмотр же многих проблем досоветской истории, особенно периода феодализма, существенно задерживается. Мало выходит и научно-популярной литературы, отражающей современное состояние исторической науки. Книга В. Кобрина «Иван Грозный» — одна из первых в этом ряду.

Известный исследователь истории средневековой Руси, В. Кобрин предпринял удачную попытку в общедоступной форме изложить основные научно выверенные факты, которые дают массовому читателю возможность оценить личность и итоги деятельности Ивана Грозного. Царь предстает в книге как государственный деятель в высшей степени противоречивый — чудовищная жестокость и блестящий литературный талант, широкие планы преобразований и состояние глубокого экономического и политического кризиса, в котором он, умирая, оставил страну. Разобраться в личности царя Ивана для В. Кобрина означает разобраться в том, какой отпечаток наложило время на Грозного и какой — Грозный на время.

Через всю книгу В. Кобрина проходит в этой связи ряд сюжетов — проблема централизации, взаимоотношения боярства и дворянства, феномен террористического диктаторского режима. Все они между собой тесно связаны.

И действительно, уже с конца XIX века получила распространение концепция, согласно которой внутри господствующего класса феодалов сложились два антагонистических сословия — боярство и дворянство; если бояре, крупные землевладельцы, стремились вернуть страну к порядкам феодальной раздробленности, то дворяне отстаивали политику централизации страны; на них и опирался Иван Грозный в борьбе с боярством, а методом этой борьбы стал террор, особенно усилившийся в период опричнины.

Основываясь на исследованиях последних десятилетий, в том числе в значительной мере на своих собственных, В. Кобрин решительно пересматривает эту привычную со школьных лет схему. Прежде всего, ему удалось показать, что представления о боярстве как о реакционной силе, которая противится централизации, в то время как дворяне выступают за централизацию, не соответствует действительности. А главное — нет оснований считать опричную политику направленной против бояр. Опричнина и вся опирающаяся на репрессии политика Ивана Грозного, как убедительно показывает В. Кобрин, направлена на укрепление личной власти, хотя и свидетельствует также о борьбе против пережитков удельного времени.

Но если опричнина помогла централизации, то есть способствовала прогрессу, то, может быть, это и оправдывает террористический режим Ивана Грозного? — спрашивает автор. И сразу же задает другой вопрос: можно ли было добиться централизации страны, применяя другие методы? Положительный ответ на первый вопрос и отрицательный на второй опирался бы на одну и ту же презумпцию — цель оправдывает средства.

В. Кобрин обращается к двум проблемам, которые касаются не одной лишь истории XVI века, а носят фундаментальный характер.

Речь, прежде всего, идет о возможности

привлечения для осмысления истории нравственных критериев. Бытовало и бытует мнение, что задача историка в том, чтобы не судить, а лишь понять людей минувших веков. В. Кобрин решительно выступает против этих взглядов. Такая позиция, пишет он, противоречит самой сути истории, превращает ее в социологию прошлого, науку не о людях, а об абстрактных схемах. Каковы бы ни были прогрессивные последствия опричнины (если были), справедливо считает В. Кобрин, все равно у историка нет морального права прощать убийство десятков тысяч ни в чем не повинных людей, амнистировать зверство. Давно осужденный, но все еще — увы — находящий сторонников тезис «цель оправдывает средства» не только морально уязвим, но антинаучен: нельзя достичь высокой цели грязными средствами, да и цель меняется под воздействием средств.

Рассматривая этот последний феномен на примере царствования Ивана Грозного, В. Кобрин обращается к другой фундаментальной проблеме — проблеме альтернативности исторического развития. Он спрашивает читателя: откуда известно, что те средства, которые были употреблены при Иване Грозном для централизации, были единственно возможными? Тенденции централизации, ликвидации удельного сепаратизма были объективными, к крепкому единому государству вели все пути. Из этого не следует, однако, что в действительности был избран именно тот вариант, который вел к цели с наименьшими потерями.

Существовала ли в реальной жизни альтернатива тому пути, по которому пошел царь Иван, вводя опричнину? В. Кобрин отвечает на этот вопрос положительно. В начале царствования Ивана (в 1550-х годах) были проведены глубокие структурные реформы, направленные на достижение централизации. Этот путь, отмечает автор, не обещал немедленных результатов. Зато он был не таким мучительным и кровавым, как опричнина, и привел бы к результатам более прочным и исключающим становление деспотической монархии. Но ов не вел к быстрому достижению цели и обманывал нетерпеливые ожидания. Возникал соблазн утопического, волюнтаристского, репрессивного пути развития, ибо любая утопия волюнтаристична и требует для своего осуществления приказов, опирающихся на репрессии.

Итак, изменение средств достижения цели деформировало саму цель.

В 1570—1580-х годах в России разразился тяжелейший экономический кризис. Его следствием стало повальное бегство крестьян от феодалов, запустение земель. Вместо того чтобы искать экономический выход из сложившегося благодаря его же действиям кризисного положении, царь Иван взялся за старое, излюбленное деспотами средство: раз крестьяне бегут, то надо запретить им бегать. Так начиналось введение крепостного права. Но, как справедливо замечает В. Кобрин, крепостное право лишь консервировало феодализм и задерживало возникновение и затем развитие капиталистических отношений. Форсированная централизация без достаточных экономических и социальных предпосылок была возможна только при усилении опирающейся на террор личной власти царя. Без него загнать крестьян в крепостное ярмо было немыслимо. Террор превратил и русских дворян в холопов самодержавия, что неизбежно вело к еще большей закрепощенности и приниженности крестьян.

«Итак,— пишет В. Кобрин,— тот путь к централизации, по которому повел страну Иван Грозный, был гибельным, разорительным для страны. Он привел к централизации в таких формах, которые не поворачивается язык назвать прогрессивными. И потому было бы ошибкой считать прогрессивной террористическую диктатуру опричнины. Аморальные деяния не могут привести к прогрессивным результатам».

В книге В. Кобрина не только излагается история царствования Ивана Грозного, не только рассматриваются близкие и отдаленные его последствия, но и предпринимается удачная попытка выявить общие для разных общественно-экономических формаций черты деспотических режимов, указать на закономерности развития и функционирования личной власти.

Так, диктатуры Грозного и Сталина соединяет не только жестокость. В. Кобрин указывает и на тотальность террора, создающего в стране атмосферу всеобщего страха, и на его лотерейность (репрессии направлены не только на противников тирана, но и на тех, кто, с его точки зрения, мог ими стать), и на социальную демагогию, и на преследование безупречных людей, опасных своей независимостью, и на неприязнь к «шибко умным», и на ложные доносы, которым деспотам очень хочется верить.

Исторический опыт учит, что преемники диктаторов в условиях экономических и политических кризисов, почти неизбежно доставшихся им в наследство, принуждены отказываться от террористических методов правления. Жестокость, о которой говорил Сталин как о необходимой компоненте политического правления Ивана Грозного и на которую он опирался в собственной практике, не только аморальна, но и неэффективна. Уместно сослаться и на мнение Энгельса, писавшего в 1870 г.: «Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх».

В. Панеях

Наши публикации

ЕЛИЗАВЕТА КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (1891—1945)

Замечательной русской поэтессе Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой — легендарной матери Марии, героине французского Сопротивления — посвящено огромное количество очерков, статей и заметок как в нашей стране, так и за рубежом. О ней написаны романы, пьесы, снят кинофильм. В память о ней в кубанском селе Юровка создан музей. В то же время поэтическое творчество Кузьминой-Караваевой до сих пор практически неизвестно широкому кругу читателей.

Интерес к поэзии у Лизы Пиленко (девичья фамилия поэтессы) проявился в раннем детстве — ей нравились стихи К. Д. Бальмонта и М. Ю. Лермонтова, которые она знала и читала наизусть. Позже пришло увлечение поэзией А. А. Блока. Сама она начала писать стихи в школьном возрасте, когда училась в петербургских гимназиях (1906—1909).

В 1912 г. в акмеистическом издании «Цех поэтов» вышел первый сборник стихотворений «Скифские черепки», который сразу дал Кузьминой-Караваевой имя, принес ей известность. Сдержанный на похвалы В. Я. Брюсов достаточно высоко оценил книжку начинающего поэта: «Умело и красиво сделаны интересно задуманные „Скифские черепки" госпожи Кузьминой-Караваевой. Сочетание воспоминаний о „предсуществовании" в древней Скифии и впечатлений современности придает этим стихам особую остроту» (Русская мысль, 1912, № 7, с. 23).

В 1910 годы Кузьмина-Караваева много пишет, пытается наладить связи с различными издательствами. В самом начале 1914 г. она предполагала издать вторую книгу стихов, рукопись которой («четвертую часть» написанного) отправила из Москвы в Петербург с А. Н. Толстым на просмотр А. Блоку. Блок откликнулся очень быстро. Но второй сборник — «Руфь» — увидел свет лишь в 1916 г. В него вошли как стихи, прошедшие «цензуру» Блока, так и вновь написанные (например, цикл «Война»).

С 1923 г. Кузьмина-Карааваева жила а Париже, где наряду с огромной благотворительной работой находила время и для поэзии. Небольшое количество стихотворений она опубликовала в эмигрантских журналах, а а 1937 г. в Берлине (изд. «Петрополис») вышел ее третий сборник «Стихи». Книга «Стихи» оказалась последним прижизненным изданием.

В июне 1940 года был оккупирован Париж. Елизавета Юрьевна включилась в борьбу, наладила связь с французским Сопротивлением. В феврале 1943 года была арестована гестапо и отправлена в концлагерь Равенсбрюк. Изможденная физически, но не сломленная духовно, в марте 1945 года она была казнена и кремирована гитлеровцами. Последние дни и часы ее достоверно неизвестны. Существует легенда, согласно которой Елизавета Юрьевна пошла в газовую камеру добровольно вместо обреченной молодой девушки.

Уже после войны в Париже вышли еще два сборника матери Марии (монашеское имя поэтессы): «Стихотворения, поэмы, мистерии» (1947) и «Стихи» (1949). Обе книги редактировал поэт Г. Раевский (Оцуп), хорошо знавший Елизавету Юрьевну в довоенные годы.

Сборник 1949 г.— достаточно полная книга избранных поэтических произведений; в него включено несколько стихов из «Руфи». Хотя он, естественно, не отражает авторской воли, в целом сборник составлен в духе Кузьминой-Караваевой: стихи в нем сгруппированы по разделам. Для характеристики поэтического творчества поэтессы 1930-х годов книги, изданные в 1937 и 1949 гг., следует рассматривать совместно как взаимно дополняющие друг друга по охвату тем и сюжетов.

В Советском Союзе небольшие подборки стихов поэтессы были опубликованы в московском альманахе «День поэзии» (1978), в журнале «Даугава» (1987, № 3) и в сборнике «Чудное мгновенье» (кн. 2, М., 1988). Поэма Кузьминой-Караваевой о Мельмоте Скитальце, написанная в середине 1910 годов, издана в «Памятниках культуры. Новые открытия» (Л., 1987). Многое рассыпано в виде цитат по статьям и очеркам у разных авторов, пишущих о матери Марии.

Все опубликованное на сегодня составляет лишь около половины написанного поэтессой. Остальное хранится в рукописях в частных собраниях как за рубежом, так и в СССР. В частности, три стихотворения в настоящей подборке взяты из архивов Б. В. Плюханова и С. А. Гаккеля. За редким исключением стихи Кузьминой-Караваевой не датированы; они не имеют заглавий. Это — лирические монологи, время и место создания которых, по мнению их автора, не имеет принципиального значения. Многие стихотворения наполнены философским или религиозным содержанием. Напомним, что Елизавета Юрьевна и по складу ума, и по образованию была философом.

Книги стихов поэтессы давно стали библиографической редкостью. Ее произведения — это частица нашей национальной культуры. Предлагаем подборку стихотворений Кузьминой-Караваевой, написанных в разные годы.

* * *

Я весь путь, весь путь держалась
за стремя владыки;
Конь белый летел как птица;
Далеко оствлись рабынь испуганные лица;
Перестали быть слышны вопли и крики.

Это было бегство,
бегство от победивших;
Нас в степи спасла звериная тропа,
Мы врагам не оставили ни одного снопа,—
Я даже видала людей, богов паливших.

Владыка одной рукой прикасался к секире,
А в другой держал бога,—
покровителя нашего племени,—
Вот отчего я бежала у стремени:
Владыка и идол — что ж другое
осталося в мире?

* * *

Исчезла горизонта полоса;
Казались продолженьем неба воды;
На кораблях упали паруса;
Застыло время; так катились годы.
Смотреть, смотреть, как нежно тает мгла,
Как над водой несутся низко птицы,
Как взвилась мачты тонкая игла,
Как паруса на ней устали биться,
Как дальний берег полосой повис
Меж небом и бесцветною водою;
Сейчас он сразу оборвется вниз
Иль унесется облачной грядою.

* * *

Взлетая в небо, к звездным,
млечным рекам,
Одним размахом сильных белых крыл,
Так хорошо остаться человеком,
Каким веками каждый брат мой был.

И в даль идя крутой тропою горной,
Чтобы найти заросший древний рай,
На нивах хорошо рукой упорной
Жать зреющих колосьев урожай.

Читая в небе знак созвездий каждый
И внемля медленным свершеньям треб,
Мне хорошо земной томиться жаждой
И трудовой делить с земными хлеб.

* * *

Недра земли, океаны, пещеры,
Звезды, что в небе хрустальном
повисли,
Солнечный свет и эфирные сферы —
Все угадай, все познай, все исчисли.
Не отрекайся от срока и меры,
Не вопрошай лишь о пламенном смысле.

Смысл — он в вулкане, смысл —
он в кометах,
В бешено мчащихся вдаль антилопах,
В пламенных вихрях, в ослепительных
светах,
Что наше сердце в безумии топят;
Смысл — он в стихах,
никогда не допетых,
Смысл — в недоступных нехоженых
тропах.

Смысл — он крестом осененный погост.
Смысл — как крест. Он — прост.

1929

* * *

Самое вместительное в мире сердце.
Всех людей себе усыновило сердце.
Понесло все тяжести и гири милых.
И немилое для сердца мило в милых.
Господи, там в самой сердцевине
нежность.
В самой сердцевине к милым детям
нежность.
Подарила мне покров свой синий Матерь,
Чтоб была и я на этом свете Матерь.

Клермон-Ферран, 1931 (?)

* * *

Непохожи друг на друга реки,
С этою рекой Нева не сестры,
Но как будто корабельщик некий
Там и тут воздвиг такие ж ростры.

Подымают якорь мореходы,
Отплывают, как Колумб, на запад..
Излучают медленные воды
Океанский и соленый запах...

Только что корабль новый прибыл,
Может быть, из города Петрова.
На базаре серебрятся рыбы
Самого последнего улова.

Город — ключ к морским седым
просторам,
Город — морю крепость и препона.
Дым табачный, пиво, кости, споры
За дверями каждого притона.

Знаю я, какие могут зовы
Здесь рождаться в час глухой,
закатный...
Вот над морем небеса багровы...
Шкипер, шкипер, нет тебе возврата.

Бордо, 1 сентября 1931

* * *

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в легкий утренний мороз
Торопятся людские лица.
От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где темный каменный наряд
Веками был, веками будет,
Где зелена струя реки,
Где все в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России милой дети,
Опять я отрываюсь в даль,
Опять душа моя пищает,
И только одного мне жаль,
Что сердце мира не вмещает.

* * *

Верчу я на мельнице жернов,
Скрипучий, тяжелый, упорный,
Мелю полновесные зерна,
Помол же — песок или пыль,
Как будто я сыпала щебень,
Волчец, что в аду непотребен,
Седой и мохнатый ковыль.
О сердце, о жернов усталый,
Вот боль полновесно упала,—
Мели, этих зерен немало,
И трудится сердце и бьется,
Но белый помол не дается,
И боль не рождает покой.
Как будто незримые воры
Пшеницы мучительный ворох
Запрятали в темные норы,
И сердце напрасно стучит.
И дух мой, убогий и нищий,
Опять остается без пищи
И новую ниву растит.

* * *

Не то, что мир во зле лежит, не так,—
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Всё сумерки, а не огонь и мрак,
Всё дождичек — не грозовые тучи.
За первородный грех ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой,—
Ты просто нам всю правду показал
И всё пронзил тоской и скукой.

* * *

Нет, не покорная трусливость,
Боязнь, что победят соблазны,
Не омертвелая красивость
Твоих одежд многообразных.
Какая тяжесть в каждом шаге,
Дорога круче, одиноче.
Совсем не о нетленном благе
Все дни кричат мне и пророчат.

7 января 1937

Вступительная статья
и публикация А. Н. Шустова

М. Ф. Берггольц

ОБ ЭТИХ ТЕТРАДЯХ

Среди миров,
В мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.

Дневники, стихи, письма, сны, ее смелые речи и наконец — царица-проза: ***ее миры.***

Они не то чтобы слитны, а непрерывно, таинственно и просто (как все в природе) переливаются друг в друга... Я уверена, если б можно было составить книгу по возникновению их: вот стихи, а рядом — письмо; листы дневника и рядом — стенограмма выступления; сценарий и опять дневники,— это была бы правильная книга, выразила бы она не только ее судьбу — трагическую и прекрасную,— а судьбу поколения, лицо эпохи.

Собственно, «Дневные звезды» — первая их часть, так поразившая мир (переведена на многие и многие языки), первый случай подобного синтеза. А основой второй части должны были послужить ее дневники, о чем она говорила неоднократно.

Публикуемой тетради предшествует «Дневник с июля 1939 по март 1940 с приписками периода войны». Вот необходимые извлечения из него:

«15 июля 1939 года.

13 декабря 1938 года меня арестовали.

3/VII-39, вечером, я была освобождена и вышла из тюрьмы. Я провела в тюрьме 171 день.

Я страстно мечтала там о том, как я буду плакать, увидев Колю[1] и родных,— и не проронила ни одной слезы.

Я нередко думала и чувствовала там, что выйду на волю только затем, чтобы умереть,— но я живу, подкрасила брови, мажу губы.

Я еще не вернулась оттуда, очевидно, еще не поняла всего...

21/IX-39

Тупость проходит понемногу-понемногу...

Но все еще пресно.

Хочется абсолютного одиночества, потому что в нем можно хотя бы думать, но донимают приятельницы, надо же поговорить с ними, хотя чувствую от этого свою неискренность и сухость.

Много по ночам говорим с Колей — о жизни, о религии, о нашем строе... Интересные и горькие мысли. Это, вероятно, приходит человеческая зрелость. Ну, а потом что? Не знаю... Пока все, практически, остается так же незыблемо, как и было. И уже, очевидно, не сможет стать иным или иначе.

А мне не страшно никаких мыслей, как было бы страшно, скажем, года три назад... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет,— значит, ничего нет.

5/X-39

Да, *я еще не вернулась оттуда.*

Оставаясь одна дома, я вслух говорю со следователем, с комиссаром, с людьми — о тюрьме, о постыдном состряпанном мне «деле». Все отливается тюрьмой — стихи, события, разговоры с людьми. Она стоит между мной и жизнью. Я никому не говорю этого, даже Коля всего не знает. Но я взялась для райкома писать брошюру к выборам в местные Советы. В ней будет все правда. Да, все, что будет написано в ней о чудовищных наших победах,— это правда. Я верю ей сердцем. Но в ней не будет ни слова о тюрьме — и значит, в ней будет — неправда. Но *этой* правды пока нельзя писать, хотя о ней знаю и я, и тысячи других. Я напишу эту книжку для простых и честных людей, создавших эти победы, прошедших сквозь тот же строй, что и я. Я напишу ее через Сметаниных и пр. сволочь. Сердце горит. Я еще не вернулась из тюрьмы...»

После записи (5/X-39) на оставшейся чистой части листа вписано другими чернилами, четким мелким ее почерком:

«28/X-42. Ленинград. За окном артиллерийские залпы. Осада — уже 15 мес. блокады. Война. Я пишу здесь только правду, даже когда на это требуются усилия. Так вот, 22 июня 1941 года, когда была объявлена война, тюрьма отошла и простилась. Не совсем,— я прятала эти дневники, и одна из первых мыслей была, что меня могут выслать или арестовать только за то, что я уже была арестована без всяких поводов, но это быстро прошло. Я погрузилась в работу, другие массивные мысли и чувства овладели душой, довоенная подавленность исчезла; что страннее всего — что и у меня, и у Коли совсем исчезло пресловутое томящее „чувство временности“, как будто бы именно для этих гибельных дней войны мы и жили, ждали только ее. Тюрьма простилась — т. е. перестала болеть, т. к. заменилась другой, новой, острейшей и тоже общенародной болью. Рубец же от нее, конечно, остался на всю жизнь. Сейчас, во время войны, особенно ясно видишь, какого громадного размера достигало ежовское преступление, как расплачиваемся мы за те дикие годы теперь. Что будет дальше — увидим. Лелею надежду, мечту, что после войны не повторится пережитого ужаса 35—39 гг.

А Коля, который вместе со мною и, м. б., еще острее (ведь он так много молчал, боясь бередить меня!) переживший всю тюремную эпоху, погиб от голода в январе 42 года».

В дневнике можно прокричать то, что тогда и прошептать было опасно:

«6/XI-39, 2 ч. ночи.

Завтра 22 года Октябрьской революции.

Я приветствую вас, Мария Рымшан, Ольга Абрамова, Настасья Мироновна Плотникова, Елена Иванова, Женя Шабурашвили,— коммунисты и беспартийные *честные* товарищи, спящие или не спящие сейчас,— в камерах Арсеналки и Шпалерки!

Я с вами сейчас, родные мои товарищи, я рыдаю о вас, я верю вам, я жажду вашей свободы, восстановления вашей чести.

Товарищи! Родные мои, прекрасные товарищи, все, кого знала и кого не знаю, все, кто ни за что томится сейчас в тюрьмах советской страны,— о, если б знать, что это мое обращение могло помочь вам,— отдала бы все, всю жизнь!

Я с вами, товарищи, я с вами!

Я с вами, бойцы интернациональной бригады, томящиеся в концлагерях Франции!

Я с вами, все честные и простые люди — вас миллионы,— те, кто честно и прямо любят родину,— „с поднятой головой и открытыми устами...“

Я буду полна вами завтра, послезавтра — всегда, я буду прямой и честной, я буду до гроба верна мечте нашей — великому делу Ленина, как бы трудна она ни была. Уже нет обратного пути.

Я с вами, товарищи, я с вами!»

Однако и хранить дневники было опасно, а она знала их ценность: в 1941 году перед штурмом города она пишет: «Завтра Коля закопает эти дневники»,— место она указала в письме ко мне.

Многие дневники уцелели. Однако история ее архива — дело особое...

Первая лютая зима блокады сильно выражена ею в поэмах и стихах, поэтому, опуская дневники этого времени, предлагаю вниманию читателя другую тетрадь.

Почему 1942 год начат в ней с Москвы? Она умирала там, в Ленинграде, после гибели мужа. Дистрофия уже дошла до общего настозного состояния,— залила водою всю, вздула живот, лицо... Борьбою ее поразительного духа было создание поэмы «Февральский дневник» и стихов, но надо было хоть на время *выхватить* ее оттуда — из смерти...

Приняв командировку Союза писателей, я повела по Дороге жизни грузовик с пищевыми подарками ленинградцам. Успела застать ее живой и самолетом отправить в Москву. Остальное — вы прочтете.

Она заработала хорошую славу, подлинную любовь народную... И все-таки: ее мало знают.

Одна из вершин — духа и творчества — (Блокада, Война) известна и застит то, что было скрыто. Она пишет в заметках ко второй части «Дневных звезд»: «Дню Вершин в блокаду — предшествовал День Вершин в тюрьме». Спрашивает себя: сможет ли быть хозяйкой (для горожан) — как была там, в камере № 33? Да, смогла. Стала. Но и тот День Вершин в тюрьме — обретение предельной человечности и мужества — тоже был не случаен: ему предшествовал неустанный путь борьбы за личность — вопреки наплывающему фашизму. Нет, она не «фанатик», она — *ревнитель веры*. Нелегкий это путь. Тяжко бывало вынужденное молчание:

Потом наступает молчание.
Исподволь, неспроста...
Молчание — не отчаянье:
оно тяжелей креста.

Тяжко было бросить себе такие обвинения:

Они ковали нам цепи,
а мы — прославляли их.
Мне стыдно моих сограждан,
как мертвых, так и живых...

И счастье, что она не ставит знака равенства между теми, кого называет «они», и Родиной.

Поэтому так, без сомнений, вся встала на *ее* защиту, как полководцы — бросаемые на фронт прямо из тюрем.

Не для сенсаций решилась я публиковать тетради дневников (собираю их в «световой пучок» вместе с фрагментами второй части «Дневных звезд» — в 3-м томе Собрания сочинений) — сенсаций в печати достаточно: но грех было бы не поделиться с людьми той животворящей силой (во времена душевных-то «раздрызгов»), к которой приобщаешься, окунаясь в ее мир: бесстрашной мысли, чистой души, сопротивления клейкой пустоте...

Ольга Берггольц

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви
В одну молитву все слилось:
— Переживи, переживи! [2]

25/XII-40

Сегодня в клубе Эренбург, живший во Франции, а Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи.

Отрывки — до жалости плохи и равнодушны. Стихи академичны, полумертвы (чем-то похожи на мои), но есть хорошие, с настоящей болью.

Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может СЕЙЧАС писать о разгроме Франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо.

На вечер пришли Таня и Юра Прендели [3], Таня мне — все равно, а Юра занимает, и даже специфически. Уже некоторое время идет подводная игра, которая может окончиться бурным объятьем, если я того пожелаю.

Но я, по всем данным, не пожелаю этого. Юра — «не наш». Кроме того, меня раздражает его ущемленность по отношению ко мне и Кольке; в этом какая-то неискренность, искусственность отношения. Короче, они были там, и я отправила их домой, а сама навязалась на столик к Германам, жестоко презирая себя за это. Тем более, что Юра Г. написал беспринципную омерзительную во всех отношениях книжку о Дзержинском *.

Он спекулянт, он деляга, нельзя так писать, и литературно это бесконечно плохо. Мне надо было сказать ему это, а не втираться к нему на столик.

Потом подсел Зонин [4] с пошлым ухажерством, это было на глазах у Юрки, мне было неудобно, хотя и мелко-лестно (чего мне надо и на что я надеюсь?!), и на вопрос Зонина я ответила, что да, читала его книгу и она мне очень понравилась, но книжки я почти не читала, только начало.

Потом я провожала Зонина до места его ночевки, были обрывки серьезного разговора (ох, сяду я за них, ни за что сяду!) и пошлого флирта на словах...

Зачем этот размен?! Это чисто внешне, души я ничуть не отдаю, но, м. б., и отдаю, и теряю.

Вот с Лидой Ч⟨уковской⟩ сегодня был хороший разговор. И я постараюсь написать для хрестоматии хорошие рассказики.

Безвременье души,— вообще.

Была в Москве. Встречалась с Сережей [5]. Это ничего не принесло на этот раз, кроме опустошения и тупой боли. Очевидно потому, что он меня вовсе не любит, даже не влюблен, а просто так.

(На отдельном листе блокнота.)

12/III-42

Живу в гостинице «Москва». Тепло, уютно, светло, сытно, горячая вода.

В Ленинград! Только в Ленинград... Тем более, что вовсе не беременна — опухла просто.

В Ленинград — навстречу гибели... О, скорее в Ленинград! Уже хлопочу об отъезде...

13/III-41

Иудушка Головлев говорит накануне своего конца: «Но куда же всё делось? Где всё?»

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываюсь на прошедшие годы и ужасаюсь. Не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно проваливается, в чем исчезает и, главное,— зачем, зачем?!.

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова,— сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки.

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб.

Превосходное стихотворение «Соловьиха» было посвящено им Зинаиде Райх, он читал его у Мейерхольда. Мейерхольд, гениальный режиссер, был арестован и погиб в тюрьме. Райх зверски, загадочно убили через несколько дней после ареста Мейерхольда и хоронили тишком, и за гробом ее шел один человек.

Смерть, тюрьма, тюрьма, смерть...

На бездарном «Дон-Кихоте» в Александринке видела сегодня Виктора Яблонского [6], с которым связано ощущение целого периода в жизни — знакомство с Горьким, ЛАПП, история с Авербахом. Горький умер. Л. Авербах расстрелян. Миша Чумандрин погиб на финской войне. Володя Эрлих в концлагере. Юрий Либединский разошелся с Муськой *. Виктор очень постарел,— значит, и я также страшно постарела...

Где всё?! Где всё?..

А Ирка, Ирка [7], господи... А эпилепсия Коли с 32 года? Где всё и зачем всё? И что же вместо того, что было когда-то? Какой наполненной жизнью жила я в 31 году. Сами заблуждения мои были от страстного, безусловного доверия к жизни и людям... Сколько сизы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал... Где же, где всё?

26/III-41

Сегодня, в первый раз за довольно долгое время, у меня не тюкает в голове. Это громадное достижение. Уже не помню, но чуть ли не с десятого числа началась у меня отчаянная невралгия, такая, что я света не взвидела. Глотала всякую дрянь, и сейчас еще ем на ночь люминал и от дикой головной боли, от лекарств совершенно отупела. Все мысли и чувства ленивы и притуплены, все равно. Нет, еще рановато для маразма. Еще я должна написать роман, и выпустить хорошую книгу стихов, и увидеть на экране свой «Первороссийск», а потом уж пускай.

Сейчас я в Доме творчества, в Детском. В этом доме я дважды умирала: первый раз, когда пришла просить у Толстого машину, чтоб увезти Ирку в больницу. Я сказала Толстой [8]: «Моя дочь умирает, дайте мне машину»,— и поняла, что она действительно умирает... Со смертью ее началась моя смерть, тем более, что Я, я виновата в смерти Ирочки. И весь мир стал смертен.

Второй раз из этого дома — меня увезли в тюрьму, и с нее началась вторая смерть — смерть «общей идеи» во мне. Я не живу; я живу вспышками, путем непрестанных коротких замыканий, но это не жизнь. Я живу по инерции, хватаюсь, цепляюсь за что-то: и за работу, и за пижаму, но это непрестанное бегство от самой себя.

Доктор сказал, что мне надо пойти к психиатрам. Зачем? Что они могут восстановить во мне? Я с удовольствием скажу им, что мне нечем жить, потому что насущнейшая моя потребность говорить людям именно об этом, и это тоже бегство, т. к. я слишком слаба, чтоб таскать все это в самой себе, но чем, чем они мне могут помочь? Какую новую опору дадут они мне?

Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже к идее ее... «Как и жить и плакать без тебя?!»

Я думаю, что ничто и никто не поможет людишкам, одинаково подлым и одинаково прекрасным во все времена и эпохи. Движение идет по замкнутому кругу, и человек с его разумом бессилен. У меня отнята даже возможность «обмена света и добра» с людьми. Все лучшее, что я делаю, не допускается до людей,— хотя бы книжка стихов, хотя бы Первороссийск. Мне скажут — так было всегда. Но в том-то и дело, что я выросла в убеждении (о, как оно было наивно), что «у нас не как всегда»...

Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!

Я вышла из тюрьмы со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35—38 гг., будет хоть как-то объяснено, хоть какие-то гарантии люди получат, что этого больше не будет, что освободят если не всех, то хоть очень многих, я жила эти полтора года в какой-то надежде на исправление этого преступления, на поворот к народу — но нет... Все темнее и страшней, и теперь я убеждаюсь, что больше ждать нечего. Вот в чем разница... В июле 39 года еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства.

Я все ругаю себя разными словами — «маловерие», «пороху не хватило», «испугалась трудностей»,— но нет! Не трудностей я боюсь, а лжи, удушающей лжи, которая ползет из всех нор...

Что же может тут сделать психоневролог? Одурить меня процедурами так, чтоб ложь эта, и гибель идеалов, и ужасный процесс перерождения стал мне безразличен? Но это последняя смерть и уже настоящая... Лучше мучительное это безвременье, лучше горький этот кризис, буду думать, что кризис, и буду бесстрашно идти на него...

1/IV-41

Может быть, мне просто нравится так страдать, нравится эта тога «гражданской скорби»? Я просто нравлюсь себе в ней? Но разве я одна так терзаюсь? Все, кого я знаю, особенно коммунисты — Галка, Ирэна, Мара [9],— живут с таким же трудом, как я. Вчера цензура сняла из верстки «Лит. современника» мое стихотворение «Тост». Оно кончалось:

— Так выше бокал новогодний,
Наш первый поднимем смелей

* Ольгу с писателем Юрием Германом связывала пожизненная дружба, дружба-полемика. И любовь. Тот вид человеческой любви, которому и заглавия не подберешь: она и непримирима и добра. (*Здесь и далее прим. М. Ф. Берггольц.*)

* Неточно: я разошлась с ним, когда Ольга была в тюрьме.

За тех, кто не с нами сегодня,
За всех запоздавших друзей...

Очень корявое, оно было дорого мне по внутренней своей мысли — хоть слабый сигнал «им»: «мы помним о вас, мы ждем вас», хоть слабый знак привета. Они — т. е. цензора — догадались. Но формально это причина — «за тех, кто не с нами,— значит, за тех, кто против нас? Значит, за наших врагов?» Суки! Они не имеют права запрещать,— здесь нет ни малейших формальных оснований. Хорошо, я напишу «за тех, кто далеко сегодня»... и если он (Троицкий) [10] опять зарежет,— полезу на рожон вплоть до горкома. Буду говорить о «травле писателя-коммуниста», о том, что Троицкий не имеет права «пересматривать решение гос. органов в отношении меня...»

С трусами и двурушниками надо говорить на их языке, и — главное — никаких формальных оснований для трактовки моих стихов так, как это трактует цензура, нет. Они не смеют ставить мои стихи в связь с моим пребыванием в тюрьме! Ведь же «открытые» стихи о тюрьме я и не показываю никому. Я вся разворошена этим. Это запрещение — точь-в-точь как лязг тюремного ключа там, напоминание о том, что ты — невольник.

Лязгнуло... И вот от этого лязгнувшего звука опять вышла из равновесия, опять впереди — бесперспективность, тьма...

Надо закончить эту муру — «Ваня и поганка», она даст мне наконец возможность вплотную сесть за роман, а может быть, (страшно мечтаю об этом) — съездить на Алтай, по маршруту первороссиян,— м. б., буду писать о них повесть.

Написала стихотворение, которого сама боюсь.

Голосом звериным, истомленная,
Я кричу над омутом с утра:
— Совесть моя светлая, Аленушка,
Отзовись мне, старшая сестра.

На дворе костры разложат вечером,
Смертные отточат лезвия...
Возврати мне облик человеческий,
Светлая Аленушка моя.

Я боюсь не гибели, не пламени,
— Оборотнем страшно умирать!
О, прости, прости за ослушание,
Помоги заклятье снять, сестра.

Говорит Аленушка: «Родимая!
Не поправить нам людское зло:
Камень, камень, камень на груди моей,
Черной тиной очи занесло...»

Но опять кричу я, исступленная,
Страх звериный в сердце не таи.
Вдруг спасет меня моя Аленушка,
Совесть отчужденная моя?

13/IV-41

Вот я и опять в Ленинграде. Да и давно уже, седьмого числа. Может быть, все-таки обратиться к психоневрологу?

Вот, отправлен сценарий, денег есть еще на два месяца, даже если еще тысячу истрачу, надо браться за роман, и вдруг меня одолел страх: мне кажется, что я уже ничего не могу, душевные силы иссякли, да и просто так — трясучка *, мерзейшая трясучка одолевает...

Все вроде как куда спешу, все вроде как страх одолевает, невнятный, глупый. Или это все та же утрата общей идеи дает себя знать? Но Коля дал верный совет: писать «без идеи», записывать, как жили, и идея возникнет. Да, писать — вот так мы жили, вот так мечтали, страдали, радовались, отдавали себя. И... ну,— и? И? «И ничего не вышло; они все передрались, ничего не нашли и вернулись обратно»,— как сказал один мальчик в ответ на предложенный мною сюжет, как дети отправились искать живую воду. Нет, нет; так рано еще говорить, не надо так думать! Может быть, еще и выйдет. Может быть, этот тяжелый период пройдет, там вздохнем, после войны.

Все-таки, пока не воюем, и за то правительству спасибо. Будем верны знаменам. С верностью знаменам и писать. Но высылка Ирэны? Ведь ее все ж таки высылают, доламывают ее жизнь, доканывают прекрасного, верного человека, ничто, ничто не помогло ей, никакие хлопоты, никакие заступничества... Зачем? Разве это хоть кому-нибудь нужно?

Нет! Как только я прикасаюсь к вопросам этого круга, так перестаю дышать.

20/IV-41

Явная дегенерация: куда-то засунула записную книжечку с телефонами Москвы и не могу найти, а отлично помню, что еще вчера держала ее в руках и даже думала: «кладу сюда — и забуду»... Вот глупо.

Колька как долго не идет от Молчановых, наверное, сердится на меня за то, что пришла вчера от Анфисы пьяная. А когда он так пыжится, я совершенно теряю способности к деятельности и жизни.

У меня — серия подозрительных удач. Принят сценарий «Ваня и поганка», говорят, что очень там всем понравился, еду завтра по вызову Мосфильма в Москву для доработки сценария. Получу, видимо, вторые 25 % и затем, довольно быстро, остальные 50.

Но главное — на Ленфильме вдруг зажгла «Первороссийском» Мессерер и Кару [11], завтра они посылают либретто в комитет с просьбой разрешить заключить со мной договор. Конечно, мне надо располагаться на то, что либретто утверждено не будет и придется посылать его Сталину... Но оно все равно пойдет через Ц. К., так что инстанций, где его могут задержать,— очень много.

Вероятностей, что сценарий будет убит,— больше, чем того, что он пройдет. Но хорошо хоть то, что хоть где-то пробита стенка. Ах, как славно было бы, если б получилась к юбилею картина! Это был бы мой подарок к 25-летию Советской власти, дар нашим знаменам, нашей Мечте, нашим идеалам — храму оставленному и кумиру поверженному, которые еще драгоценней именно потому, что они оставлены и повержены. Не нами, о, не нами!

Но неужели действительно оставлены и повержены?

Не перехватываю ли я в этом отношении?.. Может быть, это только такой временный жуткий период?

Успехи немцев подавляют меня. Падение — то Славии, на днях несомненное падение Греции.

Неужели прожить и умереть при торжестве фашистского режима?! Страшно, жалко!..

Кроме того, завтра, наверное, будет разговор у Герасимова [12] относительно заключения предварительного договора на «Заставу». Вообще, благоразумнее не замечать.

5/V-41

Идут очень пустые, нерабочие и даже безмысленные дни. Была в Москве по вызову Мосфильма насчет «Вани и поганки». У «Вани и поганки» [13] — огромный успех. Птушко, шумный и неумный пошляк в быту, в восторге, рвется ставить, все хвалят, сценарий едет пока без задержки. Это почти оскорбляет меня, потому что «Первороссийск» уже зарезан в кинокомитете на первой же инстанции. (Ленфильм послал с просьбой о разреш.) Некто Маневич сказал: «Слишком огненная тема. Она на острие — так остра. Политически неверно ставить картину о коммуне, в то время как коммуна — осужденная форма сельского хозяйства. Т. Сталин на XVII съезде осудил ее»,— и т. д.

Ну, что ж, я ожидала именно этого — отказа. Правда, я думала, что мотивировка будет иная — там что-нибудь насчет того, что много народу гибнет и т. д. О, какая непроходимая тупость и косность! Какое отношение к искусству имеет то, что «коммуна — осужденная форма»? Да нет, просто немыслимо в таких условиях существовать искусству — жгучему, искреннему, правдивому. Авария с «Первороссийском» причинила мне не острую, но тупую боль,— точно вновь ударили по больному, избитому месту, уже «привыкшему» к ударам...

А-ах, как тупо и как, в сущности, страшно! Ну, что ж поделаешь?

Пошлю в Секретариат Сталину, все равно, терять нечего, не посадят же меня за это...

Видела, разумеется, Сережу. Вот еще одна утрата. Не надо было мне вовсе встречаться с ним после Коктебеля, какое бы чудесное, горьковатое, ясное воспоминание осталось. Но нет еще этой мудрости, а есть тупая жадность. И вот.— Бог с ним.

Мне не жаль ни нежности, ни дум, которые посвятила ему. Он неплохой мальчишка, но — все. Внутренний «роман» с ним — окончен. Да и внешний — тоже.

Надо приняться за роман, силы уходят. Вот напишу заявление Ирэне и примусь. Ирэну все еще томят и терзают. А брат ее Миши [14], освобожденный из польской тюрьмы в сентябре 39 года, написал о Мише такое заявление, что, читая его, чувствуешь, будто тебе на сердце капают раскаленным свинцом. И больше того: он собрал о Мише справки тамошних людей, знавших его по подпольной работе в Польше, и это тоже, как капли свинца в душу. Хороший, видно, человек был этот Миша, если о нем, осужденном Советской властью, так пишут люди! И они — смелые, хорошие люди! О, дай им всем Бог, дай им Бог силы вынести все испытания, которые им еще, наверное, предстоят... Ну, надо написать заявление...

12/V-41

Сегодня позвонила мне Наташа, жена Марка Симховича, человека, с которым у меня был хороший роман в Гаграх в 1934 году. Я до сих пор помню, как, подъезжая к Гаграм, первый раз в жизни увидела море, и все внутри просияло и затрепетало от радости. И эта радость длилась весь месяц отдыха, я бежала к морю, как на любовное свидание, а Марк был очень влюблен, дарил мне розы, мы читали стихи, философствовали, целовались.

После Гагр я его больше не видела, не переписывалась с ним. В 39 году Наташа, с которой он познакомил меня в Москве, позвонила мне, сказала, что Марк умер от дифтерита и что она очень хочет видеть меня. Встреча состоялась только сегодня. Оказывается, Марк (по ее словам) относился ко мне серьезнее, чем я думала. В дневнике у него было записано, что я — самое сильное его увлечение, сразу вслед за Наташей, которую он очень любил.

А у нее теперь с Марком так, как у меня с Иркой: все еще не верит, все еще не понимает, как это вышло, чудовищность, бессмысленность утраты подводит к безумию, к прозрению ТУДА... Она ищет его в жизни, и я для нее была — частица его.

Да, да,— ИЩЕТ его,— может быть, он еще где-то здесь, может быть, его еще можно увидеть, догнать, вернуть,— как же так, вот Ольга Берггольц жива, а Марка нет? Не может быть, тут что-то не так.

* «Трясучка» — словечко нашего отца, означающее паническое нагромождение действий, эмоций, намерений...

Мурашка Чумандрина [15], ровесница и подружка Ирки, жива и учится в школе, но ведь и Ирка могла бы жить и учиться, как Мурашка, почему же этого нет?! Непонятно, несправедливо. О, знаю, знаю, все знаю, больше, чем можно сказать...

Она говорила: «Я многих слов ваших не запомнила, я только слушала ваш голос, смотрела на вас, и все». Ограбленный человек. В 37—38 году она 6 месяцев сидела в тюрьме, ее там били страшно, сломали даже бедро. Она говорила: «Но знаете, самое ужасное, когда плюют в лицо. Это хуже, чем побои». Зачем ей плевали в лицо?! Разве когда-нибудь она забудет это, сотрет с души, с лица? Сколько у нас ОСКОРБЛЕННЫХ, сколько! Через два месяца после того, как она вышла из тюрьмы, после такой отсидки — умер Марк, который был для нее всем. Нет, бог не бог, а какая-то злобная сила, смеющаяся и издевающаяся над людьми, наверное, есть...

А что я могла сказать ей? Она спрашивала: «Ну что же делать, с чего начать-то, как жить?» А я отвечала: «Я тоже так всех спрашиваю, я сама не знаю. Живу вот...» И еще умничала чего-то, рассказывала о мелочах, своих дурацких стычках с цензурой... Но что сказать, что дать ограбленному, оскорбленному человеку?

Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,—
Чем помогу?!

Стоит она у меня перед глазами,— чувствую я за всем этим больше, чем она говорила,— ну что, что вынуть, вырвать из себя — и подарить?! Обманываю я их всех, приходящих ко мне, чем-то, а чем — сама понять не могу. Если ей выговориться надо было,— я слушала. Все мои умные слова — ей ничто. Но успокаиваю себя тем, что по себе знаю: в горе и в смятенье человеку не столько другого, сколько себя, и, м. б., только себя, слушать надо. Другой человек тебя терпеливо выслушает, скажет самое обычное: «да, да, понимаю», и вот уж кажется тебе, что это самый хороший человек на свете...

Надо больше слушать людей. Я слушала, а потом о себе барабанить стала. Мелко! Я о себе слышала последнее время столько восторженных отзывов — и об «уме», и о «красоте», и о «душе», и так мне это нравится (ужас-то!), что уж иногда чувствую, что должна поддерживать свое звание и, говоря с людьми, обращающимися ко мне, больше думать о себе, чем о них. Это бесконечно мизерно и отвратительно!.. Что делать с этим? А на самом деле я внутренне обеднела, очень мало читаю, размениваюсь на судьбу, хвастаюсь и треплюсь...

Но что же делать с Наташей? Что же дать ей,— не для того, чтоб самой думать о себе хорошо,— а для нее, для нее! Она просила прислать ей моих стихов. Пошлю побыстрее — об Ирке, из «Испытания». Там ведь есть подлинное.

Это жалкое внимание ее тронет, чуть-чуть, м. б., согреет, м. б., беднейшие мои строчки что-нибудь скажут ей... Больше-то ничего не могу... Где-то есть еще хороший портретик Марка — м. б., послать?

Надо, вообще говоря, ответить Гуторовичу, Кужелеву, написать Лене Польскому,— я сухой, черствый человек, дерьмо, что так долго не пишу им. Володьке Дм.[16] еще надо написать...

20/V-41

О, бедный homo sapiens!
Существованье — бред! [17]

Томление.

Все-таки придется, наверно, обратиться к психоневрологу, своими силами не справиться с «трясучкой»... Если это даже и распущенность, то явно болезненная.

Но помню: довольно заказов, «Ваней и поганок», песенок к дурацким фильмам. За дело жизни, за роман, удачей или неудачей он кончится. У меня нет мудрости для него.

Сегодня почитала кое-что из Герцена. Боже мой, для того, чтобы писать то, что я задумала, то, что мы все пережили, надо обладать герценовской широтой, глубиной и свободой мысли и надо иметь точку зрения... У меня же ее сейчас нет. Надо умудриться, надо разобраться в каше жизни — и до нас, и при нас, и видеть вперед, а у меня туман перед глазами...

О, бедный homo sapiens!

Одна эта европейская война чего стоит. Какой крах человеческих усилий: был пример жуткой бойни 14—18 гг., был образец — революция 17 г. и Сов. Союз, была могучая, страшная пацифистская литература, была широкая коммунистическая пропаганда — и ничего! Ничего и ничто не предотвратило бойни еще более страшной, омерзительной и преступной, чем в 14—18 гг. А мы говорили — «пролетариат не допустит», «начало новой мировой войны — начало мировой революции»... Ею пока и не пахнет! И если б Гитлер повел их всех на нас — они бы пошли и громили бы нас! Западный пролетариат работает на войну и воюет так, что диву даешься.

Хорошо, воюют «всего» два года... «Всего» несколько миллионов людей уложили. «А потом они одумаются». Значит, мало было жертв 14—18 годов? Значит, нужны еще горы и горы трупов, чтоб заставить трудящихся одуматься и повернуть оружие против тех, кто их посылает убивать друг друга, чтоб понять, что им не просто воевать. Все еще мало, все еще мало?!

Опять, как уже во многом, разъехалась наша теория с практикой, и очень обидно за

ее «необязательность». А главное — люди гибнут... Теория наша не учитывала этого. Для нее людей нет. Для нее люди, как для Ивана Карамазова, существуют на отдалении...

Безумие и безумие творится в мире, и ничто от людей не зависит.

22/V-41

Продолжается трясучка.

Сейчас надо идти на собрание писателей-коммунистов — относительно перевыборов правления Союза. Вот то-то уж никчемное занятие! Да, Союз влачит жалкое существование, он почти умер, ну, а как же может быть иначе в условиях такого террора по отношению к живому слову? Союз — бесправная, безавторитетная организация, которой может помыкать любой холуй из горкома и райкома, как бы безграмотен он ни был. Сказал Маханов [18], что Ахматова — реакционная поэтесса,— ну, значит, и все будут об этом бубнить, хотя НИКТО с этим не согласен. Союз как организация создан лишь для того, чтоб хором произносить «чего изволите» и «слушаюсь». Вот все и произносят, и лицемерят, лицемерят, лгут, лгут,— аж не вздохнуть!

Но раз мы все поставлены в такое положение, «чтоб не иметь свое суждение»,— о чем же говорить? Что «улучшать» в Союзе? Систему лицемерия? Способы завинчивания гаек?

Предлагают писать очерк о днях финской войны у нас на заводе, соблазняют деньгами... Нет, не буду! Конечно, люди вели себя геройски, но ведь правды — жестокой, нужной, прекрасной — об этом все равно нельзя написать, а сопли разводить — что за смысл. Да и не могу, не могу я больше! Надо роман писать. И «не принимала» я эту войну...

Уж лучше попробую сделать заявку — предельно честную — о Мартехове [19]. Это и само по себе интересно, без всяких, и в смысле базы — тоже, если выйдет, будет нечто солидное. Сегодня отправлю маму в Москву и буду писать завтра, 24 и 25 целые дни.

Нет, откажусь от очерка. А на собраниях буду молчать, чего зря говорить-то. Все равно никто правды не скажет,— лучше «честно молчать».

30/V-41

Второй раз сегодня смотрела «Двадцать лет спустя» [20], вместе с Колькой. Прекрасная пьеса!

О, если б мне удалось с такой же поэтичностью, жгучестью и скрытой глубиной написать о нашем поколении,— так, как написал свою пьесу Миша [21]. А какие простые и хорошие там у него стихи. После них мне мои (особенно последние) кажутся такими вычурными, надуманными, «вумными». Литература — не сердце.

А Колька правду сказал, эта пьеса — отходная поколению... О, да, да. Потому-то так грустно и страшно смотреть ее и так хочется крикнуть: «нет!» Надо читать и работать, работать.

1/VI-41

Этюд с А. Его наскок, я думаю, можно считать в конечном счете неудачным, несмотря на мою непоследовательность. Нет, нет — это скучно! Это прежде всего скучно. Он — из удивительного мира «Светлого пути», мира женщин, «подцепляющих» богатых мужчин, мира непременно-заграничных вещей, отсутствия идеалов, опустошенности безыдейной, той бездны, где уже нет ни адского огня смятений, резких свето-теней, а ровный полумрачок, из мира опустошенности, уже не осознающей себя. По-видимому, по всему судя. Бог с ним. То, что он будет думать обо мне — «нигилистка», «синий чулок»,— мне должно быть безразлично.

Если я не сяду неизбежнейшим образом за роман, то его у меня не будет. Размен меня съест. Завтра сяду с утра.

А то опять может быть «Федя Никтошкин» [22],— то, её, а ведь и так уж 5 месяцев 41 года прошли абсолютно бесплодно.

4/VI-41

Я существо из разряда ничтожнейших. Роман стоит * и — о, ужас — вроде как и писать его неохота. Я переношу его. Нет, сейчас хоть немножко напишу.

На уме — коммерческие предприятия. Их, собственно, надо бы осуществить. Надо денег. Надо одеться хорошо, красиво, надо хорошо есть,— когда же я расцвету, ведь уже 31 год! Я все думала — время есть, вот займусь собой, своим здоровьем, внешностью, одеждой. Ведь у меня прекрасные данные, а я худа как щепка, и все это от безалаберной жизни, от невнимания к себе. У меня могли бы быть прекрасные плечи,— а одни кости торчат, а еще года 4 — и им уже ничто не поможет. И так и с другим. Надо поцвести, покрасоваться хотя бы последние пять-семь лет, ведь потом старость, морщины, никто и не взглянет, и на хер нужны мне будут и платья и польты...

---

* Роман «Застава». Остался незаконченным. Отрывки из него, напечатанные без разрешения автора («Лит. газета» от 3/VII 1968) и будто бы входящие во II часть «Дневных звезд», вызвали гнев Ольги: «Это из моего жестокого, горьковского периода,— я не думала его (роман) публиковать».

О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети? Надо, чтоб были и дети. Надо до детей успеть написать роман, обеспечиться...

А надо всем этим — близкая, нависающая, почти неотвратимая война. Всеобщее убийство, утрата Коли (почему-то для меня несомненно, что его убьют на войне), утрата многих близких,— и, конечно, с войной кончится своя, моя отдельная жизнь, будет пульсировать какая-то одна общая боль, и я буду слита вместе с нею, и это будет уже не жизнь. И если останусь жить после войны и утраты Коли, что мало вероятно, то оторвусь (как все) от общей расплавленной массы боли и буду существовать окаменелой, безжизненной каплей, в которой не будет даже общей боли и уж совсем не будет жизни. Так или иначе — очень мало осталось жизни. Надо торопиться жить. Надо успеть хоть что-нибудь записать из того, как мы жили. Надо успеть полюбоваться собой, наряжаться, вкусить от природы, искусства и людей...

Не успеть! О, боже мой, не успеть!

М. б., я зря отказалась от партии, предложенной А.?

Чувство временности, как никогда. Чувство небывалого надвигающегося горя, катастрофы, после которой уже не будет жизни.

Если наше правительство избежит войны — его нужно забросать лавровыми венками. Все — только не она, не Смерть. Только бы не «протягивать руки помощи»,— пусть они там разбираются, как умеют.

Войны не избежать все равно. Мы одни в мире. Наши отказы, отступления, перерождения ничему не помогут. Мы все равно одни. Но не надо ввязываться ни во что. Это не обеспечит нам будущего — спокойного. Если бы еще советизация Европы — любой ценой, но она невозможна. Да и «любая цена»... Это значит — моя погубленная жизнь, во мне и в миллионах «меня», т. к. я теперь знаю, что все — как я, что все — только Я.

Оттолкнув от себя все это, попытаюсь работать над разделом «Углич», очень далеким от сегодняшнего, два дня отдам роману и, если пойдет, напишу заявку «Феди Никтошкина» и на сценарий «Жена», по Мартехову, для Ленфильма.

12/VI-41

О, боже мой, какая трясучка.

Покою не дает понедельник, та пьянка с Ю. Г. Надо объясниться, задушевно и просто сказать: «Не будем больше так ломаться и плевать друг в друга». Звонила — его нет дома, в Келомяках. Роман идет мучительно, и тороплюсь, порчу, вязну в деталях, пропускаю главное, выдумываю,— а настоящая-то жизнь была во сто крат страшнее и сложней. Главное — эта торопливость, это стремление догнать что-то главное, ускользающее, что обязательно впереди, а не в том, что пишешь. Форма, избранная мною,— полная свобода и независимость от рассказчика, перебивка стилей: то детский рассказ типа «кино-глаза», то почти протокольное повествование — кажутся мне окрошкой, пересмешническом, чужим. Тон все еще не найден, хотя в том, что пишу, он уже ближе к искомому, чем в том, что было написано в 38 году. Там просто плохо.

И это все почти не доставляет творческой радости, за исключением крох.

Но если есть в чем смысл — то именно и только в этой мучительной, медленной работе.

Должна приехать Муська, чтоб сделать аборт, и я мучительно боюсь, что это кончится неблагополучно, что она умрет, что наконец меня просто «накроют» за организацию этого дела. Но что же делать — нельзя же ей оставлять ребенка в ее теперешнем положении — без работы, с полуразрушенным здоровьем...

Ой, ой, ой, как все ужасно, как все мучительно.

Только одна отрада — Колька.

20/VI-41

...Может быть, это настает новая полоса страшного горя для нас всех — ее смерть, суды и т. д. Нечто остановилось за углом и ждет с обухом в руке. Пройдет или нет? Нас или кого-нибудь другого ударит оно?..

Нет, нет, нет!

Все обойдется благополучно, мы поедем с нею в Келомяки, она отдохнет, м. б., устроится к Радловой [23]. М. б., я встречу там человека, с которым чудесно, «кислородно» покручу. Там сосны, там море, там буду работать над романом.

Ах, скорей бы уж оно кончилось,— положим ее в постель, она уснет, я тоже посплю — я напервничалась за эти дни, недосыпаю...

Но что же делать? Ах, говорили же, говорили люди, что нельзя этот закон так круто и свирепо вводить!

P. S. Все благополучно.

22/VI-41

14 часов. ВОЙНА!

(На отдельных листах блокнота.)

1 марта 1942 г. Москва.

Вот я и в Москве, на Сивцевом Вражке.

О, поскорее обратно в Ленинград.

Моего Коли все равно нигде нет.

Его нет. Он умер. Его никак, никак не вернуть. И жизни все равно нет.

Здесь все чужие и противные люди. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме,— неудержимо, с тупым, посторонним удивлением. До меня это делал Тихонов. Я была у него сегодня, он все же чудесный.

Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио — «Февральский дневник», ни издать книжки стихов так, как я хочу... Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированы, мы выступаем в ролях «героев» фильма «Светлый путь»...

Я попытаюсь издать книгу (не ради себя), и выступить, и читать свои стихи, где можно, но это все на 50 % напрасно, они все равно ничего не понимают, а главное — ни на миг это не исправит ничего!

О, Коля... О, как же это случилось... Какая жизнь у тебя была трудная и горькая, как мало счастья ты видел, и умер, не дождавшись его... Нет, мне надо было быть с ним в последние его минуты. Может быть, он узнал бы меня и я успела бы сказать ему, объяснить ему, как я люблю его. Может быть, он умер бы счастливым...

Господи, хоть бы скорее приехала Муся *.

Жива ли она? Жив ли Юрка? [24]

Господи, Господи... Нет, нельзя жить...

АЩЕ ЗАБУДУ ТЕБЕ, ИЕРУСАЛИМЕ... [25]
9 марта 1942 года, Москва.

Между одним словом, которое я написала в этой тетрадке 22 июня 1941 года, и сегодняшним днем прошло почти 9 месяцев войны. Между двумя этими страницами я могу вложить довольно много листков, блокнотов, тетрадок — записей, сделанных за дни войны. Я долго не решалась продолжать эти записи в этой тетради. Как все, что было до войны,— эта тетрадь со всеми ее записями мучительно ранит меня. Впрочем — пусть ранит, пусть. Я не заслужила ничего лучшего, кроме ран и муки. То, что люди любят меня, заботятся обо мне — их глубокое заблуждение. Да и мне и не надо ничего этого.

За это время, ничтожные записи о котором уместятся между двумя страницами,— ...хотела перечислить, что было за это время, но просто перечислять — немыслимо, и даже для простого перечисления нужны тома.

Я с удивлением почти мистическим читаю свою запись от 4/VI-41. Да, вот так и вышло: война сжевала Колю, моего Колю,— душу, счастье и жизнь.

Я страдаю отчаянно.

11/III-42

Я совершенно не понимаю, что не дает мне сил покончить с собою. Видимо — простейший страх смерти. Этого-то страха мы с Колей и боялись, когда думали о смерти друг друга и о необходимости, о потребности умереть после смерти одного из нас. Но он бы все-таки не струсил, а я медлю; люминала, который остался после него, наверное, хватило бы на то, чтоб отравиться.

Нет, я не тешу себя мыслью о самоубийстве. Мне просто очень трудно жить. Мне надоело это. Я не могу без него.

Меня корчит мысль о том, как страшно и бессмысленно погиб этот изумительный, сияющий человек. Я ужасаюсь тому, что осталась без его любви. Но пусть бы даже разлюбил — я и недостойна была этой священной его, рыцарской любви,— только пусть бы жил, пусть бы жил...

Нет! Нельзя, недостойно, бессмысленно жить!

14/III-42

И все-таки живу.

Сегодня — новая издевка жизни, я бы сказала, какая-то даже непристойная: оказывается, я не беременна. Был врач, обследовал и заверил, что никакой беременности нет. А я растолстела немыслимо, и живот, живот — на добрые 6 месяцев с виду...

Господи, столько шумела, Шолохову хвасталась, он очень доволен этим был, в кумовья просился, я всем об этом раззвонила и ходила, не убирая живот,— и вот, будьте любезны — блеф.

М. б., это уже просто климактерия — бесплодие? И вот жирею на этой почве... А на морде появились какие-то пятна, но главное — этот отвратительный (если не беременность) — живот и раздутая талия вместо моей осиной, гибкой. Завтра пойду к профессору, проверю еще раз.

Просто не знаю, как писать об этом Юрке... Значит, Коля умер, не оставив мне ребенка. Я так всегда боялась этого. О, как мы горько жили, как несчастно жили, как бесплодно погибаем — без нашего ребенка. Он все равно был бы нашим ребенком.

В Ленинград.

В Ленинград — навстречу гибели, ближе к ней, хоть я и боюсь ее.

Сегодня шла по Москве — пурга, ветер, а в мутном небе гул самолетов,— и так страшно стало: вот сейчас будут бомбить. Гадость, что боюсь этого.

* Отправив Ольгу самолетом, я оставалась дней десять для оборудования грузовика для эвакуированных и сдачи его штабу тыла.

20/III-42

Из Ленинграда прилетели Томашевские и Азадовские[26]. М. б., Ирина[27] придет ко мне. Она говорила что-то, что Ленинград сейчас в кризисном положении, — видимо, немцы делают еще попытку взять Ленинград. А я на кой-то хрен болтаюсь здесь.

Совершенно ясно, что книжку стихов в таком виде, как она у меня есть, не примут и не издадут. Здесь не говорят правды о Ленинграде, не говорят о голоде, а без этого нет никакой «героики» Ленинграда. (Я ставлю слово героика в кавычки только потому, что считаю, что героизма вообще на свете не существует.) Писать такие рассказы, как Тихонов, я могу, конечно, — и даже они немаловажная вещь в заговоре молчания вокруг Ленинграда, но это все не то, не то...

Единственное, что удалось мне сделать для наших ребят, — это выклянчить в Наркомпищепроме 7 ящиков апельсинов и лимонов, 100 банок сгущенного молока, 10 кило кофе. Это все же! Сегодня моталась — собирала по разным складам лекарства, — собрала. Вот завтра еще все это отправить самолетом в Ленинград, — и все-таки хоть кое-что можно считать с моей стороны для Ленинграда сделанным.

А для слова — правдивого слова о Ленинграде — еще, видимо, не пришло время... Придет ли оно вообще? Будем надеяться.

Известие об опасности Ленинграду както наполнило меня жизнью — вообще, сквозь все, в мелочах и заботах, живу одним — всепоглощающей, черной, безысходной скорбью о Николае, видением его, тоскою о нем — женской и человеческой.

Но вот теперь немцы грозят измученному городу новым ужасом. Я не хочу, чтоб они гадили на братскую могилу, где вместе с другими, скрюченный и страшный, лежит мой прекрасный, мой единственный человек. Я не хочу, чтоб они убили Юрку — живого, любящего меня, такого человечного и красивого. Я не хочу, чтоб они уродовали Яшку[28].

Я хочу быть вместе с ними. Хочу быть с Юркой. Я не грешу этим перед Колей, — мертвого я люблю его, как живого, и плотью и душой — больше всех. Я не грешу перед ним тем более, что, м. б., меня ожидает участь еще более страшная и печальная, чем его. М. б., он уже счастливей меня.

Господи, хоть бы пришла Ирина, чтоб узнать от нее, что с городом!

Да, скорее туда, обеспечив тут, елико возможно, милую мою Мусю.

23/III-42

Сейчас ездила на аэродром сдавать груз для радиокомитета. Чудесное розово-голубое утро, пахнет весной. А Коли нет. Мне до галлюцинаций ясно представляется, ощущается: Троицкая улица, наша квартира — утром, вот таким же, когда солнце и различные в воздухе голубые и розовые краски. Но ведь там же НЕТ, НЕТ Коли. Я вернусь туда, — а он не придет. Там будет все так же, но его не будет. Нет, на свете не существует ничего, кроме его смерти.

Господи, что делать. Я не могу жить. Мука становится все огненнее. Меня корчит в ней, дышать нечем — физически... Боже мой, что же делать, — не могу, не могу так жить, никакого смысла нет.

Ирина рассказывала о Ленинграде, там все то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистрофия», — смерть происходит от других причин, но не от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят в принудительном порядке людей, люди в дороге мрут. Умер в пути Миша Гутнер[29]; я услышала и тотчас подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все время так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила письмо Молчановым — страшно.

Третьего дня после рассказов Ирины ходила в смертной тоске, с одним желанием — «в Ленинград; в Ленинград — и там погибнуть». Очень хочу туда, хотя страшно туда ехать. Наверное, умерла Маруся, умерли Пренделюшки — или вывезены. Жив ли отец? Цело ли бедное наше гнездо на Троицкой, наши книги, Колины рукописи? Может быть, они уже разнесены снарядом? 20-го Юрка был еще жив и здоров — а теперь? Смерть бушует в городе. Он уже начинает пахнуть как труп. Начнется весна — боже, там ведь чума будет. Даже экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков.

В то же время Жданов присылает сюда телеграмму с требованием — прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехорошие политические последствия». На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не смогли достать для Р. К. (радиокомитета).

У меня страшная, инстинктивная тревога за город. Его сейчас взять проще простого: кто же будет драться? Армия, стоящая в кольце, истощена. Население вымирает. (По официальным данным умерло около 2 миллионов!) Город ждет страшная судьба.

Вообще, такое чувство, что мы опять завязли: весна на носу, а у нас нет решающих побед. Гитлер же, видимо, не терял времени. Ужасной будет эта весна!

Господи, хоть бы со мной что-нибудь поскорее случилось...

25/III-42

Сегодня была на приеме у Поликарпова — председателя В. Р. К. Остался очень неприятный осадок. Я нехорошо с ним говорила, я робко говорила, а — наверное, надо было говорить нагло. Я просила отправить посылку с продовольствием на наш радиокомитет. Холеный чиновник, явно тяготясь моим присутствием, говорил вонючие прописные истины, что «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов — «ленинградцы»!), что «государство знает, кому помогать», т. п. муру. О, Иудушки Головлевы! Проект нашей книги «Говорит Ленинград» не увлек его. Что касается вывоза ребят сюда, — оказывается, он предлагал это Ходоренко, но тот заявил, что «ленинградское руководство будет против этого категорически возражать», и отказался от этого предложения. Ходоренко же заверил Поликарпова, что «все отправил и достал», — а это капля в море, то, что Я выклянчила. Говнюк-то чертов!

В немыслимой тоске по Коле я не ощущаю живого чувства к Юре, но когда подумаю, что этот ладный, милый, с ясными добрыми глазами и крылатыми бровями парень лежит с пробитым осколком черепом — хочется визжать, выть по-собачьи от тоски.

Война надолго, надолго! Еще брега не видно этой печали, этой горечи.

Очень трудно выжить, выкарабкаться из этой каши.

27/III-42

Вчера из Вологды получили телеграмму от отца: «Направление Красноярск, просите назначить Чистополь. Больной отец». Я, наверное, последний раз видела его в Ленинграде в радиокомитете. Его уже нет в Ленинграде. Он погибнет, наверное, в дороге, наш «Федька», на которого мы так раздражались, которого мы так любили. А — о!..[30]

В Ленинград! Скорее в Ленинград, ближе к смерти. Она все равно опустошает все вокруг меня. Все уходят, все падают. Что с Юрой-то? Почему от него нет ни слова. Двадцатого он был еще жив. А сегодня? Сейчас?

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Николай Молчанов, муж Ольги Берггольц.

2 Стихотворение Ф. И. Тютчева. Написано на обложке тетради.

3 Юра Прендель, психиатр, Таня — его жена.

4 Александр Зонин, писатель.

5 Сергей Наровчатов, поэт.

6 Актер и режиссер 2-го МХАТа, первый исполнитель роли Левинсона в инсценировке «Разгрома» Фадеева.

7 Умершая дочь О. Б.

8 Жена А. Н. Толстого — Л. Толстая.

9 Галина Плевкина, подруга О. Б.

Ирэна Гурская, близкий друг семьи Берггольц, была вызволена МОПРом из польской тюрьмы в 1927 г. В 1939 г. у нее был отобран паспорт и ей приказано «в 24 часа выехать на родину», то есть прямо в гитлеровский лагерь. О. Б. много сил приложила, чтобы Ирэна осталась в СССР.

Мара Довлатова, редактор.

10 Очевидно, писатель Михаил Троицкий.

11 Раиса Мессер, критик. Кара — возможно, Сократ Кара, театровед.

12 Наверное, кинорежиссер Сергей Герасимов.

13 Сценарий мультфильма О. Б.

14 Михаил Зарецкий, муж Н. Гурской, журналист-международник, референт Радека.

15 Дочь писателя Михаила Чумандрина.

16 В. Дмитревский — писатель.

17 Неточная цитата из стихотв. Пастернака «Образец». Надо: «Существованье — гнет».

18 Секретарь Ленинградского обкома.

19 Известный рабочий «Электросилы».

20 Пьеса Михаила Светлова.

21 Михаил Светлов.

22 Сценарий мультфильма О. Б. для Птушко.

23 Анна Радлова, поэтесса, переводчик, жена режиссера Сергея Радлова.

24 Георгий Макогоненко, литературовед.

25 Из Библии (136 псалом Давида).

26 Семьи известных литературоведов Б. В. Томашевского и М. К. Азадовского.

27 Может быть, Ирина Авраменко, жена писателя Ильи Авраменко.

28 Яков Бабушкин, худ. руководитель Ленинградского радиокомитета.

29 Журналист, знакомый О. Б.

30 За категорический отказ стать секретным сотрудником наш отец Федор Христофорович Берггольц был выслан из Ленинграда и по этапу отправлен под Минусинск.

Публикация и примечания
М. Ф. Берггольц



Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

ХАЛХИН-ГОЛ

В район начавшихся в конце мая 1939 года боев в Монголии нас, однокурсников, отправилось около двадцати человек.

Назначение нам дали в две военные инстанции. В только что созданное управление фронтовой группы — по сути, Главное командование на Дальнем Востоке — и в 1-ю армейскую группу, объединявшую войска, противопоставленные японцам. Фронтовой группой командовал командарм 2-го ранга Штерн, 1-й армейской группой — комкор (будущий Маршал Советского Союза) Жуков Георгий Константинович.

Поезд наш прибыл около 10 часов утра. Прямо с чемоданами мы отправились в штаб и пошли представляться начальству. Принял нас прибывший за несколько дней до нашего приезда только что назначенный начальником штаба фронтовой группы преподаватель нашей академии комбриг Кузнецов. Аппарата у него пока никакого не было. Поэтому мы сразу получили различные задания. Меня Кузнецов очень хорошо знал и первого попросил подойти к нему:

— Вот приказ 1-й армейской группы. Прошу нанести его на карту.

Я взял в руки объемистую пачку листов папиросной бумаги с текстом на ней и удивленно спросил:

— Это все приказ? Армейский приказ?

Я взглянул на последнюю страницу. Там стояла цифра «25».

— Да, армейский приказ,— едва заметно улыбнулся Кузнецов.— Вот его вы и нанесете на карту. И побыстрее. Нам с командующим и членом военного совета, прежде чем выезжать в армию, надо разобраться в обстановке по карте.

Я шел в отведенную мне комнату и старался догадаться, что же можно написать в приказе, чтобы заполнить 25 машинописных страниц. 2—3 страницы — это еще куда ни шло, а 25!.. Так и не додумавшись, разложил карту и начал читать. Тут-то я и понял. Приказ отдавался не соединениям армии, а различным временным формированиям: «Такому-то взводу, такой-то роты, такого-то батальона, такого-то полка, такой-то дивизии с одним противотанковым орудием, такого-то взвода, такой-то батареи, такого-то полка оборонять такой-то рубеж, не допуская прорыва противника в таком-то направлении». Аналогично были сформулированы и другие пункты приказа. В общем, армии не было. Она распалась на отряды. Командарм командовал не дивизиями, бригадами, отдельными полками, а отрядами. На карте стояли флажки дивизий, бригад, полков, батальонов, а вокруг них море отрядов, подчиненных непосредственно командарму. И тут я вспомнил русско-японскую войну и командующего Куропаткина. Его опыт давал мне возможность понять, каким образом Первая армейская группа рассыпалась на отряды.

Японцы действуют очень активно. Они атакуют на каком-то участке и начинают просачиваться в тыл. Чтобы ликвидировать эту опасность, Куропаткин выдергивает подразделения с неатакованного участка, создает из них временное формирование — отряд — и бросает его на атакуемый участок. В следующий раз японцы атакуют тот участок, с которого взят этот отряд. Куропаткин и здесь спасает положение временным отрядом, но берет не тот, который взял ранее отсюда, а другой, откуда удобнее. Так постепенно армия теряет свою обычную организацию, превращается в конгломерат военных отрядов. Этот куропаткинский «опыт» знал любой военно-грамотный офицер. Опыт этот был так едко высмеян в военно-исторической литературе, что трудно было предположить, что кто-то когда-то повторит его. Жуков, который в академии никогда не учился, а самостоятельно изучить опыт русско-японской войны, видимо, было недосуг, пошел следами Куропаткина. Японцы и в эту войну оказались весьма активными. И снова с этой активностью борьба велась временными отрядами.

Я позвонил Кузнецову и пошел к нему с картой. Он взглянул на нее:

— Я так и думал. Пойдемте к командующему.

Мы пришли к Штерну. Я представился и разложил карту.

— Ну, потрудились японцы,— усмехнулся Штерн.— Ну что ж, придется дать команду: «Всем по своим местам, шагом марш!»

На следующий день Штерн с группой офицеров вылетел в 1-ю армейскую группу. Он долго говорил с Жуковым наедине. Жуков вышел после разговора раздраженным. Распорядился подготовить приказ. Приказ на перегруппировку войск и на вывод из непосредственного подчинения армии всех отрядов, на возвращение их в свои части.

Неделю по ночам шли передвижения отрядов. Японцы, не понимая, что у нас происходит, нервничали. Обстреливали из минометов и орудий, пускали ракеты, постреливали и из пулеметов. Под минометный обстрел несколько раз попадал и я. Ведь мы, приехавшие со Штерном, ходили контролировать перегруппировку. Странно чувствуешь себя под минами — как голый на ровной-ровной поверхности. Некуда скрыться. Как бы ты ни вжимался в землю, в какую бы ямку ни залезал, чувство, что тебя видят, не проходило. Я думал, что это с непривычки, но и потом, в войне с немецко-фашистской армией, я переживал сходное чувство, когда попадал под минометный обстрел.

И недаром боялся я мин. Одна из них нашла меня. Осколок на излете воткнулся мне под левую лопатку. В ближайшей медсанроте мне выдернули его, промыли и заклеили рану. Так получил я первое боевое крещение кровью.

Штерн сразу начал готовить наступление с целью окружения и уничтожения японских войск, вторгшихся на территорию, которую мы считали монгольской. Об этом следует сказать несколько слов. Я сам видел старые китайские и монгольские карты, на которых совершенно четко граница идет по речке Халхин-Гол. Но на более новых есть карта, на которой граница на одном небольшом участке проходит по ту сторону реки. Проводя демаркацию границы, монголы пользовались этой картой. Граница со стороны Маньчжурии и внутренней Монголии тогда еще не охранялась, и войска внешней Монголии без сопротивления поставили границу, как им хотелось. Когда японцы вздумали тоже стать на границе, они пошли к реке Халхин-Гол, легко прогнав пограничную стражу монголов. Вмешались советские войска, и завязались кровопролитные бои за клочок песчаных дюн, длившиеся почти четыре месяца. И вот теперь Штерн готовился боем разрешить спор. Одновременно он развязывал узлы, которых немало навязал Георгий Константинович Жуков. Одним из таких узлов были расстрельные приговоры. Штерн добился, что Президиум Верховного Совета СССР дал военному совету фронтовой группы право помилования. К этому времени уже имелось 17 приговоренных к расстрелу. Даже не юристов содержания уголовных дел приговоренных потрясали. В каждом таком деле лежали либо рапорт начальника, в котором тот писал: «Такой-то получил такое-то приказание, его не выполнил», и резолюция на рапорте: «Трибунал. Судить. Расстрелять!», либо записка Жукова: «Трибунал. Такой-то получил от меня лично такой-то приказ. Не выполнил. Судить. Расстрелять!» И приговор. Более ничего. Ни протоколов допроса, ни проверок, ни экспертиз. Вообще ничего. Лишь одна бумажка и приговор. Что скрывается за такой бумажкой, покажу на одном примере.

Майор Т. Из академии мы ушли в один и тот же день — 10 июня 1939 года. Он в этот же день улетел на ТБ-3.

Прилетел он на Хамар-Дабу (место расположения командного пункта 1 АГ) около 5 часов вечера 14 июня. Явился к своему непосредственному начальнику — начальнику оперативного отдела комбригу Богданову. Представился. Богданов дал ему очень «конкретное» задание: «Присматривайтесь!» Естественно, человек, впервые попавший в условия боевой обстановки и не приставленный к какому-либо делу, производит впечатление «болтающегося» по окопам. Долго ли, коротко ли он присматривался, появился Жуков в надвинутой по-обычному на глаза фуражке. Майор представился ему. Тот ничего не сказал и прошел к Богданову. Стоя в окопе, они о чем-то говорили, поглядывая в сторону майора. Потом Богданов поманил его рукой. Майор подошел, козырнул. Жуков, угрюмо взглянув на майора, произнес:

— 306-й полк, оставив позиции, бежал от какого-то взвода японцев. Найти полк, привести в порядок, восстановить положение! Остальные указания получите от товарища Богданова.

Жуков удалился. Майор вопросительно уставился на Богданова. Но тот только плечами пожал:

— Что я тебе еще могу сказать? Полк был вот здесь. Где теперь, не знаю. Бери вон

Продолжение. См.: «Звезда», 1990, № 1—4.

броневичок и езжай разыскивай. Найдешь полк, броневичок верни сюда и передай с шофером, где и в каком состоянии нашел полк.

Солнце к этому времени уже зашло. В этих местах темнеет быстро. Майор шел к броневичку и думал — где же искать полк. Карты он не взял. Богданов объяснил ему, что она бесполезна. Война застала топографическую службу неподготовленной. Съемки этого района не производились. Майор смог взять с карты своего начальника только направление на тот район, где действовал полк. Приказал ехать в этом направлении, не считаясь с наличием дорог. В этом районе нам мешал не недостаток дорог, а их изобилие. Суглинистый грунт степи позволял ехать в любом направлении, как по асфальту, а отсутствие карт понуждало к езде по азимуту или по направлению. Поэтому дороги и следы автомашин пересекали район боевых действий во всех направлениях. Майор не ошибся в определении направления, и ему повезло — полк он разыскал довольно быстро. Безоружные люди устало брели на запад к переправам на реке Халхин-Гол. Это была толпа гражданских лиц, а не воинская часть. Их бросили в бой, даже не обмундировав. В воинскую форму сумели одеть только призванных из запаса офицеров. Солдаты были одеты в свое домашнее. Оружие большинство побросало.

Выскочив из броневичка, майор начал грозно кричать: «Стой! Стой! Стрелять буду!» Выхватил пистолет и выстрелил вверх. Тут кто-то звезданул его в ухо, и он свалился в какую-то песчаную яму. Немного полежав, он понял, что криком тут ничего не добьешься. И он начал приказывать: «Коммунисты! Комсомольцы! Командиры — ко мне!» Призывая, он продвигался вместе с толпой, и вокруг него постепенно собирались люди. Большинство из них оказались с оружием. Тогда с их помощью он начал останавливать и неорганизованную толпу. К утру личный состав полка был собран. Удалось подобрать и большую часть оружия. Командиры все из запаса. Только командир, комиссар и начальник штаба полка — кадровые офицеры. Но все трое были убиты во время возникшей паники. Запасники же растерялись. Никто не помнил состава своих подразделений.

Поэтому майор произвел разбивку полка на подразделения по своему усмотрению и сам назначил командиров. Разрешил всему полку сесть, а офицерам приказал составить списки своих подразделений. После этого он намеревался по подразделениям выдвинуть полк на прежние позиции. А пока людей переписывали, прилег отдохнуть после бессонной ночи. Но отдохнуть не удалось. Послышался гул приближающейся автомашины. Подъехал броневичок. Остановился невдалеке. Из броневичка вышел майор, направился к полку. Два майора встретились. Прибывший показал выписку из приказа, что он назначен командиром 306-го полка.

— А вы возвращайтесь на КП,— сказал он майору Т. Майор Т. хотел было объяснить, что он проделал и что намечал дальше. Но тот с неприступным видом заявил:

— Сам разберусь.

Т. пошел к броневичку. Там его поджидали лейтенант и младший командир. Лейтенант предъявил майору ордер на арест:

— Вы арестованы, прошу сдать оружие.

Так началась его новая постакадемическая жизнь. Привезли его теперь уже не на КП, а в отдельно расположенный палаточный и земляночный городок — контрразведка, трибунал, прокуратура. Один раз вызвали к следователю. Следователь спросил:

— Почему не выполнил приказ комкора?

В ответ майор рассказал, что делал всю ночь и чего достиг. Протокол не велся. Некоторое время спустя состоялся суд.

— Признаете себя виновным?

— Видите ли, не... совсем...

— Признаете вы себя виновным в преступном невыполнении приказа?

— Нет, не признаю. Я выполнял приказ. Я сделал все, что было возможно, все, что было в человеческих силах. Если бы меня не сменили и не арестовали, я бы выполнил его до конца.

— Я вам предлагаю конкретный вопрос и прошу отвечать на него прямо: выполнили вы приказ или не выполнили?

— На такой вопрос я отвечать не могу. Я выполнял, добросовестно выполнял. Приказ находился в процессе выполнения.

— Так все-таки, был выполнен приказ о восстановлении положения или не был? Да или нет?

— Нет, еще...

— Достаточно. Все ясно. Уведите!

Через полчаса ввели в ту же палатку снова.

— ...К смертной казни через расстрел...

Только это и запомнил. Дальше прострация. Что-то писал. Жаловался. Просил. Все осталось за пределами сознания.

Военный совет фронтовой группы от имени Президиума Верховного Совета СССР помиловал майора Т. Помиловал и остальных 16 осужденных трибуналом 1-й армейской группы на смертную казнь.

Штерн был инициатором ходатайства перед Президиумом Верховного Совета СССР о пересмотре дел всех приговоренных к расстрелу. Он их и помиловал, проявив разум и милосердие. Все бывшие смертники прекрасно показали себя в боях, и все были награждены, вплоть до присвоения Героя Советского Союза. Таковы результаты милосердия. Жаль только, что не хватило милосердия для самого Штерна. В первые дни войны он был арестован как немец, хотя он, без сомнения, еврей, и расстрелян. Проявить милосердие было некому.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Отгремели бои на Халхин-Голе. Переданы трупы убитых японцев. Их, полуразложившихся, вывозят за границу и тут же сваливают в кучу, обливают горючим и сжигают. Пепел раскладывают по урнам. Нам все это хорошо видно.

От солдат страшно пахнет. Я никогда не думал, что трупный запах такой устойчивый. Он с нами и до Читы доехал. Да и там с полгода напоминал о себе, мешая есть мясо.

В Чите нас всех разместили в физиотерапевтическом отделении окружного военного госпиталя на санаторном режиме. Там мы и жили несколько месяцев без забот и тревог. Потом начали вступать в строй квартиры — и начали приезжать наши семьи. Вот тут-то мы и узнали, как живет Чита. Очереди за хлебом были такие, что у нас в семье всегда кто-нибудь стоял в очереди. Или жена, или старшие сыновья. А стоять надо на улице. И зима в Чите страшная. Морозы до 50° Цельсия.

По весне прошел слух — фронтовая группа расформировывается. Потом уточнилось. Не расформировывается, а реорганизовывается во фронтовое управление. Создается Дальневосточный фронт в составе четырех армий — 2-й, 15-й, 1-й и 25-й, с дислокацией управления и штаба в Хабаровске. Забайкальский военный округ и 1-я армейская группа в Монголии выходили из состава фронтовой группы и переподчинялись непосредственно Москве.

Переезжали мы в мае 1940 года. Ехали с семьями воинскими эшелонами. Это в моей жизни был первый столь организованный переезд. Уже в Чите мы знали свои квартиры в Хабаровске. А приехали мы в другой мир. Мои ребята все забросили и, раскрыв рты, ходили по магазинам, переполненным хлебом самых разнообразных сортов, булочками, сдобами, пирожными, тортами. Дальний Восток был в то время на особо преимущественном снабжении, а Чита на обычном.

Наше фронтовое управление размещалось в здании Военного управления Амурско-Уссурийского округа царских времен. Здание добротное и удобное для служебного размещения. Нашему оперативному управлению отвели как бы специально для него построенный отсек с охраняемым входом и сейфовой комнатой. Команда, готовившая здание к нашему приезду, почистила здание от того, что «не нужно». Причем ненужность определялась очень просто. Считали: ну зачем и кому нужны царские книги? В результате богатейшая библиотека округа была буквально разгромлена. Думали: ну кому нужны ротные приказы бог знает какой давности? И архив округа растащили и разбросали. А там были уникальные вещи. Мы, операторы, бросились спасать, что можно было еще спасти.

Попала к нам, в частности, книга «Русско-японская война», разработанная и изданная Генеральным штабом. Первый том ее вышел в 1906 году, четвертый — в 1908-м. Написана красивым языком, правдиво и смело. Эту книгу читали все. Она ходила из рук в руки. Потом исчезла. Честно скажу, я пожалел, что не решился устроить это исчезновение в свою пользу.

Попало к нам в отдел и несколько книг ротных приказов. Тоже все интересно и поучительно. Вот приказ командира стрелковой роты, дислоцирующейся в Раздольном (недалеко от Владивостока), от сентября 1902 года. В приказе написано: «Фельдфебелю назначить команду из трех вооруженных солдат для заготовки дров, с одной пилой и двумя топорами. Пилить дубы в три обхвата и боле. Двум пилить, одному сторожить от зверя». Разве не интересно узнать, что у самого Раздольного в 1902 году росли дубы в три обхвата и боле? И зверь меж теми дубами шастал, и был до того смел, что сторожить от него надо было. Теперь вокруг Раздольного на сотни километров даже кустарника густого не сыщешь.

В общем, мы познакомились более или менее с Амурско-Уссурийским военным округом царских времен, но почти ничего не знали о нашем предшественнике — ОКДВА. В свое время Особая Краснознаменная Дальневосточная армия имела почти легендарную славу, а имя ее бессменного командующего Маршала Советского Союза Василия Блюхера пользовалось всенародной любовью. Потом вдруг Блюхер «оказался врагом народа», был арестован, судим закрытым судом и расстрелян. Подверглось разгрому и все управление ОКДВА. Из нескольких офицеров управления остались не арестованными только двое. Один из них, полковник Георгий Петрович Котов, в мою бытность получил назначение на должность начальника Оперативного управления Дальневосточного фронта, то есть стал моим непосредственным начальником. Пробыл он в этой должности всего несколько месяцев. Затем уехал на запад, и след его для меня потерялся.

Второй из уцелевших от арестов 1937—1938 годов был полковник Вавилов. Когда мы прибыли в Хабаровск, он был начальником штаба 2-й Дальневосточной армии. С ним мы виделись не часто, но отношения сложились более откровенные, чем с Котовым. Вавилов был общительнее. Он говорил: «Нас с Котовым спас Штерн. Блюхер еще не был арестованным, но уже был в немилости и никакими делами не занимался. Мы бесцельно отсиживались по своим кабинетам, боясь нос высунуть в безлюдные коридоры и комнаты огромного здания. И тут на должность начальника штаба ОКДВА прибыл Штерн. Он сразу же пригласил нас обоих и сделал непосредственными своими помощниками. Он развернул кипучую деятельность по возрождению штаба. Нам он сказал, чтобы мы ничего не боялись, что нас он в обиду не даст. Мы ожили, работали, не считаясь ни с каким временем. Потом начались события на Хасане. Он поехал туда и нас взял с собой. Прибыл на Хасан и Мехлис. Через него Штерну удалось получить офицеров для штаба и в войска. Некоторые офицеры в это время были выпущены из тюрем».

Картину страшного погрома офицерских кадров на Дальнем Востоке наблюдал и я лично. Почти сразу же после прибытия в Хабаровск Штерн поехал по войскам. От оперативного отдела Котов послал меня. Уже два года прошло с тех пор, как прекратились массовые аресты, а командная пирамида восстановлена не была. Многие должности просто не были заполнены. Батальонами командуют офицеры, закончившие училище меньше года тому назад. И это еще ничего — есть комбаты с образованием курсов младших лейтенантов и с практическим стажем несколько месяцев командования взводом и ротой. Да и как можно было быстро заткнуть столь чудовищную брешь. Я уже говорил о штабе армии, где осталось всего два офицера. В дивизиях было еще хуже. В дивизии, дислоцированной в том районе, где начались события на Хасане (40-я стрелковая дивизия), были арестованы не только офицеры управления дивизии и полков, но и командиры батальонов, рот и взводов. На всю дивизию остался один лейтенант. Его невозможно было назвать даже временно исполняющим должность командира дивизии. Поэтому командир корпуса полковник (впоследствии Маршал Советского Союза) В. И. Чуйков позвонил этому лейтенанту по телефону и сказал: «Ну, вы смотрите там. За все отвечаете до приезда командира дивизии». А командир дивизии все не ехал. Посылали двух или трех, но ни один не доехал. Арестовывали либо по пути, либо по приезде в дивизию. Только когда начались бои на Хасане, приехавший Мехлис назначил командиром дивизии комбрига Мамонова из своего резерва.

Везде, где мы побывали, чувствовалось, что Штерна уважают и даже любят. Это, верно, шло прежде всего от того, что с его приездом на Дальний Восток в 1939 году связывалась остановка волны массовых арестов и освобождение ряда старших офицеров из заключения. Он и действительно был причастен к этому. Он написал очень смелый доклад Сталину с анализом опасной ситуации, создавшейся в результате того, что войска Дальнего Востока оказались обезглавленными. Этот доклад до Сталина дошел. Причем докладывал Берия, который и взял на себя задачу «выправить положение». Главное, конечно, было не в этом докладе, а в том, что как раз совершался переход от ежовщины к бериевщине. И в плане этого перехода кое-что было сделано положительное и на Дальнем Востоке, где «палку перегнули» особенно сильно. Именно в связи с этим аресты прекратились и кое-кого выпустили и восстановили в должностях. Это, однако, не снижает смелости и благородства поступка Штерна. Люди знали об этом поступке, и рассказы о нем распространялись, привлекая к Штерну симпатии.

Но, кроме того, Штерн был симпатичен и сам по себе. Высокий, красивый по-мужски, брюнет, ходил немного клонясь вперед, как это делают спортсмены-тяжеловесы или борцы. Говорил слегка глуховатым голосом, напирая на «о». «Узнавал» людей, с которыми когда-либо виделся. Я взял в кавычки слово «узнавал» потому, что в ряде случаев ему удавалось «узнавать» благодаря хорошо им освоенной системе. Он заранее вспоминал и записывал знакомых в той части, куда ехал. Ну а дальше уже дело адъютанта своевременно предупредить о появлении знакомца. Но это знали немногие. Положительное его качество — такт и внимательность к чужим мнениям. За год совместной службы я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на кого-нибудь, чтобы он кого-то прервал или отнесся к сказанному как к глупости, хотя говорились, конечно, и глупости.

В Биробиджане его уважали еще и за еврейское происхождение. К вагону приходили простые еврейские рабочие, служащие, интеллигенты, чтобы встретиться или хотя бы посмотреть издали на командующего-еврея. Эти люди приносили и свои нехитрые подарки. Так, с чудесной рыбой амур я познакомился через такие подарки. Один раз рыбаки притащили огромного живого амура в лохани с водой. Они прямо вызвали повара и ему вручили, попросив только, чтобы он сказал «нашему командующему», что это от еврейских рыбаков.

Совсем другим человеком был командарм 2-го ранга, впоследствии Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев — командующий 2-й армией. Быстрый в решениях и действиях, он не был сдержан и с подчиненными. Я познакомился с Коневым еще в 1935 или 1936 году. Он тогда командовал 2-й стрелковой дивизией, дислоцировавшейся в Минске. Там его поведение выглядело вполне естественно. Когда он в полевых условиях, стоя на какой-нибудь возвышенности, орал во всю силу своих легких на какого-нибудь растяпу повозочного: «Ну куда попер? Куда? Вот я тебя!» — и грозил кулаком, в этом не было ничего странного. Все выглядело вполне естественно, даже если он, не докричавшись, бегом устремлялся к виновнику нарушения порядка. Теперь, в таких высоких чинах и не в поле, а в роскошном начальническом кабинете, подобное поведение не приличествовало.

На этой почве и у меня произошла стычка с Иваном Степановичем. Готовилось армейское штабное учение во 2-й армии. Руководителем, как обычно, был назначен командарм, а разработчиков и в помощь командарму при розыгрыше прислал штаб фронта. Группу эту возглавлял я. Прихожу с разработкой. Вижу, Иван Степанович не в духе, чем-то взвинчен, но разворачиваю карты, начинаю докладывать. Задал раздраженно какой-то вопрос, я ответил. Продолжаю докладывать. Слушает невнимательно, и вдруг его прорывает: «Да что вы за чепуху нагородили!» И пошел, и пошел. Чем больше орет, тем больше взвинчивается. Я стою, чувствую, долго не выдержу. Отвечу какой-нибудь грубостью. Чтобы отвлечься, начинаю свертывать карты. Вдруг крик обрывается.

— Что вы делаете?

— Убираю карты.

— Зачем?

— Я вижу, вы чем-то расстроены. Я лучше приду, когда вы успокоитесь.

— Я уже успокоился. Развертывайте карты.

И мы спокойно обсудили все вопросы.

На следующий день он сам зашел в отведенную мне для работы комнату.

— Петр Григорьевич, вы меня извините за вчерашнее.

— Да что вы, Иван Степанович, с каждым бывает.

С этого дня больше не было ни одного случая бестактности в отношении ко мне с его стороны. Однако те, кто воевал под его началом, все отмечали его «шумоватость». Но никто не обвинял его, как, например, Чуйкова, в оскорбительном поведении. Последний раз я видел Ивана Степановича в 1957 году. Узнал. Очень приветливо разговаривал.

Недолго командовал Штерн созданным им фронтом. Вскоре его отозвали в Москву, где он был назначен командующим ПВО. В первый день войны, получив сообщение о немецко-фашистском нападении, он отправился на службу. Больше жена его не видела. Ее я встретил в санатории Министерства обороны в Кисловодске в 1956 году. Она только недавно была освобождена из лагеря, где отбывала срок как «жена замаскированного немца, выполнявшего шпионские задания абвера».

Еще раньше Штерна отозвали на запад Ивана Степановича Конева, Маркиана Михайловича Попова, Василия Ивановича Чуйкова и еще многих из числа высших военачальников. На место Штерна прибыл генерал армии Опанасенко [1] Иосиф Родионович.

НАКАНУНЕ

В субботу вечером, 21 июня 1941 года, когда я уже убрал свои бумаги, «сам себя обыскал» и, опечатав сейфы, ожидал прибытия начальника караула для сдачи под охрану сейфовой комнаты, раздался телефонный звонок. Звонил генерал-лейтенант артиллерии Василий Георгиевич Корнилов-Другов, который моим прямым начальником не являлся, и, следовательно, от него вряд ли можно было ожидать покушения на мой выходной.

— Петр Григорьевич, вы скоро собираетесь домой? — прозвучал из трубки его очень приятный голос с мальчишескими интонациями.

— Поджидаю караульного начальника.

— Если не очень торопитесь, может, по пути заглянете ко мне?

Мой путь к выходу из штаба и к кабинетам командующего войсками фронта, начальника штаба и начальника оперативного управления пролегал мимо кабинета Василия Георгиевича. И я частенько по пути заходил к нему. Любил я послушать этого, одного из умнейших работника фронтового управления и очень душевного человека. Нужно сказать, что Иосиф Родионович Опанасенко (командующий войсками фронта) умел подбирать людей. Начальник штаба генерал-полковник Смородинов Иван Васильевич, его заместитель и мой непосредственный начальник, начальник оперативного управления генерал-майор Казаковцев Аркадий Кузьмич, командующий авиацией генерал-полковник авиации Жигарев, начальник инженерных войск генерал-лейтенант инженерных войск Молев, как и все другие руководящие работники фронтового управления,— люди широкого военного кругозора, знающие свое дело и инициативные работники.

Но даже на этом, исключительном для тогдашних Советских Вооруженных Сил, фоне Василий Георгиевич выделялся не только военным кругозором, но и высокой общей культурой. С ним мог сравниться лишь Аркадий Кузьмич — мой непосредственный начальник. Недаром они и дружили. Внутренне я не чувствовал себя равным с ними. И это не

[1] Правильное написание фамилии — Апанасенко И. Р. Неточности в передаче имен и названий, анахронизмы и фактические ошибки при публикации не исправляются. Наиболее существенные из них будут откомментированы в конце книги. *(Ред.)*

потому, что имелось различие в служебном положении и воинских званиях. Нет, мне просто казалось, что у нас различны интеллектуальные уровни. Поэтому, хотя меня и тянуло к этим людям, я обращался к ним лишь по служебной необходимости. Напротив, они оба постоянно подчеркивали расположение ко мне и настойчиво стремились выйти за рамки чисто служебных отношений. И этот телефонный звонок был явно не служебного характера.

Когда я зашел в кабинет к Василию Георгиевичу, он поднялся и несколько смущенно еще раз спросил:

— Петр Григорьевич, вы действительно никуда не торопитесь? Только честно. А то ведь у меня никакого серьезного дела к вам нет. И если вам надо уйти, не стесняйтесь, уходите.

Я успокоил его, заявив, что у меня нет никаких планов на вечер.

Мы отошли в глубь кабинета и расположились поудобнее в креслах.

Простота в отношениях с подчиненными, веселый нрав, острый ум, решительность, твердость и настойчивость создали Василию Георгиевичу непререкаемый авторитет, уважение сослуживцев и любовь подчиненных. О его твердости и уме легенды складывались.

О новом командующем артиллерии заговорили, и вскоре все знали, что появился еще один человек, который не боится вступать в спор с самим Опанасенко и умеет отстоять свое мнение. Таких людей во фронтовом управлении до него было только двое: генерал-полковник авиации Жигарев и мой непосредственный начальник генерал-майор Казаковцев А. К. Они завоевали это право не только смелостью и настойчивостью, но прежде всего — умом и инициативой.

— Меня, честно говоря, занимает только один вопрос,— обратился ко мне Василий Георгиевич, когда мы уселись,— как там на западе? Как вы думаете, будет там война?

— Безусловно!

— Скоро?

— Завтра!

Мы оба замолчали. Потом я сказал:

— Вы же, конечно, понимаете, что мое «завтра» не надо воспринимать буквально.

— Я это понимаю,— в раздумье и с оттенком горечи произнес он.

— Война висит на волоске,— снова заговорил я.— Если решено нападать на нас, то откладывать некуда. Я считаю, что уже и сейчас начинать поздновато. Но если начинать, то теперь, не откладывая. Тем более что группировка для нападения уже создана. Сводка № 8 совершенно четко дает наступательную группировку в исходном положении. Да иначе и быть не может. Гитлеру надо искать выход из развязанной им войны. У него только два пути: на Англию или на нас. На Англию может полезть только сумасшедший. Что даст Гитлеру даже удачная десантная операция? То, что лучшая часть его армии завязнет на Британских островах. И ослабленная Германия останется лицом к лицу с могучей Страной Советов. Нет, если Гитлер хочет продолжать войну, а он не может ее не продолжать, у него нет мирного выхода из войны, значит, он должен прежде всего победить Советский Союз. Вот именно поэтому он подтянул все свои войска к нашим границам. А не для отдыха, как пишется в сообщении ТАСС. Отдыхать они могли прекрасно во Франции, Бельгии, Дании...

— Вы что же, думаете, что наше правительство этого не понимает? А если понимает, то почему же опубликовано такое успокоительное сообщение ТАСС? Зачем опровергается возможность немецкого нападения?

— Я думаю, что вы не совсем правильно поняли заявление ТАСС. Это, по-моему, творчество самого Иосифа Виссарионовича. Это его обычная кавказская хитрость. Он написал с расчетом подтолкнуть Гитлера на действия против Англии. Заявление ТАСС эзоповским языком говорит: «Мы знаем, что вы подтянули свои войска к нашим границам, и мы готовы достойным образом их встретить. Но если вы будете умниками и заберете их отсюда, то мы готовы сделать вид, что не заметили их, когда они находились в опасной близости от наших границ».

— Дай бог, чтоб было так. Но у меня от заявления иное впечатление. На меня оно нагоняет тоску. У меня такое чувство, будто авторы не хотят видеть опасности и прячут голову под крыло.

— А зачем же тогда разведсводка № 8? Там уже никак голова не под крылом. Если заявление ТАСС читать, не зная о сводке № 8, то оно на любого человека произведет такое же впечатление, как и на вас. А если сопоставить эти два документа, то, мне кажется, заявлению можно дать мою трактовку.

— Хотелось бы, чтобы было так. Но слишком это мудро. Кто знает разведсводку № 8? Руководство округов, фронтов, армий. А вооруженные силы в целом, а весь народ? До них дошло только заявление ТАСС. А оно успокаивает, настраивает на благодушный лад. Думаю, нехорошо это. Из-за того, чтобы тактично предупредить Гитлера, ввести в заблуждение всю страну?.. Нехорошо. Гитлера можно другим путем предупредить, а стране сказать правду... или ничего не говорить.

Но я не мог согласиться с этим. У меня был другой склад ума. Я не был обучен критиковать. Я мог лишь объяснять, принимая любое слово партийного руководства, особенно «великого вождя», за предел мудрости, которую надо было лишь понять и разъяснить непонимающим. И у меня это получалось. Сомнения, если даже они и появлялись, я быстро подавлял и находил всему убедительное обоснование. Так было и с сообщением ТАСС. Беспомощный лепет в моем объяснении выглядел пределом мудрости. И так я верил в свое объяснение, что эта убежденность передавалась и моим слушателям. Поколебал я и сомнения Василия Георгиевича. И как же мне стыдно стало за это, когда я узнал историю сводки № 8. Прав был Василий Георгиевич, а я лишь себя обманывал в интересах поддержания веры в «непогрешимого вождя».

РАЗВЕДСВОДКА № 8

Подлинную историю этой разведсводки я узнал лишь в 1966 году.

Как-то мой друг и учитель, российский писатель Алексей Костерин пригласил меня зайти: «Познакомлю тебя с очень интересным человеком»,— сказал он.

Когда я приехал, у Евграфыча никого из посторонних не было, и мы, как обычно, уселись за чай и разговоры. Алексей был удивительный собеседник. Любой теме он умел придать увлекательность и, чаще всего, веселый отсвет. При этом смеялся он заливистым мальчишеским смехом. Такого заразительного смеха я больше никогда в жизни не слышал.

Я сидел спиной к входной двери и так был увлечен беседой, что не обратил внимания на стук в дверь и на хозяйское: «Войдите!» Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда улыбающийся всем лицом хозяин произнес: «Ну вот, а теперь познакомьтесь, однополчане...» Я вскочил и, пораженный, уставился на не менее пораженного моего однокурсника по Академии Генерального штаба и сослуживца по Монголии и Дальнему Востоку — Василия Новобранца. В последний год нашей совместной службы мы были очень дружны. Алексей Евграфович, к которому Союз писателей направил Василия со своими мемуарами, очень быстро понял, что мы хорошо знаем друг друга. И вот свел нас. И теперь с удовольствием хохотал, глядя на нашу обоюдную растерянность. Но скоро мы овладели собой. И вот сидим, вспоминаем. А затем я получаю от Василия экземпляр его рукописи мемуаров и до деталей постигаю весь ужас творившегося в военной разведке.

До Академии Генерального штаба Василий работал в войсковой разведке. После академии мы оба были назначены на оперативную работу. Работая бок о бок, подружились. За год до начала войны Василий был отозван в распоряжение Разведупра Генерального штаба, и вскоре мы узнали о назначении его начальником Информационного управления. Это было прямо-таки головокружительное повышение.

Правда, шло оно в общей струе так называемых «смелых выдвижений», которые были рекомендованы самим Сталиным.

Будучи человеком умным, инициативным и мужественным, Василий Новобранец твердой рукой взял бразды управления разведывательной информацией. И когда бериевская разведка передала в Политбюро ЦК КПСС и в Генеральный штаб так называемую «югославскую схему» группировки немецких войск в Европе, Василий, внимательно ее изучив, твердо сказал: «Дело!» (дезинформация.)

Докладывая начальнику Разведупра, он сказал: «Наша схема базирована на донесениях нашей агентуры и проверена нашими «маршрутниками» («маршрутники» — это люди, которые, ничего не зная о группировке противника, получают задание пройти определенным маршрутом и доложить обо всем замеченном по пути). Но и без этого наша схема определена. Группировка противника ясна. Она ясно выражена как наступательная. А югославы, мало того что «не заметили» почти четверти немецких войск, переместили большую их часть к Атлантическому океану, раскидав там без всякого смысла; они и у наших границ показывают немецкие войска на тех местах, где мы знаем, что их нет и расположены они без оперативного смысла. В своей пояснительной записке югославы объясняют эту бессмысленность как явный признак того, что немецкие войска отведены сюда на отдых. Но это детское объяснение. Если бы даже те немецкие войска, которые показаны у Атлантического океана, действительно готовились, как утверждают югославы, к десантной операции против Англии, то войска у наших границ, даже если они пришли сюда на отдых, должны располагаться не без смысла, а в оборонительной группировке. Я не поверю, что в немецком Генеральном штабе сидят такие идиоты, которые, планируя наступательную операцию на запад, не примут мер для прикрытия своего тыла с востока».

Начальник Главного разведывательного управления полностью согласился с этим. Но в Политбюро его даже не выслушали. Было получено указание руководствоваться в оценке состава и группировки немецких войск югославской схемой. Оказывается, эта схема понравилась Сталину, и он начал руководствоваться ею.

Видимо, чувствуя недоверие к югославской схеме со стороны многих, Сталин собирает

специальное заседание Политбюро, посвященное этой схеме. Основным докладчиком, защищавшим эту схему, был начальник разведки ведомства Берии. После нескольких человек, поддержавших докладчика, слово попросил начальник Главного разведывательного управления Советской Армии генерал-лейтенант авиации Проскурин. Выступление его, спокойное по форме, несмотря на несколько злых реплик Сталина и Берии, было убедительным, всесторонне обоснованным и очень хорошо иллюстрированным. Оно не оставляло камня на камне от югославской схемы и произвело впечатление даже на сталинское Политбюро. Казалось, заколебался сам Сталин.

Но на следующий день Проскурин был арестован и впоследствии расстрелян. Начальником Главного разведывательного управления был назначен генерал-полковник (впоследствии Маршал Советского Союза) Голиков Ф. И. Чуть раньше генерал армии (впоследствии Маршал Советского Союза) Жуков Г. К. сменил на посту начальника Генерального штаба генерала армии (впоследствии Маршала Советского Союза) Мерецкова. И оба эти деятеля начали настойчиво внедрять полюбившуюся Сталину югославскую схему.

Между тем Информационное управление готовило очередную разведывательную сводку. Новобранец доложил проект Голикову. Тот оставил проект у себя. Затем отправился с ним к Жукову. По возвращении вызвал Новобранца. Вернул ему проект, сухо произнес:

— Вы так ничего и не поняли. В основу надо положить схему югославов!

— Но это же «дезо»!

— Не умничайте. Сам Иосиф Виссарионович верит этой схеме. Выполняйте то, что вам приказано. Это мой и начальника Генерального штаба приказ.

Василий ушел. Что было ему делать? Вызвать исполнителей и, не глядя им в глаза, дать приказ переписать «дезу» и от имени ГРУ направить войскам как последние данные разведки? Но это же преступление, которому имени нет. И у него рождается мысль. Нелегко пойти на такое. Это почти верная смерть. Но и скрепить своей подписью страшную ложь он тоже не может. Весь следующий день он в бездействии. Не выходит из кабинета и никого не принимает. Еще день. И вдруг в самом конце дня телефонный звонок. Генерал-лейтенант танковых войск (впоследствии маршал бронетанковых войск) Рыбалко, однокашник Василия по Военной академии им. М. В. Фрунзе и один из ближайших его друзей, хочет зайти повидаться перед отъездом по новому назначению. Василий с радостью принимает его. Теплая, дружеская встреча, сбивчивые радостные разговоры, и Василий, естественно, выкладывает главный свой вопрос. Сообщает и свое решение. Рассказав, спрашивает:

— Ну, как ты думаешь?

— А ты знаешь, чем это для тебя пахнет? — вопросом на вопрос ответил Рыбалко.

— Знаю. Но я хочу знать, как ты поступил бы на моем месте?

— Это нечестно,— посерьезнел Рыбалко,— так ставить вопрос. Мне мой ответ ничем не угрожает, а тебя он на смерть может толкнуть.

— Нет, ты все же мне скажи, как бы ты поступил на моем месте? Я тебя знаю как человека мужественного и честного, и я не хотел бы, чтобы ты сейчас вилял.

— Я не виляю. Я просто не хочу отвечать.

— Нежелание отвечать — это уже ответ. Но мне сейчас хотелось бы слышать слово друга, которого я люблю. От твоего ответа ничего не зависит. Я поступлю, как наметил, но я хочу слышать, как поступил бы ты.

— Ну что же, слушай. Если бы я был на твоем месте и не растерялся, не упал духом, если бы мне пришел в голову твой план, я бы его осуществил, чего бы это мне ни стоило.

— Ну и я не хуже тебя! План свой я выполню. И если мы больше не увидимся, то при случае скажи, что погиб я за Родину. А сейчас иди, я приступаю к выполнению плана немедленно.

Рыбалко, горячо простившись, ушел. Новобранец достал из сейфа проект сводки № 8; экземпляр № 1 положил обратно в сейф, с № 2 возвратился к столу. Развернул. На первой странице в левом верхнем углу стояло:

«„Утверждаю"
Начальник Генерального штаба
Жуков Г. К.»

Василий взял ручку и перед словом «Начальник» поставил «п/п», что означало «подлинный подписал». Затем открыл последнюю страницу. На ней, в конце сводки, стояли две подписи. Верхняя нач. ГРУ Голикова, вторая — начальника Информационного управления Новобранца. Василий пристроил «п/п» и к подписи Голикова, затем решительно расписался на положенном ему месте. Теперь этот документ для всех в ГРУ приобретал силу подлинника. Своей подписью он подтверждал не только содержание сводки, но и то, что первый экземпляр действительно подписан и Жуковым, и Голиковым.

Оставалось только пустить документ в ход. Новобранец вызвал начальника канцелярии.

— Вот сводка № 8. Идет как очень важный и весьма срочный документ. Передайте сразу же в типографию. По готовности тиража немедленно разослать. Получение всем

подтвердить. Как только будет получено последнее подтверждение, доложить мне, где бы я ни находился и когда бы это ни произошло.

Машина заработала. Через несколько дней все сводки достигли своих адресатов. Срочность доставки, подтверждение о получении привлекли внимание к сводке, и она немедленно попала на стол потребителей. Ее читали. О ней заговорили: в военных округах, фронтах, армиях. А в Генштабе тем временем трагедия шла к своему естественному завершению.

Новобранец, получив доклад, что все вручено адресатам, забрал первый экземпляр и пошел к Голикову. Положил ему на стол, развернутым на последней странице, и спокойно, но твердо попросил:

— Подпишите!

— Что это? — взвился Голиков.

— Это сводка, но править ее поздно. Я сдал в типографию без вашей подписи.

— Изъять из типографии! — взвизгнул Голиков.

— Поздно. Она уже отпечатана.

— Немедленно сюда весь тираж!

— Невозможно. Он уже разослан по адресам.

— Вернуть! — крик оборвался на самой высокой ноте.

— Поздно. Она уже вручена, и я получил все подтверждения о вручении.

Голиков вдруг стих: «Ах, так! — почти шепотом выдавил он из себя.— Вы еще пожалеете об этом». И, подхватив папку со сводкой, умчался к Жукову.

На следующий день в кабинет к Новобранцу зашел генерал-майор:

— Мне приказано принять у вас дела.

Новобранец позвонил Голикову.

Тот ответил: «Да, сдавайте!»

— А мне?

— Для вас в канцелярии лежит путевка в наш одесский санаторий. Поезжайте, полечитесь. А там посмотрим, как вас использовать.

По Василию и так было ясно. Одесский санаторий Главного разведывательного управления (ГРУ) был негласным домом предварительного заключения. Об этом в ГРУ все хорошо знали. Те из разведчиков, кому предстоял арест, посылались в этот «санаторий» и там через два-три дня, иногда через неделю, подвергались аресту. Василий рассказывал: «Не надо было большой наблюдательности, чтобы увидеть, что в Одессу я ехал под надежной охраной. Собственно, они даже и не прятались. Ехали в одном со мною купе. Я да их двое. Вторая пара в соседнем купе. Два места у тех и одно место в моем купе свободны, хотя билетов на станциях не продают: «Свободных мест нет».

В первый же день я обошел всю территорию «санатория». Надежно ограждена и бдительно охраняется. Не убежишь. Да и куда, собственно, бежать? И зачем? Это тем более невозможно, когда вину за собою не чувствуешь. В «санатории» я, кажется, один. Никого не встретил до конца дня. И в столовой был один. Моя дорожная охрана тоже исчезла после того, как «санаторская» эмка взяла меня с поезда. На душе пакостно. Проскользнула мысль: «Могут ведь уже сегодня ночью забрать. И куда повезут? Или прикончат здесь? Удобных мест в «санатории» хватает. А может, и брать не будут. Просто из-за очередного куста пустят пулю в затылок. Никто даже выстрела не услышит. И никто не узнает». Жену я волновать не хотел. Сказал: «Срочная командировка». Значит, и она не догадается. Нет, догадается. Ведь перестанут мое жалованье доставлять. И из военного дома предложат выехать. Так и ходил я по «санаторному» парку изо дня в день со своими ой какими невеселыми мыслями.

На четвертый день проснулся от грохота бомбежки. Разрывы были не очень близко. Прикинул — со стороны военного аэродрома. «Война»,— пронеслась мысль. Схватился, быстро оделся. Открываю дверь. Прямо передо мной морда.

— Вы куда?

— На телеграф!

— У нас свой есть.

— Проводите!

— У меня нет указаний.

— Сейчас не до указаний. Вы что, не понимаете,— война!

— Какая война? — растерянно лепечет «морда».

— А вы что думаете, это вам теща приветы шлет? — тычу и пальцем в направлении грохота разрывов авиабомб.— Ведите меня на телеграф!

«Морда» покоряется. Торопливо ведет меня по переходам и, наконец, приводит в аппаратную. Дежурный офицер-связист вежливо приподнялся. Он тоже встревожен звуками разрывов и без возражений принимает мою телеграмму, которую я написал тут же. Вот ее текст (на имя Голикова): «Прохлаждаться в санатории, когда идет война, считаю преступлением. Прошу назначить на любую должность в действующую армию».

Выступление Молотова в 12 часов дня подтвердило то, в чем я и так был уверен: «Война началась».

Во второй половине дня прибыл и ответ на мою телеграмму: «Назначаетесь начальником разведки 6-й армии Киевского особого военного округа. Командующий армией генерал-лейтенант Музыченко. Выехать немедленно. Голиков».

«Выехать немедленно» — легко сказать. А на чем? И куда? Где искать эту несчастную шестую в неразберихе начавшейся войны? «Но мне везло,— говорит Василий.— На третий день я уже был в армии».

Все это он описал в своих мемуарах, которые, однако, света не увидели. Да и увидят ли? Экземпляр, который Вася подарил мне со своей дарственной надписью, изъят КГБ. Другой экземпляр попал туда же вместе с костеринским литературным архивом. Остальные два экземпляра изъяты у самого автора.

Что происходит дальше, сообщаю только конспективно. Армия ведет упорнейшие бои, поэтому отстает от быстрее отступающих соседей и попадает в окружение. Прорывается, снова окружена. Снова прорывается. Но боеприпасов нет, горючего нет, продовольствия тоже нет. И остатки армии мелкими отрядами пытаются пробиться через занятую врагом территорию к своим. Одним из таких отрядов командует Василий Новобранец. Непрерывные бои, походы без сна и отдыха, отряд тает. Затем — плен.

Годы плена Василий провел как постоянный, активный участник Сопротивления. За это его переводили из лагеря в лагерь, все ужесточая режим. Последний год он находился в лагере с особо жестоким режимом в Норвегии. Здесь он тоже создал и возглавил подполье. Сумел связаться и с норвежским Сопротивлением. С его помощью организовал восстание в лагере. Охрану интернировали, а оружием, захваченным у охраны, вооружили военнопленных. Был создан первый советский батальон, который и пошел на освобождение других лагерей. По мере выполнения этой задачи силы росли: организовался полк, затем дивизия и наконец армия, которая и довершила, совместно с норвежскими силами Сопротивления, освобождение всей страны еще до капитуляции Германии. После чего разместилась гарнизонами по стране.

Командующий армией Василий Новобранец ввел в армии строгую дисциплину, благодаря чему с населением установились самые дружеские отношения. Сам Василий пользовался огромным авторитетом у руководителей норвежского Сопротивления. С большим уважением относился к нему и возвратившийся в страну король Хокон.

Беспокоило Василия только поведение Советского правительства. Он не знал, что отвечать своим бойцам и офицерам, когда они спрашивали при встрече: «Ну, как там Родина? Одобряет действия?» Что мог сказать Василий? Он сразу же после успешного начала восстания предпринял буквально героические меры, чтобы установить связь со страной. И это ему наконец удалось. Но в ответ на обстоятельные доклады о положении в Норвегии от советского командования не поступало никаких указаний. Даже слова поощрения не было слышно оттуда. Выделенная советским командованием радиостанция ограничивалась получением донесений из Норвегии и запросом различных сведений, главным образом разведывательного характера.

Но вот война закончилась. Германия подписала акт капитуляции, подписана «Декларация о поражении Германии», а самочинно созданная из советских военнопленных армия стоит в Норвегии, не зная, что ей делать. Не получая ответа на свои телеграммы, Новобранец решает просить короля Хокона, чтобы он обратился к Советскому правительству по поводу эвакуации советских военнопленных из Норвегии. Король с радостью согласился сделать это и написал соответствующее письмо. Ответа на это письмо не последовало, но вскоре прибыла советская военная миссия во главе с генерал-майором Петром Ратовым.

Петр Ратов — мой и Василия однокашник по Академии Генерального штаба. Со мной он был в одной группе, а с Василием был близок еще и как с разведчиком. Поэтому с глазу на глаз они были друг для друга просто Петя и Вася. Естественно, что Василий немедленно отправился к Ратову. Тот принял его по-дружески. Но когда зашел разговор о сроках эвакуации, Ратов только руками развел: «Не имею никаких указаний на сей счет». Дальнейшее, однако, показало, что какие-то указания были. Ратов, как бы между прочим, задал вопрос: «А что у тебя за народ в армии?» И некоторое время спустя: «А зачем ты держишь армию под ружьем? Говорите об эвакуации военнопленных, а какие же это военнопленные, когда они вооружены, по-военному организованы и обучены, дисциплинированы. Это военная сила, а для чего она?»

— У меня сложилось впечатление,— говорил мне Василий,— что Петра именно потому и прислали, что он мой приятель. Кто-то в Советском Союзе боится моей армии. И я повез Ратова по гарнизонам, чтобы он убедился, что это не заговорщики, а обычные советские люди, истосковавшиеся по родному дому и мечтающие только о нем. Ратов дал о нас благоприятную информацию и несколько раз повторял ее. Но прошло еще почти три месяца, прежде чем за нами пришли корабли.

На погрузку все шли радостно-возбужденные. На членов корабельной команды смотрели чуть ли не как на посланцев неба. И были, естественно, поражены, столкнувшись с отчужденными взглядами, официальным, если не враждебным, отношением. Особенно же неприятно поразило присутствие на кораблях сухопутных солдат и офицеров. Это были скорее лагерные охранники, чем солдаты. Они и вели себя как охрана.

Все оружие в пирамиды! Ничего из оружия при себе не оставлять! И ощупывали выходящих из пирамиды не только взглядом, но и руками.

Все это не могло воодушевить воинов, рвавшихся на Родину. Настроение упало. Офицеров отделили от солдат. Василий был изолирован в отдельной каюте, напоминавшей одиночку тюрьмы. Темные предчувствия, наверно, так навалились на людей, что они не выдержали. Примерно на полпути от Осло до Ленинграда солдаты решительно потребовали показать им офицеров. Возмущение, видимо, было настолько сильным, что капитан попросил Василия пойти к солдатам и успокоить их.

— И хотя у меня самого,— говорил он,— кошки скребли на душе, я вынужден был успокоить солдат. Ибо к чему могла привести вспышка возмущения? Только к гибели всех. Но это было не худшее выступление перед солдатами. Более отвратительную роль мне еще предстояло сыграть. Когда мы прибыли к месту разгрузки, мне предложили сказать солдатам, что сразу домой их отпустить не могут, что они должны пройти через карантинные лагеря. Власти должны убедиться, что в их ряды не затесались шпионы, диверсанты, изменники Родины. Я должен был призвать их к покорности своей судьбе. И я это сделал. А потом со слезами на глазах стоял у трапа и смотрел, как гордых и мужественных людей этих прогоняли к машинам, по коридору, образованному рычащими овчарками и вооруженными людьми, никогда не бывавшими в бою и не видевшими врага в глаза. Затем увезли и меня. «Проверять», не шпион ли я, не диверсант, не изменник ли Родины. Без малого 10 лет страшнейших северных лагерей.

И опять ему повезло. Случай помог выбраться оттуда и еще раз надеть военную форму, честь которой он берег всегда.

Во-первых, умер Сталин, во-вторых, в 1954 году из Норвегии приехала рабочая делегация и в ее составе несколько человек из руководства норвежского Сопротивления, лично знавших Василия. Они потребовали встречи с ним. Притом не у какого-то десятистепенного чиновника, а непосредственно у Председателя Совета Министров СССР, во время приема у него.

Тут-то и свершилось чудо. За два дня Василия специальным самолетом доставили в Москву, восстановили в армии, присвоили воинское звание полковника и устроили встречу с его норвежскими друзьями. Подарок, достойный Санта-Клауса.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Толкаясь и обгоняя друг друга, мы с сыновьями мчались вверх по широкой лестнице. Когда дверь приоткрылась, я изловчился отодвинуть мальчиков и очутился в квартире первым. Ребята зашумели: «Неправильно! Неправильно! Мы первые прибежали!»

Я только намерился раскрыть рот, чтобы, продолжая игру, «доказывать», что первые вбежали в квартиру мы с Витей, но взгляд мой неожиданно натолкнулся на взгляд жены. Взгляд, полный страха, горя и растерянности, потряс меня, и я молча смотрел на нее, ожидая какого-то страшного сообщения.

Замерли и дети, с недоумением поглядывая то на меня, то на мать. И она заговорила: «Петя, война!»

— Откуда ты взяла? — спросил я недоверчиво, хотя внутренний голос уже произнес: «Правда».

— Только что выступал Молотов.

Я взглянул на часы. Было 19.30 местного времени. Значит, в Москве 12.30. «Не меньше семи часов идут бои»,— невольно подумал я.

— Чемодан! — приказал я Анатолию и одновременно начал снимать с себя гражданскую одежду, надевать полевую форму.

Быстро переодеваясь, я задавал жене вопросы.

— Что говорил Молотов?

— Немецко-фашистские войска, вероломно нарушив договор, на рассвете 22 июня перешли рубежи нашей Родины.

— А еще?

— Немецкая авиация бомбила Одессу, Киев, Смоленск, Ригу...

— А еще?

— Вроде бы больше ничего.

— А про нашу авиацию что-нибудь говорил?

— По-моему, ничего.

Я уже был одет. Взял из рук сына свой мобилизационный чемоданчик и помчался в штаб фронта.

У дверей штаба меня обогнал командующий артиллерией фронта генерал-лейтенант артиллерии Василий Георгиевич Корнилов-Другов. Проходя мимо, он пожал мне руку

и невесело пошутил: «Теперь я буду знать, что вы неискренний человек — говорили, что не буквально, а выходит, буквально».

Вбегая к себе в управление, я, разумеется, приятных сюрпризов не ждал. Встретил меня только что назначенный дежурным по управлению один из направленцев оперативного Управления фронта — мой подчиненный подполковник Андрей Алейников. Он был из числа тех, кто одновременно со мной по окончании Академии Генерального штаба был направлен в Монголию, а по окончании боев получил назначение на Дальний Восток.

— Что известно о войне на западе? — с ходу спросил я.

— Выступал Молотов...

— А что имеется из Генерального штаба?

— Ничего!

— Запросили?!

— Да!

— А обстановка у нас на границе?

— Пока спокойно. Никаких передвижений на сопредельной территории не наблюдается. Наши войска приведены в состояние повышенной боевой готовности.

— Вы сами речь Молотова слышали? Расскажите!

Андрей сообщил мне то же, что я слышал от жены. И по мере того, как шел рассказ, во мне нарастало возмущение. Когда он закончил, я задал тот же вопрос, который задавал и жене: «А что он говорил о действиях нашей авиации?» Последовал ответ, которого я больше всего страшился,— «Ничего!» И хотя я от жены уже слышал это, ответ буквально убил меня. До этого я думал, что жена как человек невоенный могла не обратить на это внимания, даже упустить целые фразы. Теперь я знал точно: о нашей авиации Молотов не говорил. Ему нечего было сказать о ее действиях. Она была внезапно накрыта бомбовыми ударами врага на своих аэродромах.

Услышав такой ответ, я обессиленно опустился на стул. «Прошляпили! — с отчаянием проговорил я. — Теперь будем воевать без авиации. Вот тебе и „мудрая политика". Домудровались».

— Ну откуда ты взял, что без авиации?

— Мне вроде неудобно объяснять тебе это. Мы же в одной академии учились. Ну и практика. Вспомни, как начинали немцы в Польше, Франции, Норвегии. Везде они начинают с удара по авиации, уничтожают ее и затем беспрепятственно громят наземные войска. Не надо быть очень мудрым, чтобы понимать это и принять меры, чтобы отбить подобную попытку, если она будет предпринята против нас. А наше Верховное Главнокомандование не позаботилось об этом, и вот вся наша Западная группировка Военно-Воздушных Сил разгромлена.

— Но Молотов ничего не говорил об этом. Он сказал, что немецкая авиация бомбила Одессу, Киев, Смоленск, Ригу. Но он ничего не говорил о бомбежке наших аэродромов.

— Он-то не говорил. Да нам-то головы даны не для того, чтобы форменную фуражку носить, а военные знания не для того, чтобы в ранец складывать. Как военным нам должно быть ясно, что ни один идиот не начинает войну с бомбежки городов. Авиацию, авиацию надо уничтожать прежде всего. Только после этого можно заняться сухопутными войсками, а затем и население попугать бомбежками городов и колонн беженцев.

Андрей пытался что-то возразить, но времени на дискуссии у меня не было, да и собеседник он был малоинтересный. Общекультурный уровень невысокий, ввиду чего и военные знания у него были формальные, заученные. Неспособность к анализу, к собственным выводам, при большой склонности к позерству и зазнайству, к переоценке собственной личности не воодушевляли на разговоры с ним.

Уходя, я сказал: «Запросите еще Москву об обстановке. Если через час никого не будет, попросите к аппарату Шевченко (направленец Дальнего Востока). Я поговорю с ним. Ведь война уже идет не менее девяти часов».

— Откуда вы это взяли? В речи Молотова время перехода немецких войск через границу не указано.

— Это и так ясно. Посчитайте на досуге! — закончил я разговор.

Затем дела захватили меня. Ввод в действие плана прикрытия занял все мое время и мысли. И я забыл о разговоре с Алейниковым. Часа в два ночи или немного позже я закончил свои дела и, дав некоторые указания дежурному, простился с ним и пошел домой. Кстати, из Москвы от Генерального штаба так никаких указаний и сообщений и не поступило. Разговор с полковником Шевченко тоже ничего не дал. Он сказал, что ничего не может добавить к тому, что сообщил Молотов в своем выступлении по радио.

— Но ведь после выступления прошло немало времени. Да и вообще, выступление политического деятеля не может заменить военную сводку.

Шевченко миролюбиво ответил:

— Ну что я тебе скажу? Идут бои по всему фронту.

— Ну хотя бы скажи, имеют ли немцы территориальный успех и каковы потери нашей авиации?

— Ничего больше я тебе сказать не могу. Через несколько часов будет оперативная сводка, из нее все и узнаете.

— Оперативная сводка — срочный документ и оперативную информацию заменить не может.

— Не умничай и не учи меня. Разговор заканчиваю.

Впоследствии этот разговор тоже был использован против меня, но Шевченко здесь ни при чем. Просто разговоры по прямому проводу фиксируются и остаются в делах управления.

Дверь в квартиру я открывал потихоньку, чтобы не беспокоить свои семьи. Но дверь открылась, и я увидел жену. Взгляд ее был встревожен. Не ожидая моих вопросов, она произнесла: «Два раза приходил сын Л., сказал, что его отец просил тебя зайти к нему на квартиру — во сколько бы ты ни вернулся домой. Он будет тебя ждать».

Л.— один из высших партийных руководителей Управления Дальневосточного фронта. У нас с ним с первой встречи установились отношения взаимного доверия и симпатии.

Л. жил в том же доме, в соседнем подъезде. Я быстро добежал до его квартиры. Войдя в кабинет, он плотно прикрыл двери и сразу же шепотом задал вопрос:

— С Алейниковым сегодня говорил?

— Да!

— О чем?

Я рассказал, ничего не скрывая.

— Ну вот что! Запомни! Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, то и я тебе ничем помочь не смогу.

— Я имени Сталина не называл.

— Это не имеет значения. Мудрый у нас только один человек. Поэтому о мудрости в том тоне, о котором говорит Алейников, ты вообще не говорил.

— Но это же неправда. Я говорил.

— Ну, мне тебя уговаривать не пристало. Я тебя не видел, мы с тобой не говорили, я тебе ничего не советовал. Ты можешь вести себя как угодно и рассказывать что угодно, но если ты расскажешь о том, что сомневался в мудрости Сталина, я тебе ничем помочь не смогу.

Повторив эту уже произнесенную в начале нашего разговора тираду, он добавил:

— И запомни — речь идет не о партийном билете, а о твоей голове. Утром тебя пригласят в назначенную мной партийно-следственную комиссию. Не забудь, когда к ним придешь, что ты не знаешь, зачем тебя вызвали.

Спать в эту ночь я уже не смог. Утром началось партийное расследование. И я «легко» доказал, что в мудрости «мудрейшего из мудрых» не сомневался, что речь шла о военном командовании, которое проморгало подготовку гитлеровского нападения. Расследование шло долго, в нескольких инстанциях. И каждый раз приходилось повторять эту ложь. Совесть моя протестовала, но ум говорил, что Л. прав. Ум я удовлетворял, оставляя совесть в самом дальнем уголке души, откуда она и попискивала каждый раз, когда приходилось повторять мой вариант разговора с Алейниковым.

Наконец решили: «Объявить строгий выговор с предупреждением, с занесением в учетную карточку».

Меня наш разговор с Алейниковым в первый день войны преследовал очень долго. Всю войну я прошел на генеральских (иногда полковничьих) должностях, но оставался подполковником. Только случайно, почти в конце войны (2 февраля 1945 года), получил звание полковника. Этот разговор столкнул меня и с Брежневым в конце 1944 года. Его же мне припомнили, когда я в 1961 году выступил против культа Хрущева.

Продолжение следует



ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

В октябре минувшего года в гостях у Ленинградской писательской организации побывала группа писателей Казахстана — Т. Абдрахманова, Г. Толмачев, З. Сериккалиев, Т. Журдбаев и К. Салгарин. Одна из встреч состоялась в журнале «Звезда». Помимо творческих, литературных проблем разговор коснулся тревожной экологической ситуации в районе ядерного полигона под Семипалатинском, недавно возникшего антиядерного движения «Невада — Семипалатинск».

Ленинградские писатели, члены редколлегии журнала, взволнованные рассказами своих коллег, попросили их подробнее описать события, происшедшие в районе военного полигона, неотложные проблемы, возникшие в республике в связи с ядерными испытаниями.

Ниже мы публикуем письмо народной писательницы Казахстана Т. Абдрахмановой, лауреата премии им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР.

Пришло время, когда сохранность всего живого на Земле зависит от оздоровлении экологической обстановки, а в конечном счете — от решения социально-экономических проблем общества и в первую очередь от ликвидации ядерного вооружения.

Некоторые политические лидеры и общественные деятели Запада, в частности М. Тэтчер, считают, что существование атомного оружия препятствует развязыванию войны и что оно является своего рода оборонным щитом. Поэтому-де «нельзя прекращать ядерные испытания, нельзя уничтожать ядерные полигоны». Но ведь если ядерное оружие будет производиться и далее, будет совершенствоваться, если полигоны не прекратят свою деятельность, то на планете очень скоро не останется ничего живого. В таком случае кому он будет нужен, этот оборонный щит?

И в нашей стране, в том числе и среди военных руководителей Семипалатинского полигона, существует мнение, будто население, проживающее в зоне полигона, во время испытаний ядерного оружия никакой опасности не подвергается. Однако факты, вопиющие факты, говорят о другом.

В августе 1949 года всех жителей Абралинского района переселили на новое место с тем, чтобы полностью освободить территорию у предгорий Дегелена под строительство атомного полигона.

Начиная с 1949 по 1963 год в течение 15 лет подряд здесь проводились наземные взрывы. Люди не знали, что́ происходит на полигоне, и не подозревали о последствиях этих взрывов. Было время, когда дети близлежащих аулов Кайнар, Тайлан, Саржал и других, заслышав привычный гул, спешно взбирались на пригорки и с интересом наблюдали, как расплывается в небе огромный ядерный гриб.

12 августа 1953 года впервые в Советском Союзе здесь же на полигоне было произведено наземное испытание водородной бомбы.

С 1963 года испытания стали проводиться под землей на глубине всего лишь шестисот метров — по 18 взрывов в год.

В один из таких дней 40 мужчин в поселке Кайнар не были вывезены. Сейчас остались в живых только шестеро, и лишь один из них может самостоятельно передвигаться, остальные тяжело больны и прикованы к постели. Во сколько миллиардов рублей следует оценить их жизни?

В том же Кайнаре умерло от рака 200 человек, 14 — от лейкемии, 20 детей появились на свет неполноценными. Во сколько обходится эти потери?!

Первый секретарь Абайского районного комитета партии привел официальные статистические данные: по району за последние десять лет в каждой семье от рака скончалось от 4 до 15 человек, 104 человека покончили жизнь самоубийством, в Кайнаре сошли с ума 32 человека, из 5500 беременных женщин 80% страдают анемией, из 70 детей, рожденных только в июне нынешнего года, 11 неполноценны. Это — данные лишь по одному Абайскому району. Какими миллиардами покрыть эти цифры?

Молодые женщины боятся за нормальное развитие детей в утробе, боятся рожать: кто поручится, что завтра у кого-то из них не родится калека?

После взрыва ядерной бомбы на почву, в водоемы, на растительность оседают такие вещества, как цезий-137, цезий-134, стронций-90, плутоний-239... Как же можно верить в то, что за 15 лет испытаний, которые проводились на полигоне открыто, близлежащие населенные пункты не подверглись никакой радиации? Более того, специалисты и простые жители Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и Алтайского края собрали весьма убедительные факты, доказывающие, что эти 15 лет отозвались жутким эхом в местах их проживания. Эти данные были оглашены в июле этого года на первой региональной научно-практической конференции в Семипалатинске и опубликованы в печати.

Миллиарды рублей были потрачены государством, чтобы возвести саркофаг Чернобыльской АЭС. Сколько же надо сил и средств для того, чтобы замазать все щели, залить все дыры исковерканной вдоль и поперек земли площадью примерно в 800 тыс. кв. км?

Общественность с возмущением восприняла сообщение о том, что во время испытаний, проведенных на полигоне под Семипалатинском 12 февраля прошлого года, в воздух вырвались радиоактивные вещества.

В связи с этим 28 февраля был проведен всеобщий народный митинг против производства и испытаний ядерного оружия под Семипалатинском и вообще на Земле. Народ, привыкший к терпеливому молчанию, теперь, в обстановке свободы, демократии, открыто высказал то, что копилось годами в сознании и в душе. Было создано общественное движение «Невада — Семипалатинск», президентом которого избран известный поэт Олжас Сулейменов.

Буквально в тот же день о движении «Невада — Семипалатинск» прослышало все прогрессивное человечество и со своей стороны выступило с полным одобрением.

Были направлены соответствующие обращения во многие общества, творческие союзы страны, религиозные учреждения, в Советский комитет защиты мира, международные организации «Сохранение человеческого сообщества», а также организации, выступающие за прекращение ядерных испытаний в штате Невада, в ООН, ЮНЕСКО... Заместитель председателя общественного движения «Невада — Семипалатинск» Мурат Ауэзов побывал в связи с этим в США. Народный депутат СССР Олжас Сулейменов выступил на сессии Верховного Совета по ряду вопросов, касающихся этих проблем. Тем не менее на полигоне под Семипалатинском 8 июня прошлого года вновь было проведено очередное испытание.

В Семипалатинске состоялась научно-практическая конференция, в которой приняли участие видные наши деятели науки, врачи из Семипалатинска, Караганды, Павлодара, Восточно-Казахстанской области, были представители и Алтайского края. Произошел откровенный разговор с военным персоналом полигона, были приведены многие факты, о которых долгое время открыто говорить не решались.

В своем выступлении академик С. Б. Балмуханов сказал: «Эта многострадальная земля хранит в себе запасы радиоактивных веществ, которых хватит на тысячу лет... Что станет с подземными водами, во что превратится почва, мы также пока определенно сказать не можем. Поэтому давно настала пора предоставить покой и этой земле, и ее народу».

После завершения конференции в Семипалатинске с 5 по 7 августа прошла всенародная Акция протеста против производства и испытаний ядерного оружия. Она проводилась на международном уровне и одновременно в городах Америки, Японии и СССР. Митинги, собравшие огромное количество людей, были приурочены к годовщине трагедии Хиросимы и Нагасаки, а также 40-летию испытаний под Семипалатинском. Большую организаторскую работу провели члены общественного движения «Невада — Семипалатинск». Со всего мира съехались в Казахстан представители разных общественных организаций, творческих союзов и объединений, видные деятели науки и культуры.

Пятого августа группа участников Акции протеста посетила засекреченный в свое время город Курчатов и встретилась с военным персоналом атомного полигона, с простыми жителями. Во время бесед военачальники и физики всячески пытались доказать необходимость полигона, пытались убедить людей в его безвредности и ни словом не обмолвились о том, чтобы закрыть его вообще. Инженер-физик Тюпанов оперировал цифрами и рублями: «Наше бедное государство не может позволить себе такую роскошь, чтобы бросаться миллиардами и строить полигон на новом месте...»

И все же, несмотря на разноречивость мнений, большинством голосов «Воззвание» антиядерного движения «Невада — Семипалатинск» было принято и на следующий день у села Караул многотысячная Акция протеста состоилась. Туда приехали и руководители полигона.

Шестого августа население Абайского района, все от мала до велика, собралось у подножия горы Караул. Люди с возмущением высказывали открыто все, что копилось у них годами в сердцах.

Расходились с надеждами на лучшее будущее, на перемены, которые должны бы вот-вот наступить, но все эти надежды рухнули 2 сентября в 8 часов 17 минут по московскому времени, буквально на следующее утро после того, как все человечество отметило Международный день защиты мира. Очередное испытание было проведено с целью совершенствования ядерного оружия.

Секретарь Центрального Комитета КПСС А. Н. Яковлев в своей речи, посвященной 200-летию Парижской коммуны, сказал: «Народы не могут, не должны расплачиваться страданиями и кровью за чей бы то ни было групповой эгоизм». Какие верные и нужные слова! Снова и снова приходят они на ум.

А между тем полигон продолжает активно работать. Только в октябре прошлого года под Семипалатинском было произведено два взрыва. Последний из них был 19 октября.

Таким образом, плач «Елим-ай», песню, которую народ пел с болью в сердце, заглушили новые взрывы и искусственно вызванные землетрясения.

Зараженная земля уносит в свои недра очередные жертвы, а тем временем в райкомы партии Семипалатинской области поступают новые сводки, пополняющие списки повесившихся, сошедших с ума, рожденных уродами.

Дорогие мои коллеги, сыны и дочери великого Ленинграда, выросшие в колыбели Октябрьской революции, поддержите движение «Невада — Семипалатинск»! Помогите освободить нашу Землю от ядерного спрута!

Турсынхан Абдрахманова
Октябрь 1989 г.
г. Алма-Ата

СОДЕРЖАНИЕ

Николай СЛАДКОВ. Лермонтовская трапеция. (Записки военного топографа) *Послесловие В. Акимова* . . . 3
Константин ВАНШЕНКИН. Из лирики. *Стихи* . . . 32
Леонид ЛИХОДЕЕВ. Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала. *Роман (окончание)* . . . 34
Леонид АГЕЕВ. *Стихи* . . . 111
Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Август Четырнадцатого. *Роман (продолжение)* . . . 113

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «ЗВЕЗДЫ»

Я. ГОРДИН. «Донос на всю Россию», или Миф о масонском заговоре . . . 143

КРИТИКА

А. НИНОВ. Михаил Булгаков и современность . . . 153
Михаил ЗОЛОТОНОСОВ. Нищатупер. (Из заметок о советской культуре) . . . 162
Л. ЕМЕЛЬЯНОВ. Годы особого назначения . . . 172
В. ПАПЕЯХ. «Нужно быть жестоким...»? . . . 174

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Елизавета КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА. *Стихи. Вступительная статья и публикация А. Н. Шустова* . . . 177
Ольга БЕРГГОЛЬЦ. Из дневников. *Вступительная статья, публикация и примечания М. Ф. Берггольц* . . . 180

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Петро ГРИГОРЕНКО. Воспоминания *(продолжение)* . . . 192

ИЗ ПОЧТЫ «ЗВЕЗДЫ»

Турсынхан АБДРАХМАНОВА. Поддержите нас! . . . 206

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ